



ЮРИЙ РЫТХЭУ

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА

РОМАН
И
ПОВЕСТИ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ББК 84.Р7
Р 95

Художник Эвелина Васильева

Р $\frac{4702010200-246}{083(02)-86}$ 131-86

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА





ПРОЛОГ

В столице Датского королевства, на одной из ее живописных окраин, есть Дом гренландца. Это и гостиница, и общежитие, и дешевая столовая, в которой приехавшие с далекого ледяного острова могут за ничтожную плату получить прекрасную лососину, сваренное по-эскимосски мясо тюленя и встретиться с земляками, по тем или иным делам попавшими в Данию.

В один из своих приездов в Копенгаген и я поспешил в этот гостеприимный дом — здесь была назначена моя лекция с показом цветных слайдов, снятых в советском селении Ново-Чаплино.

В перерыве лекции хозяева вытащили бубны и запели древние арктические песни, и в моей памяти воскресли студеные родные берега, посвист ветра в прибрежных торосах, на вершинах ледяных гор и в долинах рек, катящих свои воды по тающему ледяному ложу.

Людей Севера удивительно тянет друг к другу, и, встречаясь, они ведут себя как близкие люди, как братья, которые давно не виделись.

Я уже собирался уходить, как вдруг ко мне подошла молодая женщина с чертами лица, свойственными человеку, рожденному в окрестностях Полярного круга. На ее шее на тонкой золотой цепочке висел талисман — женская головка, вырезанная из моржового бивня.

— Извините меня, — смущенно произнесла она. — Я бы хотела преподнести вам небольшой подарок. — И протянула мне вырезанный из такого же бивня эскимосский охотничий каяк с сидящей в ней небольшой фигуркой. — В память о моем деде, о родине моих предков, — сказала женщина и добавила. — Моя мать родилась на Чукотке и маленькой девочкой была привезена Руалом Амундсеном сначала в Норвегию, а потом сюда, в Копенгаген, в католическую миссию...

— Дочь Кагота! — вспомнил я.

— Да, моя мать была дочерью Кагота, — подтвердила мою догадку женщина. — Ее европейское имя Мэри, а на родине ее звали Айнаной... Она умерла давно... А это осталось в нашей семье как память. Мать говорила, что эта фигурка изображает моего деда...

Я вгляделся в скульптуру. Лицо охотника было вырезано очень тщательно и явно походило на портрет реального человека, жителя Чукотского полуострова.

Удивительно, как иногда тесно переплетаются судьбы людей, на первый взгляд далеких и не похожих друг на друга! Ну кто мог предположить, что знаменитый полярный путешественник, покоритель Южного полюса и Северо-Западного прохода¹, первым пролетевший над Северным полюсом, великий норвежец Руал Амундсен и чукотский шаман встретятся на ледяных просторах и какое-то время их жизни будут идти рядом!

Кагот... Я слышал о нем много и думаю, что сейчас время рассказать о нем, о встрече его с Амундсеном, о том великом и сложном времени начала века, когда над кромкой Ледовитого океана уже загорались сполохи великой революции.

1

Амундсен стоял на палубе и прислушивался к работе машины: «Мод» медленно, словно бы ощупью пробиравась вперед, с громким шелестом разламывая носом молодой, припорошенный свежевыпавшим снегом лед.

Поначалу берег поразил пустынным, негостеприимным видом. Перспектива новой зимовки в безлюдном и безжизненном месте навевала уныние. Однако рассмотренные в бинокль три холмика, показавшиеся было простым нагромождением камней, оказались ярангами — жилищами прибрежных чукчей. О том, что они обитаемы, свидетельствовали столбики дыма над островерхими крышами.

Из низко опустившихся туч сыпался тяжелый мокрый снег, постепенно закрывая плотным занавесом панораму берега. Грех жаловаться: на 24 сентября 1919 года ледовая обстановка здесь была вполне сносной. Быть может,

¹ Северо-Западный проход — проход из Атлантического океана в Тихий, к Берингову проливу вокруг берегов Северной Америки.

причина этому — сильное восточное течение, которое время от времени отрывало от берега большие поля новообразовавшегося льда и уносило их в открытое море.

Быстро темнело. Электрический фонарь, горящий на мачте, высвечивал лишь густую пелену летящего снега. Амундсен приказал застопорить машину и бросить якорь: в крошечной тьме не было смысла бороться со льдами.

Прежде чем войти в каюту, начальник Норвежской полярной экспедиции долго стряхивал с одежды налипший мокрый снег, стараясь пока не думать о предстоящей зимовке. И все же, как ни гони от себя эту мысль, другого выхода не было: надвигалась вторая зима у берегов России, страны загадок и непонятных событий, сведения о которых отрывочно доходили до «Мод».

Позади остался долгий путь от родной Христиании¹, вокруг Скандинавии и дальше, через проливы, отделяющие острова Ледовитого океана от материка, к берегам самого северного полуострова Азии — Таймыра. Первая зимовка «Мод» прошла недалеко от села Хабарово, прошла в надежде следующим летом продвинуться вперед, к Берингову проливу, и тем самым сомкнуть кольцо кругосветного полярного путешествия, которого пока еще никому в мире не довелось совершить...

Казалось бы, довольно славы и почестей для одного человека: покорение Северо-Западного прохода и Южного полюса. Но Северный полюс... В мире еще не было человека, которому удалось ступить на оба полюса планеты. Но, главное, оставался неосуществленным дерзкий план, разработанный другим великим норвежцем — Фритьофом Нансеном: вмерзнуть в лед севернее Берингова пролива и дрейфовать с ним до полюса. Именно для этого был построен новый экспедиционный корабль «Мод», повторивший в своей конструкции многие черты знаменитого «Фрама»...²

Отряхнув остатки снега, Амундсен вошел в кают-компанию, по корабельным меркам довольно большое помещение. В ней было тепло и уютно. На стене висели фотографии, перекочевавшие сюда с «Фрама». Здесь же были подарки королевской четы экспедиции девятьсот десятого года и среди них — серебряный кубок, стоящий

¹ Христиания — старое название Осло.

² «Фрам» — корабль, на котором Фритьоф Нансен дрейфовал в Ледовитом океане, а Амундсен в 1910—1912 годах плавал в Антарктиду.

на красивом шкафчике. У светового люка в машинное отделение красовалась великолепная виолончель, которая по установленному порядку играла всего раз в неделю, по субботам, чтобы впечатление от нее не утратило новизны и привлекательности: ведь ничто так быстро не приедается, как бесконечное повторение какого-нибудь удовольствия. Пол кают-компаний был покрыт линолеумом, а поверх него устлан кокосовыми циновками.

Здесь, вот в этой кают-компании, за этим большим столом под висячей лампой состоялся последний разговор с ушедшими с корабля Тессеком и Кнутсеном¹. Это произошло почти год назад, 4 сентября восемнадцатого года, и до сей поры от них нет никаких известий. Что с ними? Удалось ли им добраться до цивилизованного мира, или они все еще кочуют по необъятным просторам Северной России, охваченной революцией и гражданской войной?

Быстро проглотив легкий ужин, начальник экспедиции отправился в свою каюту и, едва коснувшись головой подушки, провалился в глубокий, без сновидений сон...

Утро было чуть яснее вчерашнего. Во всяком случае, изрядно надоевший снегопад прекратился, и порой из-за разорванных облаков, бешено мчащихся по небу (хотя у поверхности земли ветер был довольно слабый), выглядывало зимнее, уже не греющее солнце. «Мод» стояла почти вплотную к береговому припаю, и на возвышенном берегу теперь отчетливо виднелись три яранги, а возле них — несколько человеческих фигур. Очевидно, появление незнакомого корабля привлекло внимание обитателей крохотного селения, но пока никто из них не направлялся на «Мод»: то ли опасались незнакомцев, то ли лед был еще слаб для передвижений по нему.

— Похоже, они не собираются к нам в гости, — сказал Амундсен. — В таком случае вежливость требует, чтобы мы нанесли визит первыми.

Бросили трап и стали потихоньку спускаться на лед. Первым шел Геннадий Олонкин, русский член экспедиции, присоединившийся к ней на Новой Земле, за ним Хансен, последним осторожно ступал Руал Амундсен. Лед угрожающе потрескивал под ногами; на белом снегу, припорошившем замерзшую поверхность моря, про-

¹ Тессек и Кнутсен — члены экспедиции Амундсена, отправившиеся во время первой зимовки «Мод» на поиски ближайшего поселения; погибли в таймырской тундре.

ступали трещины. Амундсен обернулся на вскрик: под Хансеном проломился лед, и только быстрая реакция — он успел отскочить в сторону — не дала ему провалиться в пучину Ледовитого океана.

— Расходитесь подальше друг от друга! — распорядился Амундсен.

— Глядите, сколько здесь плавника. — Хансен показал на торчащие из-под снега обломки бревен, а иногда и целые деревья с остатками корней и сучьев: вынесенные из необъятной сибирской тайги могучими реками, они проделали огромный путь, пока океанское течение не прибило их сюда.

— С дровами у нас, пожалуй, забот не будет, — заметил Амундсен.

Когда до берега оставалось совсем немного, от яранг отделились два человека и двинулись навстречу.

Довольно рослые для местных, тепло и аккуратно одетые, они приветливо улыбались.

— Еттык! — сказали они почти одновременно.

Когда Амундсен и его спутники протянули им руки для пожатия, туземцы с готовностью сбросили теплые оленьи рукавицы и с видимым удовольствием подержали ладони гостей.

Берег был довольно крут, и к ярангам пришлось карабкаться с осторожностью: можно было соскользнуть обратно на морской лед.

Хозяева повели гостей в ярангу.

Внутри жилище было очень просторным, путникам не доводилось еще видеть такое в этих краях. В диаметре оно достигало почти пятидесяти футов, а его высота в том месте, где в дымовое отверстие заглядывало небо, была, наверное, футов пятнадцать. Все внутри было основательно, прочно и показывало, что здешние жители не кочевники, а постоянные, быть может, даже древнейшие обитатели этой земли.

Внутренность яранги разделялась на несколько помещений. Первой была холодная часть — чоттагин, где принимали гостей и где горел веселый костер, для которого здесь, похоже, не жалели дров. В дальнем углу виднелся спальный пол, сшитый из отборных оленьих шкур. Из него на гостей глазели двое ребятишек и женщина.

Старший из мужчин, видимо хозяин, что-то приказал на своем языке, и перед гостями, устроившимися на ки-

товых позвонках, служащих для сидения, появилось длинное, выдолбленное из цельного куска дерева, неглубокое блюдо-корытце. В него из котла, висящего над костром, женщина выложила вареное оленье мясо.

— Мое имя Амтыц, — объявил хозяин, когда гости проглотили по первому куску. — А его зовут Кагот. — Он показал на второго мужчину, молча, сосредоточенно жующего мясо.

Гости сразу догадались, о чем идет речь, и Амундсен в свою очередь ткнул себя пальцем в грудь и сказал:

— Меня зовут Амундсен, а моих товарищей — Хансен и Олонкин...

— Почему вы так поздно приплыли? — произнес мужчина, названный Каготом, и Амундсен от удивления ответил не сразу. Вот уж чего он не ожидал, так это встретить здесь, в ледяной пустыне, человека, который говорил по-английски!

— Извините, — сказал Амундсен и, понимая, что вопрос глупый, на всякий случай осведомился: — Вы говорите по-английски?

— Да, — ответил Кагот. — Правда, не очень хорошо.

— По-моему, неплохо, — похвалил Амундсен. — Где же вы научились языку?

— Я плавал на американской шхуне.

Амундсен всмотрелся в лицо туземца. Теперь он видел, что человек этот довольно молод, но кажется старше из-за темного цвета лица: здешние люди никогда не утрачивают морозного загара, к которому в летнее время добавляется еще и загар от незаходящего солнца. Взгляд у человека был серьезный, пытливый, и Амундсен вдруг почувствовал неловкость оттого, что вместо ответа на заданный вопрос он сам стал спрашивать Кагота.

— Мы совершаем научное путешествие по Северо-Восточному проходу¹. Это большой путь, и начали мы его еще в прошлом году от берегов нашей родины, Норвегии, — заговорил Амундсен, сомневаясь, однако, понимают ли его туземцы.

Но туземцы внимательно слушали то, что вполголоса переводил им Кагот.

Амундсен никак не мог привыкнуть к тому, что обитатель яранги понимает и говорит по-английски, и все

¹ Северо-Восточный проход — проход из Атлантического океана в Тихий по морям Северного Ледовитого океана вдоль Евразийского побережья.

время испытывал какую-то неловкость, хотя и понимал, что ничего сверхъестественного тут нет.

— В такое позднее время корабли обычно сюда не приходят, — обратился Кагот к Амундсену.

— Мы хотели достичь этим летом Берингова пролива, да вот не успели, — грустно произнес Амундсен. — Придется нам здесь зазимовать... Скажите, а далеко ли отсюда до других селений?

— Далеко, — ответил Кагот и добавил: — Но скоро мимо нашего селения поедут торговцы. Одни едут с Колымы в Уэлен, другие — в обратную сторону. Движение начнется, как только установится твердый нартовый путь, хорошо укрепится припай и замерзнут устья рек.

Гости с корабля переглянулись.

— Надо разузнать о радиостанции, — сказал Хансен.

— Есть ли здесь поблизости радиостанция? — спросил Амундсен, не будучи уверен, что Кагот его правильно поймет.

Но, обменявшись несколькими словами с Амтыном, тот сказал:

— Радио может быть в Нижне-Колымске, отсюда на запад. Или же в Ново-Мариинске, в устье Анадыря...

Амтын еще что-то сказал, и Кагот добавил:

— Там же есть и церкви, если вам надо наладить общение с вашими богами.

Амундсен улыбнулся и сказал:

— Пока мы в этом не нуждаемся... Нам бы хотелось знать: не будете ли вы и ваши соседи возражать, если мы останемся здесь на зимовку?

— Можете жить, где вам понравится, — ответил через Кагота Амтын. — Выбирайте любое место около берега. Зимой здесь тихо, лед стоит прочно и сильных подвижек не бывает.

Трапеза закончилась чаепитием. Все время, пока продолжался мужской разговор, женщина только подавала еду, а ребятишки с величайшим вниманием следили за поведением неожиданных гостей, ловили каждое их движение. Они не впервые видели морских тангитанов¹, но каждое их посещение было таким запоминающимся событием, о котором потом долго говорили, вспоминая каждую подробность.

— Значит, вы утверждаете, что вскоре мимо вас проследуют путники? — спросил Амундсен, осушив предна-

¹ Тангитан — чужеземец.

значенную для почетных гостей большую фарфоровую чашку явно китайского происхождения.

— Это будет совсем скоро, — ответил Кагот.

— А вы получаете известия о том, что происходит в России? — осведомился Олонкин.

Амтын, выслушав вопрос, что-то долго говорил.

— Мы вообще плохо различаем тангитанов. Которые из них российские, а которые американские — нам трудно понять, — произнес наконец Кагот. — Но мы слышали, что Солнечный владыка свергнут.

— А у вас произошли какие-нибудь изменения в связи с этим? — продолжал интересоваться Олонкин.

Кагот твердо сказал:

— В нашей жизни никаких изменений не произошло.

— Разве здесь нет представителей власти? — спросил Амундсен. — Я слышал, что в Уэлене, во всяком случае до моего отплытия из Христиании, находился то ли урядник, то ли исправник. Так мне было сказано в русском посольстве.

— Нам об этом ничего не известно, — ответил Кагот.

Напившись чаю, гости стали собираться в обратный путь.

Амтын с Каготом провожали их до спуска на лед. Здесь они попрощались, и тангитаны осторожно зашагали по тонкому молодому льду к своему кораблю.

2

Вернувшись в ярангу, Амтын возбужденно сказал Каготу:

— Считай, что морские боги послали нам удачу.

Кагот с удивлением посмотрел на него.

— Да, да, это великая удача! — повторил Амтын. — Это даже больше, чем если бы на наш берег выбросило кита! Представить себе невозможно, чтобы возле нашего Еппына зазимовал тангитанский корабль, набитый разными товарами! Эх, жаль, что у меня маловато пушнины! И зачем я отдал прошлогодних песцов Кибизову!

— Кто такой Кибизов? — спросил Кагот.

— Есть тут один человек, — ответил Амтын. — Но почему ты не радуешься?

— Не похожи они на торговцев, — задумчиво проговорил Кагот.

— Почему ты так думаешь? Разве бывают тангитаны, которые не торгуют? — с удивлением спросил Ам-

тын. — Даже ихний шаман, русский поп, который лет пять назад проезжал здесь с караваном собачьих упряжек, выторговал у меня за связку листового табака три песцовые шкурки!

Амтын посмотрел на Кагота... Станный все-таки человек. Появился здесь Кагот на исходе зимы на одинокой нарте, запряженной измученными долгой дорогой собаками. Он подъехал к яранге, и встретивший его Амтын не сразу заметил среди вороха старых оленьих шкур ребенка — девочку лет пяти.

Здесь не принято задавать вопросы, кто ты и зачем едешь. Если нужно, человек сам расскажет о себе. Кагот первые несколько дней молчал. Амтын поселил его у своей родственницы Каляны, молодой вдовы, год назад потерявшей мужа. Амтын даже подумал про себя, что это боги решили послать сюда мужчину, чтобы молодая женщина не осталась одинокой.

Через несколько дней, немного отойдя и привыкнув, Кагот отправился на охоту, занявшись исконным мужским делом. Но что касается остального, то, насколько мог судить Амтын из разговоров между своей женой и Каляной, приезжий не проявил интереса к женщине.

Летом Кагот охотился вместе с Амтыном на небольшой кожаной байдаре. Осенью били моржа на галечной косе за узким проливом, соединяющим мелководную лагуну с морем. Там они заложили довольно солидный запас копальхена¹ для собак и для себя — на зимнее питание.

Понемногу из скупых рассказов Кагота перед Амтыном раскрылась жизнь этого человека, покинувшего свое далекое селение Инакуль, где жили люди смешанного племени — чукотского и эскимосского. Там и родился Кагот от женщины-эскимоски и мужчины-чукчи, морского охотника.

Детство Кагота прошло быстро и незаметно. Оно осталось только в воспоминаниях о беспечных, самых счастливых днях да в радужных снах и сладкой дремоте.

Маленьким мальчиком он любил играть один, погружаясь в причудливый, созданный собственным воображением мир, где он мог быть человеком, наделенным неограниченным могуществом, — и богатым оленеводом с

¹ Копальхен — специально приготовленное мясо моржа.

несметными стадами оленей, и удачливым охотником, загарпужившим огромного гренландского кита, и самым сильным человеком, способным поднять прибрежную скалу на плечи и перенести ее на другое место. Он превращался в легендарного великана Пичвучина, шагал через моря и океаны, и бурные волны ничего не могли ему сделать — разве лишь омочить нижнюю меховую оторочку его камлейки¹. Он мог целый день пребывать в этом своем мире и потом с сожалением возвращался в действительность, в щекочущий ноздри дым яранги, на жесткое ложе из старой, с большой проплешиной оленьей шкуры. В своем уединении Кагот уходил не только в мир грез, но и в пугающий мир безответных вопросов: почему на смену лету так быстро приходит холодная зима? откуда появился на этих берегах человек? что там, за горизонтом? как далеко до тех земель, откуда приходят корабли, нагруженные чудными товарами и таким желанным для взрослых огненным напитком, горящим синим пламенем? может быть, эти люди рождаются и умирают на своих кораблях и плывущее, вечно странствующее по воде судно — это их земля, их родина? Еще в детские годы Кагот понял, что те объяснения окружающего мира и таинственных явлений природы, которые дают старинные предания и легенды, неубедительны и часто противоречат здравому смыслу.

В Инакуле был человек, о котором говорили, что он знает все. Это был еще крепкий, но словно согнутый непосильной ношей старик, молчаливый, хмурый и загадочный. Говорили, что Амос сломал спину, упав с высокой скалы. Прележав в одиночестве несколько дней, он выжил, хотя его одежда была съедена голодными песцами и следы их укусов навеки остались на его руках.

Амос владел искусством исцеления, был энэныльном, то есть шаманом. Этот человек возбуждал наибольшее любопытство у Кагота.

Выросший Кагот, поборов робость и страх, часто обращался к Амосу с вопросами, пытаясь выяснить причины непонятных природных явлений и неясных желаний, обуревавших его. Шаман, приметивший пытливого юношу, старался отвечать обстоятельно, но, странное дело, ответы его только рождали множество других вопросов.

К этим вопросам присоединился еще интерес к женщине, к тому сокровенному, что притягивает к ней муж-

¹ Камлейка — верхняя матерчатая одежда.

чину. Но как раз в это время произошло событие, надолго оторвавшее Кагота от родных берегов. Однажды к Инакулю подошла небольшая шхуна «Белинда», и капитан обратился к молодым ребятам с предложением поплавать на ней до зимы. Желание посмотреть, что там, за горизонтом, было особенно велико у Кагота, и он, несмотря на страх перед неизведанным, согласился. Он взобрался на корабль, провожаемый слезами матери и хмурыми взглядами своих односельчан: никто еще из этого маленького прибрежного селения не отваживался на такое, не покидал родную ярангу.

Три года подряд Кагот нанимался на «Белинду» и каждую осень возвращался в Инакуль с грудой заработанного — среди этого самым ценным был многозарядный винчестер и барометр, с помощью которого можно было предсказывать погоду.

«Белинда» занималась контрабандной торговлей, незаконно скупала пушнину у прибрежных жителей. Однажды она все же попалась русскому патрульному судну. Корабль отбуксировали во Владивосток, а Кагота высадили в его родном Инакуле.

И тогда к нему пришел сам Амос. В первый вечер он ничего не сказал, только с удовольствием выпил свежего чая и выкурил трубку ароматного табака из жестяной коробки с изображением человека в высоком, похожем на ведро, головном уборе.

На второй день он сказал, что Каготу пора жениться, и указал на свою племянницу Вааль. Кагот пошел посмотреть на девушку, которую он помнил еще маленькой девочкой, да так и остался в той семье. У них не было сыновей, и Кагот становился не только мужем Вааль, но и главным мужчиной в яранге.

Однажды Амос призвал его к себе.

Кагот вошел в полутемный чоттагин. В глубине чернела меховая стена спального полога. Пламя небольшого костра освещало морщинистое, как кора старого дерева, лицо шамана, сидящего на китовом позвонке.

— Я призвал тебя, Кагот, чтобы сказать важное, — начал Амос после долгого молчания. Пламя костра отражалось в его глазах. — Я призвал тебя, чтобы объявить: я хочу передать тебе свою шаманскую силу...

— Амос!.. — воскликнул Кагот, но, увидев предостерегающий жест шамана, умолк.

— Слушай! — Казалось, что устами Амоса говорил

другой человек, а может быть, даже другое существо. Это странное ощущение сразу же захватило Кагота и не отпускало потом до самого конца его обучения искусству врачевания, предсказаний и таких важных размышлений, что казалось порой: из них не выберешься в обыденную жизнь.

Бедная Вааль! По ее испуганным глазам Кагот не раз видел, как она потрясена его странным поведением, бессонными ночами, вскриками и непонятными песнопениями на рассвете при мертвенном блеске луны и ликующими воплями под сполохами полярного сияния. Он уходил в замерзающую тундру и возвращался оттуда оборванный, обессиленный от голода, с глубоко запавшими воспаленными глазами, с запекшейся в уголках рта черной кровью, не способный произнести и обыкновенного человеческого слова... Или вдруг он будил ее ночью и, словно раскаленный на жарком костре, овладевал ею, стона, захлебываясь непонятными слезами и рыданиями.

Кагот порой по-настоящему терял разум, и, когда возвращалось сознание, он боялся взглянуть окрест, чтобы не увидеть себя в призрачном мире, населенном непонятными силами, которые он пытался постичь и которые руководили его поступками.

Порой они камлали вдвоем с Амосом, потрясая ярангу громом бубнов и дикими песнопениями, прерываемыми звериным воем, птичьими голосами, эхом отдаленного камнепада, шумом водного потока, грохотом сталкивающихся льдин. Все эти звуки исходили из темного полога с потушенными жировыми светильниками, где, кроме двух потных, усталых мужчин, на самом деле никого и ничего не было. С удивлением Кагот обнаруживал, что ему нравится это состояние перевоплощения, нравится быть сразу и зверем, и человеком, и солнечным лучом, и холодным ветром, и жарким огнем. Это укрепляло в мысли, что ты особенный человек, что впрямь избран величайшими богами и невидимыми силами для того, чтобы общаться с миром, который сокрыт от взоров обыкновенных людей. Те силы находились вне человека и поэтому назывались Внешними. Они действовали через избранных ими же, посылая им через не слышимые простыми людьми голоса свои откровения. Порой Каготу доводилось расслышать такие откровения, какие не улавливал даже многоопытный Амос. Поначалу Каготу казалось, что это ему просто мерещится. Но такое слу-

чалось все чаще, и он вынужден был открыться Амосу и спросить его, что это значит.

— Это значит, что ты стал тем, кем был избран судьбой, — сказал усталым, потухшим голосом Амос. — Вот теперь пришло время, когда мне надо вознестись, уйти навсегда из этого мира.

— Но ты ведь не болеешь и сил у тебя не убавляется, — с сомнением заметил Кагот.

Старик выглядел для своих лет неплохо. Многочасовые изнурительные камлания, казалось, только прибавляли ему сил. Проведя в забытии некоторое время, шаман вставал бодрым и посвежевшим.

— Нет, мое время пришло, — тихо, но твердо сказал Амос. — Ты заменил меня, и я должен уйти. Два великих шамана не могут одновременно жить на земле.

— Но я могу заниматься и другим, — возразил Кагот, — охотиться, как другие наши родичи.

— Ты уже ничего не сможешь сделать с собой, — сказал со вздохом Амос. — Ты избран, и нет у тебя сил противиться судьбе, точно так же я не могу пойти против воли тех, кто зовет меня из этого мира... Но я рад, что среди людей оставляю тебя, я поручаю тебе моих близких и верю, что ты позаботишься о них. И еще: ты умертвишь меня согласно обычаю, а это значит, что моя дорога будет легкой, без лишних страданий.

Последние слова ударили по сердцу Кагота: он предполагал, что Амос умрет естественной смертью. Разве не бывало так, что живет-живет человек, вроде бы все у него хорошо, а приходит утро — и его уже нет, то есть то, что делало его живым в здешнем мире, ушло из него и осталась только телесная оболочка; ее в белом одеянии уносят на возвышение, где и совершают последний обряд прощания...

— Но я... я этого никогда не делал, — тихо молвил Кагот, чувствуя, как его охватывает дрожь, будто каким-то чудом зимняя стужа вошла внутрь его, сжала ледяными тисками сердце.

— Многое, о чем тебе никогда не доводилось даже слышать, теперь придется делать, — спокойно ответил Амос. — И еще ты должен запомнить: если человек верит в тебя, в твое могущество, сделай все, чтобы не разочаровать его.

Амос оделся во все белое: на ногах белые торбаса, переходящие в белые камусовые меховые штаны, на исху-

1501237
давшей старческой фигуре свободно висела белая кухлянка — так одевается человек, собравшийся навсегда покинуть мир живых. Под стать белому оленьему меху белели на голове Амоса его поредевшие волосы.

Был назначен день и час ухода великого шамана из жизни. Это должно произойти на рассвете, с первыми лучами поднимающегося солнца. Длинный ремень из сыромятной лахтачей кожи одним концом привязали к среднему столбу яранги, затем сделали обыкновенную петлю, а другой конец, который должен был тянуть Кагот, вывели наружу, через отверстие, сделанное в стене.

Кагот стоял у яранги Амоса, обратив взор на восточный край неба. Ярко полыхала заря, а над красной полосой догорали последние звезды. Полярная звезда, в окрестности которой отиралялся Амос, давно погасла. Кагот знал: она располагается высоко в небе и вокруг нее обращается все небо, все звезды, словно олени, привязанные к столбу. В окрестностях этой звезды и находятся стойбища самых заметных жителей земли, ушедших навсегда. Там, среди героев, жили и великие шаманы, и Амос намеревался именно там поставить свою небесную ярангу.

Конец ремня уже был в руках Кагота, и по его трепетанию он чувствовал, что Амос уже надел на себя петлю и ждет, когда она затянется вокруг шеи. Кагот вспомнил щею старика. Она была темной, жилистой, и когда Амос разговаривал или пел, то что-то в ней двигалось и жило как бы отдельной жизнью. Сейчас желтоватый ремень лежит вокруг нее над опущенным росомашным мехом воротником белой кухлянки.

Тишина стояла над селением. Все знали, что сегодня Амос уходит навсегда, и все давно проснулись, но никто не разговаривал, даже собаки не лаяли, и с морской стороны не слышалось ни одного звука. Утренний ветер утих перед восходом светила.

Блеснул первый луч, и Кагот, напрягшись, рванулся вперед, крепко держа в руках намотанный на руку конец ремня. Он почувствовал, как натянулся, задрожал ремень, заставив вспомнить первого моржа, загарпуненного собственной рукой. Но сейчас это был не морж, а человек, уходящий в окрестности главной звезды. Показался краешек светила, свет ослепил глаза, в это же мгновение с морской стороны поднялся ветерок и принес запах моря. Кагот широко раскрытыми полными слез глазами

смотрел на поднимающееся надо льдами солнце и шептал про себя невесть откуда рождающиеся слова:

О светило великое, солнце, хозяин неба!
Помоги мне, влей в меня силу,
Чтобы свершил я великое дело...
Помоги мне, о солнце, великое солнце!

Рывки и трепетание ремня были настолько сильными, что на какое-то мгновение показалось: Амос передумал, решил не уходить в окрестности Полярной звезды. И в то же время Кагот понимал, что пути назад нет и самое главное теперь — это удержать ремень, не ослабить его натяжение и довести священный обряд до конца. И когда уже казалось, что не осталось сил и под намотанным на руку ремнем показалась кровь, Кагот снова глянул на солнце и увидел, что оно оторвалось от земли и повисло над ледовым полем. Кагот упал на колени и вдруг почувствовал, что на другом конце ремня никого нет: будто отцепился Амос и ремень держится лишь за срединный столб яранги... Ужас охватил Кагота. Он повернулся назад и глянул на освещенную ярким солнцем безмолвную ярангу. На мгновение мелькнул дымок над конусом крыши, и белая большая птица, медленно махая крыльями, поднялась над древним жилищем и полетела ввысь, кругами отдаляясь от земли, пока не исчезла, не растворилась в лучах утреннего солнца. «Почему же он не сказал мне, — подумал Кагот, — что он уйдет в образе птицы?»

Над ярангой больше не было ни дыма, ни птицы.

Кагот потянул конец ремня. На другом его конце не чувствовалось ничего живого.

Неожиданное спокойствие снизошло на него.

Он медленно вошел в сумрачный чоттагини и подождал, пока глаза привыкнут к полутьме. Амос лежал недалеко от срединного столба, широко разбросав ноги и руки. По всему видать, жизнь долго не хотела уходить из его тела, ибо он разметал пепел в очаге, вывернул из гнезда бревно-изголовье и раскидал по чоттагину сиденья — китовые позвонки.

Широко открытые глаза бывшего шамана уже подернула пленка смерти. Кагот закрыл веки старику, освободил его шею от ремня, смотал ремень, а тело положил к пологу. Затем спокойно вышел из яранги и зажмурился от яркого солнца.

Когда открыл глаза, то увидел людей, идущих со всех концов селения. Они шли медленно, степенно. Когда они приблизились, Кагот заметил, что они стали как бы другими. Их взгляды были обращены на него так, словно ждали какого-то приказа, веского слова или откровения.

И тут Кагот понял: они были такими же, как и раньше, эти люди, его земляки, это он стал другим, заняв место Амоса.

— Он ушел от нас, — сообщил людям Кагот.

Он не сказал, что видел отлетающую белую птицу, решив, что не стоит говорить все, что является ему. Много дано лишь ему одному, и совсем не обязательно, чтобы об этом знал каждый.

Врачевание и другие обязанности оказались не столь сложными и обременительными, как думалось раньше. Разве так уж трудно угадать, кто безнадежно болен, а кто может выкарабкаться, укрепив веру в свое исцеление из слов могущественного шамана? Иногда достаточно было просто взглянуть на страждущего и сказать «ты будешь здоров», чтобы человек пошел на поправку. Что же касается предсказания погоды, то старый барометр оказался верным помощником и никогда не подводил Кагота. К тому же не зря он был благодарным и внимательным слушателем Амоса и многое успел перенять от покойного.

В остальном Кагот оставался таким же, как и другие жители Инакуля: ходил на охоту, ставил ловушки на пушного зверя, ездил на собаках в дальние стойбища оленных людей.

Когда приходили заморские шхуны, Кагот благодаря знанию языка и обычаев белых людей удачно торговал, выменивая на пушнину патроны для своего старого винчестера, чай, сахар, цветастую ткань для своей жены и другие чудные и ставшие вдруг такими необходимыми вещи. Единственное, чего он не брал никогда, это огненную веселящую воду, до которой были очень охочи его сородичи. У него было другое средство доводить себя до высшего волнения души — камлание. И тогда он слышал голос Внешних сил. А когда приходила нужда обращаться к этим силам, сами собой являлись сложенные в благозвучной последовательности слова. В особом расположении речений скрывался смысл, доступный лишь тому, кому адресовалось обращение. Плетение слов становилось для Кагота необходимым, и он часто ловил себя на

том, что пытается выстроить их даже во время обыденной работы — когда шагал по льду за тюленем, ставил сети на рыбу или мастерил новую нарту.

Зародыш огня заключен в неприметном полешке,
Волнами обточенном темном куске деревяшки.
Однако пока не ударил ты кремнем о камень —
Нетуг огня и тепло дремлет в вечном покое.
Так и в тебе, в женщине, внешне обычной,
В той, что каждую ночь на оленью постель ложится
Рядом со мной, нет огня до поры той,
Пока рука моя не коснется нежных пределов...

Единственный человек, который долго не мог привыкнуть к новому положению Кагота, была его жена Вааль. Поначалу она просто перепугалась, затаилась, ибо была слишком юна и неопытна, чтобы что-то понять. Но обретенная мудрость подсказала Каготу, что никто другой, кроме него самого, не сделает из этой пугливой, как весенняя птица, девушки настоящую жену-подругу.

Он был непривычно нежен и внимателен к ней. Шепча заклинания, Кагот исподволь размораживал душу женщины, высвобождая нежность, доверчивость и внутреннюю красоту.

— Как прекрасны твои слова! — жарко шептала Вааль, прижимаясь к нему. — Они как весенний поток вливаются в меня, и кровь моя становится теплее... Говори еще, говори, Кагот...

Взамен ушедшей жизни новая родится жизнь,
Так повелось на нашей холодной земле.
Жаркая плоть в единении с жаркою плотью
Новую жизнь начинают в теплой мгле...

Кагот порой сам удивлялся собственной внутренней силе, и ему казалось, что он может теперь многое. Вааль зачала, и впереди ожидалась новая жизнь взамен ушедшей, чтобы восстановилось справедливое равновесие. И в то же время он втайне опасался, что безграничное использование своего могущества может сильно повредить ему или же разгневать или вызовет недовольство у покровительствующих ему Внешних сил.

Кагот так и не разобрался толком, что собой представляли Внешние силы. То, что говорил Амос, было противоречиво: в понятие «Внешние силы» входили силы

добра и зла, многочисленные духи, божества; явления природы были знаком деяний этих сил.

Никогда еще у жителей Инакуля не было такого веселого и отзывчивого шамана, откровенно радующегося жизни и помогающего жить всем, кто нуждался в поддержке.

Слава о Каготе распространилась по тундре и морскому побережью. Вскоре стали приезжать жаждущие исцеления и утешения из других селений и дальних становищ.

Кагот поставил новую большую ярангу с двумя гостевыми пологам, которые редко пустовали. Среди гостей Кагота бывали и шаманы, которые приезжали не для исцеления своих недугов, а для того, чтобы поговорить с ним и, быть может, узнать что-то новое, сокровенное. С ними Кагот был осторожен, он мог часами рассуждать о сложности человеческого естества, но остерегался беседовать о силах, с которыми общался.

Приезжавшие к Каготу шаманы прежде всего допытывались: сумел ли он проникнуть в глубинные тайны этих сил? Кагот отвечал уклончиво не потому, что скрывал что-то, а потому, что сам не был уверен, правильно ли он понимает всю сложность мира Внешних сил:

Кому откроется вечная тайна звезд?
Кто расслышит в шелесте полярных сияний язык?
Кто разгадает в этих звуках суть звездных речений?
Кто разъяснит смысл очертаний
Птиц, зверей, скал и Дальних хребтов,
Легких облаков, и туч, и радуги, подпирающей небо?

Кагот держал в руках маленький, казавшийся игрушечным бубен, легко касался туго натянутой кожи гибкой палочкой из китового уса и вполголоса произносил рождающиеся в его душе заклинания, а гости внимали ему и считали, что слышат голоса Внешних сил, которые устами Кагота говорят с ними.

Новая жизнь, как и полагается новой жизни, появилась на рассвете, когда за стенами яранги бушевала весенняя снежная пурга.

Когда Каготу сообщили, что родилась девочка, в его душе поднялась огромная волна радости. Она, эта будущая жизнь, виделась ему в мечтах именно в облике маленькой девочки, воплощением нежности и хрупкости,

как тундровый цветок. Ему позволили войти к роженице лишь по прошествии времени, и, когда он увидел усталое, но счастливое лицо жены, он уразумел в эту минуту, что она окончательно доверилась ему. Отныне между ними больше не будет даже тени отчуждения, непонимания, незаметных людям, но таких ощутимых для них обоих. Маленький, еле видимый комочек жизни, закутанный в меха, вдруг разразился таким громким плачем, что Кагот от неожиданности вздрогнул и сказал:

— Она зовет меня... И поэтому имя ее — Айнана¹.

Какое это было счастливое время! Будто маленькое солнышко поселилось в яранге, заполнило своим светом даже самые укромные, самые темные углы древнего жилища. Торопясь из моря к берегу, Кагот слышал голос малышки и отвечал ей мысленно рождающимися в сердце словами:

Маленькая птичка проклюнула небо, и солнце
Хлынуло сверху на тундру и берег морской.
Маленькая птичка песней своей заглушила пургу
И тишину и покой повесила на голос свой.
Улыбкой согреешь остывший за ночь полог,
Хмурость и стылость изгонишь ты прочь,
И человек вместе с тобой засветится улыбкой.
Сердце свое он согреет твоей добротой.

Кагот тащил на ременной бечеве окаменевшую от мороза нерпу и не чувствовал усталости, предвкушая радость свидания с Айнаной и Вааль.

Наступило лето, полное событий. Пришли американские шхуны, и знакомые моряки сообщили Каготу, что самый большой человек России — Солнечный владыка — низвергнут со своего золотого сиденья.

Для Кагота эти новости не были интересны, ибо владичество белого человека для него не было понятным. Но он заметил, что русский патрульный корабль перестал приходить, и почуявшие безнаказанность американские торговцы на больших и малых кораблях бороздили прибрежные лагуны и мелкие бухты, выторговывая все, что можно, — от помятых оленьих пыжиков до осколков мореного моржового бивня, выкопанного на старых святилищах.

Погруженный в собственное счастье, Кагот не обращал внимания на события, происходящие в дальних

¹ Ай н а н а — зовущая.

краях, да и новости, приходившие оттуда, не оказывали никакого влияния на размеренную, испокон веков устоявшуюся жизнь прибрежного населения. Он часто брал с собой подростку дочку и уходил с ней далеко в тундру, к тихим озерам, кишущим рыбой, на берега задумчивых медленных потоков, обрамленных мягким мхом, на сухие каменистые пригорки, откуда было далеко видно, а при легком ветерке казалось, что мысли и думы летят вместе с ним за зубчатые края Дальнего горного хребта.

Он пел песни, и девочка неожиданно посерьезневшими глазами следила за движениями его губ, вслушивалась в размеренное течение самих собой складывающихся слов — в голоса Внешних сил.

Прошло еще две зимы.

Никто не предполагал, что беда придет в такое прекрасное время, когда солнце набирало новую силу, отяжелевший снег начал оседать и из-под него двинулись прозрачные потоки талой воды. Первой заболела старая женщина из крайней яранги. Она умерла под утро, даже не успев позвать Кагота. Он пришел, когда остывающее тело уже одевали в погребальные одежды. Потом пришел черед молодой женщины из той же яранги. Сначала она покрылась красными пятнами, словно кровь пыталась прорваться наружу, а потом запылала жаром. Кагот пришел в полном шаманском облачении и повелел оставить его наедине с больной.

Он пытался вспомнить, что говорил ему Амос о болезнях, воскрешал в памяти каждое его слово. Было похоже на то, что в селении появились рэккэны — крохотные существа в человеческом обличье, перевозчики различных болезней и большого несчастья. Их нарты блуждают где-то здесь, между ярангами, заноса в жилища невидимое зло. Но где они? Почему Внешние силы не дают ему увидеть их и отвести от селения подальше в тундру? Странное дело — сейчас, когда он в такой тревоге, голоса не говорили с ним и через него размеренной речью, и он остался как бы безмолвным перед ужасным бедствием.

Одетый в белую матерчатую кухлянку, с небольшим копьём в руке, он бродил по окрестностям, всматриваясь в каждое пятнышко на снегу, часто принимая черноту за нарту, упряжку, за крохотную фигурку человека. Но оказывалось, что это куропачий след на снегу или воронье перо, шевелящееся под легким ветром.

На третий день понял, что повредил зрение — он ничего не видел. Из глаз нескончаемым потоком лились слезы, а резь была такая, словно истолкли на каменной ступе стеклянную посуду из-под огненной воды и насыпали ему под веки. Кагот знал, что в этом случае единственное лекарство — оставаться в полутьме яранги с крепко завязанными глазами.

Его звали в соседние яранги, но он со стыдом говорил, что покамляет у себя дома, добавляя, что сила шаманского действия не зависит от расстояния и не требует постоянного личного присутствия шамана.

Когда вернулось зрение, он с ужасом увидел признаки болезни на любимом лице своей жены Вааль. Она не жаловалась, и голос ее, как всегда, был ровен и спокоен, как если бы ничего с ней не случилось.

Кагот унес малышку в родительскую ярангу, где старики пока еще были здоровы, и вернулся домой. Он положил жену у задней стенки мехового полога и обнажил ее тело. Горел лишь один жирник, и пламя в нем было крохотное, как красный щенячий язычок. Каготу показалось, что от тела жены исходит сияние жара.

Он медленно облачился в шаманское одеяние, натягивая на себя все амулеты и знаки могущества, оставшиеся от Амоса. Маленькие фигурки неведомых зверюшек, птичек из незнакомого темного дерева холодно липли к телу, вызывая озноб. Кагот взял большой бубен, обрамленный бахромой из сушеных волчьих лап, сухо гремевших от движения, и дунул на огонь. Пламя отпрыгнуло от жирника и исчезло. «Так гаснет и исчезает неведомо куда человеческая жизнь», — подумал Кагот и поднял голову ввысь, к низкому потолку из оленьих шкур.

Сначала он ждал. Ждал, когда найдет на него, как волна, как отголосок далекой бури, охватывающая все существо дрожь возбуждения, огонь, вспыхивающий в каждой частичке тела. Но почему-то приходили иные мысли, другие чувства овладевали им. Он видел тело жены. Она лежала, распростершись, у задней стенки мехового полога, и кожа ее светилась. Оленьи шкуры полога не были сплошными: в них оставалось множество невидимых при свете дырочек, проплешин, сквозь которые теперь сочился свет из чоттагина.

Кагот прислушался к дыханию жены. Оно было прерывистым и жарким.

— Вааль, — тихо позвал он.

— Я слушаю тебя, Кагот...

Кагот в испуге встрепенулся: голос исходил не от лежащего тела, а из верхнего угла полога, из самой темной его части, где даже при свете яркого жирника всегда оставалась тьма, словно затаившаяся там, в укромном углу.

— Почему ты говоришь оттуда?

— Потому что я здесь, Кагот...

— Но ведь ты лежишь внизу... я вижу твоё тело.

— Я тоже вижу своё тело, Кагот, и оно уже не моё...

— Нет! Нет! Нет! — страшным, неожиданным даже для себя голосом вскричал Кагот и ринулся к лежащей у стены Вааль. Отбросив бубен, он обеими руками обхватил её пылающее тело и взмолился: — Ну потерпи немного!.. Подожди, Вааль!

Ошупью найдя бубен, он ударил в него изо всех сил, исторгнув из упругой, туго натянутой кожи звук небывалой силы. Он прокатился над головой, ударился в стенки мехового полога и, пройдя сквозь оленью шкуру, продыравив её, устремился ввысь, в пространство.

Звуки сами собой исторгались из горла Кагота, и он только боялся, как бы они не разорвали его своим мощным напором. Рука колотила бубен, и рокотание его, сильное и звонкое, следом за песнопением вырвалось из яранги, взлохмачивая края дыры, образовавшейся в меховом пологе. Он не мог сказать, какие слова, какие звуки вылетали из его сведенного судорогой рта, это было вне его сознания, вне его понимания. Только одна мысль была ясной и отчетливой: спасти, вытащить из когтистых лап болезни жену. Взгляд его не отрывался от распростертого у меховой стенки полога обнаженного тела, и сквозь слезы и пот он видел, как Вааль то поднималась, паря над полом, высланным моржовой кожей, то снова опускалась, мягко касаясь оленьей шкуры.

Сколько времени длилось камлание, он не знал, не знал, как долго лежал в забытии у потухшего жирника. Сознание медленно возвращалось к нему, холод коснулся его обнаженной груди, поднялся к лицу, к закрытым глазам. Сначала была мысль: то был долгий и мучительный сон. Все это приснилось: и болезни, и невидимые рэккэны, везущие на маленьких нарточках, запряженных крохотными собачками, беду, и охваченная огненным недугом Вааль. Сейчас он откроет глаза и окажется в привычном остывшем пологе — потух жирник и студёный воздух помаленьку просочился внутрь. Так всегда бывает на рассвете, когда снятся сны. Вот сейчас он протянет

руку и дотронется до теплого плеча жены. Она вздрогнет, давая знак, что проснулась, и придвинется ближе. Но что это? Рука наткнулась на ледяное, остывшее тело. Он отдернул ее, боясь открыть глаза. Нет, это не сон! Как же так? Он вложил в камлание всю свою мощь, всю силу любви, всю силу веры в могущество и справедливость Внешних сил. И они не вняли его мольбам...

Этого не может быть!

Как мучительно возвращаться в печальную действительность. Да, это не сон, а явь, и ничего уже не исправить, не переделать. Какая жестокость! Какая несправедливость! Почему так случилось? Кому могло помешать их тихое, никому не вредящее счастье? Где же вы, великие Внешние силы?

Тело твоё остается лежать на земле,
А то, что было тобой, воспарило, исчезло навек.
Никто не вернет ни улыбку твою, ни взгляд,
Ни голос живой, ни дыханье, ни кожи тепло.
Солнце великое уже не согреет меня,
Холодом веет от его блестящих лучей.
Лучше бы мне уйти к высокой звезде,
Лишь бы весна снова пришла к тебе...

Сердце окаменело. Он только знал, что неумолимая болезнь может настигнуть и Айнану, вырвать и ее из жизни. Поэтому он торопился похоронить Вааль. Он снес ее на собственных руках, не доверив тело погребальной нарте, на холм Успокоения.

Весна сияла с неба, безучастная к горю, равнодушная к печали. Она сияла Каготу, когда он запрягал собак и отъезжал в тишине светлой ночи от Инакуля, чтобы убежать от рэкэнов, от горя, от своего бессилия... Он ждал погони, но ее не было. Быть может, там, в Инакуле, поначалу надеялись на его возвращение? Но сейчас для них уже должно быть ясно, что он ушел навсегда.

Амтын еще раз посмотрел на Кагота и решительно сказал:

— Завтра идем торговать на корабль. Пусть Каляна соберет все, что у нее есть. Надо спешить. Как только в окрестных селениях узнают про корабль, тут же зайвтся, и нам ничего не достанется. А у нас нет ни чая, ни табака, ни запаса патронов к винчестерам. Мы будем последними глупцами, если не воспользуемся пребыва-

нием корабля у наших берегов... Подозреваю, что у них есть большой запас огненной веселящей воды!

Предвкушая будущее удовольствие, Амтын даже сглотнул слюну.

3

Главным предметом разговоров в кают-компании «Мод» были предстоящая зимовка и местные жители. Беседовали обычно за очередной трапезой. Пищу для членов экспедиции готовил сам начальник. Вот и сейчас за послеобеденным кофе Амундсен объявил своим спутникам примерный план действий;

— После того как мы подготовим корабль к зимовке, попытаемся достичь ближайшей радиотелеграфной станции. Насколько я понял из разговоров с местными жителями, она находится в Нижне-Колымске.

— А не путают ли они ее с церковью? — высказал сомнение рассудительный механик Сундбек.

— Не думаю, — ответил Амундсен. — По-моему, Кагот прекрасно понял, о чем идет речь. — Если радио в Нижне-Колымске по каким-либо причинам не работает, то придется держать путь в Ново-Мариинск. Я знаю, что Свердруп горит желанием немедленно отправиться в кочевые туземные стойбища, чтобы заняться этнографическими исследованиями. Но придется потерпеть... Что касается самого места зимовки, то нам грех жаловаться: на всем протяжении от Чаунской губы до мыса Восточного¹ более удобного места не найти. Сегодня утром я размышлял вот о чем: нам повезло и в том отношении, что на многие мили вокруг нет сколько-нибудь большого скопления людей. Это нам позволит спокойно отдаться научной работе и не тратить времени на прием гостей. Но и оставаться совсем одинокими мы не можем. Вчерашний визит в туземное селение произвел на меня хорошее впечатление. Судя по всему, здешние люди достаточно развиты, не назойливы...

— И один из них прекрасно говорит по-английски! — добавил Хансен.

— Это обстоятельство для нас очень ценно, — кивнул Амундсен. — Скажите, господин Олонкин, здешние чукчи имеют какую-нибудь этническую связь с теми народами, которые населяют Таймыр?

¹ Мыс Дежнева.

— Чукотский язык, — ответил Олонкин, — на мой слух совершенно другой. Что же касается административного подчинения, то в перечне народов Российской империи, опубликованном в связи с трехсотлетием дома Романовых, чукчи были отнесены к народам не вполне покоренным.

— Интересно! — воскликнул Амундсен. — Они что же, не платили ясака?

— Только добровольно, — ответил Олонкин. — И называлось это не ясак, а подарок царю. Я слышал, что иногда приносили такую рухлядь, что стыдно было в руки брать.

Немного помолчав, Олонкин продолжал:

— Трудно предположить, чтобы население этих мест осталось в первобытной нетронутости. Как вы знаете, недалеко отсюда зимовал Норденшельд, а совсем недавно работала экспедиция русского гидрографа Вилькицкого...

— Да, я читал об этой экспедиции, — кивнул Амундсен.

— И вообще, — сказал Олонкин, — русские мореплаватели бывали на этих берегах еще с давних времен. Есть письменные свидетельства, датируемые началом восемнадцатого века, о том, что мыс Восточный первым обогнул русский казак Семен Дежнев.

— Это удивительно! — произнес Амундсен. — Скажите, правда ли, что древние русские мореплаватели каким-то образом ухитрялись добираться из устья Колымы до мыса Восточного даже в начале мая?

— Да, — ответил Олонкин. — Они пользовались для этого прибрежными полыньями. Но для такого плавания нужны суда с малой осадкой. Древние русские мореплаватели пользовались в этих случаях специальными судами, которые назывались кочами...

— Наподобие эскимосских байдар? — спросил Сундбек.

— Да, только больших размеров, — ответил Олонкин. — Эта часть побережья России издавна посещается китобоями и американскими торговыми кораблями. Я даже уверен, что где-то поблизости есть американский торговый пост...

— Одним словом, — заключил Амундсен, — надеялись устроиться в тихом переулке, а оказались на главной торговой улице Северо-Востока!

После обеда все разошлись по рабочим местам.

Вымыв посуду, Амундсен присоединился к тем, кто возводил на берегу собачник. На его сооружение пошли бочки, из которых горючее было перекачано в опорожненные судовые цистерны. Помещение получилось достаточно высоким, с крышей из плотного брезента. Снаружи стены еще обложили пластами плотного снега.

В становище пока не наблюдалось движения, и Амундсен уже начал беспокоиться, решив после ужина направиться с визитом на берег.

Но не успели они покончить с ужином, как вахтенный крикнул в раскрытую дверь кают-компании:

— К нам идут гости!

По едва обозначившемуся следу, протоптанному на свежем снегу, к «Мод» медленно тянулась цепочка людей. Они шли, осторожно ступая по молодому льду. Первым шагал Амтын. За ним следовал Кагот, а позади тянулись три женщины в меховых комбинезонах, с непокрытыми головами. Очевидно, мороз в пятнадцать градусов был для них недостаточен суров.

Амтын еще издали произнес приветственные слова и ловко вскарабкался на борт. За ним последовали остальные.

— Мы пришли торговать, — заявил через Кагота Амтын и сделал знак женщинам.

Женщины принялись развязывать туго набитые, довольно вместительные кожаные мешки.

На палубе было ветрено: зимний навес над ней еще не был готов, — и поэтому Амундсен пригласил всех в кают-компанию.

На европейский взгляд казалось, что все туземцы — да еще одетые в одинаковые меховые одежды — на одно лицо. Однако Амундсен среди женщин сразу узнал жену хозяина, миловидную, смущающуюся Чейвынэ. Вторая женщина была постарше. Третья — совсем молоденькая девушка, по-своему очень красивая.

Пока гостей обносили наскоро приготовленным сладким чаем с сухарями, они с нескрываемым интересом осматривались вокруг и о чем-то приглушенно переговаривались.

— Мы пришли торговать, — снова объявил Амтын. Он явно торопился.

Сегодня в становище пришли из Энурмина две упряжки с дальними родичами. Те увидели корабль и решили тоже попытать счастья: отправились обратно за пушиной. Их приезд заставил Амтына принять окончательное

решение: надо выторговать у тангитанов все, что только возможно, пока не появились другие жаждущие выменять пушнину на необходимые товары.

— Господин Амтын! — медленно сказал Амундсен, давая возможность Каготу переводить. — Наше судно не торговый корабль. И я хочу, чтобы вы это знали. Наше главное дело — исследовать берега, определить морские глубины, течения...

Кагот всматривался в лицо Амундсена, пытаюсь понять, что это за человек. Может ли быть такое, чтобы кто-то из тангитанов безо всякой корысти плавал вдоль берегов Чукотки, лишь для удовлетворения своей любознательности? Лицо у норвежца было резкое, холодное, глаза пронизательные, почти все время прищуренные. В отличие от других тангитанов, с которыми Каготу доводилось встречаться, он вчера вошел в ярангу с таким видом, словно ему не впервые бывать в подобном жилище, не воротил нос от непривычного запаха, ел, как заправский луоравэтлян¹, с помощью ножа. А может, и верно, что он послан какими-то далекими властями, чтобы для них разузнать пути-дороги через ледовые моря? Кагот силился вспомнить то, о чем ему говорили на «Белинде», — о шарообразности Земли, и пытался представить себе, с какой стороны приплыла «Мод». Судя по всему, это совсем иная сторона, не та, с которой сюда приходили американские шхуны. Русские обычно плыли со стороны Анадыря и Камчатки и из дальнего селения, которое называлось Владивосток. И все русские торговцы были из тех мест.

Амтын терпеливо выслушал Амундсена, но еще раз настойчиво сказал:

— И все-таки мы пришли торговать.

Он сделал знак женщинам, чтобы те развязали мешки, и высыпал на линолеум кают-компания шкурки горностаев, песцов, лис и несколько пыжиков.

Амундсен немного растерялся, но, взяв себя в руки, довольно настойчиво произнес:

— Извините меня, господин Амтын, но я не могу с вами вступать в торговые отношения. Поймите меня правильно: во-первых, у меня нет на это никакого права, во-вторых, я даже не знаю, сколько все это стоит.

¹ Луоравэтлян — самоназвание чукчей, дословно «настоящий человек».

Кагот не понимал, почему норвежец отказывается, но добросовестно переводил каждое его слово Амтыну.

— Мы нуждаемся в чае, табаке, патронах для винчестеров, тканях для камлеек, — сказал Амтын. — Но если вы не хотите торговать, то прошу принять все это в подарок.

Он взял охапку пушнины и бросил ее к ногам Амундсена.

— И такой подарок принять не могу, — продолжал сопротивляться странный тангитан.

Амтын посмотрел на него умоляюще и, помотав головой, решительно сказал:

— Все равно мы это обратно не возьмем! Раз я сказал, что это подарок, значит, вы должны его принять! Иначе вы нас кровно обидите!

— Послушайте, господин Амтын, — с улыбкой заговорил Амундсен, — если вам нужны какие-то продукты и патроны, то у вас есть возможность получить все это другим способом...

Амтын насторожился.

— Что он имеет в виду? — спросил он Кагота.

— Мы очень нуждаемся в корме для собак, — объяснил Амундсен. — Его нам нужно много, так как у нас около шести десятков собак. Далее: мы собираемся отправлять несколько санных экспедиций. Для них требуется не только собачий корм, но и теплая одежда. Так что вашим женщинам будет довольно работы. А за собачий корм и за меховую одежду мы будем вам платить продуктами, которые имеются в наших запасах.

Амтын внимательно выслушал Амундсена и сказал в ответ:

— У нас заготовлено достаточно копальхена. Это хороший корм. Наши женщины искусны в шитье. Мы вам поможем всем, что у нас есть... Но вот это, — он тронул носком торбаса кучу меха, — подарок. Я все сказал.

Пришлось Амундсену пушнину взять. Но в ответ он щедро одарил гостей мукой, чаем, сахаром, табаком, нитками, отрезами цветного ситца для женщин и в довершение всего преподнес ящик патронов для винчестеров.

За мысом Еппы тянулась погребенная подо льдом и снегом узкая галечная коса, где по осени вылегал моржи. После забоя часть добычи закатали в кымгты —

рулоны из цельного куска моржа вместе с кожей, слоем жира и мяса. Это и был копальхен. Қымгыты складывались в неглубокие земляные ямы и прекрасно сохранялись до следующей зимы. В зимнее время они одинаково служили пищей и собакам и людям.

У Қагота там была небольшая доля. Собаки после долгого летнего безделья резво бежали по свежавыпавшему снегу, радуясь новой зиме и встречному холодному ветру.

Қагот ехал след в след за нартой Амтына и мысленно высчитывал, сколько надо взять копальхена для приезжих, чтобы осталось и для себя и для своих собак.

Добравшись до хранилища, Амтын притормозил нарту и свалил ее набок, чтобы собаки не убежали. Подошел к Қаготу и уселся с ним рядом.

— Хорошо бы сделать так, чтобы народ сюда не ехал... — осторожно сказал Амтын, набивая трубку мягким, похожим на осеннюю траву табаком.

— Это не в моих силах, — ответил Қагот. — Да и как можно запретить?

— Пусть бы ехали своей дорогой, — сердито и озабоченно произнес Амтын. — Не останавливались здесь.

Қагот не думал, что Амтын так охоч до тангитаиского добра. А может, это оттого, что в это крохотное становище не заворачивали даже самые захудалые торговые корабли? Должно быть, глянув на едва различимые три яранги, думали: ну чем можно поживиться на этом пустынном берегу? И чай и табак в становище Амтына доставали через своих же, кому удалось выменять заморский товар. С установлением нартового пути, по первой зимней дороге, в сторону Колымы проезжали кавралины — чукчи, занимающиеся меновой торговлей среди своих же сородичей. Они брали то же, что и белые торговцы: пушнину, моржовые бивни, китовый ус, изделия из оленьих шкур — спальные мешки, торбаса, кухлянки. Но то, что они давали взамен, ценили намного дороже, чем купили у корабельных купцов. Кроме тех торговцев, которые приплывали на кораблях, кое-где сидели и постоянные. Так, недалеко отсюда торговал норвежец Бен Свенссон, а дальше, на мысе Восточном, уже долгие годы держал торговый пост американец Чарлз Карпендель. Рядом с ним с недавних пор открылось и торговое заведение братьев Караевых, представителей русской фирмы из Владивостока,

Проехали узенький пролив, соединяющий лагуну с морем. Лед еще был тонкий и угрожающе поскрипывал под полозьями.

Мясные хранилища устраивались так, чтобы нетающая земля — вечная мерзлота — подступала снизу и мясо не протухло. В таких условиях моржати́на пропитывалась своими соками, что придавало копальхену необыкновенный вкус. Когда разрубишь кымгыт острым топором, щекочу́щий ноздри аромат разносится далеко, возбуждая аппетит и желание положить на язык кусок холодного моржового мяса.

Кагот с помощью китовой кости, насаженной на палку, разгреб снег и добрался до крышки, сколоченной из нескольких досок. Коротким острым багорчиком Кагот зацепил один кымгыт и вытянул на поверхность. Не в силах побороть искушение, достал топорик и отрубил с краю кусок. Копальхен был отменный: слой чуть позеленевшего жира постепенно переходил в розоватость крупноволокнистого мяса, переложенного кристаллами замерзшей влаги. Отстругав острым ножом тонкий кусочек, такой, что через него можно было смотреть на солнце, Кагот положил его на язык и подержал некоторое время, смакуя. Больше двух кымгытов не увезти, решил Кагот, так как лед в небольшом проливе, ведущем к лагуне, еще тонок и нарта может провалиться.

Погрузив копальхен, Кагот тщательно прикрыл мясное хранилище и сверху для верности положил еще несколько тяжелых камней. Зимой бывает так, что голодные росوماхи и песцы разрывают хранилища. А то может пожаловать и сам умка, хозяин ледовых просторов. Правда, он предпочитает свежати́ну, но, когда голодный, не брезгует и копальхеном.

Пока Кагот заваливал снегом крышу хранилища, большие черные вороны невесть откуда подлетели и подобрали крошки.

Амтын увязывал груз толстыми желтыми лахтачьими ремнями. Кагот подошел к нему и, увидев груз на его нарте, спросил:

— Не тяжело — четыре кымгыта? Я слышал, как трещал лед, когда мы ехали через пролив.

Амтын немного подумал и ответил:

— Если как следует разогнаться, можно проскочить.

Амтын уселся на увязанные кымгыты и достал трубку. К запаху нового снега и копальхена прибавился аромат пахучего дыма. Амтын курил истово, сосредото-

ченно, медленно выпуская из себя дым. Синее облачко струилось из ноздрей, задерживаясь, путаясь в усах. Глядя на него, Каготу тоже захотелось курить.

Пока курили, разговаривали.

— Я бы отдал все кымгты Амундсену, — рассуждал Амтын, — если бы знал, что он все-таки что-то продаст... Мне бы хотелось получить от него хороший вишчестер. Мой старый совсем пикудышный, мажет, жалко патронов. За новый я бы отдал все содержимое мясного хранилища.

— На собак-то ему не очень много копальхена нужно, — заметил Кагот. — Может, он захочет свежей нерпы или лахтака?

— Скоро уже можно за нерпой на лед, — сказал Амтын. — Как думаешь, какая охота будет в этом году?

Кагот остерегался делать предсказания, но тут как-то само собой вышло:

— У меня такое предчувствие, что нерпы в эту зиму будет довольноно...

— Вот это хорошо, — с удовлетворением заметил Амтын. — Хочу тебе вот что сказать... Только не обижайся на меня... Каляна жаловалась моей жене...

— Я не хочу об этом говорить, — тихо сказал Кагот.

Он еще не забыл Вааль. Не только не забыл, но и чувствовал, знал, что она недалеко. Иногда, обычно по ночам, она являлась ему, особенно под утро, когда не знаешь, проснулся ты или еще спишь. Это было так явно, что, даже открыв глаза, Кагот еще долго ощущал тепло ее мягких, ласковых рук, слышал ее голос, чувствовал нежное дыхание. Он смотрел в тот угол мехового полога, где мгла была густой и непроницаемой, и именно там видел ее лицо, обрамленное густыми черными волосами, блеск ее глаз, и тихий, только ему слышимый голос доносился до его слуха. Он молча слушал, стараясь даже не дышать, боясь спугнуть ее неосторожным движением. А порой она голосом давала знать о своем присутствии, особенно в море или далеко в тундре, когда никого вокруг, кроме земли, камней и плывущих в небе облаков. Голос мог исходить откуда угодно, и Кагот дивился многообразию ее превращений, потому что Вааль могла вдруг окликнуть его со дна тундровой речки или озера, когда он нагибался, чтобы зачерпнуть ладонью чистой холодной воды, или заговорить с ним из нагромождения камней, из евражечьей норы. Ее облик мог внезапно возникнуть в очертаниях облаков, во вставшем

над морем тумане, во льдах, в глубине морской воды уходящей, тающей тенью.

Он разговаривал с ней, говорил ей нежные слова, рассказывал о дочери, о ее играх, словах, улыбке, так похожей на ее улыбку. Вааль — или то, что осталось от нее, — никогда не интересовалась простой земной жизнью, ни разу не спросила, почему он покинул Инакуль, где живет, что за женщина спит с ним в одном пологе. Она спрашивала только о чувствах и мыслях Кагота, словно боялась, что он забудет, потеряет, выронит ее из своей памяти. Может быть, поэтому она была особенно насторожена по ночам и являлась в темноте?

Амтын смотрел на задумавшегося Кагота и терялся в догадках: то ли парень не в своем уме или же он вправду из тех высоководохновенных шаманов, чьи мысли большей частью вне здешнего мира?

— Ну, двинулись, — сказал Амтын, тщательно выколотив трубку о подошву торбаса. — Ты езжай вперед, а я за тобой.

Собаки рванули, и Кагот вскочил на нарту, усевшись бочком, чтобы видеть едущего следом. Ему приходилось притормаживать: тяжело груженная нарта Амтына шла медленно, седок вынужден был соскакивать и помогать собакам.

От занесенной снегом галечной косы поначалу взяли направление на тундру, чтобы миновать прибрежную полосу льда с торчащими обломками торосов и ропаками. Собаки бежали по целине, но не проваливались, так как слой снега был еще тонок и под ним чувствовалась промерзшая до каменной твердости земля. По-прежнему погода оставалась пасмурной, и время от времени темные тучи, нависшие над землей, раздражались снегопадом. Иногда задувал ветер и поднимал легкий, еще не слежавшийся снег, словно пробуя свою силу перед долгими зимними пургами.

Кагот старался и никак не мог найти удобное место на окаменевших бугристых кымгтах, чувствуя, как постепенно сквозь нижние меховые штаны и верхние нерпичьи к телу начинает проникать накопленный моржовым мясом и жиром холод. Приходилось менять положение, соскакивать с нарты, бежать рядом, держась рукой за срединную дугу. Несколько раз Кагот останавливался, чтобы дать возможность Амтыну догнать его: тяжело груженная нарта шла с трудом, и собаки высунули язы-

ки. За лето они отвыкли от тяжелой работы и первое время быстро уставали.

Будь Кагот один, он давно бы уже проехал маленький пролив и приблизился к селению со стороны замерзшей лагуны. Морской лед напротив пролива, соединяющего море с лагуной, выделялся темным цветом: видно, на поверхность выступила вода и снег на льдине был мокрый.

Прежде чем спуститься с берега на лед пролива, Кагот подождал Амтына.

— По своему следу поедем?

Амтын притормозил нарту, закрепил ее остолом — палкой с железным наконечником — и спустился на лед. Вернувшись, сказал:

— Самое надежное место. Езжай вперед, а я следом двинусь.

Каготу не потребовалось много времени, чтобы съехать с довольно крутого склона и быстро проскочить короткое пространство до противоположного берега. Перейдя на другой берег, Кагот, не напрягая голоса, мог разговаривать с Амтыном.

— Ну как? — спросил тот.

— Вроде лед крепкий. На этот раз даже треска не было слышно. Но, может, лучше твои кымгыты перевезем по два, а не все сразу?

— Ничего, — уверенно произнес Амтын. — Я этот пролив знаю хорошо. В это время лед на нем уже достаточно крепкий.

Вынув из снега остол, он громко крикнул на собак и помог им сдернуть нарту. Собаки взяли дружно, с лаем двинувшись на лед, на котором отчетливо виднелся след от полозьев первой нарти.

Уже на середине пролива вдруг в одно мгновение нарта провалилась, а вслед за ней и Амтын. Кагот, оцепенев от ужаса, видел только четырех собак, которые пытались уцепиться за края неожиданно образовавшейся полыньи. Они жалобно, хрипло визжали, а остальные время от времени безмолвно показывались в кипящей от сильного течения воде.

Вынырнула голова Амтына. Его небольшие узкие глаза так выпучились, что в первое мгновение Каготу показалось, что из воды возник другой человек.

Амтын издал невероятный, животный вскрик, от которого у Кагота похолодело в груди. Он недвижно стоял у нарти, возле своих собак, которые, видя и чуя пеладное, громко и протяжно завывали.

Амтын так и ушел с криком в воду, за ним постепенно утягивались одна за другой собаки, оглашая окрестность истошным воем. Кагот не знал, куда деться от этого воя и от звучащего в ушах нечеловеческого вопля Амтына. Ушла, захлебнувшись ледяной водой, последняя собака упряжки, а Кагот все стоял недвижно у своей нарты, и только одна мысль билась в голове: он не может, не имеет права — согласно обычаю и велениям Внешних сил — спасать человека, к которому протянули руки морские боги. Неожиданно вспомнились предсмертные судороги Амоса, его ожесточенные рывки, когда старый шаман пытался освободиться от неумолимо стягивающегося вокруг его шеи лахтачьего ремня.

И тут случилось неожиданное: из темной, почти успокоившейся воды снова показалась голова Амтына с выпученными остекленелыми глазами, с широко раскрытым ртом. Но голоса не было, не было крика, слышалось только странное сипение, будто из туго надутого поплавка — пыхпыха — медленно выходил воздух.

Не думая о том, что делает, Кагот бросился вперед, распластавшись на непрочном льду, он скользнул к Амтыну и ухватил его за откинувшийся край капюшона. Обессилевший и потерявший сознание Амтын невероятно отяжелел, но Каготу некогда было размышлять об этом, как и о том, что Внешние силы неодобрительно отнесутся к его действиям.

Вытанув Амтына на лед, он потащил его к своей нарте. Перевернув его лицом вниз и положив животом на свое согнутое колено, принялся энергично нажимать на спину. Изо рта и носа Амтына обильно полилась вода, но дыхание не появлялось. Время от времени Кагот останавливался и прислушивался. Когда-то старый Амос учил, что в таком случае надо быть терпеливым, оживление человека, потерявшего дыхание, может продолжаться долго. Собаки перестали выть, но взвизгивали и тревожно посматривали на хозяина, занимавшегося непонятным и странным делом. Кагот понимал — главное, не останавливаться, не прекращать движения. Стало жарко, пришлось откинуть капюшон, потом снять малахай. Рукавицы лежали поодаль, сброшенные и наполовину втоптанные в снег.

Каготу казалось, что еще немного — и он сам потеряет сознание, свалится рядом с Амтыном. Но снова возникло воспоминание о пережитом, о бившемся на конце лахтачьего ремня Амосе. Прибавлялись силы, и он опять

принимался ритмично давить на спину бездыханного Амтына.

Если место есть для живого,
Оно должно быть полно живым.
Если воздух есть для дыхания,
Дыхание должно быть...
Если сердце должно забиться,
Пусть оно бьется вновь.
Нет на свете такого места,
Чтобы не было жизни там.

Слова вырывались из разгоряченной гортани, смешивались с паром, с хриплым дыханием, помогая тяжелой работе.

Вдруг Кагот почувствовал какое-то движение, бездыханное тело дернулось, а тихий стон заставил умолкнуть скулящих собак. Приподняв уши, они замерли в ожидании. Кагот приложил ухо к груди Амтына и сквозь толстую меховую кухлянку уловил частые, тяжелые удары ожившего сердца.

— Где я? — со стоном спросил Амтын, открывая глаза.

— На берегу Пильгына, — ответил Кагот, понимая, что Амтын думает, будто он уже на другом, нездешнем берегу.

— Что же случилось?

— Нарта утонула... Вместе с собаками и копальехом. А тебя я выловил.

— Ты меня спас, — тихо молвил Амтын. — Ты меня спас...

Чувство безмерного счастья и облегчения охватило Амтына. Да, не каждому удастся вырваться из такой беды... Но как же боги? Как посмотрят на это те Внешние силы, которые запрещают спасать человека, попавшего в воду или унесенного на дрейфующем льду, ибо он считается добычей морских богов? Но похоже, что у его спасителя были свои отношения с Внешними силами или же он о них сейчас не думает.

Кагот развязал тяжелый груз, столкнул с нарты округлые кымгыты и подтащил упряжку к распростертому на снегу Амтыну. Он положил его на нарту и гикнул собакам.

Собаки рванули и понеслись с такой резвостью, словно понимали серьезность положения. Каготу приходилось вставать на полоз, чтобы не отстать от нарты, не упустить мчащуюся упряжку.

На ветру и холоде Амтын задрожал, и сквозь клацающие зубы, рискуя прикусить язык, все говорил:

— Ты меня спас, Кагот... Ты меня спас...

— Лежи и молчи, — сказал ему Кагот. — Для тебя сейчас главное — тепло и покой.

Начался снегопад, косой, густой. Ветер дул с моря, и снежинки были крупные, тяжелые и мокрые. Они падали на лицо и медленно таяли, цеплялись за ресницы, затрудняли обзор. Собаки бежали тише: полозья плохо шли по мокрой дороге, не раскатались еще после долгой летней сушки.

Амтын тихо постанывал, все пытался что-то сказать, но в открытый рот летел снег, вызывая кашель и надрывный, идущий из глубины тела стон.

Кагот прислушивался к внутреннему своему состоянию и с тихой радостью обнаруживал в себе что-то новое. Мысль о том, что на нарте лежит живой человек, наполняла его особым ощущением. Чувства вины перед богами не было. Не было и страха, только легкая тревога. Кагот понимал, что, если бы он не бросился на помощь Амтыну, собственный суд был бы для него куда более жестким, чем суд богов. Амос говаривал, что относиться к ним с должным почтением и пониманием их могущества — это не значит бояться их. Бояться богов те, кто ведет нечестную, несправедливую и лживую жизнь. А тому, у кого душа и помыслы чисты, тот, кто чтит могущество Внешних сил и помнит о них, совершая в положенное время жертвоприношения, тому опасаться нечего. Внешние силы руководят жизнью человека не во вред, а на пользу ему.

Погибли собаки, ушла под лед нарта, брошены кымгыты, с таким трудом добытые в канун зимы, но человек жив!

Дорога пошла вверх. Это был последний подъем перед ярангами.

Вот уже можно различить колеблющийся огонек. Каждый раз, когда мужчина уходит в море или отправляется в путь, те, кто остается в яранге, к ожидаемому часу возвращения ставят перед отворенной дверью или, если нет ветра, прямо снаружи огонь в каменной площадке. Светлое пятнышко ведет усталого путника к дому, обещающая тепло и горячую еду.

Кагот направил упряжку прямо к жилищу Амтына. Остававшиеся в селении собаки встретили путников тревожным лаем, а женщина, ожидавшая возле яранги Ам-

тына, молча смотрела на Кагота и лежащий на его нарте необычный груз. Она уже поняла, что случилось несчастье, потому что второй нарты не было. Еще неизвестно, мертвое это тело или человек еще жив.

Чейвынэ с непокрытой головой, с распущенными волосами, в кэркэре,¹ медленно подошла к остановившейся нарте и слышала от Кагота:

— Он жив... Провалился под лед в Пильтыне. Собаки, нарта пропали. А вот он спасся.

Амтын открыл глаза, посмотрел мутным взглядом на жену и прохрипел, выплевывая сыпавшийся в его рот мокрый снег:

— Он меня спас... Он меня вытащил из воды... Он меня спас...

Кагот с Чейвынэ бережно подхватили Амтына и внесли в ярангу, прямо к меховому пологу.

— Раздень его донага, — распорядился Кагот, — дай ему горячего чаю. Как можно больше горячего чаю, оленьего бульону... Я сейчас вернусь.

Кагот отвел упряжку, распряг собак и, наказав Каляне покормить их, вернулся в ярангу Амтына.

Раздетый и раскрасневшийся от выпитого чая Амтын лежал на оленьей шкуре и медленно повествовал о случившемся:

— Тьма накрыла меня вместе с холодом... И я тогда подумал: ну все, кончилась моя земная жизнь и сейчас я предстану в другой. Разум смирился с этим, а тело все не хотело умирать — руки и ноги бились изо всех сил, старались вытолкнуть меня на поверхность. Сразу я не почувствовал холода, потом только, когда вода хлынула мне в рот, в уши... Наверное, я уже был там, в других краях, когда Кагот вытянул меня из воды. Я сначала и не поверил, что еще на земле. Грудь сильно болела и желудок... И-и-и, — простонал Амтын и закрыл глаза.

Кагот попросил всех выйти из полога. Они с Амтыном остались вдвоем. У задней меховой стенки полога ярко горел жирник, заполняя пространство желтым огнем и пахнувшим горелым жиром теплом.

— Послушай, Амтын, — заговорил Кагот, — раз уж так получилось, что ты вернулся в мир живущих, нужно подумать о будущем.

— Ты так говоришь, будто жалеешь, что спас меня, — усмехнулся Амтын.

¹ Кэркэр — меховой женский комбинезон.

— Я не жалею, — спокойно ответил Кагот. — Наоборот, я все больше укрепляюсь в мысли, что поступил правильно. Пожалеть могут другие. . .

— Кто же? — тревожно спросил Амтын.

— Внешние силы. Те, кто звал тебя в другую жизнь. . . Разве ты не слышал зова?

— Не помню. . . — неуверенно ответил Амтын. — Может, и был зов. . .

— Был зов, — с уверенностью сказал Кагот, — и тот, кто пренебрег этим, может навлечь на себя гнев богов.

— Да? — в испуге спросил Амтын. — Что же делать? Не возвращаться же, в самом деле, в ту холодную пустыню. . .

— Есть другой путь, — молвил Кагот.

Амтын в надежде посмотрел на него и даже приподнялся на локте на оленьей шкуре.

— Говори скорее — какой путь?

— Ты должен стать другим.

— Как это — стать другим? — с недоумением спросил Амтын.

— Ты должен сменить имя, — продолжал ровным голосом Кагот, — изменить свои привычки, одежду. Ты где ложишься, когда спишь?

— В пологе.

— Я спрашиваю, с какой стороны ложишься с женой — справа или слева?

— Обычно слева, — немного подумав, ответил Амтын. — Чейвынэ у самого полога. Она раньше меня встает.

— Ты должен спать на ее месте, а она — на твоём, — строго сказал Кагот.

Амтыну передалось тревожное состояние Кагота, но он, потрясенный своим спасением, еще плохо соображал и отвечал невпопад.

— А как все остальное?

— Что ты имеешь в виду? — не понял Кагот.

— Все-таки я мужчина, — с некоторой обидой в голосе напомнил Амтын.

— А, ты об этом?

Амтыну показалось, что Кагот усмехнулся, хотя сам он в этом не видел ничего смешного.

— Об этом сам думай. . . Делай иначе, не так, как привык, — посоветовал Кагот. — Не это главное. Главное сейчас, чтобы твои внешние признаки, поступки, известные людям, изменились.

— Ну как обо всем этом можно помнить? — жалобно простонал Амтын. — Уж лучше бы мне утонуть!

— Не говори так! Раз ты спасся, значит, и воля богов была на это. Те боги, которые хотели твоей смерти, уступили тем, кто помог спасти тебя. Но злые Внешние силы все помнят! Завтра с утра ты уже должен носить другое имя, — напомнил Кагот.

— Где же мы возьмем новое имя? — беспомощно развел руками Амтын.

— Имя я сам тебе дам, — сказал Кагот, чувствуя, как в груди у него растет что-то большое, радостное, как ветер восторга. — Я тебя нарекаю Амосом! Ты слышишь меня, Амос?

— Слышу, — тихо ответил человек, в изнеможении закрывая глаза, словно обретение нового имени отняло у него последние силы.

Кагот выбрался из полога и сказал собравшимся в чоттагине:

— Здесь больше нет Амтына... Тот человек, который сейчас спит в пологе, носит имя Амос! Запомните, его зовут Амос!

Снег пошел еще гуще, и поднявшийся ветер закрыл все видимое пространство. То темное и тяжелое, что лежало на сердце Кагота с того ясного весеннего утра, когда он лишил жизни старого шамана, ушло, исчезло, унесенное ветром с мокрым снегом.

Звезд не видно, не слышен их шелест,
Все погрузилось в черную мглу:
И человеческий голос, и зверя рычанье...
Нет ничего, только темень да черная тишина...
Кто отзовется тебе, кроме тебя самого?
Мысль твоя — лишь мысли твоей ответ.
Темень и тишина — души отражение твоей,
Мыслей темных студеной колыбель... , ,

5

Слабый снегопад и слабый ветер сначала напоминали предзимье в Норвегии, особенно в окрестностях Бунне-фиорда. Лед, по всему виду, установился крепко, если и будут происходить подвижки и торошение, то до корабля ледовое сжатие вряд ли дойдет.

Однако с конца сентября стало ясно, что здешняя погода ничего общего с норвежской не имеет. С каждым

днем усиливался мороз, а белизна, покрывшая окрестности, начинала действовать угнетающе.

Каждый день Амундсен начинал с того, что обходил корабль, проверяя, что на нем делалось, потом спускался на лед. Сундбек закончил сборку мареографа — прибора для регистрации колебаний уровня моря. Собачник был великолепен. В этом надежном и теплом убежище собакам не страшны ни ураганные пурги, ни жестокий мороз.

Работы по подготовке к зимовке подходили к концу.

Амундсен понимал, что научные результаты его экспедиции без точных сведений о коренных жителях этой земли будут неполными, поэтому пора было всерьез подумать об экспедиции Свердрупа в глубинные районы чукотской тундры. Вторая группа должна будет попытаться достичь Нижне-Колымска и отправить оттуда телеграммы на родину.

И хотя во время зимней стоянки можно обойтись меньшим числом людей, Амундсен вынашивал мысль нанять хотя бы одного человека для работы на борту корабля. Но пока среди тех, кто приходил на корабль в эти дни, не встретилось еще такого, кто подошел бы к постоянной жизни на борту экспедиционного судна.

Наладили паровую баню, и в один из вечеров все решило хорошенько вымыться.

В первую пару попали Амундсен и Свердруп, которому отдали предпочтение, справедливо полагая, что он по крайней мере полгода не будет иметь возможности как следует помыться.

— Практически народы этого края еще по-настоящему науке не известны, — говорил Свердруп, нежась в жаре, — ведь до нас здесь побывала только небольшая экспедиция Смитсонианского музея натуральной истории. . .

— Я слышал от Нансена о ней, — отозвался из облака пара Амундсен. — В ней работали в основном русские политические ссыльные — Богораз и Йохельсон. Они сделали первое описание языков и религий здешних народов. Но без знания языка, думаю, вам будет трудно. Во время зимовки у берегов Северной Канады я это особенно хорошо почувствовал. Иногда мне казалось, что я достаточно хорошо понимаю внутреннюю, душевную жизнь эскимосов, но потом случалось такое, что я возвращался к мысли, что они остаются загадкой для меня. . . Впрочем, думаю, не только для меня, но и для многих других,

даже для тех, кто полагает, что разгадал феномен арктического человека. Чтобы знать душу народа, надо знать его язык.

Необычный шум, донесшийся с палубы, и голос Олонкина заставили прервать разговор в такой располагающей обстановке.

— Гости, господин Амундсен! Большой караван собачьих упряжек приближается!

Вокруг корабля собрался настоящий табор из собачьих упряжек и каюров. Крики людей, визг и лай собак, пробивающийся сквозь темные тучи лунный свет создавали удивительную, неповторимую картину. Трудно было поверить, что все это происходит в арктической пустыне, славящейся своим безлюдьем и безмолвием.

В кают-компании уже собрались несколько человек, среди них бросались в глаза лица явно европейского происхождения.

— Здравствуйте, господа! — поздоровался Амундсен по-английски. — Рад вас приветствовать на корабле «Мод», совершающем в научных целях плавание по Северо-Восточному проходу.

Он отдал распоряжение приготовить и подать кофе для гостей. Многие из них освобождались от меховых одежд, сваливая кухлянки и малахаи прямо на пол у стен кают-компаний.

— Есть ли среди вас представители местных властей?

Услышав этот вопрос, гости переглянулись между собой. Один из них выдвинулся из толпы и довольно сносно заговорил по-английски.

— Меня зовут Григорий Кибизов. Я здешний торговец с мыса Северного. Должен вам сказать, господин Амундсен, что в России сейчас нет настоящей твердой власти. Идет гражданская война.

— Но надеюсь, что междоусобные столкновения происходят вдали от Чукотки?

— Увы! — развел руками Кибизов. — Борьба за власть между соперничающими группами докатилась и до наших краев... Следом за нами едут представители Анадырского ревкома.

— Господа, — после некоторого раздумья произнес Амундсен, — я всегда стоял вне политики и не собираюсь вмешиваться во внутренние дела России. Прошу рассматривать мои вопросы как естественный интерес человека науки. Мы намереваемся совершить несколько санных поездок в глубь материка и в Нижне-Колымск, чтобы

через тамошнюю радиостанцию послать телеграммы: наше правительство, наши близкие беспокоятся о судьбе экспедиции. И мне хотелось подробнее знать о действительном положении в здешних краях.

Кибизов с явным удовольствием отпил кофе и не жуя проглотил целиком мягкую, испеченную собственноручно Амундсеном булочку. Хозяин с любопытством следил за гостем. Его всегда интересовали люди, посвятившие свою жизнь добыванию богатств в этих суровых краях. Амундсен чувствовал к ним невольную симпатию, хотя никогда не позволил бы кому-либо сравнивать себя с ними.

— В начале семнадцатого года, — начал свой рассказ Кибизов, — здесь, как и во всей России, была провозглашена власть Временного правительства. Но долго все оставалось по-старому, поскольку новую администрацию сюда не прислали. В крупных селах, таких, как Уэлен, действовали царские полицейские и административные чины, а в Ново-Марининске располагалось уездное правление с уездным начальником Царегородцевым. Но затем Временное правительство лишило власти Царегородцева. А летом прошлого года в Ново-Марининск прибыла другая власть — верховного правителя Сибири адмирала Колчака...

— Извините, господин Кибизов, — прервал его Амундсен, — я просто не успеваю следить за вашим рассказом... Чем же отличается программа одной власти от другой?

— Сказать откровенно, — усмехнулся Кибизов, — нам и самим трудно разобраться...

— Ну а сейчас какая власть в России?

— В центральных районах страны, — продолжал Кибизов, — судя по американским газетам и сведениям, полученным по телеграфу, у власти стоят большевики...

— Это кто же такие? — с любопытством спросил Амундсен. — Впервые слышу о них.

— Разное говорят о них, — пожал плечами Кибизов. — Но движение, по-видимому, очень сильное и распространенное. В начале этого года они провозгласили Советскую власть в Ново-Марининске и верность своему вождю Владимиру Ленину.

— Вот оно как! — воскликнул Амундсен, удивляясь тому, как бурно протекает политическая жизнь в стране, которая еще несколько лет назад казалась стороннему европейскому наблюдателю спящим медведем.

— Однако правление большевиков в Ново-Мариинске продолжалось недолго, и в феврале представители адмирала Колчака снова вернули себе власть...

Кибизов выпустил из своего рассказа подробности кровавой расправы, которую учинили колчаковские контрреволюционеры над членами первого ревкома Чукотки. Местные купцы опасались, что установление Советской власти на дальнем Северо-Востоке положит конец здешней торговой волыннице, где одинаково хорошо себя чувствовали и американские и русские коммерсанты, к которым в летнее время присоединялись японцы и многие другие искатели удачи неизвестной национальности и подданства.

— Значит, сейчас на Чукотке снова власть Колчака? — спросил Амундсен.

— Нет, — ответил Кибизов. — Из Владивостока этим летом прибыл отряд красногвардейцев...

— А это кто такие? — удивленно спросил Амундсен.

— Сторонники большевиков, — ответил Кибизов.

— А вам известна политическая платформа и программа этих самых большевиков?

— Очень смутно, — ответил Кибизов. — Ходят слухи, что они за полную коллективизацию жизни, за национализацию собственности во всех видах, вплоть до женщин...

— Что вы говорите?! — с недоверием заметил Амундсен. — Как же это будет выглядеть практически?

— Практически? — Кибизов немного подумал. — Это значит, что моя жена будет в такой же степени и женой соседа...

— Но в таком случае жена соседа в той же степени будет вашей, — с улыбкой заметил прислушивавшийся к разговору Сундбек.

— Думаю, что скоро вы узнаете о большевиках от них самих. Как я уже сказал, следом за нами едут две упряжки представителей новой власти, — сказал Кибизов, выказывая недовольство замечанием Сундбека.

— У меня к вам еще один вопрос, господин Кибизов. — Амундсен возвращал беседе серьезный тон. — Как вы сами относитесь к новой власти и вообще к переменам в России?

Кибизов допил кофе и осторожно поставил чашку на стол.

— Мы, здешние торговцы, считаем, что помаленьку все утрясется и вернется к прежнему. Здешняя окраина

мало интересовала царское правительство, а новые власти и подавно. Это богом забытый край, господин Амундсен, и каждый здесь ищет свою удачу.

После угощения гости высказали пожелание заняться торговлей, и Амундсену пришлось разъяснить, что экспедиция не носит торгового характера.

— Я приобретаю все то, что мне нужно для спокойной и успешной зимовки, у местных жителей, с которыми у нас налажены хорошие отношения.

Кибизов понимающе кивнул.

После этого Амундсен обсудил возможность поездки в Нижне-Колымск.

— Пусть ваши товарищи едут следом за нашим караваном, — сказал Кибизов.

Во время беседы выяснилось, что «Мод» не единственное судно, зазимовавшее в этом году у берегов Чукотки. К востоку от Чаунской губы, у мыса Сердце-Камень, льды зажали русский пароход «Ставрополь».

Поздно вечером, когда успокоился лагерь и на корабле наступила тишина, Амундсен решил пройтись до берега, позвав с собой Геннадия Олонкина. Его беспокоило, что вот уже несколько дней ни Кагот, ни Амтын не появлялись у них.

Весь день сыпал снежок, иногда переходящий в настоящую метель. Но к вечеру небо очистилось от облаков, появились крупные, удивительно чистые звезды, и лунного света было вполне достаточно, чтобы различать все неровности на пути от «Мод» до берегового становища.

Из предосторожности Амундсен и Олонкин вооружились длинными палками с острыми наконечниками. Снег приятно поскрипывал под ногами, а кристальная чистота воздуха и относительно высокая температура напоминали лучшие зимние вечера в Буннефиорде.

Направились к большой яранге Амтына, где были в первый раз. Из отворенной двери виднелся свет — в холдной части яранги горел костер.

Собаки встретили гостей лаем. Из яранги выглянула женщина и тотчас скрылась. В чоттагине был Кагот.

Ответив на приветствие, Амундсен сказал:

— Мы вас давно не видим... Все ли у вас в порядке?

Кагот ответил не сразу.

— Мы не могли выполнить обещание и не привезли копальхен. Случилась беда: мой товарищ провалился под лед вместе с грузом. Потерял все: нарту и собак.

— Какое несчастье! — с искренним сочувствием воскликнул Амундсен. — А сам ваш товарищ жив?

— Жив, — ответил Кагот.

— Ну и слава богу! — с облегчением заметил Амундсен. — Как себя чувствует господин Амтын?

Кагот помедлил, затрудняясь ответить на вопрос, потом тихо произнес:

— Амтына больше нет. . .

— Как? — воскликнул Амундсен. — Бедного Амтына нет?

— Да, его нет, — увереннее ответил Кагот. — Вместо него в этой яранге теперь живет Амос.

— Ничего не пойму. — Амундсен растерянно повернулся к Олонкину. — Что вы скажете на это? Куда делся бедный Амтын и почему в этой яранге живет неведомый нам Амос?

— Амоса вы знаете, — ровным серьезным голосом продолжал Кагот. — И он вас знает. . .

— Удивительно! Какая-то мистика! — пробормотал Амундсен.

— А нельзя ли нам увидеть этого Амоса? — попросил Олонкин.

— Можно, — сказал Кагот и громко позвал: — Амос! В глубине яранги зашевелился меховой занавес спального полога, и в чоттагин выглянул хорошо знакомый Амтын.

— Я отвлек внимание злых духов, — простым, будничным голосом объяснил Кагот. — Запутал след. Отныне перед вами другой человек, не похожий на того, кого вы знали еще несколько дней назад. Его зовут Амос.

— Да, да, Амос, я понял, — улыбнулся Амундсен, припоминая, что у многих первобытных народов смена имени означает частичное перевоплощение человека.

Правда, новообращенный внешне ничем не отличался от прежнего, и на его лице виднелась та же хитроватая и лукавая улыбка.

— Жаль, что мы не привезли собачьего корму. . .

— Ничего, мы можем подождать несколько дней, пока вы окончательно поправитесь, — сказал Амундсен. — Я думаю, — продолжал он, — теперь самое время принять немного лекарства.

Он сделал знак Олонкину, и тот достал металлическую фляжку с завинчивающейся крышкой.

— Как ты думаешь, могу я принять лекарство тангитанов? — с надеждой в голосе спросил Амос.

— А что это такое? — поинтересовался Кагот.

— По действию то же самое, что и водка, по гораздо лучшего качества, — пояснил Амундсен: во фляжку был налит французский коньяк.

— Амтын любил огненную веселящую воду и всегда жаждал ее, — сказал Кагот, — но вот Амос...

И Амос вдруг торопливо договорил:

— Амос не любит огненной веселящей воды!

Амундсен с удивлением посмотрел на него и произнес с оттенком уважительности:

— Ну раз такое дело, не смею настаивать.

Поговорили о будущем путешествии в Нижне-Колымск.

— Возьмите побольше копальхена, — посоветовал Амос. — Это хорошая еда для дороги. К тому же на него всегда можно выменять у кочевников оленье мясо и шкуры. У нас большие запасы, и мы готовы поделиться.

— Благодарю вас, — сказал на прощание Амундсен. — Поправляйтесь побыстрее.

Возле корабля стоял Кибизов.

— Не спится, господин Кибизов? — спросил его Амундсен.

— Вот уже сколько лет живу здесь, а привыкнуть к здешней природе никак не могу. Сегодня такое тревожное состояние на душе: наверное, будет полярное сияние. Вон видите — на северо-западе у самого горизонта свечение?

Обернувшись туда, Амундсен и Олонкин заметили светлую полосу, будто там находился большой, залитый светом город.

— А что говорят по этому поводу местные жители? — спросил Амундсен. — В особенности шаманы?

— Разное, — ответил Кибизов. — Но разве им можно верить? Народ невежественный и темный, верят во всякую чепуху, в которую здравомыслящий человек не то что верить не станет, а даже и внимания никакого не обратит.

— Вы встречались с шаманами? — осведомился Амундсен.

— Приходилось, — ответил Кибизов, — у нас на мысе Северном их несколько человек. Есть среди них даже женщина.

— Вон как! — удивился Амундсен. — Разве такое бывает?

— Еще не такое бывает! — усмехнулся Кибизов. — У них есть люди-оборотни: одеваются как женщины, а на поверку мужики. Или наоборот: баба начинает притворяться мужиком. Чудного у них много, до сути их жизни не доберешься.

— Неужели вы не находите в них ничего привлекательного? — спросил Амундсен.

— Были у них и привлекательные черты, — немного подумав, ответил Кибизов. — Но многое они уже потеряли. Те, кто здесь жил раньше, рассказывают, что местные жители отличались необыкновенной честностью. Взять без спросу даже пустяк — такого у них никогда не бывало. . .

— И что, теперь, бывает, воруют? — спросил Амундсен.

— Сам не видел, — ответил Кибизов, — но самое удивительное, что начинают разбираться в торговых делах. Раньше бывало так: какую бы цену ни дал за пушнину — возьмут. А теперь торговаться научились. То одно ему не нравится, то другое, за свою рухлядь требуют товар высокой марки и в большом количестве.

— Однако, насколько я понял, торговля по-прежнему здесь прибыльна, судя по числу коммерсантов? — заметил Амундсен.

— Конкуренция сильная, — вздохнул Кибизов. — Особенно американцы жмут нас, русских. Из-за гражданской войны подвоз нашего товара из Владивостока сократился, а к ним каждый год шкуны идут из Номы, Сан-Франциско, Сиэтла. Торговать здесь трудно, особенно из-за отсутствия твердой власти. . .

Амундсен слушал и думал, что именно отсутствие твердой власти позволяет многочисленным здешним торговцам грабить местное население. Но вслух он ничего не сказал, а только пожелал Кибизову спокойной ночи.

6

После отъезда большого торгового каравана первой покинула «Мод» этнографическая группа Свердрупа. Они взяли курс в глубь материка, к кочевым племенам Чукотского полуострова.

Через несколько дней собралась в путь и другая группа в составе Олонкина, Хансена и Теннесена.

Накануне отъезда Амундсен имел долгий разговор с Олонкиным,

— У меня такое впечатление, — сказал начальник экспедиции, — что Россия находится на пороге очень важных перемен, которые не могут не отразиться на положении во всем мире. Старая русская администрация рано или поздно должна была быть сменена другой, более современной. Правда, я имел дело только с теми, кто управлял Севером, но их неразвитость меня поражала... Возьмите того же Кибизова. Вы можете возразить мне, что он не русский, а человек кавказского происхождения. Но ведь он подданный России и, насколько я понял, чувствует себя прежде всего русским, особенно перед лицом американских торговых конкурентов. Похоже, что он не признает человеческих черт у местных жителей. Должен сказать со всей откровенностью, что это большая ошибка... Как вы думаете, господин Олонкин?

— Я происхожу из той части русских северян, — ответил Олонкин, — которые веками находились в близком соседстве с коренным населением Севера, в частности с ненцами. Поверьте мне, у нас к ним совсем иное отношение, нежели у торговцев... А что касается будущего... Мне трудно судить и гадать, что будет. Единственное, о чем беспрестанно молю бога, чтобы эти берега не были отторгнуты от России.

— Вы думаете, такая опасность есть? — спросил Амундсен.

— Отсюда до Америки во много раз ближе, нежели до Петрограда и Москвы, — грустно ответил Олонкин.

— Будем надеяться на благоразумие новой администрации, — произнес ободряющим тоном Амундсен. — Главная ваша цель — это добраться до Нижне-Колымска и попыбовать отправить телеграмму в адрес норвежского правительства. И все-таки хорошо бы разузнать, чья на самом деле власть в здешних краях. А то ведь получается, что мы здесь до некоторой степени пребываем незаконно. Во всяком случае, любая администрация имеет право нас спросить, что мы тут делаем и по чьему разрешению. Но как бы ни менялись правительства и кто бы ни одерживал верх в местной торговле — русские или американцы, — подлинными хозяевами здешних земель являются коренные жители. С ними и держите самую тесную и дружественную связь. Уважайте их обычаи, привычки, всячески остерегайтесь действий, которые могли бы оскорбить их человеческое достоинство.

Олонкин ушел в свою каюту. Расположившись на узкой, но удобной постели из пушистой оленьей шкуры,

покрытой простыней, он вспомнил свое детство в архангельской поморской деревне, приезды ненцев, долгие чаепития в избе с бесконечными разговорами о погоде, рыбной ловле, оленьих пастбищах. Ненецкий оленевод жил нисколько не богаче российского крестьянина. Правда, за пышным зимним одянием не всегда можно было разглядеть нищету, но и те и другие одинаково терпели как от царских чиновников и торговцев, так и от местного бабьюшки.

То, что происходило на обширных пространствах России, протянувшейся на огромнейшие расстояния на юг и на север, тревожило и волновало молодое сердце Олонкина. Он испытывал стыд за своих сограждан и сородичей, особенно из чиновничества и купечества, за их непроходимую глупость и жадность, за полное равнодушие к государственным делам и к судьбе инородцев, проживающих по берегам Ледовитого океана.

Общение с цивилизованным миром, с торговцами и особенно с православной церковью пользы им не принесло никакой. Люди эти, некогда смелые и независимые, на глазах теряли и здоровье и гордость. На побережье Ледовитого океана часто попадались стойбища и селения, в которых ютились жалкие остатки когда-то многочисленных племен, процветавших родов. Нищета, частые голодовки и незнакомые болезни, против которых оказывались бессильны даже могущественные шаманы, сотнями косили этих когда-то здоровых и сильных людей. Они были обречены, и Олонкин испытывал горькое чувство жалости и сострадания, глядя на их явно угасающую жизнь. Неужто они сами не догадываются о своей печальной участи?

И еще одна мысль часто посещала Олонкина: не иноземные путешественники, а российские, свои должны исследовать эти берега. На месте норвежской экспедиции должна была бы быть своя, русская, быть может, на таком же корабле, как «Святой Фока», на котором Георгий Седов шел к Северному полюсу...

Но даже ему, молодому человеку, не искушенному в делах политических, было ясно, что тот строй, который был свергнут, не мог ничего сделать ни для исследования Севера, ни для этих несчастных подданных, явно клонящихся к концу своего земного существования...

20 октября Олонкин, Хансен и Теннесен выехали на собаках по следу отправившегося чуть ранее Григория Кибизова. Образовавшаяся на льду снежная каша дела-

ла продвижение вперед изнурительным. Приходилось одинаково работать и собакам и людям. Олонкин соорудил из сыромятного ремня для себя алык — так здесь называлась собачья упряжь — и впрягался в нее рядом с передовым псом. Чтобы уложиться в назначенное время, старались проходить в день до пятнадцати миль. Между массивом мыса Баранова и открытым морем ледовый припай был шириной всего около двадцати метров и на вид не очень надежный. Но они благополучно миновали его, вышли к берегу и, раскопав в снегу несколько бревен, развели большой костер и устроили себе отдых. Несколько раз в пути им попадались полуразрушенные избы, а в одном месте даже три избы и церковь. Здесь когда-то явно жили русские, обосновались они крепко, надолго, о чем свидетельствовала эта церковь с хорошо сохранившимся алтарем. Что случилось, куда подались отсюда люди? То ли внезапный мор застал их врасплох, или же голод заставил покинуть насиженное и обжитое место? Кто теперь узнает и прочтет ненаписанную летопись героической жизни русского человека на этих неприветливых берегах?

Дней через десять на мысе Медвежьем, круто обрывающемся в море, с нартовой дороги заметили избу. Она одиноко стояла на вершине. Направили упряжки туда, карабаясь вместе с собаками по каменистому склону.

Поднявшись, Олонкин постучал в дверь, но никто не откликнулся, да и по внешнему виду жилища трудно было предположить, чтобы оно было в настоящее время обитаемо. Однако изба, по всей видимости, совсем недавно посещалась людьми, и это подтвердилось, когда путники вошли внутрь. На стене на гвозде висела записка, в которой извещалось, что изба покинута 11 сентября этого года. Оставив небольшой запас муки, чая и спичек, путники отправились дальше, к поселку Сухарное, где, по сообщению Григория Кибизова, жило множество русских. Среди них могли быть и приезжие, которые знали что-нибудь достоверное о состоянии радиотелеграфной станции.

За Медвежьим мысом дорога стала лучше. Иногда собачья езда могла даже доставить некоторое удовольствие: сидишь на нарте и вглядываешься в суровый и прекрасный северный пейзаж. Темнело рано, и на ясном небе, как бы возмещая скудость дневного света, зажигалось полярное сияние, расцветивая весь небесный купол и действуя на путников странно возбуждающим об-

разом. Игра красок достигала такой силы, что все видимое казалось плодом фантазии или же результатом действия неведомых могущественных сил, сущность которых неподвластна человеческому разуму.

Сухарное оказалось небольшим, но густо заселенным поселком, в котором жило около шести десятков якутов и русских, прибывших сюда из Нижне-Колымска на промысел рыбы.

Остановились у одного рыбопромышленника, который уступил им свою избу, сам переселившись на ночь к соседям. Путников встретили с истинно русским северным гостеприимством и, щедро накормив уставших после непривычно долгой дороги собак, устроили угощение для гостей. Преобладали, разумеется, рыбные блюда — великолепная уха, о которой хозяин избы сказал, что таковой не едал даже сам свергнутый русский царь, а что касается строганины, розово просвечивающей, то о такой, кроме истинных северян, никто и понятия не имел.

В избу набилось столько народу, что дверь приходилось время от времени открывать, чтобы вошло немного свежего морозного воздуха, в противном случае можно было задохнуться. Олонкин пустил по кругу припасенную для такого случая бутылку водки, которая вернулась к нему пустой.

Каждый старался сообщить новость одну другой причудливее. Выяснилось, что радиотелеграфная станция находилась когда-то не в Нижне-Колымске, а в Средне-Колымске, но давным-давно разрушена.

— И похоже, нет никого, кто мог бы ее пустить, — сказал один из рыбаков.

— А почты или другой службы связи нет поблизости? — спросил Олонкин.

Несмотря на свою простоту, этот вопрос вызвал оживление среди собравшихся, и несколько голосов весело ответили, что здешние жители давным-давно забыли, что это такое.

— Но ведь каким-то образом вы получаете новости из внешнего мира? — попытался Олонкин.

— Торбасная почта! — сказал хозяин и объяснил: — Новости узнаем только от проезжающих. Вот побывал здесь Кибизов, рассказал нам о смене власти в Новомариинске и Уэлене.

— А здесь какая власть?

Снова в ответ послышался смех.

— Какая тут власть! — махнул рукой хозяин. — У ко-

го деньги и водка — у того и власть. А сейчас вообще худо: нет даже ни чаю, ни табаку. Последний пароход из Владивостока приходил сюда три года назад. Была надежда на «Ставрополь», да льды его затерли. Уповаем только на американские шхуны, но сюда они редко доходят — в иное лето здесь у берегов все время стоят плавающие льды.

Как понял Олонкин из сбивчивых разговоров, установить власть в этих краях пытались уже многие: сначала представители Временного правительства, позже — части генерала Пепеляева, находившиеся под командованием верховного правителя Сибири адмирала Колчака. Подтверждалось то, что сообщил недавно Кибизов.

— Теперь вроде побеждают большевики, — рассказывал хозяин. — Они ведут партизанскую войну, и их поддерживают беднейшие крестьяне и якуты. Безземельные и безоленные охотно идут в партизанские отряды. Надеются при дележе богатств получить свою долю. . .

— Грабеж идет, круговой грабеж! — воскликнул один из присутствующих. — Наловишь тут рыбы, приедешь в Нижне-Колымск — и некому ее продать: торговца разтрясли, поделили его богатства, лавку разграбили. . .

— До этого у нас дело не дойдет, — успокоил хозяин избы. — Тутешний народ смиренный, а что касается якутов да туземного народу, то они здесь темные.

Тревога и смятение не покидали Олонкина, когда он бродил по похилившимся избам и непонятным развалинкам, в которых, как звери в норах, зимовали колымские рыбаки. Местные чукчи и юкагиры выглядели куда пристойнее, нежели эти опустившиеся представители цивилизованной нации. Владелец даже небольшого стада чувствовал себя много увереннее заброшенного неведомо какими ветрами в эти края пришлого человека. Большинство этих пришлых не любили распространяться о своем прошлом. Многие подались сюда в надежде поймать удачу в пушной торговле или в золотом промысле. Однако пушнину здешние туземцы продавали отнюдь не даром и хорошо знали цену привозному товару. Их уже просто так не проведешь, не обманешь; единственным, что они охотно брали, часто отдавая последнее, была водка. Но этим зельем торговать было небезопасно: последними дошедшими сюда царскими указами продажа водки и вина местному населению строго запрещалась. За нарушение грозила конфискация всего товара и солидный штраф. Что же касается золота на Чукотке —

следы его попадались, но большого золота, такого, какое было в Номе, здесь не находили.

В этой пестрой, неустойчивой по настроению толпе чувствовалось внутреннее напряжение, ожидание каких-то решительных перемен в жизни. Никто по отдельности не мог вразумительно выразить это состояние, но тем не менее оно несомненно существовало.

Продолжать дальше путь к Средне-Колымску уже не было смысла. А ехать на собаках до Якутска — безрас-судно.

Нагрузив нарты свежей рыбой, 1 ноября караван вышел в обратный путь. Хорошо отдохнувшие собаки дружно тянули нарты, как бы предчувствуя будущий отдых в уютном собачьем жилище неподалеку от «Мод». На передней нарте ехал Геннадий Олонкин, следом Хансен, а замыкал караван Теннесен.

Спутники Олонкина из-за незнания русского языка мало общались с колымчанами, но все-таки впечатления о Сухарном и его обитателях у них сложились. Они тоже заметили состояние растерянности и неопределенности в настроении русского населения.

— Мне кажется, эти люди только и ждут, что кто-то придет и скажет, что надо делать, — заметил рассудительный Хансен, который органически не переносил отсутствия порядка. — Так долго продолжаться не может. Да и не в характере нормального человека жить без власти и законов.

— Зато они свободны, — отозвался Теннесен, улыбаясь в свои заиндевшие усы.

— Ну что это за свобода? — возразил Хансен. — В нищете, в полном неведении относительно своего будущего. Скажите, господин Олонкин, что важнее для русского человека — свобода или материальное благополучие?

— Мне кажется, что для любого человека независимо от национальной принадлежности свобода всего дороже, — немного поразмыслив, ответил Олонкин.

Сам он в детстве не раз слышал рассказы о свободолюбии северного крестьянства, которое не знало крепостного права и пополнялось за счет тех, кто бежал из южных районов России в поисках воли и свободных земель. Порой он с гордостью вспоминал, что идет по стопам своих предков, открывших миру эти поистине необъятные просторы, тянущиеся далеко на восток, встреч солнцу, как говаривали в старину. Познания русских поморов в полярной географии на самом деле были гораздо об-

ширнее, нежели то, что было записано в анналах науки и изображено на официально признанных географических картах.

Иногда ему казалось, что и Амундсен несколько обескуражен тем, что Северо-Восточный проход оказался хорошо освоенным предшествовавшими плаваниями русских экспедиций. Это стало особенно заметно в последнее время, когда в разговорах начальник все чаще стал подчеркивать, что главная цель экспедиции — будущий дрейф в полярных льдах по направлению к Северному полюсу, выполнение задачи, которую лелеял Нансен на «Фраме».

Последний привал сделали на мысе Медвежьем, в уже знакомой избушке на вершине мыса. За это время кто-то уже останавливался здесь: запас муки был тронут, но восполнен двумя холщовыми фунтовыми мешочками в американской упаковке, вместо пиленого сахара положена початая головка русского, возобновлен запас дров.

Вечером 11 ноября Амундсен записал в своем дневнике: «Днем собаки подняли страшный лай. Я догадался, что они видят людей, и поспешил на палубу. Почти сейчас же Хансен и Олонкин объехали корабль и подкатили к сходням...»

Результат поездки был неутешительным — радиостанции в Средне-Колымске не оказалось. Теперь надежда оставалась только на две возможные радиостанции — одну в Номе, на американском берегу, другую в Ново-Мариинске, в устье реки Анадырь.

Через несколько дней в направлении Ново-Мариинска уехали Хансен и Вистинг, чтобы через тамошнюю радиостанцию связаться с Норвегией.

7

Сборы на первую зимнюю морскую охоту всегда волновали и радовали Кагота еще с далеких, полузабытых лет детства. Ведь именно в этой охоте выявляется, на что ты годеи как добытчик, сможешь ли ты в одиночку, без посторонней помощи передвигаться и ориентироваться на морском льду, выслеживать по малейшим признакам тюленя и настигать его.

Накануне Кагот совершил необходимые обряды, принес жертвы морским и другим богам, от которых зависело состояние льда и погода на побережье. Каляна достала из закоулков яранги проявленное оленьи мясо —

любимую пищу богов. Острым охотничьим ножом Кагот мелко настругал его на деревянное жертвенное блюдо. Мясо отлично проявилось, пропиталось дымом от костра.

Погода стояла ясная, тихая. По вечерам небесные боги устраивали огненные игрища, осыпая занесенную снегами землю брызгами разноцветного света.

Кагот медленно шел по берегу, удаляясь от становища и вмерзшего в лед корабля. Между кораблем и берегом на льду стояла палатка для наблюдения за морским течением. Внутри палатки в проруби плескалась океанская студеная вода. Чуть дальше размещался собачник. Тангитаны провели сюда электрическое освещение. Кагот видел такой свет в свою бытность на американском берегу и не так поразился, как Амос, который, несмотря на то, что еще окончательно не оправился, все же решил взглянуть на это чудо.

Амундсен ожидал бурных выражений восторга от встречи с таким необыкновенным волшебством, но, похоже, сильно разочаровался, когда чукчи лишь внимательно, но молча осмотрели электрическую лампочку, проследив за тем, как Сундбек несколько раз включил ее и выключил. Потом интерес к чуду был потерян и внимание перекинулось на неведомых в здешних местах собак. Ездовые псы для экспедиции были в основном закуплены на Новой Земле и представляли собой скорее европейскую породу, которая славилась выносливостью при длительных переходах.

Там, в другой жизни, Вааль всегда провожала Кагота на охоту. Она поднималась первой и запаливала огонек в жирнике, чтобы муж вставал уже в тепле: ему ведь придется весь день мерзнуть на студенom морском ветру. Готовила еду, стараясь, чтобы она была обильна и горяча, хоть и считалось, что морской охотник должен уходить во льды чуточку голодным. Брать с собой какой-нибудь запас означало грубо нарушить обычай: мужчина, отправляющийся на поиски добычи, не должен брать с собой ни кусочка еды! Снаряжая мужа на морскую охоту, Вааль не говорила ни единого слова. Все утро проходило в полном молчании.

А потом она долго стояла у яранги, и ее темная одежда сливалась с моржовыми шкурами. Кагот не оглядывался, но чувствовал, что она там и будет смотреть вслед, пока он не скроется, не исчезнет в торосях.

Каляна не стояла у яранги. Кагот несколько раз оглядывался и с каким-то непонятным чувством странного разочарования не обнаруживал у яранги человеческой фигуры. Ну да, она ведь не Вааль, не жена ему... Только Вааль была ему настоящей женой...

Кагот остановился и еще раз оглянулся назад. При свете медленно нарождающегося зимнего дня просматривался только темный берег. Ни «Мод», ни постройки, возведенные рядом, ни яранги уже не были видны: в сером сумраке все слилось и берег угадывался только по сгустившейся темноте. Однако во льдах заметно посветлело. Глаза уже различали бледно проступающие в воздухе торосы, небольшие ропаки. Каготу надо было дойти до кромки припая — неподвижно примерзшей к материковому берегу полосы льда. Полоса эта не имеет постоянного размера: кое-где она уже, ближе подходит к скалистому берегу, а где-то уходит дальше в море. Это зависит от характера береговой линии и от морских течений. Здесь условий Кагот еще хорошо не знал, поэтому он старался все примечать, запоминать.

Чем дальше Кагот удалялся от берега, тем все больше душа его наполнялась знакомым, но давно им не испытывавшимся подъемом, чувством отрешенности от обыденной жизни, словно он чудом поднялся в неслышимый полет над землей. Утренние думы о Вааль вернули его в Инакуль, к навсегда ушедшим дням... Интересно, куда девается прошлое? Как это случается, что напрочь исчезает наполненный светом, шумом, разговорами, радостью, печалью, смехом, слезами, птичьими голосами и звериным рычанием прекрасный день? Ведь не может прошлое уничтожиться бесследно, как улетающая из яранги синяя полоска дыма? Раз оно возвращается в мыслях и его можно усилием воли воскресить в воображении или даже увидеть во сне, значит, оно где-то совсем рядом, близко? Но где, где этоместилище прошлого? В каких закоулках вселенной? И в какой связи с обыденной реальностью это прошлое находится? И дано ли кому-нибудь заглянуть в тот мир хотя бы краешком глаза?

Из общения с могущественным Амосом и его сподвижниками Кагот понял, что шаманы не были связаны с Внешними силами напрямую. Общение было косвенным, по тем или иным знакам, часто не замечаемым обыкновенными людьми. Чтобы понимать и растолковывать магический язык Внешних сил, надо было обладать особой наблюдательностью, способностью связывать в своем во-

ображении, казалось бы, несущественные намеки и по ним выстраивать картину жизни.

Самым ясным и доступным для Кагота языком Внешних сил были выстроенные на особый лад обыкновенные человеческие слова, наполненные каким-то дополнительным смыслом, часто в них непосредственно не выраженным. Они являлись не по его воле, а неведомо откуда, совершенно неожиданно, часто в самых неподходящих обстоятельствах. Правда, Кагот заметил, что состояние это чаще всего приходило к нему, когда он был один или же в минуты душевного потрясения, как это было в последний раз, когда он спасал Амтына-Амоса.

Постепенно стало светлеть, в воздухе разливалося сияние, а холодная мгла таяла, пряталась между торосами, уходила вдаль, к горизонту. Светлело и на душе у Кагота, и он раздумывал о том, что делать дальше, как жить. Дочка росла и требовала все больше женских забот. Каляна не жалела сил и внимания, и Айнана всегда была накормлена и тепло одета. Порой женщина долго играла с девочкой, пела ей песенки, которые сочиняла тут же на ходу. Кагот прислушивался к этим песням с нарастающей тревогой — он слышал в них тоску, томительное ожидание и надежду. Надежда яснее всего выражалась в содержании песенок, в которых Каляна описывала будущего брата Айнаны, с которым девочка будет играть, бегать на морской берег, собирать выброшенные волнами ракушки, морскую траву, длинных, блестящих рыбешек.

Прямых разговоров о своих планах Каляна с Каготом не вела, но, видимо, обсуждала их в других ярангах.

Разумом Кагот понимал, что так, как сейчас, долго продолжаться не может. Но Вааль по-прежнему приходила к нему. Да и не представлял Кагот, как бы он мог ласкать другую женщину и говорить ей слова, которые предназначаются только одной?

Так в размышлениях незаметно прошла дорога к месту промысла.

Найдя неподалеку от полыньи тонкие обломки торосенного льда, образовавшиеся от сжатия молодой ледовой поверхности, Кагот соорудил убежище у самой кромки, отгородившись от разводья прозрачной пластиной. Он хорошо видел легкий туман, стелившийся над водой, и никак не мог пропустить нерпу.

За дальними льдами разгоралась заря. Она будет постепенно усиливаться, переходя в короткий зимний

день, перемещаясь над горизонтом своей наиболее яркой частью к берегу, и скоро зажжет небо уже над тундрой, над едва видимыми в хорошую погоду горными хребтами. Откуда все это взялось? Как родилось Солнце, сама Земля, Луна, звезды? То объяснение, которое ему дал штурман на «Белинде», показав глобус и продемонстрировав вращение Земли, небесный путь Солнца, вызвало множество вопросов, сомнений. Интересно, приходят ли такие мысли другим людям? Наверняка приходят. Только у них хватает мудрости не мучиться над тем, что заведомо не поддается разгадке и, видимо, никогда не будет разгадано. Как возникает, растет и потом рождается из чрева матери человек? Как вообще возникает живое? Все эти и множество других вопросов не имели внятных ответов. От сознания собственного бессилия Каготу отнюдь не становилось легче. Мучительные раздумья будили его среди ночи, лишали покоя и терзали бедный, беспомощный разум. Конечно, есть готовая разгадка и объяснение — Внешние силы. Они управляют всем, придают и природе и человеческой жизни высшую целесообразность. И с этим можно было бы согласиться, если бы не чудовищная несправедливость, которая случилась с бедной Вааль. Почему? Кому мешала их светлая, счастливая любовь? Их постоянная, неугасающая радость только от одной мысли, что бьется рядом любящее сердце? Или Внешние силы не любят, не допускают совершенства, точно так же как не могут допустить, чтобы ныне живущий человек встретился со своим навсегда исчезнувшим прошлым?

Каждое мгновение, не успев возникнуть,
Тут же уходит, его след исчезает. . .
Стало быть, жизнь, твое дыхание, едва возникнув,
Тут же исчезает, тут же умирает? . .
Что жизнь? Жизнь и умирание — одновременно?
Но почему до последнего мгновения
Человек верит только в жизнь?

Легкий всплеск потревоженной воды вернул Кагота к действительности. Над разводьем чуть выше стелющегося тумана плыла нерпичья голова. Она казалась оторванной от тела, погруженного в темную студеную воду, из глубин которой в такой мороз беспрестанно рождались кристаллики нового льда.

Кагот бесшумно потянулся к винчестеру, прижал приклад к плечу и ощутил щекой прохладу полированного

дерева. Пахло хорошо выделанной, выбеленной нерпичьей кожей... Все здесь связано. Винчестер, из которого эта нерпа получит смерть, только что покоем в кожаной из нерпичьей кожи, ремень, который лежит наготове, тоже из нерпичьей кожи. Жизнь из жизни, смерть из жизни...

Гром выстрела разорвал тишину над морем, вспорол ее от береговой линии, отмеченной грядой торосов, до океанской дали, где неизвестно что — то ли открытая вода, то ли дрейфующий лед. Спокойная, гладкая водная поверхность покрылась рябью, и над ушедшей под воду нерпой расплылось яркое красное пятно, усиленное разгоревшейся красной зарей. Кагот размотал тонкую ремennую бечевку, к концу которой была привязана деревянная груша с острыми металлическими крючьями, и, как только добыча показалась на воде, он кинул акын — так называлось это приспособление — и, зацепив нерпу, вытянул ее на лед.

Оставив у края кровавый след, туша тяжело скользнула на лед, и Кагот подтащил ее ближе. Это была самка. Может быть, ранней весной у нее родился бы маленький беленький нерпенок... Но такова жизнь. Чтобы существовать, человек убивает зверя. Нерпы, лахтаки, моржи, киты, утки, рыбы, белый медведь — все это предназначено Внешними силами для пропитания человеку. А вот ворон не убивают и не едят. Говорят, что они — проявление Внешних сил. Сами Внешние силы не перевоплощаются в ворон, а как бы обнаруживают в них свое существование, напоминают так о себе.

Оттащив нерпу подальше от кромки, Кагот снова застыл в прежней неподвижной позе, уставившись на полыню, где даже зоркий взгляд теперь не мог бы обнаружить ничего подозрительного. И снова над покрытым льдом морем повисло вечное спокойствие и тишина, такая ощутимая, подступившая так близко, что, казалось, до нее можно дотронуться.

Подкрадывалась еще одна мысль, чудовищно кощунственная, и усилием воли Кагот отгонял ее, отвлекая себя разглядыванием торосов, разгоревшейся зари. Но стоило перевести взгляд на спокойную поверхность воды, мысль возникала с новой силой, пугая и холодея сердце. Брызнувшие алые лучи зимнего солнца ненадолго отвлекли от мрачной догадки, но, едва взглянув на заалевшую водную поверхность, Кагот чуть не заплакал от бессилия: не уйти от этих мыслей! А думалось вот о чем. Раз чело-

век питается окружающим его зверьем, то, быть может, кто-то из Внешних сил предпочитает человечину? Питается плотью людской, точно так же как люди с удовольствием пожирают чуть сваренное нерпичье или лах-тачье мясо, из которого еще сочится теплая красная кровь? И кто-то там, в неведомых пространствах, в обиталищах потусторонних сил, наслаждался телом бедной Вааль?..

С ума можно сойти от этих мыслей! Зачем дано человеку так мучиться своим разумом? Почему Внешние силы не отняли у него вместе с Вааль и разум и, быть может, жизнь?

А Айнана? Бедная маленькая девочка, которая ни в чем не виновата кроме того, что она является единственным свидетельством самого прекрасного, что видел и переживал в своей жизни Кагот?

Бросил бы Кагот убитую нерпу на окровавленном льду, но маленькая девочка, раз уж она родилась в человеческом обличье, для своей жизни требовала свежего нерпичьего мяса.

Кагот сунул винчестер в кожаные ремни и протиснулся сквозь усаженные нерпы тонкий ремень. За спиной вместе с зачехленным винчестером болтались снегоступы — «вороньи лапки». Он сегодня их так и не надел ни разу — лед установился прочный, а глубокого снега еще не было, Настоящие снегопады еще впереди, когда солнце перестанет появляться над горизонтом и только яркая полдневная заря будет указывать на временную вежу.

Застывшая нерпа скользила по льду, идти было легко, а мысль, обжегшая разум и обуглившая нутро, медленно угасала, оставляя легкий холодный пепел.

Кагот еще издали увидел отмеченный электрическими огнями корабль Амундсена. Норвежец объяснил, что судно названо в честь норвежской королевы.

Откуда берутся короли и цари, властвующие у тангитанов? У чукчей, как и у соседних эскимосских племен, не было всеобщего владыки. Но в каждом селе находился человек, который благодаря своей удачливости и силе становился главным, и к слову его прислушивались. В последние годы такие люди начали приторговывать, выменивая товар у русских и американских купцов. Обычно к таким людям и льнули шаманы, связанные, как правило, родством, как связан был с Амосом и его родичами Кагот.

По дошедшим до Кагота разговорам бывалых людей и по рассказам покойного Амоса он знал, что чукотская земля принадлежит России, которой управлял Солнечный владыка. За морем, точнее за проливом, в котором торчали два каменных островка, населенных эскимосами, — Имаклик и Иналлик, — находилась другая большая земля — Америка. Ею правил другой тангитан, называемый президентом. Русский царь для чукчей и эскимосов Чукотки был вроде далекого отца, позабывшего о своих детях. Люди американского президента по причине своей близости к чукотской земле часто посещали этот берег, чтобы выменять на разные товары, а чаще на огненную веселящую воду, пушнину, моржовые бивни, китовый ус. Кагот видел и замечал, что между людьми русского царя и американского президента существовало соперничество, приводившее порой к откровенным столкновениям, как это было с «Белиндой», уличенной в незаконной торговле. Правда, Кагот так и не понял до конца, почему надо получать специальное позволение для торговли. Если у тебя есть шкура горноста, а у тангитана нож, то почему к обоюдной пользе и удовольствию не обменяться? От этого никому нет вреда. С другой стороны, как-то непонятно: раз здешняя земля русская, то почему в больших прибрежных селениях главными торговыми людьми были американцы? И почему это русские вдруг вроде бы ни с того ни с сего отказались от Солнечного владыки? Мало того что отказались, так еще, как говорят, силой столкнули его с золоченого сиденья. Спросить бы, да не у кого, как не у кого спросить о том, куда дается прошлое...

Кагот прошел чуть левее корабля. В вечерней настоженной тишине оттуда доносился едва слышимый шум, свидетельствовавший о том, что корабль обитаем и люди на нем еще не ложились спать.

Последнюю гряду торосов Кагот преодолел напротив яранги Амоса и, поднявшись, скорее почувствовал, чем увидел, что в селении что-то случилось. У яранги перед входом в чоттагин виднелось светлое пятно, и уже отсюда зоркие глаза Кагота разглядели, что горит костер, а не плошка с тюленьим жиром, которая возжигается оставшейся в доме женщиной как манящий огонек, путеводная звездочка к родному очагу. С чего бы зажигать костер? Или Каляна издали чувствует, что мужчина идет с добычей, и заранее приготовила большой костер, что-

бы сварить побольше еды и назвать гостей на первое свежее нерпичье мясо?

Подойдя ближе, Кагот увидел чужую упряжку, посаженную на растянутой в длину цепи так, чтобы псы не грызлись между собой. К кровле яранги были прислонены две большие нарты.

8

Каляна встретила охотника, как и полагается хозяйке, с ковшиком холодной воды.

Кагот взял у нее ковшик, облил морду убитой нерпы, как бы давая ей напиться пресной, натаянной из речного льда воды, сам отпил несколько глотков и, выплескивая оставшиеся капли в сторону моря, тихо спросил:

— Кто?

— Тангитаны.

— Откуда?

— Из Ново-Мариинска.

— Торговые люди?

— Нет, совсем новые люди.

— Американцы?

— Двое русских, а один чуванского¹ племени человек: хорошо и по-чукотски и по-русски говорит. Новая власть.

— Новая власть? — удивился Кагот, вспомнив свои недавние размышления. — От кого эта власть?

— От бедных, — почему-то шепотом ответила Каляна.

Из яранги вышел мужчина.

— Еттык! — сказал он по-чукотски. — Однако знакомиться будем. Анемподист Парфентьев я, из Ново-Мариинска, из Анадыря.

Кагот пристально вглядывался в гостя.

— Охота, видно, успешная была? — спросил Анемподист.

— Нерпа есть, — коротко ответил Кагот. — Только разводья далеко от берегового припая, полдня надо идти до открытой воды.

По внешности Анемподист Парфентьев одинаково мог быть отнесен и к русским и к чукчам. Черты обоих народов присутствовали в его внешности как-то раздельно.

¹ Ч у в а н ц ы — жители Анадыря, потомки первых русских землепроходцев и древнейших местных жителей — юкагиров.

Глаза узкие, а нос крупный, не такой, как у местных жителей. Кожа светлая, волосы же иссиня-черные, прямые, вылезавшие из-под легкого, надеваемого под большой меховой капюшон малахая.

Кагот достал изогнутый кусок оленьего рога и принялся выбивать из торбасов снег. Он это делал очень тщательно, чтобы в обуви, особенно между подошвой и верхней, меховой частью, не осталось ни одной снежинки. Тогда торбаса прослужат долго и не будут промокать. Пока выбивал снег из одежды, думал, что за народ прибыл. Если это тангитаны, то почему они не остановились у норвежских путешественников?

С беспокойным сердцем Кагот вошел в чоттагин.

Новоприбывшие гости сидели у огня и пили чай.

— Здравствуй, хозяин! — сказал тот, что помоложе, с желтыми волосами, в которых причудливо плясал огонь от костра. (Анемподист перевел русские слова.)

Кагот, молча кивнув, уселся рядом на китовый позвонок.

Каляна втащила нерпичью тушу и положила ее возле костра, чтобы она быстрее оттаяла. Острым женским ножом с широким лезвием — пекулем — она вырезала наполненный ледяной жидкостью глаз и, слегка надрезав, подала Айнане, с вождением ожидавшей самое сладкое чукотское лакомство. Кагот придвинул к себе закопченный чайник и взял свою чашку, оплетенную тонкими ремешками. Он сделал несколько больших глотков, чувствуя, как тепло начинает проникать в него. Только после этого он степенно спросил:

— Далеко ли держите путь?

— Едем мы издалека, с Анадыря-реки, уже давненько, как только выпал первый снег, — ответил Анемподист. — Алексей Першин, — он кивнул в сторону желтоволосого товарища, — остается здесь, в вашем селении, а мы с Николаем Терехиным двинемся далее, к устью Колымы, а оттуда в Островное, поближе к ламутскому народу.

Терехин на вид был много старше Першина, черно-волосый, с маленькими, аккуратно подстриженными усами. Он был очень худой, и скулы на его щеках, казалось, вот-вот прорвут тонкую кожу.

— По каким делам путешествуете? — спросил Кагот, помня те слова, которые ему успела шепнуть Каляна.

— Главное наше дело в том, чтобы передать людям Чукотки весть о том, что в России победила социалисти-

ческая революция и установилась власть трудового народа в лице главной политической силы — партии большевиков, — ответил Алексей Першин, и эти слова в устах Анемподиста Парфентьева прозвучали на чукотском языке так:

— Большая новость путешествует сейчас с нами: во всей российской земле самые бедные стали самыми сильными. . .

— Как это им удалось? — удивился Кагот.

— Что удалось? — переспросил Анемподист.

— Бедным стать самыми сильными?

— Под руководством новых людей, — объяснил Анемподист, — большевиков.

— А кто эти большевики? — продолжал допытываться Кагот.

— Из бедных — мудрейшие! — ответил Анемподист.

В его устах длинные фразы русского удивительным образом сокращались, вмещались в два-три чукотских слова.

— Ничего не пойму, — пожал плечами Кагот. — Какие же они мудрейшие, если они до сих пор терпели власть богатых? Или они неожиданно прозрели?

— Вот именно так — прозрели, — кивнул Анемподист. — С помощью большевиков.

Кагот догадался, что Анемподист сам не больно много знает о новой власти и в особенности о большевиках, и подумал про себя: зачем этому анадырскому чуванцу вмешиваться в дела тангитанов? Наверное, они сами разберутся между собой, где у них власть бедных, а где сила богатых. Но вслух об этом не сказал. Он вышел из яранги и принес большой котел, куда налил свежей, натаянной из пресного льда воды, чтобы сварить в нем нерпичье мясо.

Но, как оказалось, Анемподист еще не все сказал про новые дела тангитанов. Он продолжал:

— Алексей Першин остается здесь не только представителем новой власти, а также учителем. . .

— Учителем? — Кагот с любопытством поглядел на русского. Покойный Амос, чье имя теперь носил сосед, был куда старше, когда его стали называть учителем.

— Не гляди, что он такой молодой, — заметив иронический взгляд Кагота, сказал Анемподист. — Все люди новой власти — люди молодые, потому что сама власть молодая.

— Ну понятно, — кивнул в знак согласия Кагот, —

молодые всегда бедные, откуда им накопить за короткое время богатства? Но откуда у него мудрость, чтобы стать учителем?

— Он знает грамоту...

— Многие тангитаны знают грамоту, — заметил Кагот, который еще не так давно всерьез полагал, что умение наносить и различать следы человеческой речи на бумаге такая же природная и естественная особенность тангитана, как его белая кожа и обильная растительность на лице.

— Знание грамоты он хочет передать нашему народу, чтобы открыть путь к мудрости, — продолжал Анемподист.

— К какой мудрости? — спросил Кагот, вспомнив, как сегодня на морском льду в одиночестве он размышлял о том, куда девается прошлое и чем питаются Внешние силы. Неужто этот молодой огненноволосый молодой человек знает такие вещи?

— Ко многим знаниям, — уклончиво ответил Анемподист и недовольно заметил: — Ты много задаешь вопросов, а этого и тангитаны не любят. Ты больше слушай, и тогда будет хорошо. Главное — они обещают щедро торговать!

Каляна приступила к разделке подтаявшей нерпы. Сначала она сделала надрез по всей длине туши от горла до задних лап. От срединного разреза повела два, отходящих к передним лапам, а затем пластом сняла больше половины нерпичьей шкуры вместе с толстым слоем жира, обнажив черно-красное мясо. Дальше она вскрыла грудную клетку и, отрезая лакомые куски, принялась заполнять висящий над костром котел.

В чоттагин вошел Амос. Он поздоровался с Каготом и сказал:

— Это я послал гостей к тебе. Тут просторнее да малышка только одна, а из-за моих двух сорванцов гости не смогут хорошенько отдохнуть.

— Слыхали ли они что-нибудь о революции? — спросил через Анемподиста Николай Терехин.

— Мы слышали, что тангитаны дерутся между собой, что Солнечного владыку скинули, что никак без него не поделят власть, — ответил Амос, — а больше новостей в нашей стороне не было.

— Мы представляем революцию, — значительно заявил Терехин. — Революцию, которая совершена на благо трудовому народу.

— Это хорошо, — кивнул Амос.

— Что хорошо? — спросил Першин, немного понимавший по-чукотски.

— Хорошо, что будет хорошо работающим людям, — пояснил свое одобрение Амос и тут же спросил: — А те, кто не работает? Каково им будет?

— Те не будут есть, — пояснил сам Анемподист. — Так сказано в главном законе революции, установленном Карлом Марксом.

— Да-а? — с оттенком огорчения протянул Амос. — Что же им,дохнуть с голоду?

— Выходит, так, — кивнул Анемподист.

Амос с тревогой посмотрел на Кагота и перевел взгляд на Айнану, которая не спускала глаз с Каляны.

А Каляна тем временем поставила на низкий столик длинное деревянное блюдо — кэмэны, — сняла с крюка закипевший котел и большой деревянной ложкой вывалила на блюдо дымящееся, горячее нерпичье мясо.

Все молча принялись за еду. И Терехин и Першин, видать, не были новичками в чукотской трапезе. Они ловко орудовали ножами, отрезая большие куски, со вкусом обглаживали ребрышки.

Когда пришло первое насыщение, Амос глубоко вздохнул и вернулся к предмету разговора.

— Значит, по новому закону будут лишены еды те, кто не работает? — спросил он, обращаясь к Анемподисту.

— Верно, — кивнул чуванец с плотно набитым ртом.

— А как же дети? — Амос кинул взгляд на увлеченную едой Айнану. — Дети ведь не работают.

— Детей будут учить грамоте, — ответил Анемподист.

— А старики и немощные люди? — продолжал Амос. — В нашем селе живет слепой Гаймисин. Мы ему все помогаем. По новому закону ему, выходит, подышать?

— Да не о них речь! — усмехнулся Анемподист. — Права на еду лишаются те, кто не работает, но владеет богатством, например торговцы. Разве ваш Гаймисин владеет богатством?

— Так ведь хороший торговец не сидит сложа руки, иначе ему товара не продать, — заметил Амос. — Что-то я не слышал, чтобы на нашей земле были такие люди, которые ничего не делают...

— А шаманы? — напомнил Анемподист. — Они обманывают народ!

Услышав эти слова, Кагот почувствовал внутренний холод и весь напрягся.

— В вашем становище, может быть, по причине малочисленности и нет богатых людей, а в тундре их полно, особенно среди оленеводов. На побережье это владельцы байдар и охотничьих вельботов.

— Но даже самый богатый оленевод или же байдарный хозяин, если он здоров, тоже работает, — сказал Амос, которому новый закон о лишении права на еду показался несправедливым. Еда на Севере всегда была делом священным. Путника старались прежде всего накормить, а потом уж спрашивали, откуда и куда он держит путь. Если охотник приходил с добычей, а у других ничего не было, все добытое делилось между жителями селения или стойбища. Еда тайком, в одиночку считалась страшным грехом, и если кто такое совершит, то у него во рту и на языке мигом появится множество неизлечимых гнойных язв.

— Однако на русской земле в больших селениях — Петрограде и Москве и даже от нашего берега недалеко, в Петропавловске и Ново-Мариинске — такие люди были, — сказал Анемподист. — Дальше трудовой народ такого терпеть не хочет.

— А чего же он хочет? — осторожно спросил вступивший наконец в разговор Кагот.

— Трудовой народ хочет справедливости! — торжественно заявил Анемподист. — Чтобы все было поровну. Все добытое, сделанное должно поровну делиться между теми, кто работал, добывал. . . Вот так!

— Так ведь мы всегда так делаем, — заметил Амос. — Вот сегодня Кагот добыл нерпу — все становище сыто. А завтра мою добычу поделим. . .

— Ты сказал о шаманах, — напомнил Анемподисту Кагот.

— Шаманы — обманщики! — твердо заявил Анемподист. — И вместе с ними все попы.

— И русские попы тоже? — удивился Кагот. — Те, которые поклонялись нарисованному богу?

— И те тоже! — Анемподист сделал движение рукой, будто рубил копальхен.

Амос и Кагот обменялись тревожными взглядами.

Оба русских очень внимательно прислушивались к

разговору, переглядывались, иногда коротко переговаривались.

Новости для Кагота и Амоса были удивительны и тревожны. Еще совсем недавно им казалось, что далекая война, революция, борьба за власть, разные слухи, часто противоречащие друг другу, — это все события, которые не должны оказывать влияния на устоявшуюся жизнь местных жителей — чукчей, эскимосов, ламутов. Другое дело — чуванцы, такие, как Анемподист Парфентьев, происхождением своим связанные с русскими. У них была другая жизнь, лишь в чем-то соприкасавшаяся с жизнью оленного человека или морского охотника.

— А на корабль не собираетесь? — спросил Кагот.

— Завтра пойдем, — ответил Анемподист. — Новые власти хотят знать, что делает этот корабль у чужих берегов.

— У каких чужих берегов? — не понял Кагот.

— У наших берегов, — пояснил Анемподист. — Для норвегов, равно как и для американских торговых людей, наши берега — чужие.

— Так что же, их погонят отсюда? — встревоженно спросил Кагот.

— Да, — кивнул Анемподист. По всей видимости, чуванец уже отвечал на эти вопросы, которые не могли не возникнуть на их долгом пути от Ново-Мариинского поста до Чаунской губы.

— Кто же тогда даст нам патроны для винчестеров, порох, дробь, чай, сахар, табак, материю на камлейки? — спросил Амос. — Нынче чукотскому человеку много чего надо купить у торговцев.

— Новая власть будет торговать, — заявил чуванец. — Приедут из Владивостока пароходы с нужными товарами, и этот товар будет продаваться по справедливой цене.

Кагот хотел было спросить, откуда у бедных возьмется столько товара, чтобы открыть новую торговлю, но вовремя остановился, потому что заговорил Терехин.

Анемподист слушал и кивал, наморщив лоб, стараясь хорошенько запомнить каждое слово русского.

— Новая власть — это власть народа, — начал переводить Анемподист. — То есть каждый человек — и ты, Кагот, и ты, Амос, — каждый из вас будет думать о том, что делать, как жить дальше. И только это желание народа будет законом жизни. А для того, чтобы правильно понимать жизнь, надо учиться. Так сказал предводи-

тель племени большевиков Владимир Ленин. Это новое племя взяло власть во всей России, чтобы уничтожить несправедливость. Чтобы каждый человек, будь он русский, чукча, эскимос или кавказец, — все были равны. . .

При упоминании кавказца Кагот вспомнил Григория Кибизова, который недавно проехал с партией, полной товара, в сторону устья Колымы.

— Поэтому каждый здешний житель должен овладеть грамотой и знаниями, — продолжал Анемподист. — Для начала Першин будет обучать и взрослых, ибо детишек здесь маловато и надо будет их собрать с окрестных оленных стойбищ. Потом вы изберете власть — Совет и будете жить, перестраивая жизнь по новому, справедливому закону. . .

Кагот слушал, но многого не понимал, хотя старался не упускать ни одного слова. Он догадывался, что переводчик многое искажает, потому что по лицу Терехина видно было, что говорил он о вещах серьезных и важных, а в устах Анемподиста Парфентьева это порой превращалось в нечто маловразумительное.

— В чем же смысл этой новой жизни? — еще раз спросил Кагот, глядя в глаза Терехину, чтобы тот понял обращение к нему.

Русский догадался и спросил Анемподиста:

— О чем он спрашивает?

— Никак не может уразуметь смысла советской власти, бестолочь такая! — усмехнулся Анемподист.

— А ты ему толкуй, разъясняй, — терпеливо сказал Терехин и ободряюще улыбнулся Каготу. — Вот ты скажи ему: отныне у чукотского человека наступает новое время. Человек как бы до этого спал всю жизнь, многого не понимал, был оторван от других людей, и каждый, кому не лень, обижал его и обирал. Он был беспомощен против болезней, против непонятных сил природы, был рабом жизни. А будет — хозяином!

Удивительно, но Каготу показалось, что он понял, уразумел русский разговор. Может быть, просто Анемподист на этот раз переводил точнее и добросовестнее, не прибавляя к словам русского своих рассуждений. И поэтому Кагот в свою очередь растолковал Амосу и Қаяне сказанное Терехиным.

Был уже поздний час. Бедная Айнана, насытившаяся, наслушавшаяся непонятных разговоров, уставшая от созерцания незнакомых лиц, но довольная роскошным подарком — огромным куском твердого белого русского

сахара, уже давно спала в пологе. Замолкли собаки, утих вечерний ветер, и полярное сияние, свернув разноцветные полосы, уступило небо ярким зимним звездам. Под ногами громко хрустел снег, искрящийся даже в темноте, уходящий вдаль, к морским торосам, где темным пятном, обозначенным сигнальными лампами, виднелся норвежский экспедиционный корабль «Мод».

Кагот и Амос шли медленно, погруженные в размышления, в тревожные думы о будущем.

Где-то в душе Кагота всегда теплилась мысль, что в жизни должно что-то случиться. Не может быть, чтобы все продолжалось размеренно, по извечному, накатанному кругу. Ожидание чуда иногда превращалось в сны. То чудилось Каготу, что он обрел великое могущество, получил магическое средство творить добро. То думалось, что все люди вдруг станут бессмертными или же превратятся в китов, как в старинной легенде о происхождении приморского народа. Или же что придет на холодный Север вечное лето и льды уплывут в далекие моря. Все эти ожидания, мечтания, предчувствия чуда связывались с действиями могущественных Внешних сил.

— Послушай, Кагот, — заговорил Амос, — вот приезжие сказывали про власть, которую мы будем выбирать. Наверное, без этого не обойтись. В нашем становище ты самый подходящий. Тебя и будем выбирать.

— Это почему? — насторожился Кагот.

— Потому что ты беднее меня, — ответил Амос. — У тебя нет байдари, да и собак поменьше. Яранга принадлежит Каляне, а ты вроде бы жилец у нее. Если рассуждать по-ихнему, то ты беднее даже слепого Гаймисина.

— Нет, я не могу, — серьезно ответил Кагот. — Я шаман, а они шаманов, как я уразумел, не жалуют.

— Но ты вроде бы отрекся, — начал Амос, но тут же осекся, вспомнив, как его спас Кагот и что ему он обязан не только жизнью, но и новым именем. С каждым днем он чувствовал себя лучше и уже собирался на первую зимнюю охоту. Свое быстрое выздоровление Амос приписывал главным образом тому, что следовал совету Кагота быть совсем другим человеком. Сменив имя, Амос настороженно следил за тем, чтобы поступать вопреки своим привычкам, хотя это было нелегко. Особенно обижалась жена, и у него даже мелькнула мысль сменить и ее. Но дети. . . Детей жалко, и ради них Амос оставался с прежней женой, к которой, надо сказать, относился

с искренней любовью и теплотой. Он привык, чтобы она была рядом, чтобы встречала его с зимней охоты после долгой дороги, чтобы ее голосом вместе с теплым дымом была наполнена яранга.

— Да, это верно, — кивнул Кагот. — Я отрекся от многого... Но и теперь порой ощущаю, что сила не совсем ушла из меня. Внешние силы иногда разговаривают со мной или через меня...

Амос взглянул на Кагота. Ведь с виду самый что ни на есть обыкновенный человек, ничем особенным не привлекающий внимания. Но сколько в нем внутренней силы! И даже страшно подумать об истоках этой силы!

— Послушай, Кагот, — вкрадчиво заговорил Амос, — а может быть, нам этой новой власти и не нужно? Ну посуди сам: к чему она нам? Выбирать из трех беднейших яранг самого бедного — это даже смешно!

— Чую, что эта власть не только для нашего становища, а, похоже, для всех людей нашей земли, — задумчиво произнес Кагот... Где-то в словах этих русских чудилась ему высшая справедливость, только Анемподист все неважно переводил. В общем-то, так и должно быть на земле: чтобы все голодные были накормлены, чтобы все несчастные нашли утешение, чтобы все бездомные обрели крышу, чтобы люди жили в мире и доверии друг к другу, как братья...

— Что-то сомневаюсь в этом. — Амос кашлянул. — Никогда не поверю, чтобы тангитаны начали браться с нами...

— Так ведь и среди них есть бедные и несчастные, — сказал Кагот. — Я их видел на американской земле. Богатых — горстка, а бедных — как комаров в тундре! Это с нашего нищего берега все, кто приплывает на больших кораблях, кажутся богатыми и счастливыми. А на самом деле такого нет. Самый богатый байдарный хозяин нашего побережья куда человечнее владельца большого парохода или шхуны. Знаешь, как они быют своих матросов? В кровь! Зубы летят за борт. И еще у них есть такой черный народ — негры. Этих вовсе за людей не считают...

— А как ты думаешь, этих, что на корабле, тоже будут обращать в новую жизнь? — осторожно спросил Амос.

— Вроде бы они из другой страны, — ответил Кагот.

— Я их не различаю, — со вздохом признался Амос. — Для меня все они на одно лицо — тагитаны.

А когда их много, я вовсе теряюсь и не могу отличить одного от другого, особенно когда они одинаково одеты.

— Среди тангитанов есть большие различия, — сказал Кагот. — Есть русские, кавказские, американские, норвежские, а вот еще оказались большевики. . .

Проводив Амоса в его ярангу, Кагот повернул к своему жилищу, но вошел не сразу, а еще долго оставался снаружи, любясь звездным сиянием. Он ощущал в себе внутренний восторг, или, как он мысленно называл его, ветер восторга, и отдавался его ровной силе, ожидая прихода божественных слов.

В чоттагине уже было тихо. Каляна поставила у левой стенки чоттагина гостевой полог, небольшой, но вполне достаточный, чтобы в нем поместились трое приезжих, а сама лежала без сна, высунув голову в чоттагин. В обложенном закопченными камнями очаге догорали последние угли, то покрываясь пеплом, то вспыхивая от слабого движения воздуха.

Кагот осторожно разделся, повесил одежду в чоттагине и нырнул в полог.

— Что же теперь будет? — встревоженно спросила Каляна.

Он оставил без внимания вопрос женщины, улегся на свою постель у другого края полога и закрыл глаза.

Оставаясь в пределах разума,
Как в берегах вольная вода реки,
Мысль мечтает о свободе течения,
Пытаясь вырваться на волю. . .
Но только обилие воды, обилие идей
Может прервать привычный мыслей ход
И разуму открыть неведомый доселе путь. . .

9

Кагот проснулся рано, но долго лежал в пологе, размышляя об услышанном вчера. Как жаль, что он не знает русского языка, чтобы самому, а не через Анемподиста поговорить с этими людьми, порасспросить их как следует.

Высунув голову из спального полога в чоттагин, он поглядел в сторону гостевого полога, но не заметил ничего особенного.

Каляна давно проснулась и собиралась разжигать костер.

— Дров мало, — сказала она Каготу.

Кагот выскользнул в чоттагин, быстро оделся и вышел из яранга.

На воле было тихо, но пасмурно. Сквозь морской искрящийся туман пробивался электрический свет на главной мачте норвежского корабля.

Кагот снял с подставки парту, сам впрягся в нее и направился на берег, чтобы достать из-под снега несколько обточенных водой и камнями бревен.

Что же за люди эти новые тангитаны, так не похожие на торговых людей? Мучают ли их те же мысли, что и его? Думают ли они о жизни и смерти? Почему, в силу какого закона, по чьему всесильному распоряжению человек обращается в прах, а от тела отлетает то, что было причиной живого дыхания, голоса, мыслей, речи? Или для них жизнь человека — ничто? Если это так, то, наверное, оттого, что их, тангитанов, великое множество по сравнению с чукчами, эскимосами и ламутами. Даже здесь, на краю замороженной земли, исконной земли луоравэтльанов, в эти первые зимние дни тангитанов куда больше, чем коренных жителей.

На обратном пути он увидел фигурки людей, идущих по льду с корабля.

Когда Кагот вернулся в ярангу, гости уже проснулись и занимались странным делом: один держал перед собой осколок зеркала, а другой водил по намыленному лицу лезвием бритвы. У стоящего рядом Анемподиста в руках была жестяная миска с горячей водой и обмылок. С бревна-изголовья Каляна и Айнана наблюдали за происходящим с величайшим интересом и вниманием. Сам Кагот пускал в ход охотничий нож, когда начинал чувствовать неудобство от нарастающих на лице волос. Правда, растительности у него было немного, и он довольно чисто выкабливал подбородок на ощупь, не прибегая к зеркалу.

— Амтын етти! — весело поздоровался Анемподист. — Гляди, каковы красавцы! Хочешь, и тебя побреют?

— Не надо, — отказался Кагот, но невольно дотронулся до своей редкой щетины.

Он уселся по другую сторону костра и сказал Каляне:

— Гости идут с корабля.

— Тогда долью воды в чайник, — захлопотала Каляна.

— К нам идут норвеги с корабля, — объявил Кагот Анемподисту.

Терехин, выслушав сообщение, оглядел чоттагин и, улыбнувшись, сказал Першину:

— Ну что же, помещение для приема иностранных гостей не больно казисто, но зато стоит на земле Советской республики.

Каляна вытащила из посудного ящика несколько фарфоровых чашек, среди которых были даже две целые, не оплетенные тонкими нерпичьими ремешками, несколько блюдец. На небольшое деревянное блюдечко она настрогала свежезамороженного мяса из вчерашней добычи и положила чуть потемневший кусок сахара.

— Анемподист, доставай-ка наши запасы, — скомандовал Николай Терехин. — Где там сухари, сахар и чай? Давай все на стол!

Анемподист развязал холщовый мешок с небогатыми припасами, насыпал на столик горку черных сухарей и положил несколько кусков сахара. Оглядев накрытый стол, Николай Терехин с довольным видом произнес:

— Ну что же, не худо. Совсем не худо... Ну-ка посмотри, Анемподист, идут?

Анемподист выглянул наружу и вернулся с известием:

— Бредут. Трое шагают.

Николай Терехин, путешествуя вдоль побережья Чукотского полуострова, с удивлением убедился, что этот далекий край отнюдь не богом забытая окраина. Здешние жители давным-давно употребляли чай, курили табак, лакомились порой сахаром, стреляли зверя из многозарядного винчестера, прекрасно знали, что такое алкоголь, и даже в некоторых селениях добывали его самобытным способом, выгоняя из муки и сладкой патоки. В летнее время эти берега кишели торговыми шхунами, небольшими суденышками, на которых приплывали золотойскатели, наслышанные о якобы несметных золотых россыпях на прибрежных чукотских косах. Правду сказать, на всем пути из Ново-Марининска до Чаунской губы им так и не встретился ни один разбогатевший золотойскатель, однако следы драгоценного металла здесь все-таки были, и самые удачливые старатели за летний сезон намывали фунтовый мешочек из-под американской муки.

Общее впечатление создавалось, однако, гнетущее: было ясно видно, что эта дальняя окраина России подвергалась самому беззастенчивому и безнаказанному ограблению как российскими, так и американскими торговцами. Местное население, за исключением нескольких

богатеев, владельцев байдар и вельботов, хозяев больших оленьих стад, влачило самое жалкое существование. Поражала грязь в жилищах, какая-то тихая покорность людей обстоятельствам. В глаза бросалось обилие больных, особенно кашляющих — видно, чахотка свирепствовала в этих краях. По мере продвижения на северо-запад у Николая Терехина и его спутника крепла уверенность в том, что советская власть вовремя пришла к этим людям на помощь. Только слепой мог не видеть, что местное население шло к исчезновению с лица земли.

Первым в чоттагин вошел Амундсен.

— Здравствуйте, господа! — весело и радушно поздоровался он.

Вошедший вслед за ним Олонкин перевел его приветствие.

— Здравствуйте, господин Амундсен! — ответил Николай Терехин.

— О, вы знаете мое имя? — Норвежец был поражен.

— Весь цивилизованный мир знает имя отважного путешественника, покорителя Южного полюса! — сказал Терехин. — Милости просим в ярангу. Извините, что принимаем вас в такой обстановке...

— Что вы, что вы! — Амундсен все еще не мог оправиться от удивления. Честно говоря, он любил славу и почести, которые ему оказывались как знаменитому путешественнику. Но здесь, на окраине планеты... — Позвольте мне представить моих спутников, членов Норвежской полярной экспедиции: господин Геннадий Олонкин, русский по происхождению, механик нашего судна Кнут Сундбек...

Николай Терехин и его спутники обменялись рукопожатиями. Каляна поправила дрова в костре, чтобы было и светло и не так дымно.

— Я являюсь полномочным представителем Анадырского ревкома Чукотки, представляющего здесь, на северо-востоке Советской республики, большевистское правительство, возглавляемое вождем нашей революции Владимиром Ильичем Лениным. Меня зовут Николай Васильевич Терехин. Мой товарищ Алексей Терентьевич Першин также представляет Анадырский ревком и прибыл в Чаунскую губу для организации советской власти, разъяснения задач революции. Если ему удастся, он открывает школу. Анемподист Парфентьев, наш каюр и переводчик, является служащим Анадырского ревкома.

— Очень приятно! Очень приятно! — сказал Амундсен.

— Проходите к столу. — Алексей Першин сделал приглашающий жест.

Прежде чем занять свой китовый позвонок, Амундсен поздоровался с Каляной и протянул Айнане конфетку в цветастой обертке.

Каляна сняла чайник с крюка и принялась разливать чай. Налила она и Каготу. Амундсена заинтересовала его чашка, хотя он видел ее не в первый раз.

— Разрешите? — попросил он.

Недоумевая, чем могла заинтересовать эта чашка, Кагот протянул ее норвежцу.

— Вы только посмотрите, — взволнованно произнес Амундсен, — как искусно оплетена чашка! словно кружево, ременное кружево. Поразительно! Я не перестаю удивляться и восхищаться умением северного человека приспособиться к самым невероятным условиям на обитой природой земле. Ей-богу, эти люди заслуживают лучшей участи и защиты.

Хотя речь и была обращена к чашке Кагота, Николай Терехин понял намек.

— Революция в России и была совершена для того, чтобы дать новую жизнь всем бедным, обездоленным. Мы, большевики, исходим из того принципа, что трудовой народ сам должен распоряжаться плодами своего труда.

— Но я слышал, — кашлянул Амундсен, — что большевики отрицают собственность...

Терехин усмехнулся.

— Мы не отрицаем личной собственности для человека в разумных пределах, для обеспечения достойной жизни ему самому и его семье. Но мы категорически против собственности, которая дает владельцу нетрудовые доходы и позволяет эксплуатировать бедняка.

Амундсен внимательно выслушал Терехина и с достоинством сказал:

— Должен заметить, господин Терехин, что мой вопрос вызван чистым любопытством. Наша экспедиция ни в коем случае не собирается вмешиваться в ваши внутренние дела или каким-то образом влиять на ход событий в здешних краях. Единственно, в чем мы нуждаемся, это в содействии выполнению задач нашей экспедиции, которые полностью согласуются с историческими целями всего человечества. В случае удачи нашего предприятия

— Мы бы могли вас снабдить кое-какими продуктами, — сказал Амундсен. — Экспедиционные запасы у нас достаточно велики, приходите на корабль, и мы без ущерба можем кое-чем поделиться.

— Нет, у нас есть все, что надо, — твердо ответил Терехин. — А приглашением воспользуемся, если вам удобно, завтра днем.

— Приходите к обеду, — добавил на прощание Амундсен, церемонно откланиваясь у выхода из яранги.

На правах хозяина Кагот вышел проводить гостей.

Некоторое время в чоттагинге царил тишина. Первым подал голос Анемподист, принявшийся собирать остатки сухарей:

— Вон сколько поели, окаянные!

Да, черные сухари явно пользовались большим успехом у норвежцев. Особенно много погрыз их Геннадий Олонкин, успевавший и переводить и есть.

— Анемподист, — строго сказал Терехин, — оставь сухари на месте!

— А сахар? — жалобно спросил каюр.

— И сахар! — ответил Терехин. — Что же ты так? Не по-людски это — ставить на стол, а потом забирать.

— Так последнее! — взмолился Анемподист. — У нас больше ни крошки! Как дальше будем жить? Не переходить же нам на самом деле на копальхен. Не норвеги же!

— Так я и поверил, что они копальхен едят, — заметил Першин. — Буржуи! Сразу видно. И этот русский — явно приказчик. Чистенький, выкормленный. Небось потихоньку пушниной промышляют, путешественники...

Почему-то Першин не проникся ни к Амундсену, ни к его спутникам большим уважением. Конечно, он тоже знал это имя, имя великого путешественника, покорителя Южного полюса, но вид благополучных людей, здоровых, упитанных, раздражал его. Он вспоминал долгий путь по побережью Ледовитого океана, нищие стойбища, умирающих детей, алчных, одичавших от жадности торговцев. Вспоминал карательные экспедиции каппелевцев и другой белогвардейской сволочи, расстреливавших в сибирских и дальневосточных деревнях безоружных крестьян только за то, что они сочувствовали партизанам.

В ярангу вернулся Кагот и прошел к пологу. Усевшись на бревно-изголовье, достал трубку и раскурил. Потянув посом, Першин спросил:

— Откуда табак?

— С корабля.

— Подарок?

— Нет, почему, — ответил Кагот, — выменял. На ко-
пальхен, собачий корм.

— Ну что я говорил? — Першин торжествующе по-
смотрел на Терехина. — Поторговывает ваш покоритель
Южного полюса!

— погоди, погоди. — Терехин повернулся к Каготу. —
Говорите, купили на корабле? У кого?

— У самого у главного, Амундсена, — нерешительно
ответил Кагот, чувствуя, что один из русских, тот, что
помоложе, почему-то сердится на норвежца.

— Видал? В таком случае он обязан заплатить тор-
говую пошлину! — сказал Першин. — А лучше всего, если
мы кое-что у него конфискуем.

— Да ты погоди. — Терехин говорил спокойно. — Ку-
да торопишься? Конфисковать всегда успеем. Никуда они
от нас не уйдут, коли так крепко вмерзли в лед. Но по-
мнить надо — научная экспедиция! И человек, известный
всему миру. А ты — конфисковать! Знаешь, охотников
замарать нашу революцию и так довольно... Послушай,
Кагот, а еще с кем торговал норвежец?

Кагот чувствовал по тону разговора, что Амундсену
вроде бы не полагалось этого делать, но, привыкший ни-
чего не скрывать, он прямо ответил:

— Больше не знаю... Но проезжие жаловались на
него...

— Жаловались? — насторожился Терехин.

— Отказывался с ними торговать... Говорил, что он
не купец и товару для торговли у него нет.

Терехин поглядел на Першина и спокойно сказал:

— Ты лучше сделай вот что: перепиши сегодня дети-
шек и обитателей этого становища да выясни, какие олен-
ные стойбища поблизости. И еще одно важное дело: надо
тебе определиться, где жить. Школу тебе построят дай
бог года через два, так что подумай.

— Однако жить придется пока в яранге, чего тут ду-
мать, — подал голос Анемподист.

— Это уж ясно, — уныло протянул Першин. — Вот
только в какой?

Расспросив Кагота, выяснили состав населения ста-
новища, жителей каждой яранги: всего постоянных жи-
телей оказалось десять человек.

— Надо проситься в эту ярангу, — заключил Тере-

хин и обратился к Каготу: — Вы не будете против, если Першин останется жить в вашей яранге?

Кагот посмотрел на Каляну.

— Надо спросить об этом хозяйку. . .

— Это само собой, — заметил Терехин, — как же без согласия хозяйки. Но вы-то сами не против?

— Я не хозяин, — сказал Кагот. — Я приезжий, как и вы. Каляна приютила меня.

— Вон как! — протянул Терехин. — Тогда действительно надо спрашивать хозяйку. . . Каляна, вы не против будете, если у вас в яранге будет проживать товарищ Першин? За аренду помещения мы потом заплатим. . .

— Пусть живет, — просто ответила Каляна. — Места в яранге довольно. Если его устраивает гостевой полог, пусть в нем и остается.

— Ну вот и хорошо! — обрадовался Терехин. — Можно сказать, все главные вопросы решили. Общий сход, Алексей, соберешь, когда как следует ознакомишься с обстановкой.

Весь остаток дня путники занимались подготовкой к продолжению путешествия. Каготу пришлось съездить к мясным ямам за копальхеном для собак.

Вечером на чаепитие зашел Амос, но был осторожен в разговорах и больше молчал, чтобы не выдать в себе каким-либо словом прежнего Амтына. Когда к нему обращались с вопросом, он кивал, соглашаясь со всем, что бы ни говорили. Надо сказать, что Амос совершенно переменялся за последнее время, и Кагот порой замечал, что уж больно старается сосед запутать злых духов, доходя иногда до того, что даже жена становилась в тупик от его поступков.

На следующий день в назначенный час Терехин, Першин и Анемподист Парфентьев отправились с ответным визитом на «Мод».

Погода стояла морозная, крепкий устойчивый северный ветер бил в лицо, заставляя отворачиваться. Тропинка от корабля к берегу уже явственно обозначилась, и люди шли по ней не сворачивая. Красный отблеск заставшегося за дальними южными хребтами солнца достиг своей высшей силы, и все снежное пространство к югу от ледовитого побережья казалось облитым кровью.

Несмотря на сильный холод, дикая суровая красота окружающего поражала воображение.

Сходни, спущенные с корабля на лед в ожидании посетителей, были тщательно очищены от снега и даже посыпаны невесть откуда взятым желтым песочком.

Амундсен встретил гостей на палубе, у верхнего края сходней, как бы оказывая этим особое внимание представителям власти.

— Рад приветствовать вас на малой, затерянной среди вечных снегов территории моей любимой родины Норвегии! — торжественно провозгласил хозяин. — Прошу в кают-компанию.

Накануне вся команда корабля произвела тщательную уборку, и кают-компания встретила гостей не только теплом, звуками виктролы, но и блеском начищенной меди, полированного дерева. Сундбек ввернул в люстру дополнительную лампочку, и большое помещение было залито таким ослепительным светом, что Анемподист не удержался и воскликнул:

— Ну и сияние!

Освободившись от меховой одежды, следуя приглашающему жесту Амундсена, гости расселись на привинченные к полу стулья и продолжали озиаться по сторонам, рассматривая убранство просторного корабельного помещения. Амундсен, довольный таким вниманием к кораблю, молчал, как бы давая возможность гостям оглядеться и привыкнуть к обстановке.

— Прекрасная кают-компания! — искренне похвалил Николай Терехин. — А кому принадлежит корабль?

— Корабль принадлежит мне, — ответил Амундсен. — Я потратил на его строительство все свое состояние и не жалею об этом. Из существующих в мире судов подобного типа, пожалуй, только «Фрам» Нансена может сравниться с «Мод». Корабль строился в Норвегии, в Больдене, на Аскарской верфи, и наше кораблестроение не знает более тщательной, толковой и добросовестно работы.

В дверях камбуза с подносом появился Ренне. (был в белой куртке с блестящими пуговицами и высоким, тоже белом колпаке. Консервированные помидоры, огурцы, красиво нарезанные ломтики моркови были украшены невесть каким образом сохранными перышками зеленого лука. Скорее всего Сундбек постриг св «огород», расположенный под световым люком,

Над всем этим возвышалась бутылка настоящей русской водки в окружении хрустальных рюмок.

Амундсен разлил водку и сказал:

— Господа! Не знаю, насколько верны мои представления о русских обычаях, но, прежде чем приступить к обеду, я бы хотел провозгласить тост за здоровье наших гостей и за процветание Советской республики!

— Надо выпить, — тихо сказал Терехин товарищам, берясь за рюмку.

Гости отдали должное закуске и подапному вслед за ней превосходному томатному супу, однако не чувствовали себя свободно. Их смущала не еда, а роскошная сервировка, столовое серебро, накрахмаленные салфетки. Першин искоса следил за Анемподистом, который медлительными и солидными манерами скрадывал свою растерянность. Он быстро сообразил, как надо действовать, и подражал каждому жесту хозяина.

В меню обеда была лососина, оленьи языки со спаржей. А когда появились трубочки со сливками, Терехин не сдержался и весело глянул на Першина.

За кофе, ликером и сигарами Амундсен заговорил:

— Господин Терехин, хочу довести до вашего сведения, что мы для нужд экспедиции приобрели некоторое количество мехового товара для одежды, а также моржового копальхена и рыбы для собак. Я готов предъявить вам как представителям правительства все приобретения и, если надобно, уплатить положенную при этом пошлину.

— Господин Амундсен, — ответил Терехин, вертя в руках сигару, — наше правительство будет оказывать всяческое содействие мирным научным исследованиям. Что же касается пушнины, которую вы приобрели для снаряжения, она таможенному сбору не подлежит. В конце концов, настоящая наука — это достояние всего человечества.

Першин с удивлением посмотрел на товарища.

— Весьма благодарен вам. Можете быть уверены в том, что мы не занимаемся коммерческими операциями и меновой торговлей в целях наживы...

— Мы вам верим, господин Амундсен, — повторил Терехин.

— Еще раз благодарю вас, господин Терехин, — уже спокойно сказал Амундсен. — Насколько я понял из вчерашней беседы, вы намереваетесь открыть здесь школу?

— Да, наша цель — научить людей грамоте, а через грамоту и просвещение изменить их жизнь.

— Это весьма похвальное желание, — заметил Амундсен, — но вот в чем вопрос: хотят ли сами здешние люди изменений? Может быть, для них именно этот образ жизни, к которому они приспособились веками, является самым подходящим? Я это говорю не ради того, чтобы просто порассуждать, а опираясь на свой собственный опыт общения с арктическими аборигенами. Мне пришлось зимовать в канадской Арктике при открытии Северо-Западного прохода, подолгу жить среди эскимосов, и я не раз слышал их заверения в том, что человек Севера ни за что не променяет свою жизнь на какую-то другую. История арктических народов — это удивительная история, полная лишений и мужества. Не будет преувеличением сказать, что даже самая обыденная их жизнь в глазах европейского обывателя — это настоящий подвиг, проявление незаурядного героизма.

— Никто не собирается изменять образ жизни арктических народов, точно так же как и других народов Советской республики, — ответил Терехин. — Наша задача — открыть глаза на несправедливость и невежество в их жизни и их же собственными силами избавиться от них.

— Я понимаю ваше стремление, — отозвался Амундсен, — но что будет, если вы встретитесь с нежеланием открывать глаза на то, что вы называете несправедливостью и невежеством?

— Мы верим в разум человека, в его неисчерпаемые возможности, в то, что современный человек, в каких бы тяжких и невероятных условиях ни жил, ничем — ни умственно, ни физически — не отличается от того же европейского обывателя, о котором вы только что упомянули. Мы были бы наивными прожектерами, если бы ожидали, что любое наше начинание будет безоговорочно принято и одобрено. Нет, конечно, мы готовы встретиться с неимоверными трудностями, быть может, даже непониманием на первых порах. Но мы верим в наши идеалы

— Извините за сравнение, но вы напоминаете мне некоторых миссионеров, — заметил Амундсен.

Из всех, кто взял сигары, только он с Анемподистом усердно дымили, а остальные либо отложили их, либо просто держали в руках.

— Миссионеры несли людям искаженное представ

ление о мире и одно заблуждение пытались заменить другим, — сказал Терехин. — У нас другая задача...

— Хорошо, скажите тогда, почему бы вам не начать с самого насущного — снабжения здешних жителей хорошими ружьями, лодками с моторами, с организации медицинского обслуживания? Вы начинаете с обучения грамоте... Я не уверен, что чукчи правильно вас поймут. — Амундсен осторожно приблизил к пепельнице наросший на краю сигары столбик снечватого, похожего на росток оленьего рога пепла и легким щелчком сбил его. За ним то же самое с точностью проделал Анемподист, и Амундсен с улыбкой спросил: — Не хотите ли еще ликеру?

Анемподист облизнулся и сказал:

— С удовольствием!

— Сундбек, — приказал Амундсен, — принесите еще ликеру!

Когда новая порция была налита в рюмку Парфентьева, Амундсен продолжил:

— Я уверен, что ваши намерения и философия новой жизни привлекательны не только для местных жителей. В свое время я знакомился с разными утопическими произведениями европейских мыслителей, а также с учением о социализме. Скажу вам откровенно — сама цель очень привлекательна, поскольку она отражает вековую мечту человечества о справедливости. Единственное, чего я не разделяю, это способов достижения этой цели путем насильственной революции.

— А что делать, коли люди добровольно не расстаются с нагребленными богатствами? Есть такие несправедливые вещи, для искоренения которых приходится применять и насилие... А нам, честно говоря, — вздохнул Терехин, — этого не хотелось бы. — Он обвел взглядом товарищей и весело сказал: — Ну что же, погостили — и хватит!

Амундсен сделал знак Сундбеку, и тот, скрывшись на мгновение за дверью кают-компании, появился с тремя хорошо упакованными внушительными свертками.

— От имени Норвежской полярной экспедиции прошу принять эти скромные подарки. Мы постарались предусмотреть то, что вам понадобится в долгом пути по голодной снежной земле... И еще одно дружеское предложение: у нас в трюмах почти трехлетний запас продовольствия и разных других припасов, которыми мы мо-

жем поделиться с вами без всякого ущерба... Пожалуйста!

Терехин встал.

— Подарки мы принимаем как проявление дружелюбия, — сказал он. — Что касается остального, то мы уже привыкли обходиться малым. Ну а если вам уж так хочется оказать помощь первым шагам Советского правительства на Чукотке, просим снабдить нашего учителя Алексея Першина хотя бы самыми необходимыми письменными принадлежностями.

— Мы это сделаем с величайшим удовольствием, — заверил Терехина Амундсен.

— Сегодня вечером, когда в Петрограде будет утро, — сказал Терехин, — мы поднимем красный флаг, символ республики, над официальной резиденцией нашего представителя. Прошу вас прибыть на церемонию.

— Обязательно придем! — обещал Амундсен.

Для флагштока в яранге Амоса нашлась старая мачта с какой-то потерпевшей бедствие шхуны. Ее обтесали с конца и прикрепили петельку, намазанную тюленьим жиром, чтобы по ней хорошо скользил ремень.

Флагшток установили правее входа в ярангу. Терехин достал красный кусок материи и аккуратно прикрепит его к ремешку. Флаг хорошо, легко поднимался ввысь, и ветер разворачивал его, придавая не только яранге, но и всему становищу новый, удивительный облик.

В назначенный час к яранге собрались все жители становища и почти все члены Норвежской полярной экспедиции.

Николай Терехин, держа в руке конец ремня, произнес короткую речь:

— Товарищи! Жители далекого чукотского становища! К вам пришла новая, Советская власть, утро справедливой жизни в истории человечества. Я хочу, чтобы все, кто сегодня присутствует здесь при знаменательно событии, хорошенько запомнили этот день. Да здравствует пролетарская революция! Да здравствует вождь рабочего класса товарищ Ленин! Ура, товарищи!

Кричали только Першин и Анемподист Парфентьев, но все взволнованно следили, как медленно поднимал флаг и студеный ветер разворачивал красное полотнище.

После отъезда товарищей Першина охватила такая тоска, что он готов был пуститься следом за ними. Но надо было работать...

Першин хотел собрать жителей становища, чтобы избрать Совет. Однако Кагота в яранге не оказалось, не оказалось и Амаса: они ушли на морскую охоту во льды. В становище остались только женщины и слепой Гаймисин, но все они занимались делом, даже малые детишки. Один Першин бродил от яранги к яранге, пробуя заговаривать по-чукотски. Женщины смеялись над его произношением, удивляясь, что тангитан пытается говорить на их языке, с удовольствием поправляли его, учили новым словам.

Становище в Чаунской губе было выбрано Анадырским ревкомом еще в Ново-Марининске. В будущем здесь должны возвести особое поселение, откуда на все окрестные тундры и ледовое побережье будут распространяться идеи и примеры новой жизни. Планировалось также построить школу-интернат, больницу, радиостанцию, мастерские для обучения взрослых современным профессиям, ветеринарный пункт. Это должна быть советская культурная база, как сказал председатель ревкома. В далеком будущем на этом берегу предполагалось возвести морской порт и город.

А пока это место, особенно в темноте полярной ночи, наводило на Першина уныние и грусть. Казалось бы, открывающиеся взору огромные, беспредельные пространства должны рождать другие, более светлые чувства, но мысль о том, что отсюда до Петрограда тысячи и тысячи километров, а Анадырь и Петропавловск хоть и ближе, но так же недоступны, угнетала и рождала чувство безысходности. В эти минуты с особой отчетливостью вспоминалось детство на зеленой окраине Петрограда, старый деревянный скрипучий дом, пропахшая лекарствами рабочая комната отца, его врачебный кабинет. Алексей Першин родился и рос во вполне обеспеченной и благополучной семье. Учился в гимназии на Петроградской стороне, куда каждое утро ездил на трамвае. Но уже в старших классах познакомился с нелегальной марксистской литературой и, будучи слушателем Высшего коммерческого училища, в самом начале войны вступил в партию большевиков. Окончить училище не удалось. Партия послала его на Дальний Восток.

И вот — Чукотка. Где-то далеко-далеко остался родительский дом в Озерках, сестренка, родители. Вот уже более трех лет от них никакой весточки.

Странно, но посещение корабля норвежских путешественников всколыхнуло воспоминания, напомнило деревянный отчий дом, в чем-то схожий с кораблем, долгие зимние вечера и громкие чтения в столовой. Под большой висячей лампой с зеленым абажуром читали новые стихи входившего в известность молодого поэта Александра Блока:

Поздней осенью из гавани,
От заметенной снегом земли,
В предназначенное плавание
Идут тяжелые корабли.

Страхнув с себя грусть и отогнав тоскливые мысли, Першин несколько раз обошел становище и спустился к морю. Его привлекли какие-то странные предметы, торчащие из-под льда и снега. Присмотревшись, он увидел, что это обломки деревьев, часто даже целые бревна и доски. Внезапно Першина озарила мысль: были бы гвозди и какой-нибудь нехитрый инструмент, вполне возможно соорудить из всего этого небольшую избушку с настоящим окном, сколотить две-три парты! Он обошел кучи сложенного дерева, потрогал замерзшую древесину и подумал о том, что его положение не так уж плохо, как показалось в первые минуты после расставания с товарищами.

Он быстро вернулся в становище и в чоттагине яранги застал Геннадия Олонкина.

Поздоровались. Олонкин сказал:

— Амундсен приглашает вас в баню.

— Баню? — не поверил своим ушам Першин. — Я не ослышался?

— Нет, не ослышались, Алексей, — с улыбкой ответил Олонкин. — У меня даже припасен веник.

— Веник? Откуда? Где вы тут нашли березу?

— На восточном берегу Таймыра. Когда мы там стояли, в устье одной из речек я набрел на рожицу карликовых березок и наломал для себя несколько веников.

Паровая баня на «Мод» была изобретением Сундбек и представляла собой крохотное, обшитое некрашеным сосновыми рейками помещение, в котором с помощью

небольшой каменки, раскаленной нефтяной форсункой, создавалась вполне банная атмосфера. Остальные члены экспедиции уже вымылись и напарились и угощались чаем и кофе в кают-компании.

В бане стояла лохань с горячей водой и вторая, для разбавления, с ледяной. Кроме того, тут же за дверью, прямо на палубе был наметен целый сугроб чистого, свежего, мягкого снега для желающих.

Мочалка была жесткая, вода горячая, и Першин стоял и мычал от удовольствия. Да и Олопкин старался вовсю, натирал до красноты тело Першина, окачивал холодной водой, снова намыливал. Изю всех сил хлестались жиденькой мелколистной полярной березкой, выбегали на палубу, барахтались в мягком снежном сугробе и опять возвращались в парилку.

Наконец, окончательно обессиленные, оделись и вошли в кают-компанию.

— Вы можете пользоваться нашей баней в дни, когда мы топим ее, — сказал Амундсен. — По пятницам.

— Большое спасибо, — поблагодарил Першин. — Но мне все же неловко...

— Почему? — удивленно спросил Амундсен.

— Раз уж я вхожу в жизнь местных аборигенов, — ответил Першин, — то мне надо принять их образ жизни, то есть делить с ними все их невзгоды, и в частности невозможность помыться.

— Помилуйте! — засмеялся Амундсен. — Да вы просто не знаете этих детей природы! Они не только категорически отвергают саму идею мытья тела, но и опасаются этого! Пожалуйста, я готов предоставить баню в их распоряжение, но они откажутся. Уверяю вас, не только откажутся, но и почтут за оскорбление такое предложение.

— Может быть, — сказал Першин, сжимая руки. — И все-таки, чтобы иметь право чему-то их учить, сначала я должен понять их жизнь,

— Должен вам признаться, — улыбнулся его горячности Амундсен, — чем бы ни кончилась ваша затея переустройства России, вы мне крайне симпатичны. Вы мне напомнили мою молодость. Когда я начинал свой путь исследователя полярных областей, большинство людей, с которыми я делился своими планами, принимали меня за никчемного фантазера, часто подозревая в худшем — в недостатке здравого смысла. Вы идете такими же неизведанными путями, какими я шел в свое время,

когда планировал открытие Северо-Западного прохода, покорение Южного полюса.

Першин, соглашаясь, кивнул, хотя про себя усмехнулся: уж очень несоизмеримыми были задачи и, главное, возможности, которые имели на сегодняшний день руководитель Норвежской экспедиции и молодой представитель Советской республики, большевистский комиссар Алексей Першин.

Вчерашние подарки, несмотря на недовольное ворчание Анемподиста Парфентьева, приехавшие раздали жителям становища, оставив себе на дорогу лишь толику чая и сахара. А эта баня и роскошное угощение в прекрасно обставленной кают-компании вызывали у Алексея мысль о каком-то предательстве...

Шагая по льду к ярангам, Першин время от времени поглядывал в сторону моря, стараясь увидеть возвращающихся охотников. Но в сгущающихся сумерках ничего нельзя было разобрать, и дальние торосы сливались с небом в сплошную серо-белую муть. Зато с моря хорошо различались на берегу огоньки у двух яранг — Кагота и Амоса — да удивительно отчетливо виднелся на высоком флагштоке красный флаг.

В чоттагине было дымновато, трещал костер. Каляна каменным наконечником, надетым на длинную палку, скоблила высушенную нерпичью шкуру. Маленькая Айнана тихо играла куклой, сшитой из оленьей замши и набитой оленьим волосом. Кукольное личико представляло собой плоский кусок выбеленной нерпичьей кожи. Усевшись рядом с девочкой, Першин осторожно взял у нее куклу и достал химический карандаш. Притихшая девочка своими удивительно серьезными глазами пристально смотрела на него.

— Вот мы сейчас сделаем ей лицо, — сказал Першин и принялся рисовать глаза. — Видишь, один глазик, другой глазик... Ресницы, бровки... Так... Вот носик. Рот, губки... Ну как?

Айнана взяла куклу, посмотрела на ее лицо и вдруг громко разревелась. Каляна, бросив свое каменное оружие, кинулась к девочке:

— Что с тобой, Айнана?

Девочка что-то сказала ей, указывая пальчиком на куклу. Каляна поглядела на нарисованное лицо и с укором сказала Першину:

— Это же тангитанское лицо! Разве у настоящих лю-

дей бывают такие большие глаза? Дай-ка сюда твой карандаш.

Каляна несколькими добавочными штрихами превратила кукольное личико в изображение чукотской девочки с узкими, слегка раскосыми глазами, небольшим носиком и пухлыми губами.

— Нравится теперь? — спросила Каляна, показывая куклу девочке.

Айнана еще со слезами на щеках улыбнулась и протянула руки к игрушке.

Вдруг собаки в чоттагине пасторожились, одна подняла голову, за ней другая. Каляна оставила недовыделанную шкуру, положила каменный скребок и взяла деревянный ковшик с костяной ручкой. Зачерпнув воды, она накиннула на обнаженное плечо меховой рукав кэркэра и вышла из яранги. Першин последовал за ней.

С морского берега медленно поднимались две фигурки охотников. Они шли, слегка согнувшись от усилия.

Недалеко от становища они разделились. Амос направился к своей яранге, где также с ковшиком стояла Чейвынэ, Кагот приблизился к Каляне и снял с себя упряжь. Его редкие усы, брови и ресницы густо заиндевели. Он показался Першину настоящим дедом-морозом. Совершив привычный обряд, Кагот вместе с Каляной вошел в чоттагин. Каляна подтащила нерпу к огню, чтобы туша могла оттаять.

— Хорошая охота? — спросил Першин, мобилизовав свои скудные познания в чукотском языке.

— Ии, — ответил Кагот, усаживаясь на бревно-изголовье возле небольшого коротконового столика.

Айнана протянула ему куклу и что-то прошептала на своем языке.

— Какомэй! ¹ — воскликнул Кагот, приглядываясь к нарисованному кукольному личику.

Девочка играла с Каготом, и они о чем-то беседовали, не обращая внимания на Першина, который не знал, что делать. Наконец, вспомнив гимназические познания в английском, обратился к Каготу:

— Я хотел бы поговорить с вами, товарищ Кагот.

— О, вы говорите по-американски? — удивился Кагот.

— Вообще-то этот язык называется английским, — аметил Першин, благодаря в душе учительницу-англи-

¹ Какомэй — возглас удивления.

чанку, и продолжил: — Мне бы хотелось, чтобы вы со- звали всех жителей становища сюда.

— А зачем собирать? Они сами придут, — ответил Кагот.

— Сами придут? — переспросил Першин.

— Умкэнеу сейчас явится за мясом, а Амос обещал зайти, как только покормит собак, — сказал Кагот.

— Нет, я хочу, чтобы собрались все жители, — ска- зал Першин. — Важное дело...

— Важное дело?

— Будем выбирать Совет.

— Для выборов больше и не надо, — заметил Ка- гот. — Будут Амос и я... Для этого больше никого не надо звать.

— Почему?

— Потому что остальные — это женщины, дети и слепой Гаймисин, — пояснил Кагот.

— Нет, пусть все явятся! — решительно заявил Пер- шин. — Попросите свою жену, пусть сходит и скажет.

— Это не моя жена, — ответил Кагот.

Першину показалось, что он не понял или ослы- шался.

— Как вы сказали? Каляна не ваша жена?

— Не моя.

— А чья же?

— Ничья, — ответил спокойно и серьезно Кагот. — Ее муж погиб.

— Мне показалось, раз вы живете здесь и ребе- нок...

Что-то тут было неладно и непонятно...

— Хорошо, но пусть все приходят, — еще раз попро- сил Першин, надеясь, что со временем он разберется, кто кому здесь кем приходится.

Каляна, снова накинув на голое плечо рукав, вышла из яранги.

Первыми пришли Амос и все его домочадцы: Чей- вынэ и ребятишки лет восьми-деяти, видать погодки, мальчик и девочка. Они сразу же занялись куклой. Ка- гот сообщил, что русский знает американский разговор, на что Амос проронил загадочное и протяжное:

— Э-э-э-эй...

Через некоторое время явилась Умкэнеу со своими немощными родителями: ослепшим отцом Гаймисином и матерью Тутыной. Но сама девушка была олицетворе- нием здоровья и жизнерадостности.

Когда все расселись возле костра, Першин откашлялся и начал по-английски, глядя на Кагота:

— Я собрал вас сюда всех вместе, чтобы вы увидели меня и чтобы я познакомился с вами. . . Меня зовут Алексей Першин, и я являюсь представителем Анадырского ревкома, высшей власти на всей Чукотке. В этих краях начинается новая жизнь. Жизнь, достойная человека, жизнь без страха перед голодом, нищетой и болезнями. . .

Першин говорил и думал: «Боже, о чем я толкую этим людям, для которых смысл моих слов так невероятно далек? Ну как здесь можно выбирать Совет, если их всего десять человек вместе с детьми и стариками? Это же смешно. . . Но все равно я должен попробовать».

— Я вам расскажу, мои новые друзья, что случилось в России и почему рабочий народ взял власть в свои руки. . .

Кагот переводил и старался выбирать такие слова, которые были бы понятны собравшимся.

— В России жили разные люди. Среди них своим богатством выделялись те, которые жестоко обращались с трудовым человеком. Заставляли его работать с раннего утра до поздней ночи, кормили скудно, платили мало. . .

— Ну точно так я пастушествовал у Трочгына, — вдруг вставил слово внимательно слушавший Гаймисин.

Гаймисин в молодости имел несколько десятков оленей. Но оленья болезнь, копытка, обрушившаяся на чаунскую тундру, унесла все его богатство. В надежде снова завести хотя бы небольшое стадо Гаймисин батрачил у богатого оленного хозяина Трочгына. Но вскоре заболел, потерял зрение и в конце концов перебрался к дальнему родичу Амтыну, уже много лет назад переселившемуся из тундры на побережье.

— Долго терпели рабочие России, верили Солнечному владыке и даже искали у него заступничества. Пошли к нему большой толпой, чтобы пожаловаться на богачей. Но Солнечный владыка выставил перед своей ярангой юенных людей, вооруженных ружьями, и велел стрелять в безоружных детей, женщин, стариков.

— Совсем с ума сошел! — воскликнул Гаймисин.

Слепой сам умел хорошо рассказывать разные истории, сказки, предания и легенды. Особенно сильно он

воодушевлялся, когда слушатели выражали вслух свое отношение к рассказу. И теперь своими замечаниями он как бы побуждал Першина к красноречию и вдохновению.

— И тогда появился в России человек великой мудрости и силы по имени Ленин, — продолжал Першин, в самом деле ободренный знаками внимания. — Ленин собрал рабочих и открыл им глаза на их бедственное положение...

— Какомэй! — воскликнул Гаймисин. — А не откроет ли он и мне глаза?

Першин остановился и спросил Кагота:

— О чем толкует Гаймисин?

— Он говорит: может, Ленин и ему, слепому, откроет глаза?

Першин ответил серьезно:

— Ленин открыл глаза не в том смысле... Он разъяснил людям, что только они сами помогут себе, потому что, как поется в песне угнетенных людей, никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой...

— Герои помогали бедным, — заметил Гаймисин. — В наших сказках так было...

— Но ведь я рассказываю не сказку, — возразил Першин.

— В хорошей сказке, — назидательно произнес Гаймисин, — всегда правда.

— То, что случилось в России, это тоже правда! — горячо сказал Першин.

— Это хорошо, — кивнул Гаймисин. — Рассказывай дальше.

Лицо слепого было удивительно изменчивым, подвижным. На нем отражались все его переживания, мысли. Гаймисин в соответствии с содержанием слов Першина то хмурился, то одобрительно улыбался, то открывал, то закрывал рот. По сравнению с выразительным лицом слепого лица зрячих казались неподвижными масками.

— Советская власть пришла на далекую чукотскую землю, — продолжал Першин. — Теперь и здесь бедные люди взяли власть в свои руки...

— А мы и не знали, что уже у власти находимся! — весело заметил Гаймисин.

— Вы начинаете новую жизнь! Прежде всего вы должны объединиться, чтобы повести борьбу против богатых людей и против шаманов...

Кагот вдруг перестал переводить. Першин сначала не заметил, потом сам остановился и спросил:

— Что с вами?

— Я шаман, — ответил Кагот.

— Кто? — не понял Першин.

— Шаман я, — спокойно повторил Кагот.

Першин в изумлении уставился на него. В его представлении человек, наделенный способностью общения с духами, должен был и по внешности отличаться от обыкновенных людей. А этот ничем особенным не выделялся из среды таких же чукчей, каких Першин встречал на своем долгом пути из Ново-Мариинска до Чаунской губы. Правда, по дороге, в Уэлене, Энурминне и других больших селениях, ему иногда указывали на того или другого человека, добавляя шепотом: «Это шаман...» Но те люди были в основном стариками, проходили они вдали и не общались с большевиками. А этот... Не только сидел совсем рядышком, жил в одной яранге, но и переводил политическое выступление большевистского комиссара!

— Какой же вы шаман? — попробовал усомниться Першин.

— Я был возведен моим предшественником Амосом, — торжественно, но ровным голосом объявил Кагот. — С тех пор и почитаюсь шаманом, или энэныльыном по-нашему.

— Амосом? — не понял Першин.

— Другим Амосом, — пояснил Кагот. — Умершим. Теперь это имя носит здешний Амос, который был Амтыном.

— Да-а, — пробормотал Першин, — запутаешься тут у вас.

— А мы этого и хотели, — с улыбкой сказал Кагот, — запутать злые силы, чтобы они отступились от него. — Кагот показал на Амоса.

— О чем вы толкуете? — громко спросил Гаймисин, и на его лице тотчас отразилась тревога, смешанная с любопытством. Обычно гладкая кожа на его высоком лбу собралась в складки.

— Вот пытаюсь объяснить русскому о перевоплощении Амтына в Амоса, — ответил Кагот.

— А-а, — кивнул слепой, — расскажи ему, а то, быть может, это ему неизвестно.

Кагот подробно рассказал Першину о несчастном случае на тонком льду, о том, как он врачевал Амтына

и дал ему то имя, которое носил давно ушедший в окрестности Полярной звезды шаман Амос. Силы, которые, быть может, еще не отказались от посягательства на жизнь Амтына, теперь в неведении, куда он делся.

Першин слушал Кагота и дивился, как это человек, по внешнему виду совершенно здравомыслящий, спокойным и уверенным голосом несет черт знает какую чепуху.

— И вы верите во все это? — с улыбкой спросил Першин.

— Если бы не верили, не делали бы так, — спокойно ответил Кагот. — Если бы не верили, с нами давно бы не было Амоса и дети его осиротели бы, а жена осталась вдовой, как Каляна. Я рад, что предотвратил несчастье в этом маленьком становище, где у людей и так мало радостей.

— Это верно, — грустно согласился Першин.

Только теперь он вдруг с особой отчетливостью понял, сколь многое разделяет его и этих людей, так наивно и горячо верящих в чудеса, в неведомые и непонятные силы. Он словно бы очутился среди людей, идущих к пропасти, и ему захотелось крикнуть им: «Остановитесь, люди! Послушайте меня! Вы не туда идете!» Вместо этого Першин сказал:

— На сегодня разговоров хватит.

Он умолк. К этому времени в котле уже сварилось свежее мясо, и все приступили к трапезе. Першина посадили на почетное место, на бревно-изголовье, рядом с хозяевами. Насытившись нерпятиной, принялись за чаепитие, благо заварки, полученной с корабля Амундсена, было достаточно. Каляна выложила на столик остатки норвежских подарков, прибавив к ним несколько черных сухарей.

Першин взял один из них и, вложив в руку Гаймисина, сказал:

— Вот сушеный русский хлеб.

Гаймисин понюхал сухарь и обрадованно воскликнул:

— Я его узнал по запаху! Когда я был совсем молодым, быстро бегал и хорошо видел, в наше стойбище приехал русский служитель ихнего бога — поп. Уговаривал нас принять русскую веру, сулил всяческие радости после смерти для тех, кто согласится, а кто останется в своей вере, тем грозил большой карой... Вот тогда и

довелось мне попробовать русского хлеба и русской водки...

Слепой неожиданно крепкими белыми зубами откусил сухарь, подержал во рту и от удовольствия зажмурился.

— Как вкусно! — проговорил он с выраженным величайшего наслаждения на своем изменчивом лице.

Когда гости ушли и в яранге остались Каляна, уснувшая в обнимку с куклой Айнана, Першин и Кагот, в чоттагине стало сразу тихо и пусто. Только костер по-прежнему весело горел: Каляне еще было довольно работы по хозяйству и она щедро подкладывала дрова в огонь.

12

Несколько дней Першин ходил под впечатлением признания Кагота. Он ловил себя на том, что ему хочется рассмотреть этого человека, разглядеть в нем то особое, что свидетельствует о его принадлежности к удивительной, магической профессии. Но как он ни старался, ничего необычного в Каготе не замечал.

Шаманы, насколько было известно Першину, принадлежали к классу эксплуататоров. Но Кагот сам ходил на охоту, все делал по дому, и в яранге ничего не было такого, что свидетельствовало бы о богатстве. Может, все осталось там, откуда он родом?

— Вы сказали, что тоже приехали издалека? — спросил его Першин.

— Да, я приехал сюда вместе с дочерью, — ответил Кагот.

— Откуда?

— Из Инакуля...

— А что вас заставило уехать оттуда?

Кагот вздохнул так тяжело и так глубоко, что Першин пожалел о заданном вопросе.

— Если у вас хватит терпения, я расскажу, как оказался здесь, — ответил Кагот.

Ему нравился этот молодой русский, так не похожий на тех тангитанов, которых ему ранее доводилось видеть. В начале жизни Кагот всерьез думал, что таптитаны рождаются на кораблях, на них же умирают, представляя собой одно племя, одержимое жаждой торговли, желанием иметь как можно больше мягкой пуш-

нины, моржовых бивней и китового уса. Он был в этом уверен до той поры, пока не вступил на борт «Белинды».

И вот теперь эти новые тангитаны. Многое из того, что они говорили, и впрямь походило на сказку, и слепой Гаймисин не был далек от истины, когда сравнивал повествование Першина с тем, что рассказывалось в волшебных сказках. Правда, события происходили давным-давно и большого влияния на слушателей не оказывали, а то, о чем говорил Першин, вроде бы должно стать повседневной жизнью людей ледового побережья.

...Першин внимательно слушал рассказ Кагота о его судьбе.

— После всего случившегося родичи могут попытаться отнять у меня дочь и заставить вернуться в Инакуль, чтобы я снова стал главным шаманом селения, — сказал в заключение Кагот.

— А вы не хотите быть шаманом?

— Это не зависит от меня, — ответил Кагот. — Хочу я или не хочу — я все равно шаман. Таковым меня избрала судьба и Внешние силы. Но после того как я не смог спасти Вааль, после того как Внешние силы не вняли моим мольбам и отказались мне помочь, я решил больше не просить их ни о чем.

— А раньше они помогали?

— Помогали, — ответил Кагот, — но на этот раз даже внимания не обратили на мои мольбы.

— А может быть, их вовсе и нет, этих Внешних сил? — осторожно сказал Першин.

— Как нет? — усмехнулся Кагот. — Они есть. И всем не обязательно быть шаманом, чтобы чувствовать их присутствие, их воздействие на жизнь.

— Но ведь вот вы говорите — они не вняли вашим мольбам, — напомнил Першин. — Разве это не доказательство того, что они не существуют?

— Нет, — помотал головой Кагот. — Если бы их не было, моя жена осталась бы жива. Других причин ее смерти, кроме действия Внешних сил, не было.

— Она ничем не болела? — спросил Першин.

— Болела, — ответил Кагот. — И очень сильно. Эту болезнь привезли маленькие существа — рэккэны. Они задержались у нас, и много людей умерло. И моя Вааль тоже заболела...

— Ну вот видите! — воскликнул Першин. — Она умерла от болезни! При чем тут эти самые силы?

Кагот с укоризной посмотрел на собеседника.

— Но ведь рэккэнов кто-то послал? Не сами же они нашли путь в наше селение! Болезни не живут среди людей, иначе бы весь человеческий род давным-давно вымер.

— Извините, товарищ Кагот, — откашлявшись, произнес Першин, — неужели все это вы говорите всерьез? Я в эту чепуху не верю.

— Вы можете не верить, — заметил Кагот, — это ваше право. Но я верю... И мои соплеменники верят.

Першин не знал, что делать дальше. Как жаль, что рядом нет Николая Терехина, уж он-то что-нибудь посоветовал бы. Подобно многим революционерам-практикам, механик Николай Терехин был человеком широких и глубоких знаний. «Мы время в тюрьме не теряли, — объяснил он Першину источник своих познаний. — Тюрьмы и ссылки были нашими университетами...»

— Я тут подо льдом на берегу видел много дерева, — перевел разговор Першин.

— Да! — живо отозвался обрадованный переменной темы Кагот. — Деревя здесь намного больше, чем на нашем берегу, в Инакуле.

— Попадаются даже хорошие доски, — продолжал Першин. — Может быть, нам попробовать сколотить столы для обучения грамоте?

— Можно не только столы сделать, — ответил Кагот, — можно даже деревянную ярангу соорудить, только нужны гвозди да инструмент.

— Инструмент и гвозди можно попросить у норвежцев, — сказал Першин.

На следующий день Першин наведлся на корабль и получил от запасливого Сундбека не только бочонок разнообразных гвоздей, ножовку, лучковую пилу, рубанки, но даже каким-то образом оказавшуюся на «Мод» грифельную доску с запасом мелков. Это было настоящее богатство.

Першин поставил грифельную доску на самое светлое место в чоттагине, под дымовое отверстие, у костра. Как раз там проходит срединный столб, держащий весь конус жилища. Полюбовавшись издали на доску, Першин достал мелок и написал: «Совет, Ленин, Петроград».

Кагот еще на рассвете ушел в море, и в яранге оставались лишь Каляна и Айнапа. Обе с нескрываемым интересом следили за действиями тапгитана.

Першин громко произносил слова, отчетливо деля их на слоги:

— Со-вет... Ле-нин... Пе-тро-град...

Сначала Каляна смотрела на него непонимающим взглядом, пока не догадалась, что Першин приглашает ее вместе сказать эти слова. Этот молодой тангитан со светлыми волосами так старался, что Каляна пожалела его отзывчивым женским сердцем и вполголоса замурлыкала за ним:

— Со-вет, Ле-нин, Пе-тро-град...

— Вот хорошо! — радостно закричал Першин. — Отлично!

Слово «хорошо» Першин произносил часто, особенно когда Каляне удавалось ему угодить или сделать что-то такое, чего хотел тангитан, поэтому она довольно скоро сообразила, что это слово означает одобрение.

В свою очередь Першин не ожидал, что ему так необычно удастся начать занятия. Уяснив, что Каляна догадалась, что такое «хорошо», Першин написал на доске: «Нымэлкин — хорошо!» Два слова — одно чукотское, а другое русское — с одинаковым значением. Однако здесь его усилия оказались тщетными, и Каляна так и не сообразила, какое написание означает чукотское слово, а какое русское.

Но все же Першин радовался, как ребенок. Он боялся, что, плохо еще зная чукотский язык, без букварей, учебников и методик не справится с обучением местных жителей русской грамоте. Но сейчас, когда он увидел, что здешний народ, даже женщины, весьма способен и любознателен, его сомнения рассеялись. При этом Першин как бы впервые увидел Каляну, разглядел, что она совсем еще молодая женщина, по-своему привлекательная, с приятным округлым лицом, с доброй улыбкой. Он мысленно упрекнул себя за то, что по первому впечатлению отнес Каляну к тем забитым, молчаливым и рано состарившимся существам, которых он встречал в стойбищах, становищах и селениях на длинном пути вдоль берега Ледовитого океана. Каляна сразу же заметила это новое во взгляде молодого человека и смутилась.

Сам Першин тоже неожиданно смутился и вышел из яранги. Он медленно побрел к берегу, к торчащим из-под снега и льда бревнам и обломкам досок. Стояли тихие и морозные дни. Першин уже стал привыкать к этой почти что неземной, подавляющей красоте. Особенно поражало небо, удивительные и ярчайшие краски долгой

зари, которая в течение всего дня перемещалась по горизонту, словно оплавляя морские льды, Дальние горы, простирающиеся в тундре снега.

Еще недавно Першин и предположить не мог, что когда-нибудь окажется на краю России, в крошечном становище, среди людей, которых иные даже вполне добросовестные ученые и путешественники считали дикарями, то есть ставили их где-то между животными и собственно людьми. Тем более он не думал, что именно революционная деятельность забросит его сюда, на стык двух великих материков, под сказочные сполохи полярного сияния. Но самыми удивительными оказались здесь люди! Их никак невозможно было назвать дикарями хотя бы потому, что они многое знали, прекрасно разбирались в природных явлениях, были на редкость сообразительны. И вот еще феномен — Кагот! За его заурядной внешностью чувствовался далеко не простой ум. Хотя он и называл себя шаманом, но был совсем не таким, каким представлял себе шамана Першин, — увешанным побрякушками, полусумасшедшим, хитрым и алчным вымогателем, пользующимся невежеством и темнотой своих соплеменников. Как к нему отнестись? С одной стороны, трудно себе представить, чтобы большевик, человек, исповедующий материализм, убежденный атеист, мог сотрудничать с представителем самой дикой религии, а с другой — именно Кагот был тем человеком, который мог оказать прибывшим сюда существенную помощь, потому что был любознателен и умен. Но эти его рассказы о маленьких человечках! И это ведь только часть его искаженных представлений об окружающем мире...

Повернув к становищу, Першин услышал детские голоса. С небольшого холмика у крайней яранги сын и дочь Амоса, Эрмэн и Илкэй, катались на санках, сделанных из двух половинок расщепленных моржовых бивней, к которым тонкими нерпичьими ремешками были прикреплены деревянные реечки. Чистые, звонкие голоса детей отчетливо звучали в морозном воздухе.

Детишки издали увидели Першина и замолкли. Не отрываясь следили они за тем, как приближался тангитан, но не убегали. Першин подошел к ним и сказал: — Здравствуйте, ребяташки.

Дети не ответили. Они смотрели на него, как маленькие волчата: настороженно, отчужденно, готовые в любую минуту пуститься наутек.

— Какомэй! — произнес первое пришедшее на ум чукотское слово Першин.

Дети улыбнулись.

— Чай варкын, — продолжал Першин. — Нымэлкин! Минкри варкын наргын? Уинэ таак, уинэ акимыл. Копальхен варкын. Амын еттык!¹

По мере того как Першин «разговаривал» на чукотском языке, глаза ребятишек теплели, а улыбки сменились искренним, веселым смехом.

— Коро! Коро!²

Вдруг мальчик показал на море и крикнул:

— Кыгитэ! Ивинилыт!³

Першину пришлось долго вглядываться, чтобы заметить в сливающихся с сумерками торосах двух охотников.

Ребятишки схватили санки и побежали к ярангам.

Першин побрел сзади, радуясь маленькой победе: ему казалось, что он установил вполне дружеские отношения со своими будущими учениками.

13

Першин с Олонкиным помогали Сундбеку мастерить стол и табуретку. Норвежец оказался настоящим умельцем: обе вещи получились красивые и добротные.

— Приближается Новый год, — сказал он. — Существует ли у русских обычай устраивать для детей елку?

— У русских-то он существует, — ответил Першин, — но вот не уверен, есть ли он у чукчей. Мне пока неизвестен их годовой календарь.

— Рано или поздно им придется знакомиться с обще принятой системой летосчисления, — сказал Сундбек. — Поэтому хорошо бы им устроить елку.

— А кто будет дедом-морозом? — улыбнулся Першин.

— Дед найдется, а вот с елкой придется повозиться, — задумчиво произнес Сундбек.

Мысль о новогодней елке для детей становища очень понравилась Амундсену.

¹ Чай есть. Хорошо! Как погода? Нет табака, нет водки. Копальхен есть. Здравствуйте!

² Давай! Давай!

³ Смотрите! Охотники!

Притащив стол и стул и поставив их в чоттагине возле меховой занавеси своего полога, Першин сообщил Каляне:

— Скоро придет Новый год...

— Откуда? — спросила Каляна.

— Ниоткуда. Он придет просто так. Наступит, как наступают весна, осень, зима, лето... Разве вы не различаете приход нового года, нового времени?

— Мы различаем два главных времени — время света и время тьмы. Время света начинается еще зимой, когда стоят морозы и дуют пурги, но солнце уже показывается над горизонтом, продолжается оно до нового снега. Это длинное время, а короткое — это когда нет солнца и наступает время тьмы, полярных сияний, лунного света и звезд...

— Ну вот, — сказал Першин, — на этот раз мы вместе встретим тысяча девятьсот двадцатый год.

— Это сколько же двадцаток? — удивилась Каляна, которая, как и ее земляки, считала двадцатками.

В чукотском числительном «кликкин» содержится корень «клик», означающий мужество, мужчину. Общее число пальцев на руках и ногах у него равняется как раз двадцати. Каляна не чувствовала в этом никакой несправедливости, такой уж счет повелся испокон веков, хотя по числу пальцев женщина несколько не уступала мужчине.

— Это больше, чем все жители нашего становища, даже если к ним прибавить всех норвежцев с корабля и жителей окрестных селений, — произнес Першин.

— Кыкэ вай! — всплеснула руками Каляна. — Зачем нам столько лет?

— Так сосчитали, — туманно ответил Першин, опасаясь, что Каляна спросит, откуда идет отсчет. Тогда придется забираться в дебри христианского летосчисления.

Но Каляна неожиданно легко согласилась:

— Раз так сосчитали, значит, так и есть.

Было как раз время дневной трапезы.

Обед был нехитрый — оленье мясо, толченая нерпичья печенка со свежим тюленьим жиром и чай. Это была здоровая и, наверно, питательная еда, потому что Першин не чувствовал себя голодным.

Уже привыкшая к чужому Айнана ела вместе со всеми, и со стороны казалось, что обедает обычная чукотская семья.

— Тебе нравится жить с нами? — спросила Каляна. По просьбе Першина она занимала его чукотским разговором для практики.

— Мне очень нравится.

— А в пологе тебе хорошо?

— Хорошо. Только утром, когда гаснет жирник, холодно...

— Жирник надо за ночь несколько раз поправлять, — сказала Каляна. — Но это женская работа.

— Научи меня, — попросил Першин.

— Этого тебе делать нельзя! — строго ответила Каляна и объяснила: — В яранге есть предметы, до которых не должна дотрагиваться мужская рука. Точно так же есть мужские вещи, которых не должна касаться женская рука. Это великий грех! Ты можешь потерять охотничью удачу и даже мужскую силу.

— Ну, значит, буду мерзнуть, — с улыбкой сказал Першин.

— Если хочешь, я могу спать с тобой в пологе, — простым, будничным голосом предложила Каляна. — Я ведь не жена Каготу, и он меня никогда не трогал как женщину.

От неожиданности Першин поперхнулся чаем.

— Да нет, — торопливо забормотал он. — Мне совсем не плохо одному, мне даже нравится, когда прохладно.

— Я все ждала, когда Кагот до меня дотронется, — продолжала Каляна, — но, видно, у него другое на уме. А скорее всего он не может забыть свою жену... Первое время и я не могла себе представить, как это могу быть без Ранаутагина, с другим. Он приходил во сне, касался меня и даже иногда звал голосом. Потом все реже, реже. Особенно после появления Кагота. Подумал, наверное, что раз в яранге появился другой мужчина, он может больше не напоминать о себе...

Каляна говорила с такой грустью в голосе, что Першин не знал, как ее утешить. Погладить по голове? как она поймет его жест?...

— Я надеюсь, что придет время и Кагот замечет тебя.

— Я перестала надеяться, — тихо проговорила Каляна.

В тот вечер Кагот почувствовал перемену в отношениях между Першиным и Каляной. И он удивился, как русский сказал:

— Я тоже буду ходить на охоту. Не могу же я все время сидеть в яранге с женщинами и детьми.

— Хорошо, — ответил Кагот. — Каляна, приготовь одежду.

Охотничья одежда принадлежала погибшему Ранутагину.

Кагот нашел старый, но вполне еще пригодный вичестер, почистил его, размотал и размял длинный ремень, приготовил два посоха — один с острым наконечником, а другой с крючком. Снегоступы потребовали небольшой починки. Кагот заставил Першина несколько раз надеть, быстро снять их и, чтобы привыкнуть, походить в них вокруг яранги по снегу.

Утром следующего дня Кагот рано разбудил Першина. Русский быстро выскользнул из своего остывшего за ночь полога. Торбаса, кухлянка, меховые штаны — все пришлось ему впору, словно на него было сшито. Каляна в это утро была особенно печальна: она вспоминала, как собирала на охоту молодого мужа. Позавтракали сытно, но неплотно, чтобы пища не отягощала желудок.

По протоптанной тропе, ведущей мимо «Мод», спустились в торосы.

Кагот шел впереди, выбирая путь поровнее, чтобы дать возможность Першину приспособиться к неровной ледовой дороге. Сам он мысленно уже вроде бы достиг открытого водного пространства. Там, в густой студеной воде, виделось ему, медленно плыли нерпы с огромными блестящими, будто смазанными жиром черными глазами.

Кагот как бы подчинился течению жизни и вверил себя и свою судьбу обстоятельствам. Он снова полностью вошел в ритм существования морского охотника: вставал на рассвете, шел в море и поздним вечером возвращался в ярангу, часто обремененный добычей. Дома его ждали два теплых огонька — Айпана и Каляна.

Привычный, раз навсегда заведенный ход жизни оставлял много времени для размышлений. Все чаще Кагот задумывался над тем, как же ему быть дальше... Каляна еще молода и должна думать о своем будущем. Да и он не может так долго жить в неопределенности, в чужой яранге, у чужого огня. Может ли он поселиться здесь навсегда? Оставят ли его в покое? С установлением нартовой дороги Кагот с опаской ждал появления родичей. Каждая темная движущаяся точка, возникаю-

щая со стороны Восточного мыса, рождала тревогу, которая утихала лишь тогда, когда он убеждался, что это не те, кого он опасался. Может быть, отправиться дальше на запад? Но за устьем Колымы уже говорят на чужих, незнакомых языках...

Першин смотрел в спину Кагота и старался приновиться к его шагу. Когда это удалось ему, стало легче. Оглядываясь по сторонам, Першин думал о том, что, окажись он здесь один, никогда бы не возникло у него даже мысли, что в этой белой пустыне, облитой пурпурным светом разгорающейся зари, может существовать жизнь. Вокруг космический, глубокий холод, неподвижный стылый воздух и простирающиеся, кажется, до бесконечности лед и снег. Трудно поверить в то, что где-то есть другой мир — с зеленым лесом, полем, большими городами с людской толпой, машинами, музыкой, театром, библиотеками, картинными галереями. Тишина нарушалась лишь скрипом снега под ногами да шумом собственного дыхания, которое в этом стылом безмолвии громко и странно шуршало.

Обернувшись назад, в сторону берега, Першин уже не увидел ни яранги, ни вмерзшего в лед корабля Амундсена. Постепенно появилось чувство отрешенности от всего мира. Разгоревшаяся заря поглотила ближайшие к ней звезды, но те, что были в зените, по-прежнему сияли алмазным светом.

Кагот шел с постоянством заведенной машины и не оглядывался, словно был один. Но он чувствовал и слышал за собой дыхание приезжего и с удовлетворением отмечал про себя, что Першин идет ровно, не задыхается, шаг его стал экономным, размеренным.

Кагот уже чуял впереди открытую воду, разводье образовавшиеся от подвижки ледовых полей. Да и с лед, казавшийся на первый взгляд прочным и толстым, уже не был похож на тот, который накрепко припал к берегу.

Заметно посветлело, и впереди блеснула отраженная в темной воде звезда. Кагот обернулся и показал руки вперед:

— Пришли!

Разводье было не очень большим. Оно вытянулось в длину примерно на сотню метров. Вода в нем то поднималась, то опускалась в такт размеренному дыханию океана.

Кагот подробно объяснил Першину, как надо сторожить нерпу, и помог ему сделать укрытие из тонкой молодой льдины.

Першин устроился поудобнее и устался на гладкую, словно отполированную поверхность стилой воды с приставшими к ней мазками белого тумана. Его клонило в сон, но едва он прикрыл глаза, как был разбужен громким выстрелом: на другом берегу разводья Кагот уже разматывал акын, чтобы вытащить из воды добычу. Першин поднялся из-за своего укрытия, полагая, что потревоженные выстрелом нерпы теперь не скоро высунутся из разводья, и пошел к удачливому товарищу.

Кагот уже вытянул нерпу и оттаскивал ее подальше от ледового берега. Нерпа была тяжелая, округлая, налитая жиром.

Першин почувствовал зависть: вот бы ему убить нерпу и вернуться в становище настоящим добытчиком! Интересно, как бы посмотрела на него Каляна? Полюбовавшись на нерпу, Першин медленно побрел к своему месту.

Он уже был далеко от Кагота, как вдруг почувствовал какую-то настороженность и глянул в сторону берега. На фоне светлеющего неба на ближайшем торосе стоял белый медведь и смотрел на него. Первой мыслью было рвануть обратно, туда, где сидел Кагот. А если медведь бросится вслед? Догнать убегающего человека ему ничего не стоит: расстояние от зверя до Першина было в несколько раз меньше, чем от Першина до Кагота.

Почему-то в первое мгновение Першин не подумал о винчестере, который держал в руках. Лишь немного времени спустя он вспомнил о ружье и медленно начал поднимать его. Медведь представлял отличную мишень и, похоже, не догадывался об опасности. То ли он никогда не видел человека, то ли не мог предположить в двуногом неподвижном существе врага. Першин целился в середину вытянутой головы — медведь стоял боком. Когда вместе с раздавшимся громом выстрела его сильно толкнуло в плечо, он не сразу понял, что произошло: медведь вдруг исчез. Першин сделал несколько шагов вперед и услышал сзади себя возглас:

— Какомэй, умка¹!

¹ Умка — белый медведь.

Медведь лежал на правом боку. Из маленькой ранки в голове на белую, чуть желтоватую шкуру текла струйка крови.

Кагот вопросительно посмотрел на Першина:

— Раньше бил медведей?

— Никогда, — ответил Першин, еще окончательно не пришедший в себя и не осознавший случившегося.

— Так может стрелять только очень хороший охотник, — сказал Кагот. — Медведь убит наповал.

Он подошел к туше и осторожно тронул носком торбаса голову. Она бессильно качнулась. Маленькие черные глазки уже подернулись белесоватой пленкой. Кагот достал нож.

— Будем разделять, пока не замерз.

Першин помогал ему. Оттягивал лапы, держал край шкуры, пока Кагот длинным и острым охотничьим ножом отделял ее от дымящейся на морозе туши.

— Очень хороший медведь, — приговаривал Кагот. — Шкура чистая, волос густой. И мясо жирное. Он еще не успел проголодаться. Если бы мне сказали сегодня утром, что ты вернешься с умкой, я бы не поверил...

Нож Кагота двигался с величайшим проворством, и вскоре на распластанной шкуре лежала огромная красная туша, как будто хозяин ледовых просторов решил раздеться, сбросить с себя одежду. Только после того как шкура была окончательно снята, Кагот вспорол медвежью тушу и вынул внутренности. Отделив печень, оттащил ее в сторону и спросил Першина:

— Ты знаешь, что это такое?

— Вроде бы печень, — ответил Першин, вспоминая уроки анатомии.

— Она очень ядовитая, — сказал Кагот. — Кто отведает печень белого медведя, у того начинается шелушиться и слезать кожа, выпадают волосы.

— А мясо и все остальное? — спросил Першин, только теперь начиная постигать, что это его добыча, что это он является причиной такого необычного возбуждения у сдержанного и молчаливого Кагота.

— Мясо и все остальное можно есть сколько угодно! — весело сказал Кагот.

Он не рубил мясо, а ловко, следуя суставам и сочленениям, разделял кости, как бы разбирая тушу на составные части.

Закончив работу, он соорудил из шкуры подобие мешка и поместил в нее часть мяса и внутренностей.

Небольшой спор вышел, когда падо было решать, кто будет тащить нерпу, а кто медведя. Медвежья шкура с завернутым в нее мясом была куда тяжелее нерпы и к тому же хуже скользила по льду.

— Раз уж это я добыл, то я и должен тащить, — сказал Першин и взялся за упряжь.

Кагот помог правильно надеть на грудь ремень, и они двинулись к берегу.

Заря пылала прямо на юге, словно показывая дорогу домой. Першин, преисполненный гордости, не ощущал тяжести добычи. Точнее, она была ему только в радость, и он не отставал от идущего впереди Кагота.

— Боги оказались очень добры к тебе, — сказал тот, когда они, остановившись отдохнуть, присели на застывающую медвежью шкуру.

— А может быть, не боги? — задорно спросил Першин.

— Ты не должен так говорить, — укоризненно покачал головой Кагот. — Удача зависит не только от человека. Конечно, и охотник тоже должен быть достоин своей добычи, но все же без морских богов дело не обошлось.

— Ну пусть будет так, — снисходительно согласился Першин, преисполненный доброты. — Будем считать, что боги преподнесли нам новогодний подарок.

— Ну конечно! — вдруг догадался Кагот. — Именно так и есть! Боги узнали, что наступает твой Новый год, и послали тебе удачу!

— Новый год наступит не только для меня, а для всех людей на земле. А подарок — тоже для всех, — сказал Першин.

— По нашему обычаю, шкура принадлежит тому, кто добыл зверя, — сказал Кагот, — а все остальное делится между людьми становища.

— А семья Гаймисина живет только тем, что вы добываете? — спросил Першин.

— Умкэнеу иногда выходит на охоту, — ответил Кагот. — Особенно летом, когда охотимся на моржа. А так Гаймисину больше не на кого надеяться. Когда у нас с Амосом нет добычи, нет еды и у них.

— А часто случается, что вы голодаете? — спросил Першин.

— Бывает, — ответил Кагот. — Особенно когда нет зимних запасов, нет моржей на осеннем лежбище. Тогда худо: жди смертей и болезней. Этот год у нас хороший!

в хранилищах еще много кымгытов и, если будет хорошая зимняя охота, копальхена хватит и на следующий год.

— А когда голодаете, едите собак? — спросил Першин.

— Нет! — испуганно воскликнул Кагот и, помолчав, добавил: — Это все равно что людоедство. Такое бывает только с теми, кто теряет разум. Однако когда такой человек образумится, он ищет смерти.

Першин вспомнил описание путешествия Амундсена к Южному полюсу, его тщательные расчеты, в которые входило использование собак не только в качестве корма оставшимся собакам, но и для питания людей. Но ничего не сказал Каготу, чтобы не портить его впечатления от норвежца.

В тот вечер в яранге был настоящий праздник. Каляна тут же поставила на огонь большой котел, чтобы сварить свежей медвежатины, а Кагот сказал Першину:

— Ты должен пригласить всех соседей на трапезу.

— И тангитанов с корабля тоже, — напомнила Каляна. — Иначе боги разгневаются и больше не пошлют тебе удачи.

Першину ничего не оставалось как отправиться сначала по ярангам, а потом и на «Мод».

Известие об удаче Першина искренне обрадовало всех членов экспедиции. Амундсен сказал:

— Если такой обычай у местных жителей, то надо его уважить. Мы обязательно придем на трапезу.

Пока Першин приглашал гостей, Кагот переоделся, взял в руки жертвенное блюдо и, накрошив в него немного медвежьего мяса, смешанного с кровью, вышел на берег моря.

Прежде чем разбросать по льду жертвенное угощение морским богам, Кагот постоял, ожидая того особого состояния, которое нисходило на него и выливалось словами:

Великим даром обрадовали вы человека,
У которого кожа остается по-детски светлой,
У которого волос густо растет отовсюду
И речь его незнакома живущим у моря.
Вы счастье послали ему, добычу — умку послали.
Из нас двоих, кто охотился, выбрали вы его...
Но не гневайтесь, боги, что жертву я приношу,
Ибо древний обычай неведом ему, тангитану...

Кагот взял в горсть медвежье мясо и бросил его в сторону моря. Велика была радость Кагота, но что-то и тревожило его в глубине души, будто завидовал он тангитану, который, похоже, неожиданно для себя самого добыл умку. Может, недовольство это происходило от того, что не было прежнего волнения от произносимых слов, того буйного ветра восторга, который бушевал у него в душе, когда рождались лучшие его слова?.. Или он сам внутри менялся, становился другим, отходя все дальше от своей судьбы, от своего призвания и даже от Вааль, которая вот уже несколько дней не являлась ему, не напоминала о себе?

...Такого шумного и веселого пиришества не знала яранга Каляны. В чоттагине было светло от пылающего костра и вынесенных из полога трех жирников, люди говорили на разных языках, но голоса их выражали общую радость и довольство.

Слепой Гаймисин все порывался пощупать лица тангитанов, чтобы лучше представить их облик.

Долго-долго не расходились в тот вечер люди становища Еппын.

14

А еще через неделю наступил новый, 1920 год. В яранге на столе, сколоченном Сундбеком и Першиным, появилось чудное дерево. Это было удивительное изделие: в выточенный из твердой древесины ствол были воткнуты сухие ветки, на которые бахромкой были наклеены тонкие медные полоски. Все дерево было выкрашено в зеленую краску, обсыпано блестками и утыкано маленькими свечками.

Гости с корабля принесли подарки и раздали их собравшимся жителям становища, вызвав громкие возгласы радости и благодарности. Ощупывая новую курительную трубку, Гаймисин улыбался во все лицо, прикладывал ее к щеке, потом долго с наслаждением раскуривал.

Когда детей отправили спать, Амундсен вытащил припасенную бутылку шампанского и пустил пробку выстрелом прямо в дымовое отверстие. Шипучий напиток разлили в разнокалиберные чайные чашки, среди которых была и любимая чашка Кагота, оплетенная тонкими перпичьими ремешками.

Шампанское чукчи пили с опаской. Поднеся чашку ко рту, Гаймисин долго принюхивался, чихал, и по его лицу проносились тени самых разных ощущений.

— Какомэй, кусается! — воскликнул он, прикоснувшись языком к шипучему напитку. — Полная чашка маленьких собачек!

Однако произносил он это весело, радостно.

— А ты пил когда-нибудь это? — спросила Каляна у Кагота.

— Первый раз пробую, — ответил Кагот. — Совсем не похоже на огненный веселящий напиток.

— Раз это не похоже на тот напиток, который когда-то любил Амтын, то Амосу он не повредит, — с улыбкой произнес Амос и выпил до дна чашку, после того как Амундсен произнес тост за то, чтобы наступающий год был для всех счастливым.

Чинное настроение чуть было не нарушила Умкэнеу. Отведя Амосовых ребятишек и уложив их спать, она вернулась в ярангу и потребовала, чтобы и ей тоже дали попробовать новогоднего напитка. Когда Першин заметил, что ей еще не годится пить то, что предназначено для взрослых, она громко заявила:

— А я взрослая! Я делаю по дому все, что полагается делать взрослой женщине. А что у меня нет мужчины, то в этом я не виновата. Если бы мы жили в большом селении, может быть, я уже была бы замужем и у меня были дети...

Общими усилиями стали выяснять, сколько Умкэнеу лет. Получалось что-то между четырнадцатью и шестнадцатью годами.

— Пусть попробует, — разрешил Амундсен. — Ей не повредит глоток шампанского.

Начальник экспедиции был очень доволен. Пожалуй впервые за долгие годы путешествий по полярным областям он так близко наблюдал этих удивительных людей. Похоже, что когда у них есть пища, когда кров надежно защищает их от летнего холодного дождя, зимнего снежного урагана и всепроникающего холода, они почитают себя счастливейшими людьми на свете. Хотя с точки зрения европейца для настоящего счастья им многого недостает. Их жилище, сооруженное из выброшенного на берег плавникового дерева, моржовой кожи и оленьих шкур, убого. Оно скорее похоже на пещеру, ибо наружный свет не проникает в него. Одно дымовое отверстие, расположенное в вершине конуса, не дает достаточного

освещения в чоттагине. Небольшое пространство жилища делят между собой не только люди, но и собаки. От этого, конечно, непролазная грязь и особый неистребимый запах, в котором сливаются вонь прогорклого тюленьего жира, чадающего дыма от моховых светильников, человеческих отправлений, псины и многого другого, непонятного, однако вполне привычного здешнему аборигену, который без всего этого наверняка чувствовал бы себя неуютно. Во многом именно эти соображения и удерживали Амундсена от намерения взять отсюда хотя бы одного человека на корабль исполнять несложные работы, чтобы освободить себе и другим время для научных наблюдений, приведения в порядок оборудования и снаряжения для предполагаемого дрейфа к Северному полюсу. Скоро уедет группа на мыс Восточный. Возможно, что им придется двигаться дальше, к устью реки Анадырь. На корабле останутся всего четверо.

Сегодня, сидя в продымленном чоттагине за праздничным столом, Амундсен все больше склонялся к мысли, что если кого-то все-таки брать, то лишь Кагот.

Было одно важное обстоятельство — Кагот знал английский и плавал на американском торгово-китобойном судне, так что многие привычки и обычаи белого человека не будут для него непонятными и неожиданными. Вообще Кагот все больше нравился Амундсену. В его облике, если повнимательнее присмотреться, можно было заметить природное изящество, аккуратность и даже намеки на чистоплотность, если можно употребить это понятие по отношению к обитателю хижины из плавникового дерева и моржовой кожи. Кроме того, как выяснилось, Кагот был одинок — Каляна не была ему ни женой, ни сожительницей, хотя женщина она была весьма привлекательная...

Отведав шампанского и почувствовав, что этот напиток неожиданно сообщает ясность мыслям и будит воображение, Гаймисин объявил, что желает поведать легенду о том, как птицы принесли свет на землю. Гаймисин славился умением рассказывать, и его любили слушать. Каляна отнесла в полог спящую Айяну, и все сгрудилось возле низенького столика.

Гостям переводил Кагот.

— На заре рождения земли, происхождения вод, гор, — начал Гаймисин, — солнце светило круглые сутки, и не было деления на день и ночь. Потому что жизнь спешила радоваться, звери торопились размножаться, чело-

век искал своих братьев. Так продолжалось очень долго, и Внешние силы просто любовались весело кипящей жизнью на земле, потому что всякое деяние для них было радостью. Но в жизни всегда есть зло. И оно не терпит, когда у света нет тени, у улыбки плача, у радости печали, у грохота тишины. Там, где есть добро, где царит радость, там должны быть и зло и печаль — так рассуждали злые силы. И они решили отнять от людей солнце. Правда, злые силы не могли его погасить, совсем снять с неба. Для этого у них не хватало мужества. Они решили воздвигнуть между землей и небом твердь, чтобы загородить солнечные лучи. И вот в один прекрасный день люди вдруг заметили, что солнечный свет стал ослабевать и наконец совсем исчез с неба. Земля погрузилась в темноту. Взвыли звери, заплакали женщины и дети, а растерянные мужчины собрались в одно большое жилище и стали думать. Решили послать самых сильных людей, чтобы те пробили отверстие в тверди. Ушли мужчины-силачи, но прошло время, и никто из них так и не вернулся. Остались они там, обессилевшие до смерти. Стали гадать, что делать дальше. А тем временем заметно похолодало. Люди, жившие доселе без одежды и жилья, начали искать, чем бы прикрыться и где спрятаться. Но стужа усиливалась, кое-где реки промерзли до дна, а моря покрылись льдом. Уныние и печаль воцарились на всей земле, и род людской стал готовиться к смерти. Но однажды услышали люди в безмолвии наступившей тьмы птичью песенку. Это прилетела пуночка и запела:

Не печальтесь, люди,
И не войте, звери,
Не спешите жизнь хоронить.
Я добуду вам солнце,
Ясный свет верну вам,
Чтобы видел каждый
Малыша улыбку...

И с этой песенкой пуночка улетела к краю той тверди, что соединяла небо с землей. Долго ждали люди и звери. Все жители земли надеялись, потому что даже малая надежда была для них поддержкой. Но шло время, а света все не было и тьма все густела, словно застывающая кровь. Только порой, когда становилось совсем тихо, самые чуткие слышали птичью песню и уверяли остальных:

ных, что есть еще смысл ждать и надеяться. Но надежда угасала.

И вот в одно утро, когда отчаявшиеся люди и звери лежали распростертые в своих темных и холодных жилищах, пещерах и норах, кому-то показалось, что там, вдали, мелькнул какой-то проблеск. Встали люди, поднялись со своих лежбищ звери, и увидели они, как на стыке моря и неба появилось красное свечение, будто кто-то размазывал кровь по небесной тверди, и эта кровь светилась. Да, кровь светилась! От ее сияния стало видно и самую крохотную птичку. Это она, пуночка, долбила небесную твердь своим слабым клювом и источила его до самой головки, откуда уже сочилась кровь. Пораженные люди и звери смотрели на эту отважную птичку и не смели подать голоса, чтобы не спугнуть ее, не помешать. . . Вот она из последних сил окровавленным остатком клюва ударила раз, другой, и — о, чудо! Она пробила крохотную дырочку, куда проник солнечный луч и достиг земли. Радостно закричали люди и зарычали звери. И все кинулись на помощь птичке. Черный ворон, несколько раз взмахнув крыльями, достиг границы земли и небесной тверди и просунул свой большой твердый клюв в образовавшуюся дырочку. За ним подлетели орлы, чайки, утки и гуси, бакланы и топорки. Топорки взялись с другого конца долбить небо, вот почему у них клювики красные, они тогда испачкались кровью. Дружными усилиями расширили небесную дыру, пробитую отважной пуночкой, и солнце и солнечный свет вернулись на землю. Только с тех пор солнце все же уходит с неба на зимний отдых, напоминая о том, что есть еще силы зла на свете. А о маленькой пуночке, о ее отваге и храбрости напоминает ее кровь, которая разливается по небесной тверди каждое утро. . . Все. . .

Так закончил сказку слепой Гаймисин и, умолкнув, почувствовал, что действие удивительного новогоднего напитка улетучилось.

Амундсен вынул из кармана большие серебряные часы и, глянув на них, воскликнул:

— Господа и товарищи! Мы живем уже в тысяча девятьсот двадцатом году!

Кагот и Першин пошли проводить гостей на корабль.

В холодном воздухе громко скрипел высушенный морозом снег, резко звучали людские голоса.

Подниматься на палубу не стали. Остановившись, Амундсен отвел чуть в сторону Першина и спросил:

— Какого вы мнения о Каготе?

— По-моему, он замечательный человек! — горячо воскликнул Першин и, помолчав, добавил: — Только одно меня смущает...

— А что?

— То, что он шаман.

— А разве это накладывает какие-то черты на его характер или поведение?

— Я ничего такого не замечал за ним, — признался Першин. — И с виду и по поведению он совершенно нормальный человек.

— Ну тогда в чем же дело? — нетерпеливо спросил Амундсен.

— Даже не знаю, что и сказать, — ответил Першин. Амундсен помолчал, потом проговорил:

— Я, собственно, спрашиваю для того, чтобы принять окончательное решение: брать или не брать его на корабль. Дело в том, что с отъездом наших товарищей на мыс Восточный нас на корабле останется совсем мало, а объем работы нисколько не уменьшится. Мне кажется, из здешних жителей лишь Кагот более или менее подходит.

— Здесь я не могу советовать, — ответил Першин.

— Я положу ему хорошее жалованье, — продолжал Амундсен. — Поскольку деньги здесь не имеют большого значения, я буду выдавать ему продукты и кое-какие товары, которые вполне заменят ему отсутствие традиционной добычи.

Кагот, не подозревающий о будущей перемене в своей жизни, думал о том, почему, несмотря на праздник и веселье в яранге, на душе у него было беспокойно. Как-то непонятная тревога холодила его изнутри. Иногда он с завистью думал о своих сородичах, которые не задумываются о жизни, принимают ее такой, какой она встает перед ними, — с радостью, добром, бедой или печалью.

Кагот не сразу согласился перебраться на корабль. Услышав предложение, он мотнул головой и тихо сказал:

— Нет.

Амундсен удивленно посмотрел на него и продолжал:

— В счет жалованья вам будет выдано муки, сушеных бобов и консервов в таком количестве, что это даст возможность и вам лично и вашей семье не опасаться голода по крайней мере в течение полугода. Сюда же войдут сахар, сухое молоко, сухари, пеммикан, разные виды материи, нитки, иглы, бисер, все, что нужно для женского рукоделия. При окончательном расчете вы получите также винчестер с шестью сотнями патронов. Во время работы на корабле вы будете питаться вместе с членами экспедиции бесплатно. Разве это плохие условия?

— Нет, — снова ответил Кагот, хотя на этот раз Амундсену показалось, что решимость его поколеблена.

Норвежцу было невдомек, что Кагот отказывался не столько от нежелания переменить занятие и место жительства, сколько от неожиданности предложения.

— Я думаю, что ваш отказ не является окончательным, — осторожно сказал Амундсен. — Подумайте хорошенько. Вам необязательно отвечать сразу. Я даю вам несколько дней на размышление.

Эти несколько дней Кагот и впрямь мучительно размышлял. Не о тех благах, которые сулил Амундсен за работу. Два обстоятельства его смущали. Первое — он не знал, как и что ему придется делать на корабле. Ведь это не китобойное и не торговое судно, к тому же оно неподвижно впаяно в лед. И второе — что будет с дочерью?

И обстановка в яранге переменилась. После того как Першин добыл умку, само собой получилось, что он занял главенствующее место в жилище, хотя ночевал пока в гостевом пологе. Каляна явно отдавала предпочтение русскому. Возвращавшиеся с охоты мужчины вроде находили одинаковую заботу со стороны женщины. Но добытчик умки Першин сидел у столика со стороны большого полога, на бревне-изголовье, тогда как Каготу предлагался китовый позвонок. Когда Каляна острым пекулем резала копальхен или мороженое мясо, распределяла куски по длинному деревянному блюду, лучшие придвигались к русскому. Неоднократно Каляна вслух предлагала Першину переселиться в большой полог, но учитель каждый раз со смущенным видом отказывался. Небольшие запасы чая и сахара находились, естественно, в распоряжении хозяйки, и свое расположение она выказывала еще и тем, что самый крупный кусок сахара подкладывала русскому, заставляя его краснеть и бормотать

какие-то непонятные слова. Першин пытался делиться сахаром с девочкой, но Каляна отнимала у ребенка сахар и клала обратно перед русским, громко говоря при этом, что девочка свое уже получила.

Она сшила русскому прекрасную кухлянку и камусовые штаны, торбаса и отличный малахай, украсив его длинноворсовым росомашьим мехом. А Кагот мерз в своей вытертой кухлянке, в которой явился еще из Инауля. Рукавицы прохудились, и пришлось несколько раз напоминать Каляне, прежде чем она их починила. Одно не изменилось — к Айнане Каляна по-прежнему была внимательна и ласкова.

В довершение всего Каляна начала учиться. Правда, это не были каждодневные уроки. Просто время от времени, особенно в ненастную погоду, когда не нужно было уходить в море, Першин звал ребятишек в ярангу и затевал с ними игру: вытаскивал грифельную доску, рисовал буквы и пытался втолковать, какие звуки они обозначают. Вместе с малышами приходила Умкэнеу, и рядом с ней присаживалась Каляна. Кагот в душе не одобрял ребячества взрослой женщины. Ну Умкэнеу было еще простительно, хотя она тоже уже далеко не девочка. Но Каляна... Однако Кагот помалкивал и занимался своими делами, искоса поглядывая на доску и пытаясь проникнуть в смысл и значение рисуемых Першиным значков.

Первая книга, которую Кагот увидел в своей жизни, была Библия у капитана «Белинды». Понадобилось несколько дней, чтобы он хоть приблизительно понял ее назначение. В ней заключались заклинания и божественные слова тангитанов, закрепленные значками и весьма непрочной белой материи, которую легко можно порвать. Но каким образом эти знаки отзывались чело- веку — это было выше понимания Кагота. Они не обладали резким запахом, в этом он убедился, украдкой понюхав Библию. И не подавали голос, потому что тот, кто познавал божественный смысл начертанного, не прислушивался, а как бы бегал глазами по рядам ровно выстроившихся значков.

Намерение Першина обучить грамоте соплеменников Кагот считал несерьезным. Ему никогда, даже в самых невероятных сказках, не доводилось слышать, чтобы кто-то из луоравэльтанов умел наносить на бумагу и различать эти знаки. Только природная деликатность и нежелание обидеть человека не позволяли высказывать вслух

сомнение в успехе учителя. Амос только посмеивался и говорил Каготу, что перечить этой детской игре — только ронять свое достоинство: пусть забавляются. Но Каляна... Она же не ребенок...

На третий день, когда Амундсен еще раз обратился к Каготу с предложением поступить на работу на корабль, он услышал в ответ:

— Я согласен.

Собрав свои нехитрые пожитки и погладив на прощание по головке дочку, Кагот сказал Каляне:

— Я переселяюсь на корабль. Буду там работать. Пусть пока Аймана побудет у тебя.

Каляна странно посмотрела на Каготу — то ли с сожалением, то ли виновато — и сказала:

— Конечно! Пусть Аймана будет здесь. Что ей делать там, среди этих непонятных тангитанов? Еще заболит с непривычки...

Помолчала, потом добавила:

— Но если тебе там не понравится, ты всегда можешь вернуться...

— Хорошо, Каляна, — сказал Кагот и пошел на корабль.

Амундсен ждал его в кают-компании. Он был серьезен и заговорил медленно и значительно:

— Господин Кагот! Вступая на корабль, вы как бы вступаете на землю Норвегии. Как член нашей экспедиции, как наш товарищ по зимовке, вы должны подчиняться некоторым требованиям, налагаемым условиями нашей общей жизни. Как видите, господин Кагот, наш корабль далеко не яранга, и поэтому требования к гигиене и аккуратности у нас строже...

Сначала Кагот остригли. Сбрили бороду, однако усы, к удивлению Кагота, без всякой просьбы с его стороны оставили. Затем последовало долгое, изнурительное мытье в паровой бане, которая была специально приготовлена для него. Когда он с Сундбеком вошел в небольшое, обшитое деревом помещение, наполненное горячим воздухом, первым желанием было выскочить на снег, на лед, глотнуть настоящего свежего воздуха. Ощущение было такое, будто в горло вливается горячая жидкость, растекается по легким, распирает и обжигает их нежную ткань.

— Не бойся, — спокойно сказал Сундбек, — никто еще не умирал от хорошей бани.

В руках у Сундбека было некое орудие, сплетенное из прочной и жесткой травы. Намыленное так, что полностью исчезало в белой пене, оно крепко натирало кожу Кагота, снимая с него грязь. Казалось, что сходит живая кожа. В полутьме банного помещения Кагот разглядывал свое красное тело, опасаясь, что вот сейчас на деревянную широкую скамью польется кровь. Не хватало ни сил, ни времени дивиться необыкновенному телосложению и светлому цвету кожи Сундбека. Самым поразительным, конечно, была обильная телесная растительность, неизвестно для чего предназначенная. Когда Сундбек предложил выйти на палубу и чуточку передохнуть перед последним решительным намыливанием, Кагот спросил:

— У ваших женщин такая же растительность на груди или только у мужчин?

Сундбек усмехнулся и ответил:

— После долгих месяцев воздержания сейчас и волосатая показалась бы прекрасной! Но у наших женщин, к счастью, грудь, если можно так сказать, голая и прекрасная...

Кагот, внутренне удивляясь, обнаружил, что постепенно привык к горячему воздуху и горячей воде. Его все больше охватывало новое, неизведанное до этого чувство легкости и освобождения. Появилось знакомое по детским и юношеским снам желание летать. Казалось, посильнее подпрыгни — и взлетишь над кораблем, над нагромождением торосов, оставив далеко внизу прибрежные сопки, остров Айон и маленькое, едва видимое с высоты становище.

Облачившись во все новое, чистое и матерчатое, Кагот продолжал испытывать ощущение бестелесности. Кожа стала необыкновенно чувствительной, истончась, словно бы она сточилась от жесткой мочалы, щедро намыленной горячей скользкой пеной.

Морозный воздух перехватил дыхание, и Кагот закашлялся.

— Идем, идем скорее в каюту! — заторопился Сундбек. — После такой бани не мудрено подхватить простуду.

В кают-компанию их ожидал горячий грог. Кагот глотнув, с удивлением спросил:

— Дурная веселящая вода?

— Совсем немного, — весело ответил Сундбек. — Рс

но столько, сколько нужно для здоровья и хорошего самочувствия после такой бани.

По мере того как проходила банная усталость и слабость, тело обретало необыкновенную упругость и легкость, и в голове становилось как-то свободно, словно чудесным образом увеличилось пространство для мыслей.

Один за другим в кают-компанию приходили члены экспедиции, и каждый выражал восхищение и удивление новым обликом Кагота.

— Да вы просто красивый мужчина, Кагот! — заключил общие восторги Амундсен. — Я и не ожидал, что простая баня вас так преобразит.

Каюта Кагота помещалась недалеко от его рабочего места — камбуза. Она представляла собой такое же помещение, какое занимали все члены экспедиции, за исключением самого начальника, чья каюта была составлена из двух и несколько иначе меблирована. Когда Кагота оставили одного, он первым делом отогнул одеяло и обнаружил под ним снежно-белую простыню. Приложив ладонь, он отнял ее и посмотрел: по-прежнему чисто. Такой же белой была и подушка. Да, это совсем не то, что на «Белинде». Там на жестком деревянном ложе лежало неопределенного цвета одеяло — и больше ничего, ни подушки, ни тем более белой материи.

Вечером, перед тем как лечь, Кагот осторожно снял обе простыни, наволочку и все это аккуратно сложил в стенной шкафчик. На непривычной поначалу постели не спалось. Вспоминалось плавание на «Белинде», страх перед неизведанным, который, в общем, оказался преувеличенным, и вот теперь новое возвращение на корабль. Амундсен договорился с ним о работе пока только до весны, точнее до освобождения «Мод» из ледового плена. Но, как понял Кагот, намерение Амундсена вмерзнуть в лед и продрейфовать до самой вершины земного шара оставалось в силе, и был намек на то, что, возможно, и Кагот сможет пробыть на корабле столько, сколько нужно до достижения главной цели экспедиции. Интересно, каково там, на вершине Земли? Амундсен и некоторые из его теперешних товарищей уже побывали на самом нижнем конце Земли, на Южном полюсе. Как они там удержались и не попадали вниз, в бездну, непонятно, да и расспрашивать об этом как-то неловко. Но придет момент — и можно будет поинтересоваться, как

это им удалось. Видно, они — как мухи, которые по потолку ходят, на это время какие-то приспособления придумали. Но столько времени вниз головой пробыть — это, видимо, очень тяжело! А вот на Северном полюсе, должно быть, куда интереснее! Наверное, вид оттуда — голова закружится! Во все стороны, куда ни глянь, будет видна вся остальная земля — и чукотская, и русская, и американская!

Ощущение собственного превращения после бани еще больше усиливалось при появлении фантастических и дерзких мыслей, которые никогда не пришли бы ему в голову в яранге. Значит, иная обстановка, иные обстоятельства и даже иная постель побуждают к мыслям, не похожим на прежние! Если бы Амтына-Амоса, когда с ним случилось несчастье и его надо было спрятать от злых духов, поместили сюда, никакой, даже самый проницательный кэлы¹ не догадался бы искать его здесь, на корабле тангитанов. Хотя яранга оставалась совсем рядом, всего лишь в нескольких десятках шагов от «Мод», чувство было такое, что он уже далеко-далеко, словно в других краях. Целый день сегодня он ел тангитанскую еду, смысл со своего тела все запахи и всю грязь, которая нетронутой лежала на его коже много лет, улегся в непривычную постель, и тут же появились другие мысли. А где же те думы, что были всегда в нем, будили по ночам? Вот уже несколько дней Внешние силы не говорили с ним высокими словами. Или они тоже потеряли его на корабле, среди тангитанов?

В таком случае и он может потерять то, что делало его отличным от соплеменников, потерять способность общаться с Внешними силами. Внешние силы ведь не только говорили со своим избранником и через него влияли на людскую жизнь, но и оказывали ему особое покровительство. Это покровительство Кагот чувствовал всегда, оно было частью его силы и спокойствия...

А сон все не приходил. Иногда вдруг в глубокой тишине слышался легкий скрип снега под ногами вахтенного, треск льда, какие-то незнакомые шорохи, звуки, движение воздушных потоков, неизвестных в яранге.

И еще запахи. Они оглушали новизной и резкостью, иногда вызывая сильные приступы головной боли. Новые запахи лезли отовсюду, проникали — то по отдельности, то смешавшись — в ноздри, грозя разорвать их нежную

¹ Кэлы — злой дух.

внутренность. От них было одно спасение — выйти на палубу и глубоко вдыхать свежий, морозный воздух, глотать его, вбирать всеми порами тела, изгоняя из себя тревожащие, причиняющие физическую боль запахи. Но сейчас, ночью, не поднимешься на палубу, не побеспокоишь других обитателей корабля. Это тебе не яранга, где по земляному полу можно пройти совершенно бесшумно, потому что прекрасно знаешь расположение всех вещей и даже где какая собака выбирает себе место для ночлега. Может, сон не идет оттого, что он как-то неправильно улегся на этом деревянном ложе с небольшими бортиками, сделанными для того, чтобы человек не свалился во сне во время качки? Кагот осторожно встал, зажег свет и оглядел каюту. Вспомнив о простынях и наволочке, которые он спрятал в шкаф, достал и в задумчивости уставился на них: быть может, именно их отсутствие и не дает ему спать? Но, постелив простыни, он будет испытывать еще большее неудобство — не столько от непривычки, сколько от мысли, что лежит на таких дорогих кусках прекрасной, добротной ткани. Кагот снова улегся на постель и погасил свет.

Когда Кагота одолевала бессонница в яранге, там, в темноте, сразу же вставали тени, слышались отголоски событий, дневных или давно прошедших, возникали лица знакомых, звучали полузабытые разговоры. В ярангу в такое время приходила Вааль, и ее нежный, полный ласки голос заполнял все темное пространство. Иногда ощущение ее присутствия было настолько сильным, что Кагот невольно протягивал руки, чтобы коснуться ее тела. Но руки встречали только пустоту, и снова тоска и безнадежность охватывали его.

Но здесь, на корабле, родные голоса не были слышны.

Кагот так и не смог уснуть до самого утра, до того момента, когда до него донесся шум из соседней каюты, а потом и стук в дверь. Он быстро вскочил навстречу Амундсену.

— Как спали на новом месте?

— Не совсем хорошо, — ответил Кагот. — Непривычно.

— Это естественно, — заметил Амундсен, кинув взгляд на его постель. — Ничего, пройдет немного времени — и вы будете здесь чувствовать себя прекрасно.

Кагот быстро натянул на себя матерчатую одежду и последовал за начальником в умывальную комнату.

Здесь он почистил зубы, умылся и только после этого отправился на место своей будущей работы, на камбуз.

— Вы не беспокойтесь, — говорил Амундсен. — Первое время я буду рядом и покажу все, что следует делать. Сначала надо принести свежий лед и, разбив его на куски, наполнить вот эти два котла. Размельченный лед хорошо тает, и воды образуется вполне достаточно не только для приготовления пищи, но и для мытья посуды. Вы, видимо, поняли, что пища должна готовиться абсолютно чистыми руками. Для этого вот здесь имеются краны с горячей и холодной водой, мыло и полотенце. Я не хочу вам больше повторять, но малейшая неряшливость автоматически повлечет увольнение. Так что, будьте добры, следите за этим... Сначала затапливаем плиту, чтобы она хорошенько разогрелась, — продолжал Амундсен, — а пока разгорается огонь, ставим тесто для булочек. Можно, конечно, испечь и оладьи, но свежие, теплые булочки по утрам прекрасно идут с маслом, джемом. Работа экипажу предстоит тяжелая, и, разумеется, одними булочками утренняя еда не ограничивается. Вообще, я вам должен заметить, господин Кагот, утренняя еда определяет и настроение и работоспособность человека на весь день. И вам как повару нашей экспедиции надо обращать особое внимание именно на завтрак... Итак, как готовится тесто для булочек? Вот смотрите...

Кагот старался все запоминать и отмечал про себя, что, в общем-то, в приготовлении тангитанской еды особой хитрости нет. Надо только быть аккуратным, внимательным и добросовестным. Качество блюда, даже на первый взгляд такого простого, как овсяная каша, зависело от точного соблюдения пропорций крупы, воды, молочного порошка и времени варки...

Едва только Кагот замечал какое-нибудь пятнышко на пальцах, даже кусочек прилипшего теста, он тут брал мыло и тщательно отмывал руки. Вообще ему нравилась чистота и аккуратность, и он с удовольствием мылся и следил за собой. Теперь от него пахло душистым мылом и вкусной едой. Принюхиваясь к самому себе, он вновь испытывал чувство, что стал совсем другим человеком. словно тот Кагот, которым он был раньше, остался на берегу, в яранге Каляны, в привычной чукотской одежде — меховой кухлянке, камусовых штанах, меховых торбасах, без нательной матерчатой рубашки.

Несколько дней Амундсен вставал вместе с Каготом и руководил приготовлением завтрака.

— Первым делом, — говорил Амундсен, — вы самостоятельно приготовите завтрак с начала до конца и подадите его, а потом уж займемся обедом и ужином.

Приспособлений для еды у тангитанов оказалось довольно много. Были ложки для супа, и другие, чуть меньше, и совсем крохотные — для чая и кофе. То же самое и с вилками, среди них попались похожие на крохотные острожки, с помощью которых Кагот в детстве был мелких рыбешек в ручье, впадающем в лагуну. Кроме орудий еды, которые надо было размещать на столе в определенном порядке, возле каждого прибора клалась салфетка в серебряном кольце. Это был как бы рукав кухлянки, с помощью которого в яранге вытирались губы, руки, только здесь он был оторван и свернут. На столе, кроме всего прочего, находились разные приправы — соль, перец и другие подозрительные вещи, которые Кагот остерегался пробовать. В довершение всего — зубочистки из моржовых усов! Конечно, стол от всего этого выглядел красиво, а кажущееся разнообразие и путаница сервировки разрешались простым способом: каждое приспособление для еды предназначалось для определенного блюда. Хотя, как полагал про себя Кагот, всю тангитанскую еду по причине ее мягкости можно было запросто съесть одной ложкой, или ножом, или даже одной вилкой. Суп можно выпить, припав ртом к тарелке, а все остальное особенно и жевать не надо. Однако, понимая, что его наняли на корабль не для того, чтобы он устанавливал новые обычаи еды, Кагот помалкивал. Иной раз ему самому начинало казаться, что есть какая-то особая целесообразность в этом почти ритуальном поглощении еды. За столом велись степенные и важные разговоры и очень редко звучал смех. Это Кагот тоже хорошо запомнил и за общим столом старался не раскрывать рта — разве только если к нему обращались с каким-нибудь вопросом. И в таком случае он отвечал коротко.

И вот наступил долгожданный день.

Он встал пораньше и осторожно пробрался на камбуз, где еще накануне приготовил продукты, запаса воды. Вроде бы все получалось так, как должно быть. Пока в кают-компании никого не было, Кагот несколько раз туда наведалься, чтобы проверить, не забыл ли чего, положил ли все на предназначенные места.

Кагот чувствовал себя так, словно ступал на тонкий, только что выросший за ночь лед. Он шел по деревянной палубе, покрытой линолеумом, осторожно и больше всего был озабочен тем, чтобы сохранить равновесие и не уронить огромный тяжелый серебряный поднос, уставленный посудой и большим кофейником. Но он благополучно донес все это до стола, подал, как его учил Амундсен, под одобрительные взгляды членов экспедиции.

Когда Кагот удалился на камбуз, Амундсен обвел победным взглядом товарищей и сказал:

— Честное слово, я и не ожидал, что так получится!

— Это бесподобно! — заметил Олонкин. — Я давно замечал, что у местных жителей недюжинные способности, но перенять все за такое короткое время — это достойно удивления.

— Каша превосходная! — облизываясь, произнес Ренне.

— А булочки!

— В этих людях таится масса скрытых способностей, которые только и ждут, чтобы их разбудили, — произнес Амундсен. — Теперь я несколько не удивлюсь, если Першин действительно научит здешних ребятишек грамоте.

— А что, если и нам попробовать научить Кагота грамоте? — подал голос Сундбек.

— Не все сразу, — предостерегающе произнес Амундсен. — Если мы сразу навалим на бедного Кагота все, чему хотим его научить, боюсь, он не выдержит.

— Вы считаете, что это может повредить Каготу? — спросил Сундбек.

— Грамота? — переспросил Амундсен. — Нет, я этого не думаю. Но я все же придерживаюсь убеждения, что прививать здешнему аборигену навыки и привычки цивилизованного человека несколько преждевременно. Я сделал это заключение на основании своих наблюдений над эскимосами арктического побережья Канады. Правда, тамошние жители меньше сталкивались с белыми людьми по сравнению со здешними. Что касается Кагота, то он, конечно, исключение. Не только потому, что плавал на американской шхуне, но и потому, что он шаман. А насколько мне известно, такое звание получает здесь отнюдь не каждый. Конечно, идеальным с моей точки зрения было бы вообще оставить этих детей природы в покое и чтобы цивилизованные государства приняли на себя обязательство всячески охранять их самобытность и привычный образ жизни...

И все же Амундсен был и горд и удивлен быстрой метаморфозой Кагота. Если бы кому-нибудь рассказать, что Кагот, этот респектабельный, молчаливый, подчеркнуто аккуратный повар в белоснежном колпаке, еще недавно спал в дымном и душном положе, никогда не умывался по утрам, не говоря уж о бане, не носил белья, — этому ни за что бы не поверили.

Вечером, убрав со стола и вымыв посуду, Кагот присоединялся к остальным членам экспедиции и усаживался чуть в сторонке за большим обеденным столом в кают-компании. Он с интересом наблюдал за шахматистами, за читающими, прислушивался к беседам и необыкновенно оживлялся, когда заводили виктролу. Ее звуки будили в нем неясное, неопределенное томление, навевали тихую печаль. Слушая женское пение, Кагот чувствовал, как на глаза выступают слезы. Ему казалось, что «Мод» оторвалась от берега и плывет вдали от Чукотки на невидимых парусах. Наслушавшись музыки, Кагот одевался и уходил на палубу, под чистые и яркие зимние звезды. Наметенный поземкой сухой снег громко хрустел под ногами. Вдали, на берегу, темными пятнами угадывались яранги. Иногда то тут, то там мелькал огонек — то ли кто-то открывал дверь, то ли Каляна или еще кто из женщин выставляли за порог каменную плошку с горящим моховым фитилем.

Однажды Амундсен сказал Каготу:

— Один раз в неделю у вас будет день отдыха. В счет жалованья вы можете взять муку, сахар и сухое молоко. Советую прежде всего позаботиться о дочери.

Когда Кагот плавал на «Белинде», никаких дней отдыха у него не было. Воистину совсем не похож этот тангитан на тех белых, которых он знал раньше!

16

Кагот все основательнее постигал премудрости приготовления пищи для тангитанов. Ездил за дровами на дальнюю косу, за пресным льдом к замерзшему ручью. Оставаясь в одиночестве, он, стоя перед большим зеркалом в кают-компании, иногда во весь голос вопрошал:

— Эй, Кагот! Ты ли это?

Он не узнавал себя в этом новом обличье, с новыми мыслями и даже новым голодом: когда ему хотелось есть, он вспоминал булочки с желтым сливочным маслом, олений бифштекс, горячий кофе с молоком. Правда,

иногда хотелось копальхена и окаменевшей от мороза нерпичьей печенки, растолченной в каменной ступе каменным пестиком.

Иногда на судне появлялся Амос.

— Много разговоров о нашем корабле, — рассказывал он, называя «Мод» нашим кораблем. — В стойбище у Кувлиля меня спросили: правда ли, что на корабле, который зимует у наших берегов, находится сам Солнечный владыка, изгнанный бедными людьми со своего золоченого сиденья? И еще — как будем жить дальше?

Что мог ответить Кагот?

— Першин все твердит, что нас ожидает прекрасная жизнь, — продолжал Амос. — Все будет как у тангитанов: построят деревянные яранги, будут учить всех грамоте, приедут ихние шаманы-исцелители, которые режут людей, выискивая у них болезни, вымоют всех и снабдят нательными матерчатыми рубашками, чтобы легче увидеть вошь. . . У тебя как с этим?

— Вшей нет, — ответил Кагот. — Но тело чешется. От чистоты и истонченности.

— От чего? — не понял Амос.

— Когда я моюсь, я оттираю вместе с грязью часть верхнего слоя кожи, — пояснил Кагот. — От этого кожа становится чувствительной, как детская.

— Интересно, — задумчиво проронил Амос. — А за чем так стараться? Совсем без кожи останешься.

— Для чистоты, — ответил Кагот. — Тангитаны считают, что все болезни от грязи.

— А разве не от рэккэнов? — удивился Амос.

— Они говорят — от грязи. . .

— Уж больно просто получается, — недоверчиво протянул Амос. — Выходит, если заболел человек, то помоешь его, ототрешь грязь — и он поправится?

— Не знаю, но они говорят так.

— А как ты сам чувствуешь?

— Хорошо чувствую, — ответил не умеющий притворяться Кагот. — Такое ощущение, что я стал намного легче. И когда хожу, хочется подпрыгнуть, даже когда сижу, чувствую, что могу легко вскочить.

— Значит, тебе хорошо, — задумчиво произнес Амос, но Кагот почувствовал в этих словах оттенок осуждения.

— Но зябко, — вспомнил Кагот. — То ли от матерчатой одежды, то ли от чего еще.

— Это потому, что кожа у тебя, как ты сказал, истон

чилась, — заметил Амос. — Да и с лица ты похудел. Ну а что говорят твои тангитаны о будущем?

— По-моему, они мечтают только о том, как освободиться от ледового плена и поплыть дальше, к вершине Земли.

— К вершине Земли? Зачем?

— Наверное, чтобы глянуть вниз и посмотреть, как выглядит вся Земля с вершины, — неуверенно ответил Кагот, сам не очень хорошо представляя то, о чем рассказывал.

— Знаешь... — Амос заговорщически оглянулся. Они сидели на камбузе и пили хорошо заваренный кофе, щедро сдобренный сахаром и молоком. — Мне порой кажется, что тангитаны нас попросту дурачат. Что Першин со своими планами научить всех грамоте и привезти книги, в которых будут напечатаны чукотские слова, что твои с мечтой о вершине Земли...

— А разве есть книги для чукчей? — удивился Кагот.

— Першин утверждает, что сделают, — ответил Амос.

— Насколько я знаю, тангитаны помещают в книгах только божественные слова, — сказал Кагот.

— Не знаю, — вздохнул Амос. — Першин мне показал несколько своих книг, сказал, что в них учение о власти бедных...

— Раньше, — после довольно продолжительного молчания сказал Кагот, — тангитаны жили сами по себе, а мы — сами по себе. Хотя они и пытались нам навязать своих богов, но не очень сильно. Только торговали. А теперь — не знаю, что будет дальше. Может, и впрямь нас ждет впереди чудесная жизнь?

— Коо, — с сомнением покачал головой Амос. — Но в яранге, где ты жил, похоже, иная жизнь настает. Каляна расцвела, словно невеста. Вдруг возьмет ее тангитан? А она тебе предназначена. Останешься тогда без женщины. Может быть, зря ты ушел на корабль?

— Не знаю, — смущенно ответил Кагот.

Он и в самом деле не знал, как быть, что думать, Каляне, потому что в глубине души сохранил о ней оброе воспоминание.

— И еще услышал я, — продолжал Амос, — что спрашивали о тебе жители дальних окраин. Называли твоемя и говорили, что ты сумасшедший, сбежавший с маленькой девочкой.

Тревога порывом пурги дохнула на Кагота, он даже съезжился. Значит, они все-таки пошли по следу и ищут его на этих огромных пространствах, где он намеревался затеряться вместе со своей дочерью, со своим горем и своим поражением?..

— А может быть, они ищут какого-нибудь другого Кагота, — заметив, как изменилось лицо собеседника, произнес в утешение Амос. — Ты же не сумасшедший...

Когда Амос ушел, Кагот некоторое время сидел в оцепенении, забыв о том, что в духовке у него тушится свежее оленьё мясо. Удалось ли его преследователям напасть на след? Когда те будут проезжать мимо становища, они сразу же узнают Кагота. Он хорошо, слово в слово, помнил то, что говорил ему старый шаман Амос: «Кто отступится от могущества, данного Внешними силами, станет пренебрегать обязанностями, которые наложили на него судьба и выбор Внешних сил, того ждет жестокая кара!» Амос пояснил, что такой человек не имеет права жить, поскольку его присутствие среди людей будет подрывать веру в могущество шаманов. А благополучие людей, многих людей, стоит жизни одного отступника. Бывало, говорил Амос, и такое, что шаман, почувствовав, что у него нет больше сил для исполнения своих обязанностей, сам просил лишить его жизни, и эта просьба всегда удовлетворялась. А он, Кагот, не просто отступник, но к тому же еще и беглец!

Усилием воли Кагот заставил себя вернуться к действительности и вынуть из духовки хорошо стомившееся оленьё мясо. Камбуз наполнился ароматом вкусной пищи, и мрачные мысли отошли, уступив место заботам о сервировке обеденного стола.

Внешний вид Кагота, однако, тут же выдал его состояние, и Амундсен участливо спросил:

— Что-нибудь случилось, Кагот?

Когда он ушел на камбуз, Сундбек сообщил:

— Приходил его земляк Амос, и они о чем-то до толковали.

— А не скучает ли он по малышке? — предположил Олонкин.

— Вполне возможно, — заметил Амундсен. — Я, гпода, был бы не прочь, если б девочка поселилась здесь вместе с отцом. Она прелестна и нуждается, видимо более заботливым уходе, чем тот, что она имеет в яран

— Пусть это решает сам Кагот, — рассудительно сказал Ренне.

С приближением свободного дня нетерпение Кагота увеличивалось. Накануне его позвал к себе Амундсен и положил перед ним листок бумаги, на котором были начертаны какие-то знаки.

— Господин Кагот, — начал начальник экспедиции, — я счел излишним заключать какой-нибудь формальный контракт, тем более что здесь нет нотариуса, который мог бы его заверить. Но вы должны знать, сколько вам полагается. Вот глядите сюда...

Амундсен называл цифры в норвежских кронах, переводил их для наглядности в американские доллары, а потом обратно в кроны, а кроны — в то количество муки, сахара, чая, кусков материи, которое на них можно купить.

Кагот смотрел на столбики значков, добросовестно стараясь уразуметь то, о чем толковал тагитан, но решительно ничего не понимал. Взглянув на него, Амундсен виновато улыбнулся:

— Извините меня. Я совсем забыл, что вы ничего не смыслите в цифрах. Но я бы хотел, чтобы вы знали, что, хотя вы и берете завтра с собой значительное количество продуктов и других подарков, у вас еще остается много заработанного, которое вы получите при окончательном расчете.

— Да, я действительно ничего не понимаю в этих значках, — смущенно признался Кагот.

— А вам бы хотелось понять, что это такое? — спросил Амундсен, вспомнив предложение Сундбека научить Кагота грамоте.

— Но смогу ли я? — с сомнением спросил Кагот.

— А почему нет?

— Я не верю, что смог бы постичь такое, — засомневался Кагот. — Мне казалось, что способность наносить следы речи на бумагу и постигать их принадлежит только белому человеку. А в книгах, я думал, помещаются только божественные слова и заклинания.

— Нет, — ответил Амундсен, — в книгах помещаются не только заклинания и божественные слова, как вы говорите. В книгах можно сказать, заключена вся мудрость человечества, сохраненная в веках. Поэтому любознательный человек, если он что-то хочет узнать, прежде сего обращается к книге. В больших городах, расположенных далеко отсюда, есть большие каменные яранги, в которых хранятся эти книги.

— Значит, вы прочитали множество книг? — спросил Кагот, смутно догадываясь, что великий путешественник отправлялся в дальние края потому, что в книгах не находил того, что хотел узнать.

— Да, довольно значительное число, — ответил Амундсен, с удовольствием вспоминая, что нигде, пожалуй, нет такого прекрасного и спокойного места для неторопливого и вдумчивого чтения, как зимовка в Ледовитом океане. За два года пребывания в канадской Арктике он спокойно прочитал те книги, знакомство с которыми откладывал в других обстоятельствах из-за недостатка времени.

— Я даже страшусь мысли, что мне когда-нибудь удастся прочитать хотя бы одно слово, — с волнением в голосе произнес Кагот.

— А почему бы нам не попробовать? — сказал Амундсен. — Вот вернетесь сюда после своего дня отдыха, и возьмемся не откладывая за изучение счета и грамоты.

17

На земляной мерзлый пол яранги сыпался мелкий снег, а из дымового отверстия сочился синевато-студеный свет. Как всегда бывает в пургу, наружная температура поднялась, и в чоттагине усилились запахи теплой собачьей шерсти, подтаявшего нерпичьего жира и квашеной зелени из деревянных бочек, расставленных вдоль стен яранги.

Не надо идти на охоту, можно понежиться на мягкой оленьей постели, высунув голову в чоттагин, где Каляна уже разожгла костер, готовит завтрак, время от времени с улыбкой посматривая на своего постояльца. Айнана еще спала, дремали и собаки, и только редкая дрожь свернувшихся тел выдавала их всегдашнюю настороженность, готовность к действию.

Алексей Першин довольно быстро привык к здешнему укладу жизни, приноровился ко многим вещам, которые раньше считал невозможными для себя. Вот и перь он легко выскользнул в чоттагин, надел на рубаш просторную кухлянку и попытался выбраться на вол. Открыв дверь, он увидел перед собой гладкую снежную стену. Каляна подала лопату — широкую китовую кос насаженную на деревянную ручку. Снег пока пришлось убирать внутрь жилища, наметая его к стене, где стояли бочки с припасами. Откопав выход, Першин, низко пр

гнув голову и зажмурившись от летящего снега, выбрался наружу и ползком пробрался к задней стене яранги. Он попытался взглянуть в сторону моря, но ничего не увидел, кроме сплошной серо-белой пелены летящего снега.

Першин обошел жилище, осмотрел ремни, захлестнутые за каменные валуны, и ухитрился охватить мгновенным взглядом крышу из моржовых кож. Убедившись, что жилище пока успешно противостоит напору ураганного ветра, собрался уж войти обратно в ярангу, но вдруг почувствовал, как что-то живое ухватило за него.

— Кто это? — с испугом спросил он.

— Это я! — услышал он сквозь вой ветра девичий голосок и смех. — Это я — Умкэнеу! Испугался?

Першин облегченно вздохнул и строго спросил:

— Ты чего бродишь в такую погоду? Заблудишься, или ветер унесет в море.

— Не унесет, я большая, — ответила Умкэнеу. — Сегодня пурга, и я пришла спросить: будем учиться?

Она по-прежнему цепко держалась за Першина, прижимаясь к нему. Сквозь камлейку и кэркэр он чувствовал ее крепкое, упругое тело. Покрытое темным румянцем лицо было совсем близко, чуть ли не касалось его шеи, и он старался отвернуться.

Умкэнеу, наоборот, казалось, нравилось так прижиматься. Отплеываясь от летящего в рот снега, она сказала:

— Как интересно пахнет вблизи тангитан!

— Пошли, пошли в ярангу! — заторопился Першин и потащил за собой девушку.

Умкэнеу вроде бы сопротивлялась, упиралась, и продолжала смеяться. Заснеженные с ног до головы, они вдвоем, к изумлению Каляны, ввалились в чоттагин, чуть не погасив при этом порывом ветра разгоревшийся костер.

— Что ты бродишь в пургу? — накинулась на девушку Каляна.

— Учиться пришла! — ответила Умкэнеу.

— А разве можно в такую пургу учиться? — спросила Каляна, обращаясь к Першину. Она надеялась, что уж сегодня-то они будут одни.

— Для маленьких детей, конечно, опасно в такую погоду выходить из яранги, — ответил Першин, — но раз Умкэнеу пришла, будем заниматься.

Прежде чем приступить к уроку, позавтракали вчерашним вареным нерпичьим мясом, попили чаю. А тут проснулась Айнана, потом настала очередь кормежки собак. Только после того как были выполнены все домашние работы, Першин вынул грифельную доску, установил ее возле передней стенки мехового полога, чтобы на нее падал свет от костра. Он снова нарисовал букву «А» на доске, поставив рядом «Б», на которой и споткнулось все обучение. Выяснилось, что в живом чукотском языке нет такого звука. Точнее, звуков, которые в русской грамматике называются звонкими согласными.

Глянув на «Б», Умкэнеу смешно скривила нос и протянула:

— Опять этот проклятый тангитанский звук. Долго мы с ним будем мучиться?

— Пока вы не освоите, дальше идти нельзя, — строгим тоном произнес Першин и с упреком сказал: — Ребята же выучили его, а вы с Каляной не можете.

Обе молодые женщины старательно пытались произнести — б... б... б... Маленькая Айнана, думая, что это игра, стала следом повторять: б... б... б...

— Вот видите! — обрадованно воскликнул Першин. — Даже Айнана произносит этот звук!

— Ничего удивительного, — заметила Каляна, — она шаманская дочь.

— Когда же выучим все эти звуки? — с нетерпеливой тоской в голосе спросила Умкэнеу.

— Все зависит от вашего усердия, — ответил Першин. — Вот когда вы будете знать все эти звуки, тогда приступим к словам.

— А сколько ты сам учился? — поинтересовалась Каляна.

— Девять лет в гимназии, а потом еще три года, — ответил Першин.

— А девять лет учения разве можно вытерпеть? — с сомнением спросила Умкэнеу.

— Как видишь, я остался жив, — весело ответил Першин и добавил: — А некоторые всю жизнь учатся.

— Бедные! — Искренняя жалость прозвучала в голосе Умкэнеу. — Тут от одной буквы так устаешь за деню что язык пухнет, — и еще девять лет! Такое невозможно вынести!

Каляна была сдержаннее Умкэнеу, и, когда девушка начинала тараторить, она поджимала губы и замолкала

как бы показывая всем своим видом, что она не такая легкомысленная, как ее младшая подруга.

Безуспешно поупражнявшись в попытках заставить женщин произнести звук «б», Першин объявил перерыв. Во время второго урока он писал на доске русские слова и называл их значение. Этот урок Першин старался строить так, чтобы одновременно пополнять свои знания чукотского. Каляна с Умкэнеу наперебой называли Першину новые слова, исправляли его произношение. Урок проходил весело, с взрывами громкого смеха. После второго перерыва Першин обычно читал стихи, поражая слушательниц музыкой русской речи. Сначала Каляна высказала догадку, что это не что иное, как заклинания, потому что только разговор с Внешними силами происходил с помощью вот такой ритмической речи. Но Першин возразил, что произносимое им ничего общего с разговором с богами не имеет. Он даже пытался перевести некоторые стихотворения на чукотский, но получилось убого и бедно: не так хорошо он знал язык, чтобы делать поэтические переводы.

Иногда Першин запевал песни, чаще революционные:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

К удивлению учителя, песенные слова и мелодии почти мгновенно подхватывались и запоминались не только Каляной и Умкэнеу, но и ребятишками. На третий день «Смело, товарищи, в ногу!..» вполне разборчиво пели все. Даже слепой Гаймисин, несколько раз внимательно выслушав песню, исполнил ее своим красивым глубоким голосом.

Першин открывал для себя все больше нового, неожиданного в душевной жизни и способностях жителей становища. Иногда все сходились в ярагге Гаймисина, и старик начинал долгое повествование о давно прошедших временах, рассказывал волшебные сказки о животных или просто пересказывал реальные события, случившиеся в Уэлене, Ново-Марининске, тундровых стойбищах. Покой Амос спрашивал слепого о том или ином случае, как он наводил справку, и Гаймисин с блуждающей улыбкой на лице отвечал обстоятельно, со ссылками на имена, звания. Нельзя было не подивиться тому, что в этой

скудной, бедной даже внешними событиями жизни сложилась особая, по-своему высокая культура, утвердились обычаи, регулирующие жизнь в понятиях добра и человечности. Здешние люди имели свой календарь, хорошо знали звездное небо с движением планет, приметы природы позволяли им довольно точно предсказывать погоду даже без помощи сокровища Кагота — большого настенного барометра.

Обычно уроком пения заканчивался учебный день, но это не значило, что все тотчас же расходились. Детишки шли домой, но Умкэнеу оставалась, чем не всегда была довольна Каляна.

Вот и сегодня, когда допели «Смело, товарищи, в ногу!...», Каляна спросила:

— У твоих дома есть еда?

— Сколько угодно! — ответила Умкэнеу. — Вчера варила им полный котел свежего нерпичьего мяса, да еще нарубила копальхена из того кымгыта, который привез Алексей...

Девушка, если поблизости был учитель, не сводила с него влюбленных глаз. Уж такова была натура Умкэнеу: все, что она чувствовала, было написано на ее лице. Вот и сегодня она пристроилась напротив Першина, сидевшего на бревне-изголовье, и некоторое время молча наблюдала за тем, как тот писал.

— Покажи, — попросила она.

— Так все равно не прочтешь, — улыбнулся Першин.

— А вдруг? — улыбнулась в ответ Умкэнеу. — Как интересно! Будто след песка на свежем снегу... Нет, как куропачий... Или как строчка, когда аккуратно шьешь непромокаемые торбаса из нерпичьей кожи. Когда мы так научимся? — тяжело вздохнула она.

— Научитесь, научитесь, — обнадежил Першин.

— Хорошо бы, — почти шепотом произнесла Умкэнеу.

— Ты бы не мешала человеку, — недовольно заметила Каляна. — Если тебе нечего делать, поиграй с малышкой.

— А что мне с малышкой играть? — передернула плечами Умкэнеу. — Я же не маленькая!

— Не маленькая, а ведешь себя, как маленькая, — сказала Каляна.

— Вот когда у меня будут дети, тогда и буду возиться с ними, — заявила Умкэнеу.

— Прежде чем думать о детях, ты сначала должна вырасти, найти мужа, — терпеливо, наставительно произнесла Каляна.

— Я уже выросла! — упрямо заявила Умкэнеу и посмотрела в глаза Першину. — А мужа найду!

— Какая уверенная! — слабо улыбнулась Каляна. — Вон я сколько жду, а не могу дожждаться...

— А я дождусь! Правда, Алексей?

Сказав это, она красноречиво посмотрела на Першина. Каляна заметила взгляд и сердито сказала:

— Такие глупости может говорить только неразумная и неопытная девчонка, у которой еще нет стыда настоящей девушки. Если считаешь себя взрослой и готовой для замужества, то, прежде чем говорить такие слова, подумала бы: а понравится ли это твоему будущему мужу?

Умкэнеу на этот раз смутилась и замолчала. Каляна посмотрела на девушку, и ей стало жалко ее.

— Помоги мне снять гостевой полог, — попросила она мягко.

— Ты хочешь снять гостевой полог? — удивилась Умкэнеу.

Эта мысль пришла в голову Каляне, когда из яранги ушел Кагот. А теперь уже всем ясно, что второй полог ни к чему. Зачем жець лишний жир, которого зимой и так не хватает, если можно спать в одном пологе?

— Да, надо его снять, — деловито сказала Каляна. — Он уже ни к чему.

— Разве Кагот больше не вернется?

— Если вернется, то уж, наверное, не сюда, — ответила Каляна. — Он построит свою ярангу.

— Но все думали... — Умкэнеу явно была поражена решением Каляны, — надеялись, что Кагот будет твоим мужчиной...

— Кто будет моим мужчиной — это моя забота! — сердито ответила Каляна. — Так поможешь мне?

Однако Умкэнеу явно не спешила.

— Значит, Алексей будет спать с тобой в одном пологе?

— А куда же он денется? У вас тесно, у Амоса ребята, — перечислила Каляна. — В общем пологе ему будет лучше, удобнее и теплее.

Першин, сообразивший наконец, о чем идет речь, топливо заговорил:

— Каляна! Не надо снимать полог. Пусть он остается месте. Вдруг придет Кагот?

— Кагот тогда будет жить в другой яранге, — сказала Каляна, — я больше не хочу, чтобы он жил у меня,

— Но ведь Айнана здесь...
— И Айнана переселится вместе с ним!
— Но, Каляна... Я не хочу перебираться в большой
полог, — продолжал сопротивляться Першин.

На помощь ему пришла Умкэнеу.

— Вот видишь! — торжествующе произнесла она. —
Алексей не хочет спать с тобой в палатке.

— При чем тут спать? — смутился Першин. — Дело
совсем не в этом, но мне так удобнее. А что касается
жира, то я заплачу, возьму...

— Чем же ты заплатишь, если у тебя нет товара? —
спросила Каляна.

— Придет пароход и привезет все что надо: и това-
ры, и продукты, — обещал Першин. — Жира я совсем
мало жгу и к тому же сам добываю...

— Настоящий мужчина никогда не станет попрекать
женщину добычей, — презрительно произнесла Каляна,
понимая, что на этот раз ей не удалось переселить рус-
ского в свой палатку.

— Давайте лучше петь, — примирительно предложе-
ла Умкэнеу. — Алексей, спой нам какую-нибудь русскую
песню.

Алексей, прислушавшись к вою пурги, ответил:

— Ну хорошо. Я вам спою старинную русскую песню.
Вот слушайте...

Он откашлялся и затянул:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах...

18

Кагот почти ползком взобрался на высокий берег, где
стояли яранги, и ощупью добрался до жилища Каляны.
В вое ветра почудилось пение, и он прислушался: оно до-
носилось из глубины яранги Каляны.

Он с трудом открыл дверь и ввалился в чоттагин, весь
запорошенный снегом. Его не сразу узнали, пока он не
подавал голос.

— Какомэй, Кагот! — воскликнула Умкэнеу, взглядев-
шись в его лицо.

Кагот отряхнулся от снега и откинул капюшон новой
камлейки.

Малышка вскрикнула и бросилась навстречу. Отец бережно взял дочку на руки и прижал к себе. Он прикрыл глаза и так стоял некоторое время. Аймана притихла, переживая вместе с отцом радость свидания.

Каляна смотрела на бывшего своего постояльца с удивлением: перед ней был совсем другой человек, не жели тот, который ушел несколько дней назад на корабль тангитанов с небольшим кожаным мешочком, грустный, даже какой-то понурый. А теперь в чоттагине улыбался привлекательный мужчина с аккуратно подстриженными волосами, чисто выбритый, с ясными, спокойными глазами. Он словно и выше стал и стройнее. Просто не верилось, что пребывание на корабле тангитанов может так изменить человека. Даже голос у него вроде бы стал другим.

— Как вы тут живете? — спросил Кагот, ставя девочку на замороженный земляной пол чоттагина.

— Хорошо живем, — ответила Каляна.

— Да ты как настоящий тангитан! — воскликнула Умкэнеу, когда Кагот стянул через голову камлейку и остался в суконной куртке, подаренной ему Сундбеком. При свете костра на его груди блестели два ряда хорошо начищенных медных пуговиц. — Если бы я раньше не знала тебя, сказала: этот человек — сам начальник Амундсен.

— Здравствуй, Кагот! — Першин искренне обрадовался приходу Кагота и вместе со всеми удивился перемене в его внешности.

Кагот подтащил поближе к костру большой, туго набитый мешок и принялся вытаскивать оттуда подарки, приговаривая при этом:

— Это не вся плата, а только часть, данная мне вперед, чтобы я вас одарил. Тут и мука, и сахар, и чай, куски материи, табак... Каляна, возьми все это и зови гостей!

Обрадованная приходом отца, Аймана не отходила от него, цеплялась за его рукав. Кагот вынул из мешка плитку шоколада и торжественно сказал:

— Это лакомство послал тебе сам начальник экспедиции Амундсен!

Он осторожно развернул сначала бумагу, потом фольгу, отломив несколько кусочков, дал всем попробовать.

— С виду некрасивое, а какое вкусное! — зажмурившись от удовольствия, произнесла Умкэнеу. — А вот это лкое железо, как оно делается?

Вопрос был обращен к Першину. Учитель подержал в руке гремящий листок блестящей фольги и ответил:

— Не знаю.

— Не знаешь? — удивилась Умкэнеу. У нее никак не укладывалось в голове, что учитель чего-то может не знать.

— Такие вещи делают в мастерских, которые называются заводами, — туманно пояснил Першин.

— В тех, которые бедные отобрали у богатых, — догадалась Умкэнеу, помня рассказы о том, как бедняки, рабочие России, отобрали у владельцев их заводы и фабрики, которые для легкости понимания учитель называл большими мастерскими для изготовления разных товаров.

— Да, — ответил Першин. — На специальных машинах.

— Неужели настанет такое время, когда я увижу своими глазами, как делают такие чудеса? — мечтательно проговорила Умкэнеу. — Еще совсем недавно я и не думала, что есть вот такое тонкое железо, которое тоньше даже самой тонкой оленьей замши.

— У тангитанов чудес хватает, — солидно сказал Кагот. — Чего только не насмотришься, особенно когда живешь с ними.

Умкэнеу заторопилась:

— Сейчас позову соседей. Ты, Кагот, пока не рассказывай ничего! Нам тоже интересно, особенно моему отцу.

Пока гости собирались, идя сквозь ветер и пургу, Кагот поиграл с дочкой, спел ей на ушко песенку и попросил у Каляны кусочек копальхена.

— Тангитанская еда вкусная, обильная, но в ней много травы, — заметил он.

— Какой травы? — спросила Каляна.

— Разных растений, — пояснил Кагот. — Я никогда не думал, что тангитаны едят столько растений. Они у них в разном виде, больше в сушеном, заготовлены впрок. Амундсен говорит, что для здоровья это полезно. Чтобы зубы не выпадали.

— Тырасти, трук! — громко произнес веселый, неунывающий слепец Гаймисин, войдя в чоттагин.

— Это он с тобой по-русски здороваются, — объяснила Умкэнеу. — Алексей научил. Разве не так здороваются у вас там, на корабле?

— Нет, — ответил Кагот, — у нас другое приветствие.

Гут морген — это с утра так говорят, а днем другие слова употребляют.

— А мне это «тырасти, трук» очень нравится! — сказал Гаймисин, осторожно пробираясь с помощью дочери к бревну-изголовью.

Пришли Амос с женой, и в чоттагине стало совсем тесно. Прежде чем приступить к чаепитию и рассказам о жизни тангитанов на корабле, Кагот распорядился разделить на три равные части принесенные подарки. Каляна проделала это с явным удовольствием и с таким видом, словно эти драгоценные вещи принадлежат лично ей или же являются их общей с Каготом собственностью. Раздав подарки и разлив чай по чашкам, Каляна заняла свое место у низенького столика.

И хотя уже многое было известно жителям крохотного становища, все слушали внимательно, ловили каждое слово. Наибольший интерес вызвал рассказ о мытье в бане. Каготу даже пришлось обнажить часть тела, чтобы дать взглянуть на чистую кожу. Гаймисин щупал, давил пальцами и удивлялся:

— Надо же! Палец не липнет! Весь жировой слой смыли. Как интересно! Значит, они утверждают, что это грязь?

— Грязь, говорят, — кивнул Кагот. — Оттирали меня так, что я боялся совсем без кожи остаться...

— Алексей говорит, что и нас скоро будут мыть, — подала голос Умкэнеу. — Построят здесь деревянный дом — баню...

— Разве и женщин моют? — с сомнением спросил Гаймисин.

— Про женщин ничего не могу сказать, — ответил Кагот. — На корабле нет женщин.

— Женщин тоже будут мыть! — настаивала на своем Умкэнеу. — Алексей так говорил, потому что при новой жизни мужчина и женщина равны.

Кагот с удивлением посмотрел на Першина и спросил:

— Это правда?

— Да, — кивнул Першин. — Большевики считают, что женщины должны быть равными с мужчинами.

— Нехорошо, однако, будет, — покачал головой Гаймисин. — Да и сами женщины не захотят этого...

— Почему не захотят? — с вызовом спросила Умкэнеу.

— А ты вообще молчи! — прикрикнул на нее отец. —

Уж больно разговорчива стала! Смотри, не пушу больше на учение!

Умкэнеу умоляюще посмотрела на Першина. Но учитель был в растерянности и, чтобы отвести разговор от опасной темы, предложил:

— Давайте слушать Кагота.

— Верно! — поддержал его Амос. — Мы пришли слушать рассказ Кагота!

Кагот отпил из чашки, вытер аккуратно подстриженные Сундбеком усы и продолжал:

— После мытья меня обрядили во все матерчатое. Потому что внутри корабля тепло, и в меховой кухлянке можно согреться от жары. Поначалу жестко и неудобно было в матерчатой, но потом привык. Главная работа на корабле — приготовление еды. Большое умение надо, чтобы правильно приготовить тангитанскую еду! Учил меня сам Амундсен, большой знаток в этом деле. Так я научился печь булочки, белый тангитанский хлеб. Вот он. Можете попробовать. Потом — жарить олений бифштекс, варить супы, овсяную кашу. У них продуктов — полные трюмы. Войдешь туда — можно заблудиться среди ящиков, мешков и бочонков. На несколько лет хватит им этой еды!

— Зачем им столько? — спросил Гаймисин.

— Они собираются плыть к вершине Земли, — ответил Кагот. — А путь туда долгий, несколько лет может занять.

— А что им там надо, на этой вершине? — поинтересовался Гаймисин.

— Толком не сказал Амундсен, — ответил Кагот. — Но думаю, что он оттуда хочет поглядеть на всю нашу Землю.

— Иногда тангитаны тоже любят приврать, — тихо заметил Гаймисин, сожалея о том, что Кагот портит свой интересный рассказ явными небылицами. — Ты лучше рассказывай о жизни на корабле...

— Кроме забот о еде, они еще много занимаются разными измерениями, — повествовал дальше Кагот. — Мерают толщину льда, глубину воды в разных местах, меряют силу ветра, мороза и многое-многое другое.

— Зачем все мерить? — спросил Гаймисин. — Какая от этого польза?

— Этого я не знаю, — сознался Кагот.

— Может, меряют для того, чтобы делить? — высказал

предположение Амос и обратился к Першину: — Большевики тоже мерят?

Першин на всякий случай ответил утвердительно, но Гаймисин засомневался:

— Какой смысл делить морскую глубину и толщину льда? Наверное, совсем для другого мерят, а не для делажа.

— Вроде бы не для делажа, — согласился Кагот. — И все же изменения у тангитанов занимают большое место в жизни. Для проживания они выделили мне деревянный полог с подставкой для сна, сколоченной из дерева. На такой же подставке я спал, когда плавал на «Белинде». Но вот что меня удивило: прямо на мягкую матерчатую постель поверх настлан еще кусок белой материи.

— Какомэй! — чуть ли не в один голос воскликнули Амос и Гаймисин. — Для чего это?

— Я потом проверил у других, — продолжал Кагот, — у всех так: и у Амундсена, и у Сундбека, и у Олонкина. Материя чистая, белая, жалко на нее ложиться. Из нее вполне можно сшить зимнюю охотничью камлейку. Да не одну, потому что куска материи два — один сверху, а другой снизу...

— И ты лег? — с каким-то отчаянным сожалением спросил Гаймисин.

— Нет, — ответил Кагот, — не лег...

— Ну и хорошо сделал, — с облегчением заметил Амос, напряженно следивший за рассказом Кагота.

— Я эти куски снял с постели и сложил в укромное место. Когда буду совсем уходить с корабля, возьму с собой.

— Как интересно! — заметила Каляпа, явно одобревшая к Каготу.

— Да, интересно, — кивнул в знак согласия Кагот. — Но привыкать трудно.

— А у большевиков как? — Гаймисин повернул лицо к Першину. — Они тоже спят на белой материи?

— Да, — ответил Першин.

— Где же они берут столько белой материи? — удивилась Умкэнеу. — Они же бедные!

— И некоторые бедные люди так спят, — ответил Першин.

— Это значит, — заключил Амос, — и мы в будущем должны будем на белой материи спать.

— Мне ни за что не уснуть, если лягу на такое, — сказала Умкэнеу.

— Снег будет сниться, — добавила Каляна.

— А какие разговоры ведут? — спросил Гаймисин. — По вечерам о чем толкуют?

— По вечерам они больше читают, — ответил Кагот.

— Читают? — удивленно переспросил Гаймисин. — И наш учитель тоже читает, верно, Умкэнеу?

— Читает, — подтвердила Умкэнеу, ласково взглянув на Першина. — Такие красивые разговоры, как шаманские заклинания.

— И еще он поет песни, призывающие людей быть вместе, не унывать, соединить свои усилия... Вроде как мы, когда собираемся убивать кита или идем на моржовое лежбище, — добавил Гаймисин.

Похоже на то, подумал Кагот, что, пока он жил среди корабельных тангитанов, здешняя жизнь шла своим чередом, заполняясь новым содержанием, и русский учитель зря времени не терял...

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Гаймисин спел это громко, с чувством, под конец в его низкий, глубокий голос вплеся высокий девичий голосок Умкэнеу.

— Какомэй! — только и мог вымолвить пораженный до глубины души Кагот. — Здешние новости тоже инресны!

— Алексей нас учит, — с благодарностью произнесла Умкэнеу. — Мы от него много переняли.

— Расскажи про зимнюю дорогу, — попросил учитель Гаймисин. — Пусть Кагот тоже услышит.

— Это стихи, — откашлявшись, объяснил Першин. — А сочинил их великий русский поэт Александр Пушкин. Он умер давно, а его слова остались не только в книгах, но и в памяти людей. Вот слушайте:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольник однозвучный
Утомительно гремит...

— Ты слышишь, Кагот? — взволнованно спросил Гаймисин. — Хотя я давным-давно не смотрел на зимнюю дорогу, но как сейчас вижу: бегут собаки, перебирают лапами, оглядывается вожак, а по снегу волочатся стекающие с их длинных красных языков замерзающие слюны. Шуршат полозья по снегу, шуршит снег по твердым, словно оструганным сугробам, а кругом тишина... Сверху звезды смотрят на тебя, по краям неба встает полярное сияние, и луна как будто прокрадывается... Хорошо!

Кагот сидел, оглушенный услышанным, хотя не понимал ни единого слова. Это было, несомненно, то, что он в душе называл голосом Внешних сил, разговором богов через человека. Оказывается, это существует и в другом — в русском языке. Только там это совсем иное — описание своего чувства, впечатления, переданное потом другому человеку. О том ли это действительно, о чем толкует Гаймисин?

— Это о зимней дороге? — переспросил Кагот.

— Да, — ответил Першин. — Это стихотворение о зимней дороге.

— О нарте и собаках?

— Не о чукотской нарте, но о санях. Это как большие нарты, в которые запрягают больших животных, называемых конями...

— Коней я видел, — кивнул Кагот, — на американском берегу. Они больше самого крупного оленя и очень сильные. Я их боялся... И про сугробы тоже сказано?

— Да, — ответил Першин, — про снег, про то, что дорога длинная и холодная...

— А кто едет?

— Едет тот, который эти слова сочинил, и еще женщина, каюр...

— Каюр не чукча?

— Скорее всего нет, — ответил Першин. — Тоже русский.

— Как Анемподист Парфентьев, — вспомнил проезжавшего чужанца Амос. — Он хоть и не совсем русский, о ведет происхождение от них.

— А есть у этого Пушкина и другие красивые сочетания слов, подобные «Зимней дороге»? — спросил Кагот.

— Есть, — ответил Першин, удивленный необычным интересом шамана к поэтическому творчеству. — У русского народа много таких людей, которые сочиняли стихи. Пушкин — самый главный...

— Как Ленин! — подсказал внимательно прислушивающийся к беседе Гаймисин.

— А Ленин тоже сочиняет стихи? — спросил Амос.

— Не знаю, по-моему, нет, — неуверенно ответил Першин.

— А может, сочиняет, да только не говорит другим? — осторожно предположил Кагот. Он испытующе посмотрел на русского учителя.

Першин колебался и на всякий случай сказал:

— Возможно, и сочиняет...

— Без этого он не может, — с огромным внутренним убеждением произнес Кагот.

У него почему-то не хватало духу сказать, что и он знает подобное состояние, когда приходят удивительные слова, лежащие плотно друг к другу, выражая такие чувства, такие мысли и такое настроение, которое простыми, привычными словами не высказать. Но, может быть, то, что является ему, и впрямь наитие богов, а то, что родилось у Пушкина и еще у многих других, как сказал Першин, поэтов, это совсем иное?

Каляна еще раз наполнила чайник кусками речного льда и повесила над костром.

Умкэнеу подложила несколько сухих деревяшек, и разгоревшийся огонь ярче осветил чоттагин.

— Может, еще чего-нибудь скажешь? — попросил русского Кагот. — Если не Пушкина, то кого-нибудь другого стихи...

— Я вам прочту стихи моего любимого поэта и земляка Александра Блока, — сказал Першин. — Этот человек родился и живет в том же городе Петрограде, откуда я родом. Вот слушайте:

Окрай небес — звезда Омега,
Весь в искрах Сириус цветной.
Над головой — немая Вега
Из царства сумрака и снега
Оледенела над землей.

Так ты, холодная богиня,
Над вечно пламенной душой

Царишь и властвуешь поныне,
Как та холодная святыня
Над вечно пламенной звездой!

Першин замолк, посмотрел на Кагота и снова удивился его загоревшемуся взгляду. Такое впечатление, что чукча понимал и чувствовал значение слов.

Чтение стихов сменилось рассказами Кагота, а пурга к ночи, похоже, еще больше разъярилась. Першин проводил Гаймисина с женой и дочкой. Когда он вернулся в опустевший чоттагин, Кагот уже лежал в пологе, высунув голову наружу, и курил трубку.

Кагот молча наблюдал, как Першин выбивал из одежды снег, раздевался, потом осматривал чоттагин, моржовую крышу над головой, и думал, что этот тангитан стал похож на чукчу даже своим повседневным поведением. Так осматриваться в яранге может только человек, который давно и основательно живет в этом жилище, чувствует себя в нем настоящим хозяином.

— Так ты говоришь, что у русских много таких, которые сочиняют стихи? — спросил Кагот, когда Першин разделся и влез в свой гостевой полог и по примеру Кагота высунулся в чоттагин, чтобы глотнуть перед сном свежего воздуха.

— Много...

— Может быть, они — как шаманы?

— Может быть, — ответил Першин, но в голосе его Кагот почувствовал усмешку.

— О чем те, последние стихи? — спросил Кагот.

— О звездах...

Кагот внутренне даже вздрогнул от ответа: он чувствовал, что эти слова — о звездах! Как же такое может быть? Он ведь не знает русского языка! Как до него может дойти смысл давным-давно и где-то очень далеко сказанного? Может быть, те, кто сочиняет стихи, обладают другими способами общения, которых лишены обыкновенные люди? Кагот ощутил странное волнение в душе, почувствовал приближение того ветра восторга, который всегда предшествовал возникновению удивительных слов, которые он почитал за веление богов.

Он втянул голову в темноту и духоту мехового полога, услышал мерное дыхание лежащей рядом дочери и беспокойное, прерываемое стонами и каким-то бормотанием, Каляны.

Вдруг слышался голос Вааль. Он донесся из того же угла, откуда приходил раньше. Кагот не различал слов, но несомненно, что это был голос Вааль. Он то угасал, то снова возникал, и настороженный Кагот никак не мог уловить смысл ее слов. Они как бы смешивались с тем, что накатывалось вместе с ветром восторга на Кагота:

Не лови ладонью снежинку,
Она растает, она исчезнет,
Не пытайся поймать евражку,
Убежит она от тебя...

Так и мысль, если вдруг захочешь
Заарканить ее словами,
Убегает она, исчезает,
Как растаявший на ладони снег.

Вместе с нею уходишь, Вааль,
Исчезаешь, таешь в ночи...
Скоро солнце над льдами встанет,
Голос твой навсегда растает...

Откуда эти слова? Их ведь не было, пока он слушал разговоры в яранге, сам рассказывал что-то или когда готовил пищу тангитанам на корабле. Он ведь вообще не ждал именно таких слов, предрекающих затухание его общения с тем, что осталось от Вааль...

Интересно, есть ли у норвежцев поэты, как у русских? Если есть, то, значит, весь мир человеческий обгят невидимой, удивительной общностью, о которой он и не подозревал. Если ему удалось уловить смысл, не зная русского языка, значит, он может улавливать смысл и других стихов. Нет ли здесь чего-то общего с тем видом связи, который тангитаны называют радио?

Обеспокоенный этими мыслями, Кагот долго ворочался, пока не разбудил Каляну. Женщина замерла, потом шепотом спросила:

- О чем думаешь, Кагот?
- О стихах, — тихо ответил Кагот.

Амундсен посмотрел на вчерашнюю запись.

«17 января. Сегодня должно бы показаться солнце. Мы выразили свое преклонение перед царственным све-

тилом поднятием флага. К сожалению, облака помешали нам его увидеть, но мы знаем, что оно тут и останется на долгое время. Температура скачет вверх и вниз, сегодня вечером у нас — 32°. Великолепное северное сияние! Здесь мы не так им избалованы, как у мыса Челюскин, где оно бывало каждый день. Новости медленно просачиваются к нам через посредство русских газет. Сегодня мы узнали о смерти Рузвельта¹, очень меня огорчившей, и о том, что в Ирландии будто бы республика. Да, каким-то мы найдем мир, когда вернемся?»

Вчера после торжественной встречи солнца Амундсен из иллюминатора своей каюты увидел, как Кагот спустился по трапу на лед и медленно отошел на некоторое расстояние от корабля. Сначала казалось, что он понес кухонные отбросы, однако повар шел как-то необычно — размеренно, высоко держа голову, как бы обращаясь к небесам. В вытянутых руках он нес серебряный поднос, на котором обычно подавал кофе. Перейдя одну гряду торосов, Кагот остановился и некоторое время стоял там, взмахивая руками в сторону восхода, как бы делая движения сеятеля. Амундсен догадался, что он по-своему, согласно обычаям своего народа, встречает появление солнца после долгой полярной ночи.

Вернувшись на корабль после жертвоприношения, Кагот еще некоторое время сохранил замкнутое, торжественное выражение лица и оживился только тогда, когда за вечерним чаем Олонкин принялся читать русские газеты, доставленные на «Мод» проезжавшим в сторону Уэлена Григорием Кибизовым. Торговец также привез большое письмо Алексею Першину от Терехина, где тот извещал о благополучном достижении конечной цели путешествия — устья Колымы и о намерении возвратиться в Ново-Мариинск через верховья реки Анадырь, минуя ледовитое побережье Чукотского полуострова.

Внимательно вместе с остальными выслушав новости, Кагот попросил у Олонкина газету. Он рассматривал каждую строчку, каждую колонку и картинку с таким сосредоточенным видом, что Амундсену несколько раз почудилось, что повар читает. Тем более что чукча явно шевелил губами — точно так, как это делает не очень грамотный норвежский рыбак где-нибудь в окрестностях Буннефиорда.

¹ Здесь речь идет о Теодоре Рузвельте, бывшем с 1901 по 1909 год резидентом США.

Сундбек, сидевший рядом с Каготом, спросил:

— Ну как?

— Это чудо, — вздохнул Кагот. — Никак не могу уразуметь, как вы слышите голос: внутри себя или же улавливаете прямо отсюда, с бумаги?

Олонкин не сразу нашелся, как ответить.

— Голоса я не слышу... Глазами я смотрю на эти значки, которые обозначают звуки русского языка. Из них и складываются слова.

— Русские слова?

— Разумеется, — ответил Олонкин, — потому что газета русская.

— Значит, в норвежской газете другие значки? — высказал догадку Кагот.

— Конечно, — ответил Олонкин.

— Выходит, каждый язык имеет свои собственные значки? — продолжал Кагот. — А те языки, у которых нет значков, те не могут иметь письменного разговора?

— Естественно, — ответил Олонкин.

— А откуда русские получили эти значки?

— Насколько помню, они у нас были всегда, — ответил Олонкин.

— И у норвежцев тоже? — обратился Кагот к Сундбеку.

Сундбек кивнул.

Кагот с тяжелым вздохом осторожно положил на стол газетный лист.

Догадавшись, чем так расстроен Кагот, Амундсен сказал:

— Господа несколько неточны: и у норвежцев, как и у русских, в далекой древности не было письменности. Создать письменность для какого-нибудь языка сейчас не так сложно. Датские миссионеры, к примеру, создали на основе латинского алфавита, того самого, которым мы пользуемся, письменность для гренландских эскивов и перевели на них некоторые молитвы.

— Значит, и для чукотского языка тоже можно подумать такие значки? — спросил с надеждой в голос Кагот.

— В принципе можно, — ответил Амундсен.

После ухода Кагота Сундбек сказал:

— Все-таки надо попробовать научить его читать.

— Но какой грамоте вы будете его учить? — спросил Амундсен. — Он не знает норвежского и русского, знает, учить его надо английской грамоте?

— Можно пока дать ему простейшие понятия о буквах и счете, — сказал Сундбек. — Думаю, что для такого сообразительного человека, как Кагот, это не составит особого труда.

— Ну что же, — помедлив, проронил Амундсен, — попробуйте.

Стол в кают-компании был прибран, посуда вымыта, и когда Кагот снова появился в залитой светом кают-компании, он заметил на одном конце стола, под портретом королевской четы, раскрытую толстую тетрадь, одну из тех, какими пользовались для записи магнитных наблюдений. Рядом лежали два остро отточенных карандаша. Кагот сразу же догадался, что все это было приготовлено для него.

Первым учителем был Олонкин. Он начертил на бумаге ту же самую букву, с которой начинал Першин в яранге, и заявил, что это самая первая буква, главный знак в письменном разговоре — «А».

Так стоял великий шаман Амос, передавший Каготу свое могущество. Широко расставив ноги. На макушке его малахая торчал черный вороний клюв.

Затем Олонкин написал русские и норвежские слова, хорошо известные Каготу по звучанию. Это были «чай» и «Фрам». Значение этих слов было также известно Каготу. Теперь ему надо было запомнить их письменный облик.

Он всматривался в очертания этих слов, пытаясь найти в них зримое отражение смысла и значения. В слове «чай» первый знак напоминал какой-то инструмент, приспособление, за ним снова знакомый Амос, последний знак с маленьким кривым облачком поверху не вызывал никаких чувств. Норвежское слово «Фрам» опять со знакомым Амосом заканчивалось ломаным знаком, отдаленно напоминающим часть южного горизонта в хорошую погоду, когда на фоне ясного неба высвечивались зубчатые вершины горных хребтов.

Олонкин, заставив несколько раз произнести эти слова, попросил Кагота скопировать их в тетрадь. Карандаш, так ловко сидящий в пальцах Олонкина, никак не хотел держаться в неуклюжих пальцах Кагота. Он вылизывал, падал и раз даже вовсе скатился под стол.

непривычных усилий удержать непослушный инструмент у Кагота на лбу выступили мелкие капельки пота.

— Давайте отдохнем! — наконец взмолился он,

— Хорошо, — смилостивился Олонкин, искренне недоумевавший, как это взрослый человек не может овладеть таким простым инструментом, как карандаш.

Передохнув, Кагот снова взялся за карандаш и попробовал изобразить на бумаге нечто подобное букве «А». Однако вместо того чтобы вывести ровные линии, кончик карандаша прорвал бумагу и в довершение сломался, и кусочек черного пачкающего камня, торчавший из дерева, покатился по белой бумаге. Издав неопределенный звук то ли сожаления, то ли разочарования, Кагот бросил на бумагу непослушный карандаш.

— Не волнуйтесь, — утешил его Олонкин. — Не надо так сильно нажимать на карандаш, надо вести его легко, и он сам будет писать.

— Господа! — подал голос Амундсен, вместе с другими с интересом наблюдавший за попытками Олонкина научить повара держать карандаш. — Очевидно, ему мешает наше присутствие. Давайте оставим их одних. Может, так дело пойдет на лад.

И в самом деле: Кагот под испытующими взглядами членов экспедиции терялся, только одна мысль была у него — как бы не упустить из рук это вертлявое и неверное орудие письма.

Когда в кают-компании остались лишь Кагот и Олонкин, учитель взял другой карандаш.

— Попробуйте еще раз.

Результат был тот же самый. В отчаянии Кагот протянул обратно Олонкину карандаш.

— Нет, я больше не могу! Ничего у меня не получается.

— Вы напрасно так быстро сдаетесь, Кагот. Тут г проявить терпение, — спокойно сказал Олонкин. — мите карандаш, тетрадь и поупражняйтесь сами.

Кагот без особой охоты захватил с собой в кают карандаш и тетрадь и, прежде чем лечь спать, сел к большому столу возле иллюминатора. После нескольких попыток он уразумел, что карандаш следует держать легко, даже с меньшим напряжением, чем держишь курительной трубки. И вести кончиком пачкающего камня надо как бы на весу. В результате ему удалось наконец-то изобразить букву «А», Амоса, как он ее мысленно называл. Поупражнявшись, он довольно легко срисовал два слова, написанные Олонкиным в его тетради: «чай» и «Фрам».

Только после этого Кагот улегся в постель, но долго не мог заснуть, переживая заново свой первый урок грамоты. Может ли впрямь случиться так, что он одолеет тангитанское умение наносить на бумагу и различать следы человеческой речи? Русский учитель Першин говорил, что он учился этому чуть ли не десять лет. А корабль уйдет, как только разойдутся пленившие его льды. Уплывут его учителя, так и не научив Кагота удивительной тангитанской премудрости... А вот Першин уезжать вроде бы не собирается. Если у тех, кто на корабле, только и разговоров о будущем плавании на вершину Земли, то у Першина — о будущей новой жизни, о строительстве большой настоящей деревянной школы, больших домов, где будут жить и учиться грамоте собранные со всех окрестных оленных стойбищ ребятишки. Приедут русские лекари и будут вырезать болезни из внутренностей больных... А если у человека головная боль, что же, череп будут вскрывать? Может, и ему уплыть вместе с Амундсеном к вершине Земли и оттуда взглянуть на населенный человечеством мир?

Весь день за приготовлением пищи Кагот не забывал об уроке. Когда он показал Олонкину собственноручно написанные им буквы и два слова — «чай» и «Фрам», — учитель расцвел от удовольствия. Потом все члены экспедиции, начиная с Амундсена, рассматривали тетрадь Кагота и дружно хвалили настойчивого ученика.

20

— Сегодня учить вас буду я, — объявил Сундбек на следующий вечер. — Учить счету.

Он подал Каготу другую тетрадь. Белые страницы в ней были разграфлены едва заметными голубыми клеточками.

Загодя Сундбек расспросил своих товарищей, как их самих учили арифметике, постарался вспомнить и свои давно забытые школьные уроки.

— Думаю, что вы, Кагот, в пределах сотни считать умеете, — сказал Сундбек. — Вот скажите, сколько всего у вас пальцев на ногах и руках?

Застигнутый врасплох вопросом, Кагот ответил не сразу, мысленно пересчитав пальцы.

— Двадцать, — сказал он.

— Правильно, — с удовлетворением заметил Сундбек, будто знание поваром количества пальцев на ногах и ру-

ках для него было важно и значительно. — А сколько будет пальцев, если к вашим двадцати мы прибавим пять пальцев, ну, скажем, Амундсена?

Кагот взглянул на начальника, словно бы спрашивая: позволяет ли он взять его пальцы вдобавок к его двадцати? Амундсен одобрительно кивнул.

— Каких пальцев — с руки или с ноги? — решил уточнить Кагот.

Поколебавшись, Сундбек сказал:

— Ну хорошо, с ноги...

Кагот посмотрел на оленьи торбаса Амундсена и сказал:

— Тогда будет двадцать моих пальцев и еще пять пальцев с левой ноги начальника.

— Почему с левой? — удивился Сундбек.

— Она ко мне ближе, — ответил Кагот и опять взглянул на Амундсена.

— Хорошо, пусть берет с левой ноги, — пряча усмешку, милостиво разрешил Амундсен.

— И сколько всего будет пальцев? — продолжал допытываться Сундбек.

— Двадцать пять!

— Отлично, Кагот!

Сундбек и впрямь был доволен ответом, так как сперва опасался, что начал со слишком больших чисел.

— Идем дальше... А если мы от двадцати отнимем пять пальцев, сколько останется?

— Каких пальцев? С ног или с рук?

— Ну хотя бы с ног, — разрешил Сундбек, никак не беря в толк, какая разница, откуда будут эти пять пальцев.

Однако для Кагота это было далеко не безразлично. Тут же представив себя без пяти пальцев правой не хромого, беспомощно ковыляющего среди торосов, робко предложил:

— Давай лучше возьмем с левой руки...

— Ну хорошо, берите с левой руки...

Без левой руки все же легче, чем без ноги или правой руки. Быстро проведя расчеты в уме, Кагот ответил:

— Пятнадцать пальцев останется. — И уточнил: — Десять на ногах и пять на правой руке... Еще не все потеряно.

— Что вы сказали, Кагот? — переспросил Сундбек.

— Я сказал, что человек без левой руки еще не совсем пропащий, — пояснил Кагот. — Вот если бы у него

не было правой руки или одной из ног — тогда было бы худо. Совсем калекой стал бы...

— Да-а, — протянул Сундбек. — В таком случае будем вычислять на чем-нибудь другом. Так мы искалечим всех, оставим без ног и без рук.

Порывшись в кармане, он вытащил коробок спичек. Рассыпав их по столу, Сундбек произвел несколько простейших вычислений, а затем написал в тетради цифры от единицы до девяти и отдельно от них — нуль. Соответственно каждой цифре были разложены спички — от одной до десяти. Десятая кучка больше всех заинтересовала Кагота, потому что она не имела обозначения на бумаге.

— Так вот, — многозначительно произнес Сундбек, — десять спичек обозначаются цифрой десять. Знак нуль вообще-то обозначает ничего, отсутствие числа. Скажем, если у вас, Кагот, нет ни одной спички, это и будет нуль.

— Но почему, если мы к единице приставляем нуль, получается так много? — недоумевал Кагот.

Сами очертания цифр ему напомнили многие вещи. Ну, о единице и разговора не было — она была понятна с первого взгляда. А вот двойка явно походила на крюк, на который в яранге вешали над огнем чайник или котел. Три напоминало завиток моржовой кишки, четыре — перевернутый стул из кают-компания «Мод», а пятерка была тем же крюком, что и двойка, но только перевернутым. Шесть — это небольшой кусок ремня, семерка — надломленный болью в пояснице старик. Восьмерка вполне могла быть очками, поставленными стоймя, а девятка — то же самое, что и шестерка, только наоборот. Но десятка...

— Если вы будете задумываться над вещами, не относящимися к тому, что я вам говорю, — строго заметил Сундбек, — то из нашего обучения ничего не получится. Вы должны верить каждому моему слову, понимать его так, как я вам говорю.

Кагот молча кивнул. В самом деле, своими вопросами он, похоже, ставил в тупик учителя, и тот терял нить объяснения.

С помощью спичек арифметические действия в пределах первого десятка пошли на лад, и за короткое время Кагот научился быстро складывать и вычитать. Вычислительные действия Каготу понравились куда больше, чем попытки овладеть звуками и письмом.

Когда он удалился в свою каюту, утомленный необычным для него занятием, Олонкин заметил:

— Мне кажется, что с грамотой ничего не получится...

— Почему? — спросил Амундсен.

— Потому что надо обучать его какой-то одной грамоте — либо русской, либо английской, либо норвежской... Чукотской грамоте обучать его невозможно по той причине, что ее попросту не существует.

— А какой же грамоте учит Алексей Першин? — спросил Амундсен.

— Я интересовался этим, — ответил Олонкин. — Алексей одновременно учит и русскому языку и русской грамоте. При этом сам учится чукотскому. Мне же начинать изучать язык здешних аборигенов нет никакого смысла, раз мы через несколько месяцев покинем Чукотку. Вряд ли потом в своей жизни мне доведется встретиться с ее жителями.

— Но ведь числа он сразу начал понимать! — возразил Сундбек.

— Может быть, потому, что математика — наука более общая и абстрактная, нежели грамота, — заметил Амундсен. — Грамота тесно связана с языком, и Олонкин совершенно прав, что обучать Кагота надо какой-то одной грамоте, и, на мой взгляд, русской.

— Почему именно русской? — спросил Ренне.

— Ну, во-первых, он остается русским подданным, а во-вторых, насколько я понял, у русских большевиков здесь весьма серьезные намерения в области просвещения.

— Но ведь Кагот не знает русского языка, — напомнил Олонкин.

— А почему бы вам не учить его одновременно и русскому языку? — предложил Амундсен.

Решено было Кагота обучать русскому языку и русской грамоте и арифметике.

— У него, как я заметил, очень образное мышление, — продолжал рассуждения Амундсен. — Когда Сундбек учил его счету, все вычисления с пальцами он воспринимал как реальные действия. И отсюда я делаю вывод, что обучать его надо на примерах, близких ему, на предметах непосредственного окружения.

— Ну что же, — согласился Олонкин, — попробуем, что получится.

Кагот в воображении видел себя уже человеком грамотным, способным читать и писать. Его одновременно привлекали и книги и газеты. В книгах, как он понял, содержались самые различные сведения о жизни, в том числе и о жизни прошедшей. Что же касается газет, то, как сказал Олонкин, в одном таком большом листе величиной со шкуру молодого оленя было столько новостей, сколько не могли привезти люди даже на нескольких собачьих караванах. Но чтобы было так много новостей, для этого и жизнь должна быть наполненной ими, должно быть очень много людей, вовлеченных в разные дела. Представлялось это так, что где-то там, за южными хребтами, похожими на очертания буквы «М», копошится, бурлит людское море, происходят малопонятные и невероятные вещи вроде человеческих побойщ с применением огнестрельного оружия и даже огромных пушек, подобных тем, из которых стреляют по китам. Там же находятся мастерские, где бедняки делают разные товары: топоры, ножи, вибраторы, котлы, винчестеры, иголки, нитки, сапоги и многое-многое другое. Где-то там строят и корабли — и деревянные, и с огнедышащими машинами, плюющими в небо черным дымом. Там же происходила та самая революция, о которой рассказывал Першин, когда сняли с высокого золоченого сиденья Солнечного владыку и поделили богатства между бедными... Конечно, рассказывать словами про всю эту грудку новостей — сколько времени надо! Другое дело, когда перед тобой газета. Ты бегаешь глазами по следам — и вся та бурная, многокрасочная, шумная, с выстрелами из пушек и винчестеров, с криками, стонами, ликующими возгласами жизнь предстает перед тобой как живая, словно сам наблюдаешь ее.

Но одолеть значки оказалось довольно трудным делом. Каготу удалось выяснить, что их несколько десятков. С числами было куда проще. Тангитаны считали не двадцатками, а десятками. Поэтому это число у них обозначалось так удивительно — самым малым значением, рядом с которым еще ставился знак, выражающий отсутствие числа. Прибавлять и отнимать, своей властью уменьшать и увеличивать количество — это открывало возможности, которых Кагот раньше в себе и не подозревал. В вычислениях таилось странное могущество, волшебная способность управлять явлениями и, быть может, даже самими людьми.

От этих мыслей на душе стало тревожно. Вспомнилось давнее, полузабытое, когда он овладевал шаманской силой, когда и во сне и наяву ему являлись красочные картины, посылаемые ему Внешними силами, чудились голоса, и неземная музыка, и эти слова... В последнее время все это ослабело в нем, и даже словесные наития все реже посещали его. Он объяснял это себе переменой места жительства, необычным и непривычным для Внешних сил окружением... А если Внешние силы начнут действовать на него через числа? Найдут новый путь к нему, иной, нежели тот, через который они общались с ним, когда он жил в яранге и ходил на охоту за нерпой?

Сон отлетел. Кагот понял, что теперь ему не удастся заснуть до самого того часа, когда надо будет вставать готовить завтрак. В каюте стало душно, теснота сдавила грудь.

Он оделся и осторожно выскользнул на палубу. Из рулевой рубки, в которой обычно коротал ночные часы вахтенный, сочился слабый свет электрической лампочки. Отворилась дверца, и выглянул Амундсен.

— Это вы, Кагот?

— Это я, господин начальник, — ответил Кагот. — Хочу побыть на свежем воздухе.

— Не спится?

— Почему-то не могу заснуть, — тихо ответил Кагот. — Ворочался, ворочался, а потом решил выйти.

— Со мной это тоже бывает. Особенно в такую погоду. Вроде бы все хорошо: тишина, ясно, даже ветра нет, — а на душе тревожно.

Погода в самом деле стояла удивительная. Можно выйти с зажженной свечой — и пламя ее не шелохнется, так было спокойно и тихо. Тишина простиралась во все стороны: на юг — к Дальним хребтам, через равнинную тундру, и на север — до самой вершины Земли, через нагромождения торосов, разводья и трещины. Бледные остатки полярного сияния догорали в зените, и звездный свет усиливался из-за отсутствия луны.

— О чем вы думаете, Кагот? — спросил Амундсен.

— О том, что, когда меня не будет, все это будет сиять и сверкать, и другой человек, который будет жить после меня, будет думать, что именно с него и начинается лучшая часть жизни...

Амундсен с удивлением посмотрел на Кагота.

— Интересно... А впрочем, может быть, вы и правы. Мне тоже казалось, да и сейчас кажется, что именно мы переживаем утро человеческой истории...

— С рождением каждого человека начинается новый мир, — сказал Кагот. — Наверное, это чувство самое сильное, и оно держит человека на земле сильнее всяких соблазнов. Надежда, что с тебя начинается вечность...

— Иногда и я задумывался об этом... В юности, когда я решался посвятить свою жизнь полярным путешествиям, я думал, что раз мы все так молоды, то и человечество тоже. Ведь люди только-только начинают осознавать, что они — это единое целое, братья и сестры одной семьи. И что перед всем человеческим сообществом стоят грандиозные и величественные задачи. Прежде всего надо обеспечить всем людям человеческий образ жизни — накормить всех голодных, дать кров всем бездомным, научить их жить в мире и согласии... А потом дальше — познание неизведанного. И те путешествия, которые совершаю я, стирают последние белые пятна на нашей планете...

— Значит, вы путешествуете, чтобы узнать неизведанное?

— Да, Кагот, чтобы узнать неизведанное и рассказать об этом другим людям.

— Мы, чтобы узнать неизведанное, обращались к богам, к Внешним силам. Разве у вас нет своих богов, которые все знают?

— Быть может, где-то и существуют всезнающие боги, но в натуре человеческой — все познавать самому.

— Значит, вы пытаетесь делать то, что должны делать боги, — продолжал свое Кагот.

— Ну почему же?

— Потому что богам легче путешествовать, перемещаться в пространстве и даже во времени. Их не удерживают ни льды, ни непогода, ни огромные расстояния...

— Но мне интереснее и приятнее узнавать о неизведанном собственным путем, — возразил Амундсен, — так сказать, делать божественное дело своими силами.

— А вы не страшитесь, что боги разгневаются за то, что вы вторгаетесь в их дела?

— Если боги достаточно мудры, то они, наоборот, должны быть на моей стороне и помогать мне, — с улыбкой ответил Амундсен. — Разве вам не помогают ваши боги?

— Они помогали мне, — сказал Кагот, — но для этого мне пришлось убить человека.

— Как — убить человека? — вздрогнул Амундсен.

— На пути к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступить через жизнь другого человека, — тихо ответил Кагот. — Чтобы занять место, которое занимал в жизни великий Амос, мне пришлось собственными руками лишить его жизни...

— Но это же преступление!

— Нет, это у нас не считается преступлением. Это обычай, человеческий обычай. Считается, что через это ко мне придет такое могущество, что я смогу спасти другие жизни. Я и вправду иногда спасал... Но не мог спасти самую дорогую для меня жизнь, жизнь моей любимой жены Вааль. Боги не вняли моим мольбам...

Слова Кагота внесли странное замешательство в душу Амундсена. Он никак не мог предположить, что именно здесь, с этой неожиданной стороны ему заново напомнят о трагедии Скотта... Как сказал Кагот? «На пути к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступить через жизнь другого человека»? Но ведь Кагот понятия не имеет о Скотте, о том безжалостном соревновании в ледяной, самой безжизненной на земле пустыне. А может, кто-то из членов экспедиции рассказал?

— Вы знаете, — начал он осторожно, — что я побывал на южной вершине Земли?

— Слышал, — ответил Кагот, — но мой разум отказывается верить этому и представить такое путешествие.

— А как я туда шел, с кем плыл, знаете об этом?

— Нет.

— Знакомо ли вам имя капитана Скотта?

— Впервые слышу...

— Он погиб на пути от Южного полюса, — тихо сказал Амундсен, — и находятся люди, которые ставят его гибель мне в вину...

— Но ведь вы не виноваты? — спросил Кагот.

— Не виноват, — подтвердил Амундсен.

— И не чувствуете своей вины?

— Не чувствую...

Кагот тяжело вздохнул.

— У меня по-другому: все говорили, что я не виноват в смерти Амоса, что это так и должно быть, потому что

таков закон жизни... А я все-таки чувствую вину. И понимаю, что только спасением других жизней я могу искупить эту вину, заглушить боль, которая гложет меня на протяжении многих лет.

— Да, я вам сочувствую, — сказал Амундсен.

— Я виноват перед людьми, которые поверили в меня. И очень возможно, что они ищут меня, чтобы убить. Тот, кто избран Внешними силами для особой жизни, должен или нести свое бремя до конца, или же уйти. Отступника ждет смерть.

— Вы опасаетесь за свою жизнь? — спросил Амундсен.

— Не столько за свою, сколько за жизнь дочери, — признался Кагот.

— Вы можете чувствовать себя на моем корабле в полной безопасности, — сказал Амундсен. — Что касается вашей дочери, то надо взять ее сюда. Думаю, что она не обременит вас, а тем более нас. Наш корабль пользуется покровительством норвежского короля, и на этой маленькой территории Норвегии действуют законы нашей страны, защищающие честь, достоинство и жизнь человека.

— Я вам очень благодарен, господин начальник, — Кагот низко склонил голову перед Амундсеном.

— А теперь идите спать, — мягко сказал Амундсен. — Ведь вам рано вставать.

Кагот ушел. Амундсен долго смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за тяжелой, обитой для тепла оленьими шкурами дверью, ведущей во внутренние помещения корабля.

В сентябре 1909 года до Амундсена дошла весть о покорении Северного полюса. До этого он хотя и догадывался о возможных соперниках в достижении вершины Земли, но не придавал им большого значения, исходя из опыта собственных арктических путешествий и тщательного изучения предшествующих экспедиций. Все попытки достичь полюса по льду заканчивались полной неудачей прежде всего потому, считал Амундсен, что льды Ледовитого океана не представляют собой единого, цельного поля. Этот дрейфующий, иногда со значительной скоростью, разнородный лед часто пересечен открытыми водными пространствами, а также грядами непроходимых

торосов. Поэтому, по его твердому убеждению, единственным научно обоснованным способом достижения Северного полюса оставался дрейф на специально оборудованном корабле. «Фрам» продрейфовал достаточно близко от желанной цели, чтобы, имея нужное количество собак и снаряжения, достичь полюса с корабля.

Возможное покорение Куком или Пири Северного полюса ставило по-иному цели экспедиции Амундсена, хотя он с самого начала подчеркивал, что для него главным является сбор научных данных, а не спортивные рекорды. Но он также прекрасно понимал, что авторитет полярного путешественника, идущего следом за другими, достигшими более впечатляющих, с точки зрения обывателя, результатов, намного ниже авторитета того, кого с самого начала называют героем.

Оставался Южный полюс. Однако Амундсен не торопился обнародовать свой план, памятуя о том, что неудача и даже промедление в достижении объявленной цели могут повредить его репутации не только как человека, верного слову, но и как серьезного исследователя. Он знал, что к Южному полюсу снаряжается английская экспедиция во главе с капитаном Скоттом. Ему также стало известно, что японская антарктическая экспедиция на корабле «Кайнан Мару» под руководством лейтенанта Шираса намеревается заняться исследованием Земли Короля Эдуарда VII.

Итак, «Фрам» взял курс на Антарктику. Во время недолгой стоянки в Австралии Амундсен послал письмо капитану Скотту, извещая его о своем намерении принять попытку достижения Южного полюса. Во время зимовки в Китовой бухте была тщательно и скрупулезно подготовлена санная собачья экспедиция, устроены пасные продовольственные базы. Конечно, элемент соревнования между Амундсеном и Скоттом существовал, было бы нелепо утверждать, что Амундсен не хотел быть первым.

Достижение Южного полюса было настоящим триумфом. Вернувшись в Норвегию, Амундсен узнал подробности гибели экспедиции капитана Скотта. Из сохранившихся дневников Скотта явственно следовало, что англичанин предчувствовал свою гибель, понимая преимущества более тщательной и научно обоснованной подготовки экспедиции Амундсена. Потом начались нападки английской печати, отдельных весьма заметных и влиятельных

лиц... Самым тяжелым был упрек в косвенной вине в гибели членов английской экспедиции.

«Это была честная схватка», — не раз повторял Амундсен, но время от времени в глубине души чувствовал, что уж ничего не поделать с той зловещей тенью, которая иной раз задевала его своим краем — тенью трагической гибели экспедиции Роберта Скотта.

А тут еще напоминание с неожиданной стороны — от неграмотного чукчи, шамана, исповедующего самую дикую религию. А может быть, он какими-то своими неизведанными путями почуял в нем, Амундсене, существование этой глубоко спрятанной душевной боли? Как это он сказал? «На пути к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступить через жизнь другого...» Но что мог сделать Амундсен? Отказаться от своего намерения достичь Южного полюса и подождать, пока это сделает Скотт? По какому праву? Почему? Англичане считают, что он, Амундсен, поступил неблагородно. Значит, благородство заключается в том, чтобы сидеть дома возле хорошо протопленного камина и, куривая трубку, следить за тем, что делается в мире, узнавать из газет об открытии неведомых земель, покорении недоступных вершин, далеких морей? Или же согласиться с несправедливым, полным высокомерия мнением, что только англичанину доступно исследование новых земель и морей и только Великобритания, имеющая многовековой опыт покорения стран и народов, может претендовать на приоритет в географических открытиях?

В сознании Амундсена уживались и чувство глубокой правоты, и чувство вины... Что же делать? Может быть, сказанное бывшим шаманом все-таки справедливо?

В то утро после ночного разговора Кагот выглядел обычным, ночная бессонница несколько не отразилась на его облике. А может быть, это объяснялось и тем, что европейский глаз еще не научился распознавать на внешне бесстрастном лице эскимоса или чукчи его душевные движения? По заведенному порядку он сообщил начальнику о предстоящей отлучке с борта судна.

— Надо взять свежее перпичье мясо и печенку, — сказал Кагот, для разнообразия меню иногда готовивший блюда из свежей нерпы. Особенной любовью членов экс-

педиции пользовалась нерпичья печенка, тушенная или жареная, с рассыпчатым рисом.

Кагот взял для обмена два фунта муки, несколько кусков сахара, любимый ребятишками Амоса яблочный мармелад и ко всему этому присовокупил еще две пачки табака.

Кагот спустился на лед и медленно зашагал к ярангам, стоящим на высоком берегу. Тишина прошедшей ночи как бы простерлась и на наступивший день, на разгоревшуюся зарю. Сегодня солнце уже заметно поднимется над горизонтом и будет часа полтора ослепительного снежного света. На этот случай Кагот захватил очки-консервы с зелеными стеклами. У него имелось и чукотское приспособление, представляющее собой кожаную полоску с узкой прорезью для глаз, оно отлично предохраняло от снежной слепоты.

Кагот знал, что сегодня все мужчины дома: вчера у них был тяжелый, но добычливый день. Першин протащил мимо «Мод» трех привязанных друг за другом нерп. Хорошая добыча и сравнительно спокойная зима радовали сердца людей, и все было бы, наверное, прекрасно, если б не тревожные мысли о том, что и погода, и охотничья удача, и вообще жизнь — вещи непрочные, непостоянные и всегда надо ожидать какой-то перемены.

Кагот сначала зашел в ярангу Каляны.

Возле мехового занавеса большого полога на бревенчатом изголовье сидел Першин и чистил винчестер. Рядом с Айнаном играла остроконечными патронами. Каляна мала жир с нерпичьих шкур и была вся перемазана кровью. Першин внешне сильно изменился по сравнению с тем, каким приехал в становище. Он отрастил густую мягкую бороду, начинающуюся у самых скул.

— Атэкай! Атэкай! — обрадовалась Айнана и бросилась навстречу отцу.

Каждый раз, когда Кагот смотрел на дочку, он видел в ней черты ушедшей навсегда Вааль. И тогда на его глаза навертывались слезы, щипало в носу и в груди возникала боль.

— Я всю печень оставила тебе, Кагот, — сказала Каляна. — Пусть тангитаны едят.

— Я возьму здесь две, — сказал Кагот, — а еще две у Амоса. Чтобы все было поровну.

— Хорошо, пусть будет так, — согласилась Каляна.

— Как в море? — обратился Кагот к Першину.

— Дрейфующий лед нынче отделился, — начал Першин. Он говорил со знанием дела, словно всю жизнь только тем и занимался, что бил нерпу на льду. — Припай naros, и к открытой воде далеко идти. Только откроется вода — тут же замерзает. Опасно ходить по льду. Зато нерпы много. Хорошо охотиться!

Кагот пожалел, что не может ходить на охоту. Надо как-нибудь отпроситься у начальника на день и выйти на лед. Так ведь можно и позабыть, как добывается нерпа: не всю же жизнь быть ему поваром у Амундсена!

Казавшаяся издали непонятной и даже привлекательной жизнь на тангитанском корабле оказалась, в общем-то, однообразной, очень размеренной. Это впечатление усиливалось еще и тем, что начальник экспедиции требовал выполнения всех работ точно по часам. Особенно это касалось времени приема пищи. Задержка хотя бы на несколько минут вызывала его недовольство, и он делал строгий выговор. Но Кагот приноровился подавать и завтрак, и обед, и ужин в точно назначенный час или даже чуточку раньше, чтобы избежать упреков.

— Следов белых медведей немного, — продолжал Першин, — но они есть, особенно возле прибрежных скал.

— Будьте осторожны, — предупредил Кагот, — это скорее всего медведица с детенышем. Может подкрасться сзади и напасть.

— Амос мне тоже говорил, — сказал Першин. — Когда я того медведя убил, мне показалось, что теперь мне ничего не стоит добыть и следующего. А вот не попадают.

— Белый медведь — редкая добыча, — заметил Кагот. — Когда какой год выпадает. Но к весне звери могут появиться.

Каляна подала чай, и мужчины приступили к основательному чаепитию с сахаром. Налили и Айнане в плоское блюдечко, чтобы не обожглась, и дали большой усок сахара. Девочка пила как большая, засунув сахар в щеку. Втянув в себя весь чай, она вынимала сахар и тала его на столик, ожидая, пока ей нальют еще.

— Как дела с обучением грамоте? — поинтересовался Кагот.

— Туговато идет, — ответил Першин. — Ведь, по сути, мне приходится обучать не чукотской, а русской грамоте.

— Однако вижу, что у вас-то чукотский язык хорошо пошел, — заметил Кагот.

— У меня хорошие учителя, — улыбнулся Першин. — Учат все время. По-русски ведь не с кем говорить.

— Меня тоже учат грамоте, — признался Кагот.

Першин заметно удивился этому.

— А какой грамоте? Норвежской?

— Пока непонятно какой, — ответил Кагот. — Но мне больше нравится счет и числа... Вот я все хотел спросить у вас: у корабельных тангитанов тоже есть поэты или они только у русских?

— Поэты есть у всех народов, — ответил Першин. — И у норвежцев и у англичан. Я даже уверен, что они есть и у вас. Ведь тот, кто сочиняет песни, тоже поэт. А песни у вас есть, не правда ли?

— Песни-то есть, но в них мало слов, — вздохнул Кагот.

— А разве в вашем языке нет похожего на то, что я читал вам из Пушкина, Блока? — спросил Першин.

— Может быть, и есть, — неуверенно ответил Кагот, — но это шаманские заклинания, и они исходят не от человека, а от Внешних сил.

— Как это? — не понял Першин.

— Внешние силы как бы тоже говорят человеческими словами, но через избранного, через шамана, — объяснил Кагот.

— Значит, шаман и есть поэт! — весело заключил Першин.

Кагот покачал головой. По учителю выходит, что и он, Кагот, тоже является поэтом, как те тангитаны, которые сложили слова про зимнюю дорогу или про звезды, но Кагот сомневался в этом.

Внешне в яранге ничего не изменилось. На прежнем месте висел гостевой полог, свидетельствуя о том, что мечты хозяйки заполучить мужчину в большой пол пока остались неосуществленными. Это несколько озабочило Кагота, который до встречи с членами экспедиции Амундсена и до приезда Першина видел в мужчине тангитанов людей, весьма жадных до женщин, не бегущих часто и старухами. Может быть, эти мужчины как-то иначе устроены? Но телесное устройство членов экспедиции Амундсена ничем существенным не отличалось от его, Кагота, точно так же как и Першина, кото-

рого он видел голым в корабельной бане. Станные люди... И не похоже, чтобы брезговали. Наоборот, в кают-компанин часто слышались слова похвал и Каляпе, и жене Амоса Чейвынэ, и особенно юной Умкэнеу. Должно быть, эти тангитаны принадлежали к роду особо стеснительных или очень преданных своим женам.

— Жена у вас есть? — спросил Кагот.

— Не успел я жениться, — почему-то с виноватой улыбкой ответил Першин.

— А собираетесь?

— Когда-нибудь придется...

— Здесь будете жениться или у себя в Петрограде?

— Это уж как судьба решит...

— Это верно, — вздохнул Кагот и засобирался. — Ну, я пойду: мне еще надо соседей навестить.

Возле яранги Амоса катались на санках Эрмэн и Илкэй. Детишки кинулись на гостя с криком:

— Дядя Кагот! Дядя Кагот! Ты принсс нам тангитанские сладости?

— Принес, принес! — весело ответил Кагот, чувствуя себя благодетелем, человеком, приносящим радость не только взрослым, но и детям. Он уже привык к своему новому положению. В становище каждый приход Кагота означал пополнение оскудевших запасов муки, чая и сахара, которые хотя и считались лакомством и не определяли главного содержания питания, но, однако, без этих продуктов жизнь уже казалась пресной.

Амос чинил нарту, пристроившись у ярко горящего костра. Чейвынэ занималась исконно женским делом — с помощью каменного скребка, насаженного на деревянную ручку, очищала нерпичью шкуру.

— Амын етти! — приветствовал гостя Амос. — Какие новости?

— Новостей особых нет, — степенно ответил Кагот, присаживаясь на китовый позвонок и развязывая мешок с подарками. — Вот кое-что принес вам и ребятишкам. — Он подал мальчику и девочке по конфете, а остальное Чейвынэ. — Счету меня начали обучать.

— Счету? — переспросил Амос. — Для чего это?

— Ну, для того, чтобы знать число вещей.

— Много вещей у тебя завелось?

— Не так чтобы много, но кое-что есть, — ответил Кагот. — Но счет не для этого.

— Ты говорил, что тангитаны все мерят, — сказал Амос. — Им это для чего-то надо. А тебе зачем? Тоже мерить будешь?

— Может, и придется, — туманно ответил Кагот. — А разве русский учитель не учит счету?

— Вроде бы учит, — вспомнил Амос. — Но это так, баловство и развлечение для детей.

— У меня это серьезно, — сказал Кагот. — И чувствую, что за этим большое дело...

— Может быть, и так, — кивнул Амос, отодвигая в сторону нарту. — Чейвынэ, уж коли свежий чай появился, давай-ка попьем.

За чаем разговор продолжался. Амос рассказал о подвижках льда на границе припая и дрейфующих ледовых полей и снова вернулся к делам в становище.

— Все хорошо было бы с этим учителем, но странный он человек, — заметил Амос.

— Да, — кивнул Кагот, — я это тоже почувствовал: он так и спит в гостевом пологе, не переселился в большой.

— Но главное в другом: он все время манит.

— Куда манит? — заинтересовался Кагот.

— В будущее, — многозначительно ответил Амос. — О чем бы ни зашел разговор, он все переводит на будущее. Будто только-только началась жизнь и все самое главное, самое интересное, самое красивое — впереди!

— Это интересно...

— И будто это новое начало жизни совсем рядом. Как только уйдут льды, сюда приплывет большой пароход...

— Я слышал от проезжающих, возле мыса Сердце-Камень во льдах зимует какой-то пароход...

— Не тот, — махнул рукой Амос. — Придет большой пароход, на котором привезут деревянные яранги для школы, больницы, для ловли слов...

— Для ловли слов? — переспросил Кагот и догадался: — А, это радио! Амундсен послал своих в Ново-Мариинск, что в устье реки Анадырь, чтобы через тамошнюю станцию отправить новости на родину. Вот только нам-то зачем такая станция? Кому мы будем так далеко отправлять новости?

— Першин говорит, что таким путем сюда скорее дойдет ленинское слово.

— Ленинское слово? — с удивлением спросил Кагот. — Неужто у него и для нашей дали есть слова?

— Першин говорит, — продолжил Амос, — что Ленин совсем простой человек, вроде нас с тобой.

— С виду-то он, может быть, и вправду похож на простого человека, но главное — какая сила у него внутри, — со значением проговорил Кагот. — Уговорить бедных людей — это непросто, — задумчиво продолжал он, мысленно представив толпу оборванных, невеселых людей, а на некотором возвышении Ленина, который обращается к ним со своим словом.

— Но уговорил же! Солнечного владыку скинул! — сказал Амос.

— И в наши края своих людей послал, — добавил Кагот.

— Интересно, конечно, каково-то все будет на самом деле, — задумчиво проговорил Амос. — Скажу тебе, Кагот, по мне, чем чуднее и неожиданнее, тем лучше!

— Это почему?

— Потому что злые духи — кэльэт — совсем запутаются и не найдут меня. Нынче я чувствую в себе большую силу, много больше, чем до той поры, когда тонул. Признаюсь тебе, Кагот, зачал я дитя... Вот как! — Он скосил глаза на усердно работающую Чейвынэ. — Чейвынэ! — окликнул он жену. — Отдай-ка Каготу пару свежих перичьих печенок! Пусть угостит тангитанов на корабле! Першину тоже правится печенка. Но больше мороженая, сырая. Умкэнеу повадилась ходить к нему и толочь для него печенку. Совсем сдурела девка, прямо льнет к нему, проходу не дает.

— Созрела, наверное, — высказал догадку Кагот.

— Так ведь тапгитан не берет ее, — заметил Амос. — Непонятно: и Каляну не взял и от Умкэнеу отворачивается...

В яранге у Гаймисина у костра сидела Умкэнеу и толкла в каменной ступе.

— Кыкэ вай, Кагот! — обрадованно воскликнула она и крикнула в полог: — Кагот пришел!

— Тангитану толчешь? — Кагот кивнул на ступу.

— Ему, — вызываяще ответила Умкэнеу. Ей было жарко, и она сняла один рукав мехового кэркэра, обнажив вполне сформировавшуюся смуглую грудь с темным, почти черным сосочком.

Из полога высунулся сначала Гаймисин, за ним показалась и его жена Тутына.

— Какие новости на корабле? — спросил слепой.

Он внимательно выслушал то, что Кагот уже расска-

зывает сначала в яранге у Каляны, затем у Амоса. На сообщение об обучении счету Гаймисин заметил:

— Любят они считать... Это у них, видно, в крови.

— Мы тоже счету учимся! — встряла в разговор Умкэнеу.

Видать, в этой яранге строгий обычай, предписывающий женщине не вмешиваться в разговор мужчин, не соблюдался. Умкэнеу держала себя так, будто она взрослый человек, хозяйка.

— Одно дело, когда этому детей учат, совсем другое — взрослого мужчину, — заметил с оттенком недовольства Гаймисин и проворчал: — Совсем распустилась девка. Учение не идет ей впрок, только портит.

— А учитель говорит, что я способная, — возразила Умкэнеу, лукаво улыбаясь Каготу. — Когда приедут настоящие учителя, они быстро меня всему научат и пошлют в большое селение.

— В Уэлен? — спросил Кагот.

— Дальше!

— В Ново-Мариинск?

— В Петроград!

— Слыхал? — кивнул в сторону дочери Гаймисин. — В Петроград собралась. А вести себя в мужском обществе не научилась. Все огрызается, как собачонка.

— Так у нас же равноправие! — напомнила Умкэнеу.

— Даже если оно, это самое равноправие, и есть, — строго заметил Гаймисин, — то это не для детей.

— Ну сколько можно твердить: не дитя я уже, — устало проговорила Умкэнеу. — Вот скоро замуж выйду!

— За кого же ты собралась замуж? — спросил Гаймисин.

— Это мое дело — за кого, — загадочно ответила Умкэнеу.

— Ты это брось! — крикнул Гаймисин. На его слепом лице отразился настоящий гнев. — На учителя поглядываешь, смущаешь его. Разве такое может быть, чтобы чукотская девка за тангитана замуж выходила?

— У нас теперь равноправие не только между мужчинами и женщинами, но и между тангитанами и женщинами! Так сказал учитель Алексей. И это он не сам думал, а услышал от Ленина, вождя большевиков и их людей.

Умкэнеу это сказала громко, на весь чоттагин.

— Какие слова научилась выговаривать, язык можь

сломать, — простонал Гаймисин. — Человек послан на важное дело, а ты его сбиваешь с толку.

Весело посмеиваясь и нисколько не боясь своего слепого отца, Умкэнеу заварила свежий чай и разлила по чашкам.

Тутына откусила крохотный кусочек сахара и языком затолкала его подальше в рот.

— Благодаря тебе эту зиму только и делаем что пьем сладкий да крепкий чай. — В голосе женщины слышалась искренняя признательность. — Бывало, попьем с месяц, пока лето, а потом всю зиму только воспоминанием и живем, пока кто-нибудь не проедет в сторону Колымы. К весне начисто забывали и вкус сахара, и запах настоящего табака...

— С печалью иногда думаю, что скоро хорошие времена кончатся и тангитаны вместе с кораблем уплывут в другие края, — вздохнул Гаймисин.

— На вершину Земли, — напомнил Кагот.

— Было бы в моих силах, задержал бы их у нас, вморозил бы навечно их корабль у нашего берега, — мечтательно проговорил Гаймисин. — Чем им у нас плохо? Тут хоть люди есть да охота хорошая. А что там будет, на вершине Земли? Может, ничего там такого интересного нет. А мы останемся опять без тангитанов, без чая, без сахара да без хорошего табака...

— Першин тут останется, — напомнила Умкэнеу.

— А что толку от твоего Першина, кроме разговоров да мечтаний о будущем? — махнул рукой Гаймисин. — Похоже, у твоих большевиков у самих ничего нет.

— Учение о справедливости у них, — возразила Умкэнеу. — Чтобы всего было поровну у людей.

— Знаешь, дочка, все эти разговоры о равенстве — ерунда! Никогда не будет, чтобы люди жили одинаково. Такая уж природа людская. Один довольствуется двумя ребрышками от нерпы, а другому подавай всю грудинку — и то сыт не будет, иной с одной женой живет, а скажем, оленному человеку можно и двух и трех жен иметь, смотря какое у него стадо...

— При новой власти таких богатых оленных людей не будет! — твердо заявила Умкэнеу.

Снаружи яранги послышался собачий лай. В чоттагин вбежал запыхавшийся Амосов сынишка Эрмэн и объявил:

— С восточной стороны идут собачьи упряжки! Гости едут!

— Вот тебе и новости без всякой мяты и сети для ловли летящих слов, — весело сказал Гаймисин и принялся одеваться.

Встречающие гадали вслух, кто бы это мог быть. Скорее всего кто-то из людей Кибизова, объезжающего побережье по поручению торгового дома братьев Каравых, которые представляли русскую фирму и пытались противопоставить русские товары американским. Обычно Кибизов ездил на нескольких упряжках, и сейчас еще издали было заметно, что идут по меньшей мере две нарты. Однако по мере приближения упряжек предположение о Кибизове отпадало: на нартах были свои, чукчи. Солнце, стоявшее низко над горизонтом, освещало приближающихся путников сбоку, длинные тени мешали как как следует рассмотреть и узнать людей.

Глубоко спрятанные за меховой росомашьей оторочкой лица, заиндевелые усы, брови сразу же насторожили Кагота.

Собаки медленно подошли к яранге и, услышав протяжное, успокаивающее, сулящее долгий отдых и обильную кормежку «гэ-э-э-э», остановились и тут же легли на снег.

— Амын еттык! — первым подал голос Амос.

— Ии, — ответил первый каюр, легко спрыгнувший с нарты, и Кагот по голосу узнал шамана Таапа, друга ушедшего из жизни великого шамана Амоса.

Таап медленно подошел к застывшему от неожиданности Каготу и тихо сказал:

— Ну вот мы и встретились... Долго мы тебя искали, уже не думали найти.

Второй человек тоже был знаком Каготу. Это был Нутэн, племянник Таапа, дальний родич Амоса. Если проследить все родовые связи и покойного Амоса и Таапа, то Кагот тоже через свою умершую жену приходился родичем молодому Нутэну.

Гаймисин, прислушивавшийся к разговору, спросил:

— Откуда держите путь? И далеко ли?

— Инакульские мы, — ответил Таап. — Похоже, мы достигли цели, нашли заблудшего брата.

— Кого же вы искали? — продолжал слепой.

— Кагота искали, — ответил Таап.

— Ну вот вы и нашли его, — широко улыбнулся Гаймисин. — Ничего с ним худого не произошло. И мы его полюбили.

— Что же это мы на морозе разговариваем! — захлопотал Амос. — Входите в ярангу, обогревайтесь. Разговоры потом.

Гости вошли в чоттагин, к живому огню костра, а Амос и Кагот согласно обычаю занялись собаками. Они выпрягли усталых псов из нарт, отвели на место стоянки, привязав их на длинную цепь. Нарты, освободив от груза, закатили на крышу яранги.

Таап и Нутэн, сняв задубевшие от мороза камлейки, наслаждались горячим чаем в ожидании свежего мяса. Тутына и Чейвынэ выворачивали наизнанку обувь путников, чтобы хорошенько ее просушить.

Из яранги Каляны пришел Першин Поздоровавшись с гостями, он поинтересовался, нет ли ему почты.

— В Уэлене новые власти хотели нам дать бумажный сверток, но мы не взяли, — сказал Таап. — Непривычны мы возить такое.

— Очень жаль, — с огорчением произнес Першин. — А как там мои товарищи? Как ревком работает?

— Мы с тангитанами не общаемся, — сухо ответил Таап.

Закончив дела с устройством собак и накормив их копальхеном, Амос и Кагот вошли в чоттагин.

Першин все же не терял надежды узнать что-нибудь о деятельности своих товарищей и допытывался:

— Но вы хоть слышали о советской власти?

— Может быть, она и есть, эта власть, — медленно ответил Таап, — но нам она ни к чему.

— Как так? Это почему же? — возмутился Першин.

— Откуда он у вас взялся? — показывая всем видом пренебрежение к вопросам учителя, спросил Таап.

— Посланец новой власти, — неуверенно ответил Амос. — В начале зимы прибыл из Ново-Марининска с товарищем. Тот дальше уехал, а этот остался...

— А что он тут делает?

— Учат грамоте, счету...

— А еще?

— Еще толкует о будущем. Сулит другую жизнь.

— И вы верите?

— Слушаем, — беспомощно улыбнулся Амос.

— Очень интересные вещи рассказывает! — включил

ся в разговор Гаймисин. — Не всему, конечно, можно верить, но интересно!

Першин был в некоторой растерянности, не зная, как ему поступить. Эти приезжие явно невзлюбили его с первого взгляда. Кто же они такие? Он посмотрел на Кагота и поразился перемене, происшедшей в нем. Еще час назад это был уверенный, спокойный мужчина, а сейчас — испуганный, как бы неожиданно потерявший себя человек.

— Мы проделали большой путь по чукотской земле, — сказал Таап. — Всякое мы видели, разных людей встречали, попадали в непогоду, но главная наша цель была — найти заблудшего брата.

И он пристально, без улыбки посмотрел на Кагота.

Таап и его племянник принадлежали к той разветвленной, смешанной семье чукчей и эскимосов, которая расселилась по окрестным селениям вокруг Инакуля. Некоторые родичи даже перебрались через Берингов пролив на остров Святого Лаврентия. Жизнь незримо управлялась небольшой группой, в которую входили покойный Амос, Таап и куда должен был войти Кагот, если б не убежал из селения.

— Отдохнем несколько дней и отправимся в обратный путь, — сказал Таап. — Дорога долгая, и нам надо добраться домой, пока не тронутся реки и не начнут таять снега.

— Значит, и Кагот отправляется вместе с вами? — спросил Гаймисин.

— Да, — ответил Таап.

— Очень жаль, — вздохнул Гаймисин. — Он нам очень понравился. Да и одна здешняя женщина пока безмужняя.

— У нас своих женщин хватает, — усмехнулся Таап.

— Чаю не будет и сахару, — продолжал вздыхать слепой.

Таап не понял, почему с отъездом Кагота этих тангитанских продуктов станет меньше, но не стал спрашивать. Главная цель многомесячного путешествия достигнута — беглец найден и будет доставлен домой. Там ему будет предложен выбор — или он возвращается к тому образу жизни, который ему предназначен свыше, или же уходит из жизни. Но кто в молодые годы вот так, добровольно захочет расстаться с жизнью? Таап встретился глазами с Каготом и только теперь улыбнулся.

Внешне Кагот не выглядел изнуренным. Должно быть, здесь он хорошо отдохнул и подкормился. Вдали от места грустных событий он, видимо, успокоился.

— А где твоя дочка, Кагот? — спросил Таап.

— Она в соседней яранге. — Кагот поднялся с места. — Я пойду к ней.

— Ты приведи ее сюда, — сказал Таап. — Она все же мне родственница.

Кагот вышел. Следом за ним Першин.

— Ты знаешь их? Кто они такие?

Кагот испуганно оглянулся на вход в ярангу, словно опасаясь погони.

— Это шаман Таап и его племянник... Они пришли за мной... Надо уходить, надо убегать!

Кагот и вправду побежал в ярангу Каляны. Першин едва поспевал за ним. Вбежав в чоттагин, Кагот схватил дочку и понесся вниз, к морю, к хорошо видимому с высокого берега кораблю.

Першин некоторое время шел за ним, но потом остановился и долго следил за бегущим человеком с ребенком на руках, пока не убедился в том, что Кагот благополучно добрался до корабля и поднялся на борт.

А тем временем в яранге продолжался разговор.

— Что за корабль стоит у ваших берегов? — спросил Таап. — Это не те ли, что толкуют о новой жизни?

— Нет, это другие тангитаны, — ответил Амос. — Норвежские люди. Они плывут к самой вершине Земли и ждут весны, чтобы с дрейфующими льдами двинуться дальше.

— Иной раз просто диву даешься, сколько сумасшедших среди тангитанов, — заметил Таап.

— Говорят, что они успели побывать в противоположном конце земли, — добавил Гаймисин, — прямо под нашими ногами.

— Много чудного рассказывает про них Кагот, — сказал Амос.

— Да, Кагот в молодости плавал на тангитанском корабле и бывал на их земле, — подтвердил Таап.

— Кагот и нынче у них работает и на корабле живет, — сообщил Амос. — Варит им пищу, убирает в каютах. Хорошо за это платят, дают муку, чай, сахар, табак. И нам перепадает.

— Что ты говоришь! — Таап вскочил на ноги и крикнул товарищу: — Идем!

В яранге Каляны в чоттагине сидел один Першин.

— Где Кагот? — спросил Таап.

Першин спокойно ответил:

— Ушел на корабль.

— А дочка его?

— И дочку свою забрал..

Таап подозрительно посмотрел на учителя и спросил:

— А откуда ты так хорошо говоришь по-нашему?

— Выучился.

Таап внимательно оглядел чоттагин и двинулся к пологу, приподнял меховой занавес и, заглянув внутрь, в теплую темень спального помещения, со злобой сплюнул на пол.

Таап и Нутэн спустились на лед и зашагали мимо собачника и магнитной обсерватории. Таап был не на шутку разгневан бегством Кагота. Он ожидал увидеть не мощного, ослабевшего умственно от переживаний человека, которого легко уговорить вернуться или же просто силой увезти домой. Вместо этого перед ним предстал нормальный, даже процветающий человек, похоже не только не нуждающийся в старых своих родичах, но и не желающий иметь с ними ничего общего. Таап был ненамного старше Кагота, но он давно постиг извечные племенные обычаи, которые часто оказывались жестокими. Иначе не выжить, иначе не поставить под свою власть упирающегося, пытающегося самостоятельно думать человека, тем более теперь, когда на побережье жизнь вовсе пошла наперекосяк, когда появились большевики со своими идеями новой жизни. Эти идеи еще совсем недавно казались такими же несбыточными, как мечта о незамерзающем море, кишашем разнообразным зверьем. Расстояние от идеи всеобщей справедливой жизни до действительности было не меньшим, чем от земной поверхности до луны. Во всяком случае, оно казалось таким. И вдруг нашлись люди, которые объявили, что до луны рукой подать, что ключ к справедливой жизни в твоих собственных руках. Все это только сбивает с толку бедных людей.

По мере приближения к кораблю решимость Таап понемногу слабела. Кто его знает, может, Кагот набрался у тангитанов какой-нибудь такой премудрости, которая окажется сильнее шаманской?

Крепко вмерзший в лед корабль не выглядел попавшим в беду. Большая часть палубы была накрыта толстым плотным брезентом. На заиндевелых мачтах, на

такелаже висели замороженные олени туши и белые тушки полярных куропаток. Из большой трубы шел черный, резко пахнувший дым. Таап знал, что так пахнет горящий камень тангитанов, дающий сильный и устойчивый жар.

Широкий деревянный трап спускался с борта корабля на лед. На палубе стоял человек в меховой куртке и смотрел на приближающихся. Когда Таап и Нутэн достигли корабля, человек на палубе сделал предостерегающий жест.

— Нам нужен Кагот! — крикнул Таап.

Тангитан отрицательно покачал головой и жестами дал знать, что пришельцам рекомендуется повернуть обратно.

— Кагот! Кагот! — повторил Таап и сделал шаг на нижнюю ступеньку трапа.

На палубе появился второй тангитан. Из-под низко надвинутого капюшона выглядывал большой нос. Человек был с винчестером. Однако он не стал угрожать ружьем, а только достаточно громко и властно крикнул:

— Назад!

Таап понял значение окрика и отступил от трапа.

Большеносый начал что-то говорить. Говорил он долго и очень решительно.

Таап выслушал речь тангитана с таким вниманием, словно понимал каждое слово. По беспрекословному тону он догадался, что ему не дадут подняться на борт и вести Кагота. Надо действовать иначе.

— Пошли отсюда, — сказал он Нутэну и зашагал прочь от корабля не оглядываясь.

Нутэн шел сзади. Вдруг он сказал:

— Таап, гляди, что там?

— Где? — встревоженно спросил Таап.

— Вон там, над ярангой.

Таап присмотрелся и увидел над крайней ярангой ярко горящий при свете заходящего зимнего солнца красный флаг.

К удивлению Кагота, Аймана несколько не испугалась ни новых людей, ни большого дышкового корыта, наполненного теплой мыльной водой. Сундбек и Ренне, оба в клеенчатых фартуках, бережно раздели девочку и

посадили в воду. Айнана сначала судорожно замолкла, умоляюще посмотрела на отца, но в следующую секунду улыбнулась и разразилась звонким, рассыпчатым смехом, словно по мерзлому руслу покатались осколки прозрачного речного льда.

— Ну и молодец! — воскликнул Сундбек. — Такое впечатление, что мыло и мочалка ей давно знакомы.

Изобретательный Сундбек ухитрился найти какие-то куски чистой цветастой ткани, которые на первое время заменили платье для девочки.

— Я ей мигом сошью полный туалет, — обещал он.

Сундбек, кроме того, что был прекрасный механик, слесарь, токарь и чеканщик по меди, еще отлично шил. В его мастерской стояла зингеровская швейная машинка, вызвавшая в свое время огромное любопытство Кагота.

Молочную кашу взялся сварить сам Амундсен, почему-то не доверив это дело отцу.

Помешивая большой ложкой густеющее варево, начальник экспедиции спросил Кагота:

— А чем вам угрожают земляки?

— Они могут меня убить, если я вернусь в Инакуль.

— Почему?

— Такова судьба отступника. Того, кто решает оставить шаманское призвание, ждет смерть от руки его товарищей.

— А вам не хочется возвращаться ни к шаманству, ни в Инакуль?

— Нет.

— Вы больше не верите в существование духов?

Кагот вздохнул.

— Нет, я верю... Но не так, как раньше. Раньше у меня не было сомнений, и я точно следовал тому, что мне говорили покойный Амос и другие шаманы. Верил даже тому, чего не было на самом деле, соглашаясь, что так надо для блага людей. Но потом пришли сомнения... А вера пошатнулась, когда я не смог спасти жену.

— А что за болезнь у нее была?

— Красная... Все тело было покрыто краснотой, и она не могла смотреть на яркий свет.

— По симптомам похоже на корь...

Амундсен в молодости изучал медицину и, даже покинув университет, не утратил к ней интереса.

— И как вы лечили ее?

— От тех болезней, которые привозят рэккэны, лекарств нет, — ответил Кагот. — Единственная надежда на милость богов. И я просил их, умолял, но они остались глухими к моим мольбам и взяли Вааль к себе...

— Я вам очень сочувствую, Кагот... Но у вас осталась дочь.

— Я бы хотел для нее настоящей счастливой жизни, — с надеждой произнес Кагот. — Ей все здесь так нравится: и мыться, и деревянная яранга, и музыка.

По случаю прибытия Айнаны на борт, к удовольствию девочки, завели виктролу, музыка слышалась и на кам бузе. Недостатка в няньках не было, каждый старался чем-нибудь развлечь ребенка. Нашлись даже кое-какие детские игрушки, неведомым образом попавшие на экспедиционный корабль. Плюшевый медвежонок и маленькая гуттаперчевая куколка в платянце очень заинтересовали Айнану.

Амундсен снял с плиты кастрюлю, попробовал кашу и с удовольствием произнес:

— По-моему, в самый раз.

— Ей нравится тангитанская еда, — улыбнулся Кагот, переполненный благодарностью к этим, в общем-то, чужим ему людям, проявившим такую заботу о его дочери.

Перед обедом на корабль явился Першин.

— Очень хорошо, что вы пришли, — сказал Амундсен. — Мне нужно с вами как с представителем законной власти посоветоваться относительно Кагота и его дочери. Вам, должно быть, известно, что для них в связи с приездом земляков возникла серьезная угроза...

— Да, я это знаю, — ответил Першин.

— Сложность заключается в том, — заметил Амундсен, — что и вы и я вмешиваемся в тот уклад жизни, который существовал здесь испокон веков, как бы идем против законов, которые издавна регулировали их жизнь.

— Ничего не поделаешь, — пожал плечами Першин. — Пришло такое время: хочешь не хочешь, а придется вмешиваться. Для меня совершенно ясно: люди, которые приехали за Каготом, это враги новой жизни!

— А если они по-своему правы? — осторожно спросил Амундсен. — Ведь за их действиями стоят многовековой опыт, тысячелетние традиции. Своё отношение к Каготу они изобрели не вчера. Вот в чем сложность и трудность. Откровенно говоря, я вам завидую...

— В чем?

— В том, что для вас все так просто...

— Вы меня не так поняли, — сказал Першин. — К такому отношению к прошлому мы шли долго и нелегко. И если мы уж решили покончить с ним, избавить человека от связывающих его пут, которые вы называете многовековым опытом и тысячелетними традициями, то нас уже ничто не остановит.

— Меня удивляют ваши решимость и уверенность, — после некоторого раздумья произнес Амундсен.

— Мои решимость и уверенность основаны на том, что это историческая неизбежность, которая доказана создателями научного социализма Марксом и Энгельсом и подтверждена опытом нашей революции, ее вождем Лениным. — Голос Першина прозвучал торжественно.

Слушая его, Амундсен кивал и, когда тот кончил, сказал:

— К сожалению, у меня не было времени подробнее ознакомиться с их учением. Лишь порой приходила мысль: как это в недрах немецкого общества, столь приверженного к законопочитанию и порядку, могло родиться такое революционное учение, которое, похоже, совершенно изменило исторический путь России?

— Я возьму на себя смелость заметить, — сказал Першин, — что революция в России окажет такое влияние на мировую историю, какого мы сейчас не можем предсказать. На историческую арену вышла новая огромная сила, сила трудового народа.

Амундсен смотрел на молодого русского и испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, трудно было противостоять логике и убедительности его рассуждений, но с другой — нелегко и примириться с тем, что многое, казавшееся еще вчера незыблемым, устоявшимся, оказывается весьма сомнительным. Вопрос, который встал с первого дня отплытия из Норвегии — каким будет мир, когда экспедиция возвратится в цивилизованные страны? — приобретал новую остроту. И рядом с грандиозностью целей, во имя которых здесь находился этот русский революционер, своя собственная — покорение Северо-Восточного прохода и достижение Северного полюса — порой начинала казаться не такой значительной.

Сделав над собой усилие, чтобы побороть рождающееся чувство, похожее на зависть, Амундсен сказал:

— Если вы не возражаете, Кагот пока останется на «Мод» под охраной и защитой норвежского флага.

— Я буду весьма признателен вам за это, — с достоинством ответил Першин. — Мы могли бы постоять за него и под защитой нашего красного флага, но в данной ситуации лучше, если Кагот будет у вас.

Проводив гостя, Амундсен заглянул к Каготу и нашел его играющим с девочкой. Айнана совершенно преобразилась. Коротко подстриженная, чисто вымытая душистым мылом, облаченная в наскоро перешитую мужскую рубашку Сундбека, она светилась довольством и счастьем, не подозревая о той опасности, которая грозила ей и отцу. Да и сам Кагот был удивлен тем, что девочка приняла окружение незнакомых лиц так, будто всю жизнь провела среди этих бородатых и светлолицых людей.

Айнана потянулась ручонками навстречу Амундсену, заставив его почувствовать какое-то странное, незнакомое тепло в груди.

— Да она прелесть! — произнес начальник. — Какая ты красивая, Айнана!

— Она очень похожа на свою мать, — сказал Кагот.

Айнана сразу же стала всеобщей любимицей. Буквально за два дня общими усилиями ей были сшиты платье, обувь и шубка из мягкого пыжика. Каждый член экспедиции считал для себя величайшим удовольствием погулять с девочкой по палубе, уложить ее спать. Упали ее каждый вечер, и эта процедура проводилась членами экспедиции по очереди.

Сундбек в этих хлопотах совершенно позабыл об уроках, которые должен был давать Каготу, и сначала удивился, когда тот спросил:

— А когда будем учиться?

Кагот откровенно предпочитал уроки, связанные с числами, тем, на которых Олонкин безуспешно пытался привить ему начатки грамоты. Премудрость соединения звука и знака оказалась непостижимой для Кагота. И наоборот, манипуляции с числами, разного рода арифметические действия целиком захватили его. Он готов был заниматься вычислениями бесконечно. Эти действия доставляли ему странное наслаждение, рождали ощущение причастности к какой-то неведомой силе, прикосновения к подлинному могуществу. Кагот надеялся, что где-то в недрах больших чисел таится разгадка многих явлений, может быть, сокровенных тайн бытия, того, например, как Внешние силы связаны с живущими на земле людьми.

Толстая тетрадь, которую ему дали, ранее предназначавшаяся для записи наблюдений над магнитным полем Земли, заполнялась колонками и рядами цифр, какими-то дополнительными значками, понятными только ему.

Заглянув как-то в его тетрадь, Ренне сказал с нескрываемым удивлением:

— Похоже, что Кагот всерьез увлекся математикой.

Слегка нарушенный появлением Айнаны твердый корабельный распорядок быстро вошел в свою колею, и вечерами, после того как была вымыта посуда, выкупана и уложена Айнана, в кают-компани возобновлялись уроки. Наскоро покончив с попытками овладеть тайной букв, Кагот со вздохом облегчения закрывал тетрадь для письменных работ и открывал другую, для чисел.

Сундбек, увидев странное большое число, неведь каким образом появившееся на новой странице тетради, с удивлением спросил:

— Что это?

— Число. — Кагот смущенно опустил глаза.

— Откуда оно появилось?

— Я взял число ног и рук всех людей, которых я когда-либо знал, — принялся объяснять Кагот, — прибавил к ним все лапы экспедиционных и наших собак, а потом вообразил, что это число в два раза больше, чем на самом деле, и вот получилось это... Мне и не произнести его, это число...

— В самом деле, — пробормотал Сундбек. — Какая-то чертовщина получается.

— Я могу стереть, — с готовностью предложил Кагот.

— Зачем? — возразил Сундбек. — Пусть стоит... Только я вам скажу, Кагот, что и это число можно удвоить, а то и утроить.

— Да? — с загоревшимися глазами переспросил Кагот. — Разве это можно?

— Можно.

— И ничего не случится?

— А что может случиться? — пожал плечами Сундбек.

— Но ведь это не просто так, — задумчиво произнес Кагот. — Может получиться огромное, невообразимое число!

— Знаете, Кагот, — заговорил Сундбек посерьезневшим голосом, — вы несколько забегаете вперед. Понятие о бесконечности мы рассмотрим в свое время, а сейчас

главная наша цель — научиться складывать, вычитать, делить и умножать целые числа. А потом перейдем к дробям...

— А это что такое — дробь?

— Части целых чисел.

— Как же это? — растерянно пробормотал Кагот. — Части ног? Части рук?

— Ну это потом, — улыбнулся Сундбек и решительно добавил: — Пока мы будем заниматься целыми числами.

Кагот в этот вечер послушно складывал, вычитал числа, умножал на два, даже на три, однако проницательный Сундбек, заметив его странное состояние, спросил:

— Вы чем-то обеспокоены, Кагот?

— Да нет, — ответил Кагот.

— Может быть, вы утомились? Тогда давайте сегодня больше не будем заниматься.

— Хорошо, больше не будем...

Кагот убрал тетрадь и ушел к себе.

Когда за ним закрылась дверь, Амундсен озабоченно заметил:

— Ему, видно, сейчас не до учения.

— Со стороны трудно вообразить, что в недрах их примитивного общества могут бушевать такие страсти, — заметил Ренне.

— Это говорит о том, что мы столкнулись с далеко не примитивным обществом, — сказал Амундсен. — Нет большей ошибки, чем считать арктические народы примитивными, упрощать их духовную и общественную жизнь. Я не могу отделаться от мысли, что, отказывая сородичам Кагота в их требованиях, я грубо нарушаю какие-то очень важные внутриплеменные установления.

— Вы думаете, что было бы правильнее отдать его в руки приехавших за ним шаманов? — спросил Олонкин.

— Нет, и это не было бы решением, — пожал плечами Амундсен. — Посмотрим, что будет дальше. Единственное, что пока могу сказать: за многие годы своих арктических путешествий я никогда не оказывался вовлеченным в такие дела. Самое удивительное, что Алексей Першин, может быть, окажется прав: русская революция так или иначе скажется не только на течениях мировой истории, но даже на наших с вами судьбах.

— Во всяком случае, что касается Кагота, то на его жизни эта революция сказалась уже тем, что сохранила ему жизнь. Ведь в другое время бедного Кагота уже давно бы увезли и умертвили либо по дороге, либо в его родном стойбище, — заметил Ренне.

Пока шел этот разговор, Кагот сидел в своей каюте у маленького откидного столика возле иллюминатора и рассматривал свои записи чисел. Он снова чувствовал странное волнение, посещавшее его в последние дни, когда он задумывался над великими множествами, которыми повелевал лишь с помощью кончика карандаша. Что можно сравнить с не охватываемыми разумом числами? Первое, что приходило в голову, звездное небо. Звезд, конечно, бессчетное число, но при известном терпении и сноровке даже их можно сосчитать. Можно, наверное, сосчитать и комаров в летней тундре, когда они тучами висят над пасущимися оленями. Число людей в мире, видимо, тоже достаточно велико, как можно заключить из разговоров в кают-компании. Представление о великом множестве дают и рыбные косяки, и галька на обнажившемся от воды берегу моря, и песок, и падающие снежинки... И все же — какое оно, конечное число? Ведь есть же оно, это число! Не может быть, чтобы его не было, это вопреки разуму!

Это число, конечно, должно обладать магическими свойствами. Тот, кто его узнает, постигнет не просто число, а нечто большее, может быть, обретет особую силу, пронизательность, мудрость, узнает источник человеческого счастья, высшую справедливость — словом, все, о чем мечтает человек.

Конечно, можно удваивать и утраивать любое число, об этом Кагот догадался. Однако магическое число, как он подозревал, состояло не в огромности выражения а в конечности, завершенности самого процесса нарастания количества. Значит, для того чтобы найти это число надо идти осторожно, шаг за шагом, прибавляя единицу за единицей, чтобы не упустить того мгновения, когда высветится это магическое число.

Кагот принялся писать. Он располагал числа в столбик, а чтобы сэкономить пространство, разделял столбец вертикальной линией и, закончив один столбик, рядом начал другой. Это была монотонная и изнурительная работа, но высокая цель светила где-то впереди. Время остановилось, перестало существовать. Отрешенность Ка-

гота была столь велика, что он забыл, что рядом, на рас-
стоянии вытянутой руки, лежит дочка, так похожая на
его покойную жену. Он словно бы вознесся над всем этим,
раздвинул деревянные стены корабельной каюты и уле-
тел от берегов Чаунской губы гораздо дальше того, куда
стремился начальник Норвежской полярной экспедиции
великий путешественник Руал Амундсен...

Кагот очнулся, когда глаза перестали различать циф-
ры и карандаш выпал из рук. Погасив свет, он не разде-
ваясь повалился на узкую корабельную койку и погру-
зился в сон с причудливыми волшебными сновидениями.
Казалось, он видел это магическое число где-то далеко
впереди, в ряду стоящих почему-то на берегу, на ледовом
припае, чисел. Кагот бежал к светящемуся числу, ста-
раясь догнать его, но оно все отдалялось от него, убега-
ло, украшенное электрическими лампочками, зажжен-
ными Сундбеком. Кагот бежал и боялся, что магическое
число упадет в холодную воду, погаснет и навсегда ис-
чезнет. Он пытался кричать, чтобы не дали упасть этому
числу, но оно все оставалось недостижимым. Вдруг это
число каким-то чудом зацепилось за вершину тороса, и
сердце Кагота забило от радости: еще несколько ша-
гов — и он достанет его... Но тут кто-то схватил его за
плечо, остановил бег, и... Кагот проснулся. Над ним
стоял Амундсен.

— Кагот! Кагот! Уже половина восьмого!

Кагот вскочил, с ужасом сообразив, что проспал, оста-
вил экипаж без завтрака. Он бросился на камбуз и об-
легченно вздохнул: плита топилась, в духовке стоял про-
тивень с подрумянившимися булочками, а в большой
кастрюле доваривалась овсяная каша.

— Что с вами случилось, Кагот? Вы плохо спали? —
участливо спросил Амундсен.

— Я поздно заснул...

— Зря волнуетесь, Кагот, — успокаивающе произнес
Амундсен, — здесь, на корабле, вы и ваша дочь в полной
безопасности. Никто не смеет вас тронуть.

— Спасибо, господин начальник. — Кагот не знал,
куда деваться от стыда. — Я не боюсь приезжих.

— Но они требуют, чтобы вы возвратились вместе
с ними, — напомнил Амундсен.

— Они, наверное, еще не поняли, что я уже не тот
Кагот, которого они помнят.

— Они хотят встретиться с вами и поговорить, — ска-

зал Амундсен. — Может быть, действительно вам следует увидеться с ними? Пусть они услышат из ваших уст, что вы больше не хотите иметь дела с ними.

— Хорошо, я с ними встречу, — кивнул Кагот. — Поговорю с ними.

Подавая завтрак, Кагот непрерывно думал о том, что во всяком другом месте, с другими тангитанами за сегодняшний проступок его сразу же выставили бы с корабля. Он вспомнил, как с ним обращались на «Белинде». Тогда он считал, что, наверное, не бывает другого обращения с чукчами со стороны тангитанов. Так случилось и на берегу, когда белые торговцы покрикивали на чукчей, открыто посмеивались над ними, передразнивали их повадки, речь. Глупое высокомерие и чванство, сильно ронявшее этих людей в глазах коренных обитателей ледовитого побережья, представлялось их племенным отличием. Но вот, оказывается, есть среди них совершенно нормальные люди с нормальным отношением к любому человеку как к своему собрату.

Сундбек и сам Амундсен с самым серьезным видом сказали Каготу, что поиски конечного большого числа — это абсурд. Но он не поверил им. Конечно, Кагот понимал, что его знания не идут ни в какое сравнение со знаниями тех, которые учились грамоте и счету долгие годы. Но почему-то ему казалось, что до них либо не дошел смысл магической силы конечного большого числа, либо они сознательно скрывают его. Может быть, именно знанием такого числа и объясняется удача этих людей, их удивительное умение мастерить и изобретать?

Все чаще Кагот боролся с желанием бросить дел вернуться к тетради и писать цифры, подкрадываясь магическому числу.

После случая с завтраком Кагот постарался и привел хороший и разнообразный обед, и все за стол выразили вслух свое одобрение. Для маленькой Айнан Сундбек соорудил специальный высокий стул. Он же выточил на токарном станке из моржовой кости крохотную ложечку, вилочку и украшенное резьбой кольцо для салфетки. Когда Айнана садилась за стол и ей подвязывали под подбородком цветную салфетку, у отца замирало сердце от любви и нежности. Самой Айнанае казалось,

что все эти бородатые, говорящие на незнакомом языке, шумные и большие люди играют с ней, и она вела себя соответственно, играя вместе с ними в долгую, многодневную игру, пыталась есть с помощью ложки и вилки, гуляла по заснеженной палубе, каталась на санках по специально положенной обледелой доске рядом с трапом. День кончался мытьем в большом оцинкованном корыте.

Когда наступил очередной час урока, Кагот вдруг сказал Сундбеку:

— Может быть, не будем считать?

— Почему?

— Смысла не вижу.

— Да? — удивился Сундбек.

— Мы все складываем и вычитаем, решаем разные задачи, а до главного добраться никак не можем, — сказал Кагот.

— А что вы имеете в виду под этим главным? — спросил Сундбек.

— Самое большое конечное число, — тихо сказал Кагот.

Сундбек тяжело и глубоко вздохнул.

Все сидящие в кают-компании насторожились.

— Я уже вам говорил, Кагот, что самого большого конечного числа не существует. . .

— Но вы же сами в самом начале обучения говорили, что числа — это суть обозначения количества окружающих нас предметов, — напомнил Кагот. — А предметы имеют конечное число. Все имеет конец. Я подумал, что и комары когда-то кончаются, точно так же, если вы идете по песчаному берегу, песок где-то кончается — и вы упираетесь или в гальку, или в валуны, или же в тундру. Шерсть на оленьей шкуре и даже звезды можно сосчитать, если взяться как следует.

— Вы уверены, Кагот, что звезды можно сосчитать? — с иронией спросил Амундсен.

— Можно, — решительно ответил Кагот.

— Интересно, — промолвил начальник экспедиции и оглядел своих товарищей.

— Мне кажется, — сказал Кагот, — это конечное большое число можно найти. Только надо иметь терпение. . .

И Кагот ушел к себе. Когда за ним закрылась дверь, Амундсен сказал:

— Он просто устал. Видимо, он плохо спит, опасается близкого соседства врагов.

— А может быть, он пишет числа? — высказал догадку Сундбек.

— Я сейчас посмотрю, — сказал Олонкин и, поднявшись со стула, на цыпочках пошел к двери каюты Кагота. Осторожно приоткрыв ее, он заглянул и увидел повара, склонившегося над тетрадью, разложенной под иллюминатором.

Кагот даже не шевельнулся, не повернул голову в сторону двери.

Вернувшись, Олонкин сказал:

— Пишет...

— Меня беспокоит его состояние, — встревоженно произнес Сундбек. — Может быть, действительно грамота и счет здешнему туземцу только во вред?

— Я читал в каком-то этнографическом сочинении, — заговорил Амундсен, — что люди, привыкшие к определенному укладу, насчитывающему тысячелетия, настолько сживаются с ним, что всякое нарушение равномерного течения жизни может болезненно отразиться на их психическом состоянии.

— Так вы хотите сказать, что учение не пошло на пользу Каготу? — спросил Сундбек.

— По-моему, делать такие выводы рано, — успокаивающе произнес Амундсен. — Ведь поначалу все шло хорошо.

— Думаю, что следует устроить перерыв в занятиях, — решил Сундбек. — У Кагота сейчас нелегкое время: родичи, приехавшие за ним, заботы о дочери... Пусть немного передохнет.

На следующее утро за завтраком Сундбек объявил Каготу, что занятия на некоторое время прекращаются. Повар с удивлением посмотрел на своего учителя.

— Почему?

— Так полагается, — бодро ответил Сундбек. — В таких умственных занятиях время от времени делают перерывы, которые называются каникулами.

— Для чего?

— Чтобы знания смогли глубоко проникнуть в сознание ученика, — ответил Сундбек.

Кагот молча кивнул в знак согласия, но весь его вид выражал недоверие.

Когда пришел вечер, Амундсен, чтобы развлечь Кагота, завел виктролу и устроил вечер танцев.

Кагот и Айнана хохотали до слез, наблюдая, как начальник, изображавший кавалера, пытался обхватить за талию рослого, плотного Сундбека. Олонкин крутил вокруг себя Ренне. Тангитанские танцы, конечно, не имели ничего общего с чукотскими и эскимосскими, но если присмотреться, то к ним вполне можно привыкнуть. Однако Каготу больше нравилось просто слушать музыку, особенно когда из широкого раструба виктролы слышался женский голос. В этом голосе чувствовалась глубокая тоска. Почему-то большая часть песен, исполняемых женскими голосами, была печальной. Или так казалось Каготу?

Танцующие сменяли друг друга. Сундбек взял на руки Айнану и прошел с ней несколько кругов. Девочка смеялась от души и долго не соглашалась отправиться спать, пока ей не посулили дать подольше поплескаться в теплой воде.

После того как все члены экспедиции, утомленные танцами и весельем, разошлись, Кагот убрал кают-компанию, протер влажной тряпкой, насаженной на длинную палку, линолеум, сложил пластинки и, прежде чем спрятать в инкрустированный ящик виктролу, остановился в нерешительности.

На корабле царил тишина. Из каюты Амундсена слышалось мерное дыхание. Изредка с верхней палубы доносился скрип снега под ногами вахтенного. Кагот глубоко вздохнул. Может быть, больше никогда не представится такой удобный случай?..

Он осторожно вынул виктролу из столика и перенес ее на большой стол, под висячую лампу. Сходил на камбуз и принес оттуда отвертку.

Снять трубу не представило большого труда. Она легко отделилась от ящика и легла на стол. Так же легко поддался тяжелый металлический диск, на который ставились пластинки, сделанные из незнакомого легкого черного материала, не похожего ни на дерево, ни на металл. Снимая детали с музыкального ящика, Кагот запоминал, откуда они, и аккуратно складывал рядом.

Дальше предстояло забраться в святая святых музыкального ящика, в самую его сердцевину.

Слух у Кагота настолько обострился, что он слышал также дыхание Ренне, спящего в самой отдаленной каюте. Внутри ящика иногда что-то звенело, словно там кто-

то осторожно двигался, задевал за железные части. Кагот с замиранием сердца принялся отвинчивать винты, крепящие крышку. Они выходили легко, без напряжения. С каждым мгновением волнение Кагота усиливалось, начали дрожать руки. Один из винтиков странным образом прилип к отвертке, а потом отцепился и упал на линолеум. Пришлось лезть за ним под стол. В темноте откатившийся винтик пришлось искать на ощупь. Найдя его, Кагот вернулся к раскрытому музыкальному ящику. Со стен кают-компания за ним следила королевская чета. Кагот с опаской посмотрел на них. От мысли, что они вот-вот строго прикрикнут на него, его бросило в жар. Но норвежские эрмэчины¹ молча наблюдали за действиями Кагота и, похоже, не собирались вмешиваться.

Настала самая волнующая минута: снятие крышки. Кагот всерьез опасался, что стоит ему приподнять ее, как маленькие человечки — музыканты, певцы и певицы вырвутся на волю и разбегутся по кают-компания. На всякий случай он встал из-за стола и проверил, хорошо ли закрыта дверь.

Но внутри ящика никаких человечков не оказалось! Вместо них — скопление каких-то колесиков с зубцами и толстая пружина, больше ничего! Разочарование было так велико, что Кагот не сдержал стона.

Медленно отворилась дверь каюты, и в проеме возникла высокая фигура начальника экспедиции.

— Почему вы не спите, Кагот?

Амундсен не сразу рассмотрел на столе растерзанный музыкальный ящик. Но когда он увидел его, на его лице отразилось изумление, смешанное с ужасом, и он неожиданно тихо спросил:

— Что вы наделали, Кагот?

— Я хотел найти внутри ящика человечков, — растерянно пробормотал Кагот.

— Но ведь вам не раз говорили, что никаких человечков внутри виетролы нет! — почти простонал Амундсен.

— Да, говорили, — грустно отозвался Кагот.

— Вы что, не верите тому, что мы говорим?

— Верю...

— Но я вижу доказательство вашего недоверия!

Голос у Амундсена зазвучал громче и тверже, но он

¹ Эрмэчины — вожди.

все же сдерживал себя, помня, что в каютах спят товарищи, а совсем рядом — маленькая девочка.

— Я очень виноват, — вдруг быстро заговорил Кагот. — Но я ничего не мог с собой поделать! Да, я и вправду верил, что внутри ящика нет человечков. Ну а вдруг? Вдруг там что-то есть такое, чего вы не заметили? Вот я и полез. Вы не беспокойтесь, я снова соберу ящик, ничего с ним не случится, раз он неживой. . . Вы меня поймете, должны понять. . . Это тянуло меня так, что я готов был связать себе руки. . . Это все равно как для вас Северный полюс.

— Что вы сказали, Кагот? — удивленно спросил Амундсен.

— Как Северный полюс, — тихо повторил Кагот. — Вас ведь тоже тянет к себе Северный полюс, потому что там — неизвестность и вы хотите сами, своими глазами увидеть, что там такое на самом деле. Разве не так?

Сначала до Амундсена не сразу дошло, какая связь существует между виктролой и Северным полюсом, но, подумав, он примиряюще сказал:

— Вот что, Кагот: соберите виктролу и положите на место. После этого ложитесь спать. Надеюсь, что утром завтрак будет подан вовремя.

— Хорошо, — с облегчением произнес Кагот. — Вы не беспокойтесь, я все исправлю. . . Все будет хорошо. . .

Проснувшись поутру, Амундсен усилием воли удержал себя на койке еще некоторое время, прислушиваясь к шуму за стенами каюты. Ночное происшествие огорчило его: Кагот явно перешел границы, которые диктовались его положением повара экспедиции. Правда, все это легко объяснялось его любознательностью, неумным желанием все разузнать, до всего докопаться своими руками. Но если сегодня он разобрал виктролу, то не возьмется ли завтра за хронометры и компасы? Сундбек уже рассказывал, что Кагот помогал ему разбирать и смазывать машину и что это доставляло повару превеликое удовольствие.

Войдя ровно в восемь часов в кают-компанию, он увидел всех за накрытым столом. Даже маленькая Аймана сидела на своем месте и сосредоточенно ела своей маленькой ложкой молочную кашу.

Медленно разворачивая салфетку, Амундсен невольно бросил взгляд на инкрустированный ящик с виктролой, потом посмотрел на Кагота.

Внешне Кагот выглядел так, словно никакого ночного происшествия не было.

— Что-то тихо у нас сегодня, — весело произнес Амундсен.

— Погода хорошая, — отозвался Ренне, только что спустившийся с палубы. — Сегодня будет отличный солнечный день. Весной пахнет!

— По такому случаю и в честь воскресного утра неплохо бы позавтракать с музыкой, — сказал Амундсен и посмотрел на Кагота.

Тот с готовностью подошел к музыкальному ящику, раскрыл его и вытащил ручку, которой заводили пружину. Наладив виктролу, он спросил:

— Какую пластинку поставить?

— Поставьте марш, — сказал Амундсен.

Кагот взял пластинку. Она ему очень нравилась, и он как-то признался, что под эту музыку ему так и хочется ходить.

Кают-компания наполнилась бравурными звуками норвежского военного марша. Амундсен весело глянул на Кагота и объявил:

— Давайте сегодня отметим приход весны! Во-первых, объявляю сегодняшний день днем отдыха. Во-вторых, предписываю всем принять участие в состязаниях по метанию стрел, по преодолению торосов, а также в игре в мяч на льду.

Еще во время полярной ночи рядом с вмерзшим в лед кораблем была расчищена небольшая площадка, на которой иногда гоняли мяч, бросали стрелы. Сегодня здесь было оживленно по-настоящему. Из становища пришли Амос с женой и двумя детьми, Гаймисин с женой и Умкэнеу, которая тут же бросилась к разодетой Айнане, принялась ее тискать и обнюхивать.

— Какая ты стала красивая! Совсем тангитанская девочка!

Потом пришел Алексей Першин, за ним Каляна.

Состязание по метанию стрел было в разгаре, когда на высоком берегу показались две фигуры. Они остановились поодаль и оттуда наблюдали за весельем.

Амундсен спросил у Першина:

— Они еще не уехали?

— Пока вроде не собираются, — ответил русский.

— Что им нужно?

— Мне они сказали, что им нельзя возвращаться без

Кагота и девочки, — ответил Першин. — Они живут у Гаймисина, ходят на охоту, ездят к оленеводам — словом, ведут себя так, словно решили поселиться тут навсегда.

— Вы получали какие-нибудь известия от вашей центральной власти? — поинтересовался Амундсен.

— Да, я получил письмо от Терехина. Он благополучно добрался до Ново-Марининского поста, проехав вдоль реки Анадырь. Кстати, в одном из оленеводческих стойбищ он встретился со Свердрупом.

— Вот как! — воскликнул Амундсен. — И что же он сообщает о наших товарищах?

— Путешествие у них проходит нормально, и они очень довольны результатами. Терехин сообщает, что нарты нагружены разнообразными этнографическими коллекциями.

— Благодарю вас за ценные сведения! — воскликнул Амундсен и, помолчав, спросил: — А что же все-таки вы будете делать с теми? — Он кивнул в сторону Таапа и Нутэна, которые по-прежнему стояли поодаль на торосе и внимательно наблюдали за играми.

— В моей власти приказать им покинуть становище, — ответил Першин. — Здесь ведь предполагается создать специальную базу со школой-интернатом, мастерскими, радиостанцией и больницей — словом, один из опорных пунктов для распространения культуры, грамотности и медицинского обслуживания среди оседлого и кочевого населения.

— Да, пожалуй, здесь неплохое место, — одобрил Амундсен, — удобная гавань, хорошие подходы, сравнительно спокойный климат. Во всяком случае, здесь меньше снежных бурь, чем у побережья Таймыра, где мы провели предыдущую зиму.

Амос, решивший попробовать себя в метании стрел, неожиданно поразил всех меткостью и получил один из призов — кулек белой муки и несколько кусков рафинада.

— Как жаль, что я не вижу! — горестно воскликнул Гаймисин. — А то бы тоже посостязался!

— А у нас есть приз для самого отзывчивого зрителя, — объявил Амундсен и велел Ренне принести такой же кулек и добавить к нему пачку виргинского трубочного табака.

— А чем я хуже? — вдруг воскликнула Умкэнеу. — Давай сюда эти стрелы!

Она взяла три стрелы из рук Амоса и попыталась метнуть. Поначалу она промахнулась, но потом прировнилась, и со второй попытки ей удалось несколько раз подряд попасть в мишень. Гордая своим успехом, Умкэнеу подошла к Амундсену и громко произнесла по-русски:

— Хорошо!

— Вы прекрасно говорите по-русски, — похвалил ее начальник, знавший от Олонкина это распространенное русское слово.

— У нас хороший учитель! — Умкэнеу с такой нежностью посмотрела на Першина, что никакого сомнения не оставалось в том, что девушка питала самые горячие чувства к русскому юноше.

Першин сказал несколько слов по-чукотски. Амундсен, конечно, не понял, но Умкэнеу, удаляясь от тангитанов, не сразу отвела лукавый и вместе с тем влюбленный взгляд от своего учителя.

Кагот вместе со всеми старался веселиться. Он тоже метал в мишень стрелы, гонял резиновый мяч по льду, но всякое мгновение чувствовал, что за ним, за каждым его движением, за каждым шагом его дочери следят четыре пристальных глаза.

25

Кагот ждал гостей в кают-компании. Он сидел за большим обеденным столом. На металлическом подносе стоял чайник, три толстые фаянсовые кружки и оставшиеся от завтрака сдобные булочки. Айнану повели кататься на собаках на берег Ренне и Олонкин.

Кагот зачем-то взял с собой тетрадь, где записывал числа. Он снова начал их писать, пользовался каждой свободной минутой, чтобы заполнить еще столбец. Вечерами он уже не оставался в кают-компании, а, уложив Айнану, садился к своему маленькому столику и писал.

Сегодня перед приходом родичей он как раз начал новую страницу. Каждый раз, когда он оставлял позади уже написанное и приступал к чистой странице, надежда, что именно здесь и появится магическое конечное число, вспыхивала с новой силой.

Открылась дверь, и первым в кают-компанию вошел Таап. Быстро оглядев стены, он нашел портрет королев-

ской четы и широко, как его учил знакомый русский поп, перекрестился и поклонился.

— Это не тангитанский бог, — сказал Кагот.

— А кто это? — удивленно спросил Таап.

— Это норвежский король.

— А, вроде русского Солнечного владыки...

Вошедший следом Нутэн озирался с изумлением и любопытством.

— Садитесь сюда. — Кагот хозяйским жестом показал на стулья.

Усевшись за стол, Таап еще раз осмотрелся, пристально взглянул на своего земляка и сказал:

— Здесь ты выглядишь как настоящий тангитан... Но если ты, вырядившись в одежду белого человека, решил, что стал другим, то сильно ошибаешься.

— Нет, я стал другим, Таап, — тихо ответил Кагот.

— Нельзя стать другим по собственному желанию и нельзя отречься от предназначения только, потому, что тебе так захотелось...

Кагот встал и принялся разливать чай. Придвинув гостям кружки, сахар и булочки, он радушно произнес:

— Пейте чай, угощайтесь.

Таап с Нутэном отпили по глотку, надкусили булочки.

— А нет ли у тебя дурной огненной воды? — спросил Таап.

— Нет.

— Настоящие тангитаны всегда имеют большой запас этого напитка, — заметил Таап.

— Здешние тангитаны не такие, о каких ты говоришь. Они не торговцы.

— А кто же они?

— Путешественники и исследователи. Они изучают очертания берегов, движение ветра и морские течения. Кроме того, они собираются взобраться на вершину Земли.

— И тебя туда берут? — спросил Таап.

— Возможно, — уклончиво ответил Кагот.

— А ты, отрекаясь от предназначения, разве не боишься, что я могу наслать на тебя божественное наказание, смертоубийственный уйвэл? — помолчав, злое щим шепотом спросил Таап.

— Не боюсь я твоего уйвэла, — с легкой улыбкой ответил Кагот.

Пораженный ответом, Таап несколько мгновений смотрел на Кагота.

— Как не боишься? Ты думаешь, о чем говоришь?

— Я говорю так, потому что знаю...

Таап насторожился:

— Что ты знаешь?

— Дело не в уйвэле... Дело в числах. В них и таится разгадка.

— В каких числах? Что ты говоришь? Ты, наверное, помутился разумом!

Таап не ожидал, что разговор с Каготом примет такой оборот, и был несколько растерян. Кагот глянул на него и с горечью в голосе произнес:

— Вот всегда так: как только человек подумал или поступил по-новому, не похоже, так сразу о нем говорят — помутился разумом!

— То, что ты утверждаешь, свидетельствует об этом, — заметил Таап. — И как только тангитаны не догадались?

— Они и научили меня числам, — с улыбкой ответил Кагот. — Вскорости, наверное, начну различать следы человеческой речи на бумаге.

— Все вы тут походили с ума! — воскликнул Таап. — Там, в нищем становище на берегу, учатся, здесь тоже, в Уэлене собирают детишек и гонят в большой деревянный дом на учение! Нет, все помутились разумом!

— Это еще неизвестно, у кого муть в разуме, — спокойно ответил Кагот и раскрыл лежащую рядом с ним тетрадь. — Вот гляди!

Таап настороженно склонился над тетрадью.

— Что это?

— Это числа! — с гордостью ответил Кагот. — Мои числа! Это я их написал. И пишу каждый день, каждое свободное мгновение.

— Но зачем тебе все это?

— Я думаю найти предел, последнее число, — ответил Кагот. — И тогда, я думаю, все станет ясно. Все станет на свои места, просветлеет.

— Это выше моего понимания, — прошептал Таап еще раз взглянув на числа.

— Я тоже сначала не понимал, — сказал Кагот. — Но теперь, когда я пишу, я чувствую, как что-то большое растет у меня в груди. Иногда кажется, что вот-вот моя грудь разорвется.

— Послушай, Кагот! — Голос Таапа зазвенел от волнения. — Это в тебя вселился злой и беспокойный дух белого человека. Вспомни, ты раньше был совсем не таким!

Кагот улыбнулся в ответ.

— Нет, я всегда был таким. Только вы этого не видели, не замечали. Правда, я и сам не подозревал многого в себе. . .

Пробили большие корабельные часы, и от их звона Таап и Нутэн вздрогнули.

— Пейте чай, — еще раз сказал Кагот. — И сахар, и чай, и эти булочки — это мною заработанное. Не стесняйтесь.

Таап допил почти остывший чай и попросил налить вторую кружку. Его примеру последовал Нутэн.

— Значит, ты не боишься моего уйвэла? — задумчиво проговорил Таап.

— Не боюсь, — ответил Кагот.

— У тебя здесь есть какая-то защита? Оружие?

— Вот она, моя защита! — Кагот показал на тетрадь.

— Разве в них есть сила? — удивился Таап.

— В них такая сила, — медленно, значительно произнес Кагот, — в них такое могущество, какое тебе и не снилось!

Таап с опаской поглядел на тетрадь и отодвинулся от нее.

В кают-компании воцарилась тишина. Слышно было лишь, как тикали большие корабельные часы да изредка с верхней палубы доносился скрип шагов вахтенного.

— Послушай, Кагот, — снова заговорил Таап. — Раз ты окончательно решил порвать с прежней жизнью, пожалей хоть дочь!

— Нет, не могу отдать и дочь свою, — мотнул головой Кагот. — В молодые годы я верил во многое, что оказалось ложным. Не хочу, чтобы это было судьбой моей дочери. Вот ты говорил об уйвэле. Вы же помните, что вначале я верил во все это, но когда надо было защитить жизнь моей любимой женщины, боги отвернулись от меня, не вняли моей мольбе. . .

— Айнана принадлежит не только тебе, но и всему нашему роду, — напомнил Таап. — Она должна вернуться, вырасти и продолжить наш род.

— Она никогда не вернется к вам, — твердо ответил

Кагот. — Это моя дочь, единственная живая связь с ушедшей навсегда Вааль.

— Ты идешь против наших исконных законов, — медленно проговорил Таап, — против установлений, на которых держится жизнь.

— Жизнь держится на другом, — возразил Кагот.

— Если ты знаешь, то скажи на чем, — с вызовом произнес Таап. — Мы тебя слушаем.

— Я еще не знаю конечную истину, — помедлил с ответом Кагот. — Я еще не нашел. . . Но чую — она в числах.

— Как же ты собираешься жить дальше, если ты и от нас ушел, и к другой жизни не пришел? Так и будешь бродить, как заблудившийся в тумане путник?

— Нет, я не заблудившийся, — покачал головой Кагот. — У меня впереди светит огонек, и я к нему иду.

— И долго собираешься идти? — теряя терпение, сердито спросил Таап.

— Не знаю, — ответил Кагот. — Это такое дело: истина может открыться сегодня или завтра, а может быть, на это уйдет вся моя жизнь.

— Так и умрешь, не постигнув истины. . .

— Кто-нибудь продолжит мое дело, — с надеждой в голосе произнес Кагот. — Может быть, Айнана. . .

— Не впутывай девочку в свое сумасшествие! — воскликнул Таап.

— Если вы пришли меня уговорить, то это напрасный труд, зря только теряете время и силы, — спокойно ответил Кагот и снова улыбнулся. — И Айнану я не отдам! Умру, но не отдам!

Таап встал, гневно отодвинув от себя кружку с чаем. Следом за ним поднялся Нутэн.

Прежде чем захлопнуть за собой дверь, Таап обернулся и зловеще прошептал:

— Ну уж ее-то, девочку, никакие числа не защитят моего уйвэла!

Кагот прислушивался к их шагам, удаляющимся кают-компаний к трапу. Взглянув в иллюминатор, увидел, как родичи спустились на лед и направились к берегу, к чернеющим там трем ярангам. Становище в хорошую погоду отлично просматривалось из широкого углового иллюминатора.

Кагот вернулся к столу и опустился на стул. Только сейчас он почувствовал, какого напряжения стояла ему

эта встреча, этот разговор. Он заметил, что держит в руках тетрадь с числами. Поначалу он и не собирался прибегать к ним в разговоре с земляками. Это получилось как-то само собой. Он думал откупиться от них щедрыми подарками: в его каюте были приготовлены два мешка с мукой, сахаром, чаем, табаком, даже запасена на всякий случай дурная огненная вода. Все это осталось. А может быть, все-таки отдать им? Но, вспомнив, как Таап грозился уйвэлом, Кагот ощутил в себе гнев и отогнал мысль о том, чтобы передать мешки с подарками.

За себя Кагот был спокоен. Он был уверен, что теперь никакая шаманская порча его не возьмет. Но Ай-нана. . . Смогут ли и ее защитить деревянные стены тангитанского корабля и новая, матерчатая одежда?

Кагот ощутил нарастающее беспокойство, и вдруг светлая мысль пронзила его: имя! Надо сделать так, как всегда делается в таких случаях, — переменить имя Ай-нана, и тогда уйвэл не найдет ее.

Он едва дождался возвращения девочки, потому что опасался еще и того, как бы Таап и Нутэн не перехватили упряжку и не отняли Айнану силой. Но, видно, они не посмели этого сделать. Выйдя на палубу, Кагот еще издали заметил на пирте ярко и нарядно одетую дочку.

Амундсен подошел и спросил:

— Чем кончилось ваше свидание?

— Я им все сказал, — ответил Кагот.

— Они согласились с вами?

— Главное в том, что я не согласился с ними, — сказал Кагот.

— Вы думаете, что они отступились от вас?

— Они поняли, что нет такой силы, которая заставила бы меня вернуться к ним. . .

— Но, Кагот, может быть, в этом деле не все плохо? Ведь шаманы, насколько я знаю, занимаются не только ворожбой, но и другими делами: лечат, предсказывают погоду, совершают разные обряды, хранят традиции. . . Быть может, среди служителей вашего культа есть какое-то разграничение на добрых и злых шаманов?

— Нет, — твердо ответил Кагот, — у нас шаманы не делятся на белых и черных, на добрых и злых. . . Если говорить по справедливости, то шаман должен быть только

добрым. Но могущество, которое дается ему Внешними силами, часто используется им во вред человеку... Я отрекся от своей судьбы не потому, что так захотел, а потому, что судьба сама отвернулась от меня. В молодые годы мне почудилось, что я увидел богов и услышал их голоса. Тогда жизнь казалась мне прекрасной и бесконечной. А когда я встретил Вааль, я окончательно уверился, что Внешние силы избрали меня среди многих живущих на земле и одарили великим счастьем. Но уже тогда стала появляться мысль — не много ли счастья? Я сердцем болел, когда думал, что оно когда-то может кончиться. И предчувствие мое сбылось. Несмотря на то, что я дни и ночи камлал, пытаюсь умолить Внешние силы, люди умирали, не донеся куска мяса до рта, чаши с водой до своих иссохших губ. Никто не услышал меня: ни Внешние силы, ни другие шаманы... Умерла и моя Вааль... И тогда я проклял свое предназначение и ушел. Другого пути у меня не было...

Когда Кагот говорил все это, голос у него прерывался от волнения.

— Успокойтесь, Кагот. — Амундсен положил свою тяжелую руку ему на плечо. — Здесь вы в полной безопасности...

Нарты подъехали. Айнана соскочила и бегом поднялась по трапу на борт корабля. Она что-то держала в руке. Кагот взял у нее старый, почерневший обломок моржового бивня.

— Это на счастье, — сказал Кагот. — Я вырежу из него талисман для тебя.

— Из-под снега его выкопал дядя Олонкин, а нашла я сама! — гордо сказала девочка.

За обедом, подав на десерт сливочное мороженое, приготовленное в естественном холодильнике за бортом, Кагот расположился со своей тарелкой рядом с дочерью и, когда насытившиеся члены экспедиции взялись за свои сигары и трубки, громко объявил:

— Господа! Я хочу дать Айнане тангитанское имя. Сундбек с удивлением воззрился на повара и сказал:

— А мне очень нравится ее имя — Айнана! По-моему, прекрасно звучит, а господа?

— Очень нужно, чтобы у девочки было тангитанское имя, — повторил Кагот.

— А зачем это? — спросил Амундсен.

Каготу не хотелось раскрывать настоящую причину, и он уклончиво сказал:

— А вдруг она поедет учиться в тангитанскую школу и там ее спросят: как зовут?

— В общем-то, это резонно, — сказал Амундсен. — У меня действительно не раз возникала мысль о том, чтобы взять девочку в Европу и отдать в какой-нибудь приличный пансион, выучить грамоте, музыке...

— Ну хорошо, — вмешался в разговор Олонкин. — Допустим, Аймана действительно выучится и грамоте, и музыке, и европейским манерам... А потом вернется обратно в ярангу?

— Совсем недавно именно это соображение останавливало меня, — сказал Амундсен. — Но теперь ситуация стала иной: Першин и его товарищи собираются коренным образом менять здешнюю жизнь.

— И вы верите, что у них получится? — с оттенком недоверия спросил Олонкин.

— Вы, возможно, удивитесь моему ответу, господа, но у меня такое впечатление, что у них должно получиться, — с серьезным видом ответил Амундсен. — Во всяком случае, их мечты вызывают сочувствие и уважение. Так что может статься, что Аймана вернется сюда врачом или дипломированной сестрой милосердия, а может быть, даже и учительницей...

— Давайте назовем ее Анной, — предложил Сундбек.

— Анна — это похоже на Айману, — немного подумав, сказал Кагот. — Хорошо, если бы новое тангитанское имя девочки звучало совсем по-другому.

— А если Мэри? — подал голос Ренне.

— Мэри — это хорошо! — воодушевился Кагот. — И легко произносится, и в то же время совсем не похоже на прежнее!

Он боялся, что кто-то предложит такое имя, которое потом и ему самому не выговорить.

— Мэри — это мне тоже нравится, — с удовлетворением произнес Амундсен и обратился к девочке: Мэри!

Аймана подняла вымазанное в мороженом личико и улыбнулась.

— Вот видите! — торжествующе произнес Кагот. — Она уже отзывается на новое имя. Мэри! Ты будешь Мэри. Отныне здесь девочка, которую зовут Мэри!

Возбуждение, страстное желание повара переменить имя девочке показалось несколько подозрительным,

но Амундсен, видевший, как Кагот разбирал, а потом собирал виктролу, решил, что странности вообще в характере этого человека.

Дня через два после этого Кагот решился посетить становище.

Как всегда, он нагрузился подарками, но Айнану-Мэри не стал брать с собой. В тот день над берегом стоял туман, предвестник надвигающейся долгой весны. Солнце уже высоко поднималось над горизонтом, и в ясный день все вокруг сверкало. Особенно прекрасна была «Мод» со своими заиндевелыми мачтами. Кагот несколько раз оглянулся, любуясь кораблем.

Вечером того дня, когда он переименовал дочь, тайком от обитателей корабля, в темноте он принес жертвы богам, разбросав во все стороны света самые лучшие дары — куски сдобных булочек, щепотку ароматного виргинского трубочного табака, раскрошенный мелко сахар, оленье мясо и сало. Слова пришли сами, и Кагот даже немного удивился им, шепча заклинание:

В поисках следа оглянись вокруг,
В белизне не теряй пути,
Может, в небо посмотришь —
И свет звезды ты взором поймашь.

В поисках следа ты подумай о том,
Как прекрасно живое вокруг,
Красота земли, блеск небесных звезд
Лишь живую волнуют кровь...

Он несколько раз повторил эти слова, не очень вникая в их туманный смысл, и вернулся в свою каюту. На верхней койке, разметавшись, мирно спала дочка.

— Ну вот, теперь ты Мэри, — тихо прошепта Кагот. — И никакой уйвэл не достанет тебя в деревянной плавучей яранге, под другим, тангитанским именем...

Как она походила на покойную Вааль! Та ушла из жизни совсем молодой, даже не утратив еще детской округлости лица. Вот уже много дней она не являлась Каготу, образ ее все больше отступал в туман забвенья.

Порой надо было прилагать усилие, чтобы воссоздать в памяти ускользающий облик, и тогда Кагот думал: как было бы хорошо, если б кто-то из тангитанов в те давние времена догадался «снять тень» Вааль. Как ему объяснили, с помощью этой штуки, похожей то ли на короткоствольное ружьецо, то ли на одноглазый бинокль, можно было получить изображение человека на бумаге с удивительной схожестью. Когда Кагот вытачивал из черного мореного моржового бивня изображение лица Вааль, он потратил на это несколько дней, вспоминая ее облик. Само изображение получилось величиной со среднюю тангитанскую монету. Сверху он сделал ушко-отверстие, в которое продел свитый из оленьих жил шнурок. Однако Сундбек, который питал особую любовь к девочке, принес тоненькую золотую цепочку, заменив ею оленью жилу. Кроме того, по просьбе Кагота на оборотной стороне портрета он вырезал: Мэри Айнана Кагот.

Привычной тропой Кагот поднялся к яранге Каляны и еще издали услышал монотонное повторение каких-то непонятных слов. Похоже, что учитель снова читал стихи.

Войдя в чоттагин, Кагот поразился необыкновенному свету, который никак не мог дать горящий костер. Подняв голову, он увидел вставленную в крышу из моржовой кожи раму со стеклом.

— Амын етти! — радушно поздоровался учитель и, взяв небольшой колокольчик, позвонил, объявляя: — Перерыв!

Среди учеников Кагот на этот раз почему-то не увидел Умкэнеу. Другая ученица, Каляна, тоже занималась своим делом — шила.

Ребятишки, обрадованные перерывом, выбежали из яранги на волю. Кагот оглядел окошко в крыше и одобритительно произнес:

— Хорошо получилось.

— А ты знаешь, Кагот, кто это придумал? — спросил Першин. — Умкэнеу! Сначала она хотела вставить сюда старый плащ из моржовых кишок, а потом говорит: а почему бы не попросить у корабельных тагитанов кусок настоящего стекла? Когда я объяснил Сундбеку, что мне нужно, он за полчаса изготовил это окошко. А вставить его сюда уже было нетрудно.

— Издали теперь наша яранга как тагитанский ко-

рабль, — сказала Каляна, оставляя шитье и принимаясь готовить полагающееся угощение. — И флаг есть, а вот теперь еще и стеклянный глаз. Скоро машину поставит наш учитель.

— Теперь ждать осталось не так много, — весело сказал Першин. — Время повернуло на весну. Уйдут льды, и сюда прибудет пароход. А твои земляки, Кагот, уехали...

— Уехали? — переспросил Кагот. Он и вправду заметил, что в том месте, где были привязаны собаки, пусто. — А может быть, они к оленним людям на время поехали?

— Да нет, — сказал Першин, — вроде бы насовсем. Накануне всю ночь камлали у Гаймисина. Выставили всех из яранги, только к утру позволили вернуться.

— Не иначе как пытались насрать уйвэл на меня или на девочку, — заметил Кагот. — Но я перехитрил их...

— Каким образом? — спросил Першин.

— Переменил имя дочери на другое, тангитанское. Теперь ее зовут Мэри.

— По-русски значит Маша, Мария.

— А сам я показал им свою тетрадь с числами, и они, похоже, отстали от меня...

— Все пишешь числа, Кагот? — с удивлением спросил Першин.

— Пишу, — ответил Кагот с воодушевлением. — Только времени нет. Если б не работа на камбузе, только и делал бы — писал числа и наконец поймал бы его!

— Кого?

— Большое конечное число!

Першин некоторое время молчал, размышляя о чем-то своем, потом осторожно начал:

— Знаешь, Кагот, этой самой математикой, вычислениями, люди на земле занимаются испокон веков. Многие тысячи лет. И все они, эти могущественные разумом люди, пришли к выводу: не существует конечного большого числа!

— Они его просто не чуяли, — спокойно ответил Кагот.

— Как это — не чуяли? — удивился Першин.

— У них не было ощущения, что это число рядом, вот-вот попадется. Иначе они не бросили бы вычисления.

Кагот говорил убежденно, с таким видом, словно он

был заранее готов к возражениям. Это так и было на самом деле. Теперь почему-то каждый считал своим долгом убедить его в тщетности попыток найти конечное большое число, и Кагот начал понимать, что самое лучшее — не выставлять напоказ свою работу, а производить ее в уединении. Иногда он это делал даже в ущерб своим поварским обязанностям, предпочитая готовить кушанья, которые не требовали много времени.

— Если бы в числах не было никакой силы, Таап не поспешил бы отсюда, — сказал Кагот, стараясь перевести разговор на другое.

— А как дела с постижением грамоты? — спросил Першин.

— Каникулы у нас, — ответил Кагот. — Так полагается. . . Однако я вижу, что и у вас взрослые больше не учатся?

— Пока не учатся, — каким-то безразличным тоном ответил Першин.

— Тоже каникулы? — с сочувствием спросил Кагот.

— Учитель у нас сильно полюбил Умкэнеу, — вдруг сообщила из своего угла Каляна.

— Какомэй! — не сдержал возгласа удивления Кагот. — Вот не ожидал такого!

— Да и никто не ожидал, — вздохнула Каляна, разговаривая так, словно Першина не было в чоттагине. — Все думали, девочка молоденькая, а оказалось — уже созрела для любви.

— Это так? — обратился Кагот к Першину.

Учитель молча кивнул.

— Жениться собираетесь?

— Я бы женился на ней, — смущенно признался Першин, — да все думаю: может быть, она еще несовершеннолетняя?

— Это что такое? — не понял Кагот.

— Может быть, она еще слишком молода для семейной жизни? — объяснил Першин. — Кстати, не знаешь ли, сколько ей лет? Мы тут пытались сосчитать, и получается что-то между пятнадцатью и семнадцатью годами.

— А зачем считать года? — спросил Кагот.

— Чтобы знать — созрела ли она для замужества, — пояснила Каляна. — Не понимаю только, при чем тут года. Главное ведь, если женщина пожелала мужчине. Да и внешним видом она далеко не девочка.

— Тогда почему вы медлите? — спросил Кагот.

— Все же думаю немного подождать, — неуверенно ответил Першин.

За стенами яранги послышался смех, шум, и в сопровождении ребяташек в чоттагин ввалилась Умкэнеу. Она шумно поздоровалась с Каготом и взялась за чашку со свежим чаем.

За то короткое время, пока Кагот не видел ее, девушка разительно переменялась. Теперь это была совершенно определенно молодая женщина, прекрасная, цветущая, и непонятной становилась медлительность и нерешительность русского учителя, который, вместо того чтобы жениться, занялся подсчетами прожитых девушкой лет.

Умкэнеу подошла к засмущавшемуся учителю и сказала, гордо поглядывая на Кагота:

— Алексей! Поцелуй меня по-русски, как ты вчера делал!

— Ну, Умкэнеу! — с укором произнес Першин. — Кто целуется на людях? Хорошая девушка должна стыдиться этого.

— А я не стыжусь! — громко заявила Умкэнеу. — Я горжусь! Мне очень нравится русский поцелуй.

Бедный Першин покраснел.

— Умкэнеу!

— Ну ладно, не целуй, — пожалела его девушка. — Мы еще раз сосчитали с родителями мои года, получается теперь шестнадцать с половиной. А если прибавить и будущий, то к восемнадцати подойдет.

Усевшись рядом с Першиным, напротив Кагота, Умкэнеу показала на окошко в крыше яранги и сказала:

— Это я придумала. А когда Алексей переедет в мою ярангу, мы там поставим два окна... И флаг перенесем.

Кагот слушал и дивился твердости и решительности характера Умкэнеу. Она совсем не походила на скромных, застенчивых чукотских девушек. Очевидно, во многом это объяснялось тем, что она, по существу, одна вела хозяйство в отцовской яранге. Ей случалось не только самой ездить на собаках, но и ставить капканы и ходить на морскую охоту, если Амос по каким-либо причинам не мог выйти на лед.

Умкэнеу рисовала будущую жизнь, а Першин покор-

но и молча слушал и только кивал, если девушка обращалась за подтверждением.

— Когда здесь построят культбазу, мы переселимся в настоящий большой деревянный дом с большими окнами. Алексей говорит, что такой дом будет больше, чем тангитанский корабль. Рядом будут стоять баня и больница. В бане будем мыться... Если мыться часто, то можно побелеть, верно, Алексей?

На этот раз учитель засомневался и сказал:

— Да нет, если цвет кожи темный, то его уже не отмыть...

— Тогда зачем часто мыться? — с недоумением спросила Умкэнеу. — Можно и пореже... Здесь откроют большую лавку, и товаров в ней будет больше, чем на тангитанском корабле... Верно, Алексей?

Першин молча кивнул.

— И товары там можно будет покупать дешево, почти что даром, потому что власть бедных и сами бедные будут торговать...

— А откуда бедный возьмет товар? — спросил Кагот.

— У богатых возьмет! — решительно ответила Умкэнеу. — У твоих же тангитанов!

— Как это так? — удивился Кагот.

— Умкэнеу! — На этот раз голос Першина зазвучал строго. — Я тебе такого не говорил!

— Ну хорошо, — согласилась девушка. — Это я сама придумала. Потому что где мы возьмем товар, если кругом нас нет богатых? Одна надежда только на этих, которые на норвежском корабле...

— Товар привезут на пароходе, — сказал Першин. — Из Владивостока или Петропавловска, что на Камчатке.

— А потом, когда мы здесь выучим всех и вылечим всех больных, отправимся в Россию, в тангитанскую землю, в Петроград... Кагот, ты был в Петрограде?

— Не был, — ответил Кагот. — Я был только в Номе и Сизтле.

— Правда, Петроград лучше, чем Ном или Сизтл?

— Лучше, — ответил Першин.

— Там стоят дома, поставленные друг на друга, между ними ездят повозки на колесах, и вместо собак их тянут машины с дымом и грохотом. В Петрограде живет Ленин, вождь большевиков и революционеров. Алексей, мы пойдем к нему в гости?

— Он пынче живет в Москве, — сказал Першин.

— А говорил — в Петрограде, — напомнила Умкэнеу.

— Он переселился...

— Зачем?

— Так надо.

— Жаль, не дождался нас, — вздохнула Умкэнеу. — А я ему уже в подарок кухлянку начала шить и малахай с росомашьей оторочкой.

— Все равно ехать будем через Москву, завезем, — с улыбкой сказал Першин.

Похоже, Першину уже начала нравиться эта игра, и он поддакивал Умкэнеу, явно любуясь своей невестой.

— Но моя самая большая мечта, чтобы отец мой прозрел, — со вздохом произнесла Умкэнеу. — Один приезжий рассказывал: в Уэлене живет эрмэчин Тынэскын. Он тоже, как и мой отец, долгие годы не видел дневного света, ходил с поводырем. А потом из американской земли приехал доктор и вылечил ему глаза.

— Я тоже слышал об этом, — подтвердил Першин. — Когда мы были в Уэлене, я видел Тынэскына. Он видит, сам ходит и уже не нуждается в поводыре. Но у него глаза все время слезятся и красные... А твоему отцу сделаем операцию лучше, в настоящей больнице.

— Я ни о чем так сильно не мечтаю, как вернуть зрение отцу! — еще раз сказала Умкэнеу.

Она помолчала и с такой нежностью посмотрела на Першина, что у Кагота, заметившего это, дрогнуло сердце и он невольно оглянулся на Каляну.

Они встретились взглядами, и он увидел в глазах Каляны покорность судьбе. Она, по всей видимости, смирилась с тем, что и этот мужчина, поселившийся в ее яранге, тоже уходит, как в свое время ушел Кагот.

По заведенному обычаю Кагот посетил и остальных яранги. Побывал у Амоса, выслушал его рассказ о поездке к кочевникам.

— В тундре тревожно, — рассказывал Амос. — Люди прослышали о новой жизни, о дележе богатств, беспокоятся. Особенно те, у кого большие стада. Қоравье уже откочевал к якутской земле, но и там, рассказывают, тоже беспокойно. Какие-то неизвестные бродят по тундре, нападают на кочевников, убивают, грабят, угоняют оленей. Называют себя белыми. Те же, которые воюют против белых, объявили себя красными, хотя по внешнему виду они все одинаковые.

— Красные — это большевики, — уверенно сказал Кагот. — Потому что у них свой знак отличия — красная материя, повешенная на высокий шест.

— Вообще у тангитанов такая привычка — вешать матерью, — заметил Амос. — На вашем корабле тоже висит, на корме.

Амос пмел в виду норвежский флаг.

— По материи и отличают, кто чей, — сказал Кагот. — У корабельных тангитанов запас этой материи огромный. Флаги называются. Ренне показывал мне некоторые из них. Старый русский — он трех цветов. Американский — полосатый, а в углу на синем поле звездочки. Есть еще английский — яркий, как камлейка у эскимоса.

— А красный флаг у них есть? — спросил Амос.

— Красного флага нет, — ответил Кагот. — Но Ренне сказал, что они сделают его из красной материи.

— Но наш флаг вроде собирается переезжать, — сказал Амос.

— Умкэнеу мне говорила, — кивнул Кагот. — Как ты думаешь, намерение у этого русского серьезное?

— Думаю, у него женитьба будет прочная, а не только на время, как это водится у тангитанов, — ответил Амос. — Вон сколько появилось на побережье детей, рожденных от временного сожительства. Лицом ну чистые белые, только по языку отличаешь да по одежде.

— Пойду-ка к Гаймисну, — сказал Кагот, поднимаясь с китового позвоночника.

Возле ярауги слепого бросалась в глаза особая ухоженность. Гаймисни стоял с лопатой из китовой кости и далеко от себя отбрасывал снег. Узнав по шагам приближающегося Кагота, он остановился и с улыбкой воскликнул:

— Амын етти!

— Ин! — отозвался Кагот, приближаясь к слепому. — Чисто вокруг твоей ярауги стало.

— Что делать, — вздохнул Гаймисни, — стараюсь. Дочка собирается тангитана привести мужем, негоже жилище в беспорядке держать.

— Решилсь?

— Да разве пашу Умкэнеу отговорись! — махнул рукой Гаймисни, воткнув лопату в сугроб. — Иной раз думаю: зря она родилась женщиной, быть бы ей парнем!

— А каков жених?

— К ней ласковый, а к нам уважительный, — ответил Гаймисни. — Что это мы здесь стоим? Пойдем в ярангу.

И Гаймисни пошел вперед, уверенно шагая. Со стороны и не скажешь, что идет слепой. В чоттагине он направился к бревну-изголовью, уселся на него и показал место рядом с собой:

— Садись здесь, Кагот.

Чоттагин тоже поражал чистотой. Земляной пол тщательно выметен, а собачьи мерзлые лужицы соскребаны.

— Дошла до меня весть, — начал Гаймисни, — что чудо такое свершилось в Уэлене: тамошний бывший эрмэчин Тынэскын с помощью тангитанского лекаря прозрел. Ты слышал когда-нибудь про него?

— Про то, что прозрел, я только что услышал.

— Тынэскын происходит из крепкой и богатой семьи, тяготеющей к клану Гэмалькота, — рассказывал Гаймисни. — Хорошо жил Тынэскын — богато и весело. Еще в молодости двух жен завел. А потом случилась с ним беда — туман напал на глаза, в точности как у меня. Сначала как бы облачный день настал, а потом и густые тучи закрыли солнечный свет, пока все не скрылось в белесой мгле. . . Я свет-то вижу, особенно когда смотрю на солнце, — продолжал Гаймисни, — а вот ничего не различаю, только слухом кормлю свое любопытство. . . Так и Тынэскын жил много лет. В позапрошлом году его родич, торговец Карпендель, что поставил свою деревянную ярангу в Кэнискуне, позвал из Америк лекаря. Тот приехал с пожичками и разными другими приспособлениями. Связали Тынэскина, чтобы не рвался, напояли до бесчувствия дурной огненной водой и соскоблили туман со зрачков. Конечно, кровь была, боль такая, что крик Тынэскина, говорят, слышали в Наукане, но ничего! Походил несколько дней в повязке, а потом, когда снял, снова увидел мир! . . Эх, мне бы такое счастье!

Теперь Кагот понял скрытую причину, по которой Гаймисни легко дал согласие породниться с тангитаном. Слепой надеялся, что Першин тоже найдет ему тангитанского лекаря.

— А что говорит Першин? — спросил напрямик Кагот.

— Он говорит, что если такое возможно, то новые лекари и мне возвратят зрение, — с затаенной надеждой в голосе произнес Гаймисни. — Хотя бы это случилось!

Ведь я нестарый человек, сил у меня еще много! Да и жизнь впереди, как рассказывает Першин, настает новая, интересная. Не увидеть все это обидно! А пойдут дети у Умкэнеу, что же мне, только ощупывать их? Ты знаешь, Кагот, я бы согласился отдать руку и ногу, только бы снова видеть!

— Будем жить надеждой, — сказал Кагот.

Гаймисин повернул к нему свое подвижное лицо с невидящими глазами и спросил:

— А как твои числа? Я слышал, как их проклинали Таап и Нутэн. Неужто они на самом деле такие сильные?

— Сила у них есть, я чувствую.

— Может, попросишь их, раз они такие могущественные? — предложил Гаймисин. — Вдруг они и мне помогут?

Кагот ответил не сразу.

— Может быть, и помогут, — сказал он задумчиво. — Но сначала я должен найти магическое число. Оно где-то совсем близко, но ускользает.

— Эх, если бы я мог тебе подсказать в этом...

— Нет, его надо искать одному, — сказал Кагот. — Я это понял. Оно как осторожный и хитрый зверь: прячется, путает след. Если бы я его видел впереди, я бы пошел не разбирая дороги. Но нет, оно где-то среди этих же чисел, которыми я исписал уже почти половину большой тетради.

— И что же будет, когда найдешь его? — затаив дыхание, спросил Гаймисин.

— Тогда откроется истина, и всем станет хорошо... Только как это будет на самом деле, я и сам пока не знаю.

Возвращаясь на корабль, вспоминая разговор со слепым, Кагот думал: а вдруг и впрямь с нахождением конечного большого числа он обретет могущество?

И тогда он сможет растопить льды и освободить корабль...

Дойти вместе с Норвежской экспедицией до вершины Земли...

Вернуть зрение бедному Гаймисину...

Найти хорошего мужа для Каляны...

Сделать так, чтобы всегда было вдоволь зверя у берегов Чукотки...

Дать всем счастье...

С приближением весеннего тепла дел на корабле прибавилось. Однако предсказать, когда точно произойдет вскрытие моря на этом побережье, было невозможно. Амундсен несколько раз ходил на берег в сопровождении Кагота и Олопкина, расспрашивал и Гаймисина, и Амоса, и даже Каляну, чтобы выяснить, когда же все-таки можно будет ожидать чистой воды. Но никто не давал вразумительного ответа, а Амос сказал, что на его памяти был случай, когда среди зимы ураганом оторвало лед и море открылось до самого горизонта, но через несколько дней льды снова появились и их было даже больше, чем раньше.

Общими усилиями определили, что наиболее реальный срок вскрытия моря конец июня — начало июля. Правда, тот же Амос счел нужным предупредить:

— Я помню один год, когда лед вовсе не уходил с наших берегов и старый припай так и дождался новой зимы.

— Это самое худшее, что может нас ожидать, — мрачно заметил Амундсен.

Вернувшись на корабль, Амундсен удалился в свою каюту и принялся листать дневник:

«27 апреля. Утром северо-западный ветер, усилившийся среди дня. Сундбек мерил молодой лед... Вчера приказал снять часть крыши перед камбузом, чтобы там было светлее. Теперь могу работать совсем без электричества.

28 апреля. Апрель здесь такой же капризный, как у нас дома. Ночью было 17° мороза, а в 2 часа — 14°. Северо-западный ветер, свежий ночью, за день утих. Караев и двое русских уехали сегодня утром. Один из последних сейчас же поехал обратно в Сухарное за маленьким белым медвежонком, который живет там у Кибизова. Он нашел его возле Колымы в первую свою поездку 1 марта. Медвежонок был тогда не больше кошки, но очень злой. Теперь он стал совсем ручным. Я обещал взять его с собой в Ном...»

Медвежонок, кроме того, предназначался Мэри, которая уже самостоятельно расхаживала по палубе и весело играла под ярким ослепительным весенним солнышком.

Отец ее, наоборот, стал замкнутым и малоразговор-

чивым. Он часто уединялся в своей каюте и сидел над тетрадью. Амундсен несколько раз пытался отговорить его от бесполезного занятия, но Кагот только молча отводил глаза.

Все было бы ничего, но писание чисел явно шло в ущерб прямым обязанностям Кагота. Порой надо было напоминать о простейших вещах, о том, что надо как следует вымыть посуду, не торопиться вынимать хлеб из печи.

Вот и сегодня, когда Амундсен заглянул на камбуз, он увидел, что повар разложил свою злополучную тетрадь прямо на доске, на которой раскатывал тесто. Пришлось сделать замечание, что камбуз отнюдь не место для математических занятий. Кагот был смущен. Он быстро спрятал тетрадь, словно боясь, что ее отберут, извинился, пообещал, что больше такого не повторится.

После очередного внушения Кагот с новой энергией и усердием брался за дело. Он снова начинал следить за собой, сиял чистотой, мыл и скреб не только камбуз, но и кают-компанию, готовил замысловатые и вкусные блюда. И поведение его менялось: он больше общался с членами экспедиции, говорил с ними, возился с дочерью. Но проходило время, он снова замыкался и уходил в свои числа. Так длилось до очередного промаха, после которого все снова становилось на свои места.

Весеннее настроение все больше охватывало людей на корабле, постепенно освобождавшемся от снега, промороженного, застоявшегося воздуха. Свет теперь проникал всюду, и поздним вечером, чтобы уснуть, надо было занавешивать иллюминаторы плотными шторами.

У Амоса была небольшая байдара. Она пролежала всю зиму на высокой подставке, сооруженной из челюстей кита, и теперь пришло время спустить ее, обложить снегом на берегу моря, чтобы к вскрытию воды высохшая за зиму моржовая кожа снова стала упругой, эластичной. При спуске байдар обычно совершают обряд, чтобы умиловить морских богов, и Амос позвал для этого Кагота. Когда Кагот обратился с просьбой отпустить его, Амундсен спросил:

— Я хочу, чтобы вы мне объяснили: почему, отрекаясь от шаманского званья, вы тем не менее не отказываетесь от священнодействий? Вот вы изменили имя Амосу, оберегая его от злых сил, затем такую же процедуру проделали с дочерью. Сейчас вы собираетесь совер-

шить священный обряд спуска байдар... Что все это значит?

— Я ведь не отрекаюсь вовсе от шаманского звания, — ответил Кагот. — Просто я не хочу больше быть посредником между Внешними силами и людьми. Не хочу я и лечить людей с помощью магических заклинаний, потому что перестал в них верить. Но я не перестал верить в существование Внешних сил, в зависимость человека от них. Надо, чтобы человек делал так, как угодно им, иначе может быть плохо. Есть установления и обычаи, истоки которых уходят в далекие времена. Мы уже забыли значение обряда, однако совершаем его, чтобы укрепить внутренние силы человека...

— Вы говорите — внутренние силы человека? — переспросил Амундсен.

— Да, — ответил Кагот, — человек изнутри должен быть не менее сильным, чем внешне. Иной раз внутренняя сила бывает нужнее.

Амундсен подумал и согласно кивнул:

— Пожалуй, вы правы, Кагот.

Но по глазам его было видно, что он думает о чем-то своем, и эта мысль была о возможной неудаче, если в этом году береговой лед не отпустит «Мод».

Амундсен достал лист бумаги и набросал план стоянки корабля. Край припая сегодня находился довольно далеко, и движущийся лед в этом районе часто смерзался с неподвижным. Надо подумать, как помочь морскому течению и ветру разломать лед. Для этого можно использовать имеющийся на борту запас взрывчатки. Амундсен провел на плане черту от борта «Мод» дальше, на северо-восток. Если заложить в заранее приготовленные шурфы заряды достаточной силы, то в подходящий момент можно будет попытаться с их помощью создать канал, ведущий к открытой воде.

Возле яранги Амоса собрались все жители становища.

Маленькая байдара уже была освобождена от лапчатых и моржовых ремней. Чейвынэ держала широкое деревянное блюдо, на котором лежали чуть пожелтевшие ломти оленьего окорока и сала и чудом сохранившийся для этого случая кусок итгильгына¹. Дары морским бо-

¹ Итгильгын — китовая кожа с салом.

гам были дополнены кусочками сахара, шоколада, галетами, табаком и несколькими сигарными окурками, подобранными из пепельниц в кают-компании «Мод».

Чейвынэ передала Каготу блюдо. Оглядевшись, он заметил, что Першин стоит в стороне и наблюдает за действием.

— Почему он не подходит? — спросил Кагот Умкэнеу, обнося всех пищей богов: согласно обычаю угощение должны сначала попробовать люди, а что останется — то богам.

— Он не может, — ответила Умкэнеу, беря галетинг и кусок шоколада.

— Почему?

— Он неверующий.

— Ну и что? — пожал плечами Кагот.

— Он большевик, — сказала Умкэнеу. — Большевики считают все эти обряды дурманом. Он говорит, что вообще с этим надо бороться. — И добавила: — Вот когда я стану большевиком, то тоже буду против шаманства и старых обычаев.

— А когда ты собираешься стать большевиком?

Умкэнеу откусила кусочек шоколада и от удовольствия зажмурилась.

— Может быть, сегодня ночью я стану женой большевика, а как дальше будет — посмотрим. . .

— А почему именно сегодня?

— Потому что завтра — самый главный праздник работающих людей.

— А мы этого не знали! — с оттенком упрека сказал Кагот.

— Да я сама недавно узнала, — призналась Умкэнеу. — Алексей мне сказал об этом, когда обещал жениться в этот день.

Одарив всех пищей богов, Кагот занял место впереди процессии. Байдару осторожно сняли с подставки и взяли на плечи.

— Иди помогай! — позвала Умкэнеу учителя.

Першин подставил плечо рядом с Гаймисинном, который, несмотря на слепоту, изо всех сил старался быть полезным. На его лице застыло блаженно-радостное выражение оттого, что приближается время настоящей, деятельной жизни, время большого света, таяния снегов, птичьих голосов, моржового рева под скалистым берегом.

Весна уже наложила свой отпечаток на всю жизнь

крохотного становища. Не было такого дня, чтобы мимо не проезжали упряжки, которые торопились домой, потому что приближалось время, когда талая вода отрежет все нартовые пути. Каждому пережившему темное время года не терпелось насладиться светом и теплом.

Вот и сейчас под теплыми лучами солнца все обнажили головы, никто не надел ни малахая, ни капюшона.

Ребятишки побежали вместе с собаками впереди процессии и остановились под высоким берегом на предназначенном для байдары месте. Еще вчера Амос широкой китовой костью, насаженной на рукоять, вырыл в плотном, слежавшемся снегу яму, предназначенную для кожаного суденышка.

Медленно опустили байдару в яму и остановились. Кагот прошел чуть вперед, к невидимой, скрытой снегом границе между морем и берегом, и тихо начал:

Великий свет, пришедший с солнцем,
Все разбудил, все озарил вокруг...
Забыты тьма, холодный звездный свет
И стужа, доходящая до мозга.

Сегодня мы приносим жертву вам,
Морские боги, кормящие нас,
И молим вас послать удачу,
Обилием добычи порадовать людей.

В долгу мы не останемся у вас,
И долю вашу вам всегда подарим.
Обычаи исполним до конца,
Чтоб радовать сердца морских богов.

Пусть лед скорей уйдет от берегов,
Пусть птичьим криком полнится земля.
Земля, которая населена людьми,
Чтящими и помнящими вас...

С последними словами Кагот широким жестом бросил на морской лед остатки жертвенного угощения. Собаки кинулись подбирать пищу богов, и вскоре на снегу остались лишь толстые окурки сигар.

Байдару принялись обкладывать снегом. Как раз к тому сроку, когда ледовый припай покроется трещинами, высохшая за зиму моржовая кожа пропитается влагой, и лодка будет готова к плаванию.

На обратном пути Кагот оказался рядом с Каляной. Поравнявшись с женщиной, она тихо сказала:

— Скучаю я по девочке. Как она там живет, среди тангитанов?

— Привыкла, — с затаенной гордостью ответил Кагот.

— А мне, наверное, так и не доведется услышать крик рожденного мною ребенка, так и останусь я одна! — с тоской произнесла женщина.

Кагот не нашелся что ответить. Видно было, что Каляна страдает. Маленькая надежда, возникшая с приездом учителя, угасла навсегда.

— Слышал я, скоро здесь, на этом берегу, много людей будет, — осторожно сказал Кагот. — Культбазу будут строить.

— Учитель Алексей так говорит, — ответила Каляна. — Все только на это и надеются, даже слепой Гаймисин ждет чуда.

— А вдруг такое случится, что и ты дождешься своего чуда?

Каляна остановилась и пристально посмотрела на Кагота.

— А что говорят твои числа?

— Пока молчат, — серьезным тоном ответил Кагот. — Но я чувствую, что нахожусь на верном следу.

— Я всегда знала, что ты необыкновенный человек! — произнесла Каляна, и в ее голосе Кагот уловил новое чувство по отношению к себе — глубокое уважение.

Амос позвал всех в свою ярангу, где выставил обильное угощение — остатки оленьего окорока, уже сильно высохшего и почти потерявшего вкус, свежую нерпятину и прошлогодний копальхен, пронизанный синеватыми прожилками, приятно и остро щекоющими язык. Когда дошли до чаепития, Першин сказал Каготу:

— Скажи там, на корабле, что завтра у нас большой праздник — Первое мая! Пусть приходят.

Когда Кагот передал начальнику экспедиции приглашение, Амундсен спросил:

— Это чукотский праздник?

— Нет, похоже, что это праздник большевиков, — ответил Кагот. — Раньше у нас такого не было. Был только праздник спуска байдар, затем килвэй¹, а такого, чтобы трудовые люди праздновали, не слыхал.

¹ Килвэй — праздник молодого оленя.

— Ну что же, господа, это, очевидно, государственный праздник Советской республики, и мы, находящиеся на территории этой страны, должны оказать уважение. Прежде всего надо поднять советский флаг, — сказал Амундсен.

— Советского флага у нас нет, — напомнил Ренне, отвечающий на «Мод» за корабельное имущество.

— Придется срочно изготовить, — распорядился начальник.

На корабле нашлось достаточно красного кумача. Ренне вырезал ножницами из темной материи изображения серпа и молота и нашил их на полотно флага. По просьбе Першина он изготовил еще несколько флажков и даже написал лозунг на красном полотнище, растянутом на двух палках: «Да здравствует 1 Мая!»

Весенний свет, усиленный отражением от снега, бил в иллюминаторы. За долгий солнечный день снег заметно подтаивал, а к вечеру его прихватывало морозом. На белой поверхности образовывался гладкий, зеркальный налет, отражающий светлое небо.

Кагот сидел на своем привычном месте перед иллюминатором и медленно писал. Раньше он торопился, быстро одну за другой выводил цифры. Но спешка первых дней давно прошла: так можно упустить заветное, магическое число. К тому же цифры стали уже такими большими, что на написание даже одной уходило много времени.

Сегодня у него было какое-то особое, возбужденное настроение. Может, причиной этому разговор с Каляной? Или весна?.. Весна... Начало нового отсчета жизни. Именно в это время по-настоящему начинается новая полоса в жизни человека. И все окружающие связывают с наступающей весной свои надежды: Алексей Першин ждет пароход с товарами, книгами и деревянными домами для школы и больницы; Амос намерен взять сына на первую весеннюю охоту и начать учить его нелегкому делу добытчика; Гаймисин и вправду надеется вернуть себе зрение; Умкэнеу вся светится счастьем и радостью в ожидании замужества; члены экспедиции Амундсена смотрят вперед, на вершину Земли, на Северный полюс. А какое будущее у него, Кагота? Возможность отправиться вместе с тангита́нами на вершину Земли уже не так привлекала, как вначале. Еще неизвестно, что там, на Северном полюсе. И нужен ли этот полюс ему, Каготу? Даст он что-то для счастья его дочери?

Ну а найдет ли он свое магическое число? Станет он другим или останется таким, какой есть? Стать другим? Разве это возможно? Человек рожден со своей судьбой и своей, данной ему богами внешностью. Единственное, что можно изменить, это имя. И то лишь для того, чтобы избежать уйвэла.

Написав очередное число, Кагот останавливался, смотрел на слегка светящийся под небесным сиянием снег и думал.

Кто он сам, Кагот? Ну отрекся от своей судьбы. Хорошо ли ему от этого? Его несет ветром жизни по огромному пространству чередующихся дней и ночей, и он не знает, где остановится, где прибьется. Единственная надежда — желанное конечное число. . .

Почему все в один голос говорят, что такого числа нет? Разум ему подсказывает, что такое число есть. Или всеобщее заблуждение многих людей сильнее истины, открывшейся одному человеку?

Снег светлел. Взошло ненадолго ушедшее за горизонт солнце. Вскоре оно совсем перестанет прятаться, и на побережье наступит долгий солнечный день. Этот день откроет дорогу «Мод», и тангитаны уплывут. А что будет с ним? Что будет с маленькой Мэри?

Кагот осторожно поднялся со стула и на цыпочках подошел к спящей девочке. Она лежала лицом к нему, раскрасневшаяся от сна. Иногда ее ресницы вздрагивали, маленькие пухлые губки шевелились, словно она что-то говорила в другом бытии, в многокрасочных снах, которые не умела рассказывать. Да, она очень похожа на Вааль. . . Только себе, только наедине с собой Кагот мог признаться, что с числами он связывал смутную надежду каким-то неведомым образом снова увидеть Вааль. . . Бывает ли такое? Но с кого-то должно начаться это чудо, которое люди затаенно ждут многие века!

С приближением утра мысли начали путаться, и порой Кагот ронял отяжелевшую голову на стол, прямо на тетрадь с аккуратно написанными рядами чисел.

Он не слышал, как поднялся Амундсен, прошел на камбуз, разжег огонь и поставил на него большой кофейник.

Кагот вскочил, когда в его ноздри ударил запах сварившегося кофе.

Он быстро умылся и принялся лихорадочно помогать

Амундсену, позабыв даже поздороваться с ним. Он стремительно промчался по палубе, принес с близкой снежницы новой свежей воды, кинулся накрывать на стол в кают-компанию, путая приборы, кружки и тарелки.

Амундсен молчал.

Но когда все уселись за стол, то, прежде чем приступить за еду, начальник, постучав ножом по стакану, попросил внимания.

— Перед тем как объявить сегодняшний распорядок дня, — начал он суровым голосом, — я бы хотел поставить в известность всех членов экспедиции о сегодняшнем проступке Кагота, в результате чего мы едва не лишились завтрака. Я бы не хотел углубляться в причину подобного поведения, которое усугубилось в последнее время. Ваше личное дело, господин Кагот, заниматься всем чем угодно в свободное от работы время. Единственное, чего я требую от членов своей экспедиции (а вы, господин Кагот, имеете честь таковым являться), это неукоснительного исполнения своих обязанностей. Сегодня, господин Кагот, я вам объявляю публичное порицание и хочу поставить вас в известность, что, если вы не измените своего отношения к своим обязанностям, нам придется расстаться... Поймите меня, господин Кагот, мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам, но как начальник экспедиции я буду вынужден это сделать. Вы поняли, что я вам сказал, господин Кагот?

Кагот молча кивнул. Сказать в свое оправдание ему было нечего.

В назначенный час все члены экспедиции собрались на палубе, чтобы вместе двинуться в становище. Надев на Мэри самую нарядную камлейку, Кагот вышел вместе с девочкой из каюты на яркое солнце. На главной мачте «Мод» реяли два флага — норвежский, с синим крестом на алом фоне, и флаг Советской республики, ярко-красный, пронизанный весенними солнечными лучами. Взглянув на яранги, Кагот не удержал возгласа удивления: на всех трех ярангах плескались красные флаги. Все они были одинаковы, и трудно было по ним установить, свершилась ли мечта Умкэнеу, переехал ли сегодня Алексей в ее ярангу.

Ренне раздал сделанные им маленькие норвежские и советские флажки, и все во главе с начальником экспедиции двинулись к берегу, держась хорошо знакомой тропинки. Мэри сначала шла вместе с отцом, но потом Сундбек взял ее на руки и посадил на плечи. Девочка махала обоими флажками и кричала с высоты что-то свое, очень веселое.

Разряженные жители становища выстроились возле ближней к берегу яранги Каляны. Амос и Гаймисин были в хорошо выделанных замшевых балахонах, богато украшенных разноцветными полосками. Женщины надели новые камлейки, сшитые из подаренной норвежцами материи. Умкэнеу вдобавок нацепила на грудь большой красный бант.

Когда гости подошли ближе, Першин, одетый в белую камлейку, украшенную таким же красным бантом, как у Умкэнеу, взмахнул рукой, и хор, состоящий из двух детей Амоса, Гаймисина, Умкэнеу и самого Першина, старательно и довольно слаженно запел:

Вставай, проклятьем заклеяменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!
Это есть наш последний
И решительный бой,
С «Интернационалом»
Воспрянет род людской!

— Это что за песня? — тихо спросил Амундсен у Олонкина. — Похоже на гимн.

— На царский не похоже, — ответил Олонкин.

— Ну разумеется, у них же новое правительство, — догадался Амундсен, — значит, и новый гимн. Переведите, пожалуйста...

Хотя было ясно, что поющие в большинстве своем не понимают слов, произносили они их довольно внятно. Внимательно выслушав краткий перевод, Амундсен заметил:

— Решительные слова!

Когда пение «Интернационала» закончилось, Алексей Першин встал на приготовленную заранее нарту и начал речь:

— Тумгытури¹! Товарищи и господа! Сегодня впер-

¹ Тумгытури — товарищи.

вые на протяжении своей тысячелетней истории жители этого побережья отмечают светлый праздник трудящихся — Первое мая. Этот праздник дошел и сюда, до самого глухого уголка Чукотского полуострова. Такие же митинги сегодня происходят и в Уэлене, и в Ново-Мариинске, и в Якутске, и в других местах нашего Севера... Нашей революции всего четвертый год. Но эти годы равны нным столетиям в истории человечества, этим годам нная мера! Мы начинаем отсчет новой эры...

Стоящий рядом Олонкин переводил слово в слово, не торопясь, потому что Першин говорил размеренно, медленно, давая возможность осмысливать сказанное.

— Новая, Советская власть крепко устанавливается на Чукотке, — продолжал Першин. — Повсюду создаются новые органы власти — Советы. Следующим нашим шагом будет объединение трудящихся охотников и оленеводов в артели по совместной работе, для того чтобы легче было добывать зверя, пасти оленей. Потом мы построим здесь, на берегу Чаунской губы, культурную базу, откуда по всей тундре и ледовому побережью разойдутся великие идеи преобразования мира на основе справедливости: кто не работает, тот не ест!

— Вот это хорошо! — заметил Амундсен, когда Олонкин ему перевел. — С этим я полностью согласен!

— Да здравствует революция! Да здравствует Первое мая! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Дети Амоса держали за две палки полотнище с лозунгом, рядом с ними с красным флагом, сшитым парусным мастером Ренне, стояла гордая Умкэнеу.

— Товарищи и господа! — сказал Першин. — Я приглашаю вас совершить торжественное шествие.

Он спрыгнул с нарты, взял из рук Умкэнеу флаг и пошел вперед. За ним двинулись дети Амоса, сам Амос с женой, Гаймисин, держащийся за подол Тутины, Каляна, а замыкали шествие члены Норвежской полярной экспедиции. Люди с флагами и лозунгами сделали круг по становищу, обойдя все три яранги, спустились к байдаре, засыпанной тающим снегом, оттуда прошли мимо магнитного павильона и снова по протоптанной тропе поднялись вверх к яранге Амоса.

— А теперь, товарищи, — сказал Першин, — прошу вас на концерт по случаю праздника. Концерт состоится в яранге Гаймисина.

Пол в чоттагине был тщательно выметен, а слева ви-

сел небольшой дополнительный полог, которого раньше в яранге Гаймисина не было.

Передняя стенка-занавес большого полога была приподнята и подперта палкой, открывая внутренность спального помещения, в глубине которого виднелись потащенные, почерневшие от жира и копоти каменные светильники.

— Пусть все садятся в чоттагине! — распоряжалась Умкэнеу. — А детишки и мой отец пусть устроятся на бревне-изголовье. Алексей, иди сюда! А вы, господин Амундсен, как большой гость, возьмите вот этот китовый позвонок. На нем вам будет удобнее.

Когда все расселись, Умкэнеу встала перед пологом и громко объявила:

— Начинаем веселье, которым мы отмечаем праздник трудящихся людей всей земли — Первое мая!

Обернувшись назад, она взмахнула рукой, и тот же хор запел:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Слушая перевод Олонкина, Амундсен думал о том, что за долгие годы путешествий по неизведанным краям планеты он сегодня присутствует, быть может, на самом интересном, жизненно важном событии. Что это за люди — большевики? Какая в них сила убежденности в своей правоте! А впрочем, если задуматься, что может быть благороднее, чем посвятить себя решению самых насущных для человечества задач — накормить всех голодных, осчастливить обездоленных, утешить обиженных? Как это они сегодня пели: «Вставай, проклятем заклейменный, весь мир голодных и рабов...»

Исполнив несколько русских песен, жители становяща перешли к своим исконным песням и танцам. Как-то незаметно получилось, что Умкэнеу, которую еще вчера никто не хотел признавать взрослой, сегодня оказалась главной заводилой праздника. Она достала большой бубен и, слегка смочив его поверхность водой, подала отцу. Изменчивое лицо слепого озарилось; несколько раз легонько ударив по натянутой коже гибкой палочкой из китового уса, он запел песню — танец радости. К нему

присоединились все — и Амос, и Тутына, и Умкэнеу, и даже Кагот, не выдержав, подпел своим чуть хрипловатым, но выразительным голосом.

Умкэнеу вышла на небольшое свободное пространство перед очагом и начала танец. Она исполняла медленную часть танца с полуприкрытыми глазами, как бы подчеркивая девичью стыдливость. Кагот смотрел на нее и думал о Вааль. Он вспомнил: первый росток растущей нежности к будущей жене он почувствовал, когда увидел ее в танце и понял, что его подруга по детским играм уже больше не маленькая девочка, а взрослая женщина и что танец, который она исполняла, выражал ее затаенные желания и надежды.

Когда резким ударом Гаймисин перешел к другой части танца, Умкэнеу, восторгнувшись, на миг замерла, ее сильное, зрелое тело напряглось, и вторую половину танца она исполнила в быстром, стремительном темпе.

Ее наградили громкими возгласами восхищения, а начальник Норвежской экспедиции воскликнул:

— Браво!

Гром бубнов и старые мелодии всколыхнули воспоминания в душе Кагота, и он, дав знак Гаймисину, вышел на место, с которого только что ушла Умкэнеу.

Это был танец Ворона, длинный танец, повествующий о происхождении земли, воды и неба. Танец сказочный, трудный для исполнения.

Лицо Кагота сначала застыло в каменной неподвижности, потом на нем возникла улыбка, которая так и осталась как маска, пока танцор движениями рук и тела показывал, как летящий в крошечной вечной тьме Ворон создавал землю, воду, небо. В действиях священной птицы зрители видели предысторию своей обители — Земли; все, что делал Ворон-Кагот, было преисполнено для них глубокого значения. Амундсен широко открытыми глазами наблюдал за танцем-повествованием, чувствуя в душе такое волнение, которое он испытывал лишь при слушании симфонического произведения или на религиозной церемонии. В этих простых и примитивных на первый взгляд звуках и телодвижениях была та таинственная сила искусства, которая объединяет все человеческое на земле.

Когда закончился концерт, Умкэнеу позвала всех в ярангу Каляны, где было приготовлено праздничное угощение. Она все продумала. В длинных деревянных блю-

дах лежали тонко нарезанный копальхен, свежее нерпичье мясо и старая копченая оленина, громоздились пластинки настроганной рыбы, искрилась раздробленная в каменной ступе нерпичья печень.

Прежде чем приступить к трапезе, Амундсен встал и торжественно объявил:

— Мы искренне, сердечно благодарим вас за приглашение и за такой прекрасный праздник. Однако мы тоже не бездельники. И если этот майский день — праздник трудовых людей, то мы тоже имеем отношение к нему. Поэтому после этого обеда мы приглашаем вас всех — всех до одного человека — на большое чаепитие на наше экспедиционное судно. . .

Часа через полтора процессия, уже без флагов и лозунга, направилась к вмерзшему в лед кораблю.

Пока накрывался стол в кают-компании, Першин сказал Амундсену:

— Мы с Умкэнеу поженились. . .

— От души поздравляю! — воскликнул Амундсен. — Что же вы мне раньше об этом не сказали? Мы бы приготовили подарки. . .

— Нет, нет, спасибо, нам ничего не нужно, — покачал головой Першин. — Я большевик, а большевики привыкли обходиться минимумом вещей.

— Минимум минимумом, — заметил Амундсен, — но женитьба — это такое событие, которое должно оставить след на всю жизнь. Извините меня, господин Першин и госпожа Умкэнеу, но, поскольку вы находитесь на моем корабле, позвольте нам все же отметить этот день хотя бы в пределах наших возможностей.

Он позвал Ренне и Сундбека и велел им спуститься в продовольственный трюм и принести яства, сберегаемые для особых случаев. Потом он извлек виктролу из инкрустированного ящика и завел музыку.

Пристроившись рядом с музыкальным ящиком, Гаймисин качал в такт головой и пытался даже подпевать. Беседа шла с помощью Олонкина и Першина. Услышав еще раз историю прозрения уэленского эрмэчина Тынэскына, Амундсен сказал:

— Об этой истории я уже слышал и как человек, когда-то изучавший медицину и не потерявший к ней интереса до сих пор, могу сказать, что такие операции иногда заканчиваются успехом.

Тем временем стол заполнялся сказочными кушаньями. Детишки Амоса с затаенным дыханием смотрели

за тем, как Кагот приносил то одно, то другое невиданное блюдо, открывал банки, расставлял чашки и стеклянные бокалы на тонких ножках.

В довершение всего Сундбек водрузил на стол большой букет белых роз, искусно сделанных из тонкой папиросной бумаги. Когда он успел такое смастерить, одному богу известно, но цветы произвели удивительное впечатление на Першина, и он дрогнувшим от волнения голосом сказал:

— Как живые! Смотри, Умкэнеу, такие цветы дарят невесте, когда совершается тангитанский свадебный обряд.

— Как красиво! — воскликнула Умкэнеу.

Рассадив гостей и членов экспедиции и уступив жене и невесте места во главе стола, Амундсен дал знак разлить шампанское по бокалам, а когда пенистая шипящая жидкость наполнила прозрачные сосуды, он поднялся и торжественно произнес:

— За здоровье новобрачных!

Амос, Чейвынэ, Тутына, детишки, Каляна и Умкэнеу пристально, стараясь не упустить ни одного движения, следили за тем, как большой норвежский тангитан легонько стукнул краем своего наполненного сосуда о край сосуда Першина, затем Умкэнеу, и только после этого поднес его ко рту. Обо всем, что происходило за столом, Тутына тихонько рассказывала мужу, и на лице Гаймисина отражалось напряженное внимание. Услышав звон бокалов, Гаймисин тихо произнес:

— Какомэй!

— Дорогие друзья! — сказал Амундсен, поднимая второй бокал. — Я не знаю, удастся ли нам еще раз собраться в таком дружном кругу, но мне бы хотелось сказать вам многое именно сегодня. Прежде всего я хочу от всей души поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказали нашей экспедиции. Наше королевское правительство, думаю, отметит это, когда мы вернемся домой и доложим его величеству о том, как вы скрасили нам трудности зимовки. Какими бы высокими и красивыми словами ни называли нас за то, что мы делаем по исследованию белых пятен нашей планеты, я не могу скрыть своего восхищения перед тем вечным подвигом, который совершаете вы, обживая самые суровые и пустынные пространства земли. Наши свершения всегда будут в тени ваших!.. И еще — за долгую зиму у нас

не было ни одного повода к недовольству друг другом. Это свидетельствует о том, что, какими бы разными ни были жизненные обычаи, привычки, верования, общечеловеческое дружелюбие сильнее всего. Пусть наш маленький опыт сотрудничества станет примером для всех. Когда мы вернемся в Европу, мы расскажем о вас, о вашем маленьком становище и тепло нашего человеческого общения сохраним в наших сердцах на всю жизнь.

Амундсен перевел дух и, по-прежнему держа бокал в руке, с улыбкой обернулся к молодоженам.

— Сегодня мы стали свидетелями прекрасного события в жизни вашего становища — Алексей Першин и Умкэнеу стали мужем и женой. Вся наша полярная экспедиция сердечно поздравляет их со вступлением в брак и просит принять наши скромные подарки.

Амундсен сделал знак, и Сундбек с Ренне внесли в кают-компанию яркое шерстяное одеяло, несколько свертков с постельным бельем, медный рукомойник, украшенный чеканкой. Потом появился складной столик со стулом, нитки, бусы, бисер и набор продуктов.

Умкэнеу со счастливым видом принимала подарки и в знак благодарности широко улыбалась и всем кивала.

Допив шампанское, гости принялись за чай. Зная привычки своих соплеменников, Кагот поставил на плиту два больших чайника и едва успевал наполнять чашки и заваривать свежий чай.

Амос и Амундсен склонились над схемой расположения ледяных полей и долго обсуждали, в каком направлении следует ожидать вскрытия льдов в эту весну.

Ренне повел женщин в мастерскую и показал, как строчит швейная машинка, а Олонкин развлекал ребятшек тем, что без конца крутил ручку вилок и менял пластинки.

Гости разошлись перед восходом раннего весеннего солнца.

Проснувшись раньше всех, Кагот, прежде чем пойти на камбуз, посмотрел с палубы на становище: теперь флаг оставался лишь над ярангой Гаймисина, свидетельствуя о том, что представительство советской власти сменило место своего пребывания.

Весна на берегу Чаунской губы в 1920 году была изменчивой, капризной, порой думалось, что настоящее лето никогда не наступит в этом пустынном месте: ясное небо часто покрывалось плотными облаками, по несколько дней солнце вообще не показывалось, и чудилось, что возвращается полярная ночь. Временами раздражалась такая пурга, какой и зимой не бывало. Ураганный ветер свистел в вантах, грозил сорвать развешанные для просушки меха, медвежью же шкуру, подарок Першина, пришлось убрать в трюм. Однако, несмотря на все это, деятельная подготовка к освобождению от ледового плена не прекращалась ни на минуту, и начальник экспедиции пользовался каждой возможностью, чтобы подбодрить своих товарищей. Ему и самому вовсе не улыбалась перспектива третьей зимовки, когда до Берингова пролива рукой подать, а до ледового поля, в которое предполагалось вмерзнуть, чтобы продрейфовать с ним к Северному полюсу, всего лишь дня полтора ходу по чистой воде.

18 мая приехал Свердруп. Сначала Амундсену показалось, что это едут очередные гости, и он с досадой подумал, что опять надо прерывать работу и в который раз объяснять, что он не торгует и не имеет для продажи спиртного. Лишь только когда ездок поднялся с нарты и подошел к самому трапу, он узнал Свердрупа.

Несмотря на тяготы долгой зимней поездки, путешественник чувствовал себя хорошо. Единственное, чего он попросил, когда утихло первое ликование встречи: срочно — баню!

— Я вижу, у вас тут большие перемены! — сказал он за ужином, с интересом следя за подававшим кушанье Каготом, за сидящей на своем высоком стульчике Мэри. — Когда я увидел над одной из яранг развевающийся красный флаг, то подумал, что сбился с дороги и каюк привез меня совсем в другое место. И только разглядев знакомый силуэт «Мод», успокоился и понял, что я дома. Расскажите же ради бога, что тут у вас произошло?

— Здесь установлена советская власть, — ответил Амундсен. — Яранга, над которой развевается красный флаг, — официальная резиденция представителя новой власти Алексея Першина. Он же является и учителем.

— Вот не думал, что большевики добрались уже сюда! — заметил Свердруп. — Вы не представляете, каких противоречивых рассказов о них я наслушался в тундре. Говорят, что они отбирают имущество, делят между собой все, что можно поделить, вводят общественное пользование не только вещами, но и женами!

— Ну у нас до этого не дошло! — засмеялся Амундсен. — Что касается Першина, то он несколько не похож на тех, о которых вы рассказываете. Это нормальный интеллигентный парень, увлеченный идеями Ленина. У него грандиозные планы превращения здешнего становища в культурный и просветительный центр региона. Кстати, недели две назад он женился на здешней красавице Умкэнеу.

— Но и вы, вижу, зря не теряли времени, — сказал Свердруп, когда Кагот, подав чай и забрав дочку, удалился к себе в каюту. — Каготу впору служить не здесь, а в королевском дворце! Небось и грамоте научили?

— Пытались, — с усмешкой ответил Сундбек, — но он увлекся математикой, а письмо совершенно забросил и, похоже, не собирается к нему возвращаться.

— В данном случае я бы не сказал, что Кагот увлекся математикой, — с горечью заметил Амундсен. — Скорее всего он впал в заблуждение и никак не хочет внять здравому смыслу. — И Амундсен рассказал про навязчивую идею Кагота о конечном числе. — Все было бы ничего, — с грустью продолжил он, — но Кагот стал пренебрегать своими обязанностями. Вчера отказался мыться в бане, хотя еще недавно его оттуда было не выгнать. Как он объяснил свое нежелание, Сундбек?

— Опасается, что у него кожи не останется, — с улыбкой сказал Сундбек. — Но когда я заглянул к нему в каюту, он, как всегда, сидел перед иллюминатором и писал свои числа. Он страшно перепугался, закрыл грудью тетрадь, словно боялся, что я ее отберу.

— Вчера подал подгоревшие бифштексы и не вымыл посуду, — продолжал Амундсен. — Как ни прискорбно, придется, видно, с ним расстаться.

— Девочку жалко, — вздохнул Сундбек, привязавшийся к Мэри, казалось, больше всех на корабле.

— Ну, девочка пусть побудет у нас до нашего отплытия, — сказал Амундсен. — Я, кстати, тоже очень привык к этому прелестному созданию.

— Аборигены вообще трудно приспособляются к

новому образу жизни, — заметил Свердруп. — За время поездки по стойбищам и становищам я пришел к убеждению, что чукчи — это гордый и независимый народ, даже с заметной долей высокомерия по отношению к людям другой национальности. В чукотском языке все, что относится непосредственно к их укладу жизни, к их обычаям, все, что соответствует их представлениям, это настоящее, истинное. И само собой разумеется, что все чужое — это ненастоящее. Даже собственное название их — луоравэтльан — означает: человек в истинном значении этого слова.

— Эскимосское название — иннуит — переводится точно так же, — сказал Амундсен. — Мне кажется, тут нет оснований говорить о высокомерии. Наоборот, на основании нашего опыта общения со здешними аборигенами мы убедились, что это очень дружелюбные, всегда готовые прийти на помощь люди.

— Теперь о большевиках... — продолжал Свердруп. — В Якутию с юга проникли остатки войска царского адмирала Колчака, который пытался восстановить старую власть в Сибири. Но они потерпели жестокое поражение от Красной гвардии, от большевиков... Что же касается уклада жизни оленных людей, с которыми мы преимущественно общались, то он остался в том же виде, в каком, думаю, просуществовал тысячелетия. У меня буквально руки чешутся от желания скорее приступить к обработке собранных этнографических материалов.

— Теперь нам осталось дожидаться Хансена и Вистинга, и тогда наша экспедиция будет в полном сборе, — сказал Амундсен и добавил, обращаясь к Свердрупу: — Мы время от времени получали о них сведения от проезжавших здесь торговцев и путешествующих чукчей. Первоначально наши товарищи пытались подать телеграммы через радиостанцию зимующего у мыса Сердце-Камень русского парохода «Ставрополь». Но радиостанция на судне не работает. Пришлось им двигаться дальше, к мысу Дежнева, откуда рукой подать до Номы на Аляске, где имеется довольно мощная радиостанция. Но в зимнее время из-за вечно движущегося льда Берингов пролив непроходим. Поэтому наши путешественники должны были продумать путь до Ново-Мариинска, расположенного на южном берегу обширного Анадырского залива. По моим расчетам, они уже добрались до устья реки Анадырь и сейчас находятся на обратном пути.

Перед тем как пойти к себе в каюту и лечь спать, Амундсен вышел на палубу и заметил горящий огонек в иллюминаторе каюты Кагота.

Бедняга! Очевидно, все же у него какое-то нарушение умственной деятельности, возможно, это результат его шаманства. А ведь во всем другом он вполне нормальный, приятный и сообразительный человек! Неужели сильное, а тем более ошибочное увлечение может так захватить человека, что он пренебрегает разумными советами, предостережениями опытных людей?

Размышляя об этом, Амундсен вдруг остановился от неожиданно возникшей мысли: а чем, в сущности, он отличается от Кагота? Разве его самого не называли фанатиком, безумцем, пренебрегающим советами разумных и опытных людей? Это было, когда он объявлял о своем намерении пройти Северо-Западным проходом, открыть магнитный полюс Земли, когда затем пустился к Южному полюсу через огромный ледовый континент на собачьих упряжках, без того великолепного технического снаряжения, которое имелось у его соперника капитана Скотта. И теперь, когда он намеревается заморозить «Мод» в лед и продрейфовать вместе с ним к Северному полюсу, его снова называют безумцем, напоминая, что даже опытному полярному исследователю Фритьюфу Нансену не удалось этого сделать.

Тем временем Кагот сидел в своей каюте и снова писал и писал числа. Хорошо в ночной тишине не только следить за возрастанием цифр, но и чувствовать в себе нарастание уверенности в существовании магического числа. Написав очередное число и несколько помедлив перед следующим, Кагот мысленно обзирал расстояние между этими двумя числами. С одной стороны, количественно оно выражалось всего-навсего в единице, с другой — это была лишь маленькая полоска белого поля, отделяющая одну цифру от другой. Но это только на первый взгляд. На самом деле, когда вдруг окажется, что следующее число и есть то самое, искомое, между ними может быть расстояние в вечность. Иногда путешествие по числам казалось Каготу бесконечным восхождением: кажется, вот она, впереди, желанная вершина, взбираешься на нее, теряя последние силы, и оказывается, что за ней сияет снегами другая — еще более прекрасная и еще более недоступная...

Самое трудное — вовремя прекратить писание и найти в себе силы захлопнуть тетрадь. Но еще долго после этого перед закрытыми глазами сменяются написанные цифры, перегоняя друг друга, путая последовательность. Может быть, правы тангитаны, утверждая, что никакого конечного числа не существует и все, что испытывает Кагот, не что иное, как особый вид новой, неизведанной болезни? Но, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, Кагот не обнаруживал в себе признаков болезни, если не считать слабой головной боли от бессонной ночи. Написав уже под утро очередное число, Кагот заставил себя ополоснуть лицо холодной водой, чтобы отогнать сонливость, и отправился на камбуз готовить завтрак. Прежде всего он быстро вскипятил кофе, к которому здесь пристрастился, и, выпив несколько глотков, почувствовал в себе утреннюю бодрость. Оставленная в каюте тетрадь манила, но, сделав над собой усилие, Кагот принялся за приготовление завтрака. На этот раз он решил напечь оладий, не требующих столько времени, как полюбившиеся всем белые, пышные булочки. Замесив тесто и поставив на огонь большую сковородку, Кагот сбегал к себе в каюту и успел написать еще несколько чисел.

Когда он вернулся на камбуз, сковородка уже нагрелась. Шлепнув на нее несколько оладий, он сообразил, что, пока эта порция печется, он сможет написать следующее число. Вернувшись на камбуз, Кагот обнаружил, что времени, затраченного на написание очередного числа, как раз хватило на то, чтобы оладьи подрумянились с одной стороны. Довольный своим открытием, Кагот перевернул оладьи и, подложив дров в плиту, вернулся в каюту.

На этот раз он решил написать несколько чисел, потому что, пока разгорятся дрова, пройдет чуть больше времени. Утренние мысли о тщетности поисков магического числа улетучились, едва только он снова начал писать. К нему вернулось то состояние внутреннего напряжения, которое он всегда испытывал наедине с тетрадью. Все это напоминало охоту, когда идешь по льду и, хотя думаешь о вещах, далеких от поисков ускользающего зверя, какая-то часть твоего тела все время настроже. Нерпа или белый медведь могут появиться неожиданно, в любое мгновение, но они не могут застать охотника врасплох. Точно так, когда сидишь у разводья на ледовом берегу и сторожишь тюленя, глаза равнодушно

скользят по гладкой водной поверхности, мысли могут быть где угодно, но стоит появиться круглой блестящей голове нерпы, как все внимание тотчас переключается на нее. . .

Какой-то назойливый запах проникал в каюту, но Кагот не обращал на него внимания, продолжая методично записывать числа одно за другим, пока его не привлек шум: кто-то бежал по палубе и кричал. Кагот прислушался.

— Пожар! Горим!

И тут только до него дошло: олады! Там на раскаленной сковороде горят олады!

Отбросив тетрадь, Кагот выскочил из своей каюты и ринулся на камбуз через заполненную вонючим, горьким дымом кают-компанию.

Дым и гарь встретили его в раскрытой двери камбуза, где орудовал едва одетый Амундсен. Ворвавшись туда, Кагот увидел разъяренное лицо начальника экспедиции, вымазанный в саже большой острый нос, наминавший плавник хищной косатки.

— Идите в свою каюту! — услышал он грозный окрик. — Вы здесь больше не нужны!

Кагот покорно вернулся в каюту. Разбуженная шумом и криками Мэри сидела на своей койке.

— Все, — сказал ей Кагот мрачно, — кончилась наша тангитанская жизнь. . .

Странно, он не чувствовал ни сожаления, ни даже раскаяния. Как будто прервался долгий беспокойный сон, он наконец проснулся и надо заниматься привычными, может, иной раз даже скучными делами, то есть надо просто жить.

Одев девочку и выпустив ее на палубу погулять, Кагот принялся собирать свои нехитрые пожитки. На самом дне рундука хранился его дорожный мешок из мандалки — выбеленной нерпичьей кожи. Снял со стены барометр, свою первую тангитанскую вещь. А вот тетрадь. Поглядив обложку, Кагот положил тетрадь на самое дно вместе с запасом новых, еще не заточенных карандашей. Что еще? Кагот открыл стенной шкафчик и увидел постельное белье, которое так ни разу и не постелил на свое ложе. Интересно, каково лежать на белоснежной материи? Жаль, что не довелось попробовать. Все некогда было, да и забыл он, что в шкафу спрятана материя для сна.

Он огляделся. Вроде ничего не осталось. Его чукотская одежда, в которой он пришел на судно, хранилась на палубе, в холодной кладовке. А эту, наверное, надо сдать.

Кагот вздохнул и сел на койку.

Придется возвращаться в ярангу Каляны. Больше некуда. Она, наверное, не будет против: ведь тангитан, на которого у нее были слабые надежды, переселился к Умкэнеу. . . Что же, может быть, это судьба? Она хорошая женщина и всегда заботилась о Мэри. . .

Выходит, что Северный полюс увидят без него. Самую вершину Земли. Взойдут на нее и, быть может, вспомнят Кагота. Интересно, вспоминают тангитаны здешних людей, когда возвращаются на свою землю?

Послышался стук в дверь, и в каюту просунулась голова Сундбека.

— Иди, Кагот, завтракать.

В кают-компанию было пусто. На столе оставался только один прибор. Кагот сел. Сундбек принес омлет из яичного порошка с беконом, поджаренный вчерашний хлеб, масло, джем и кофе и, поставив все это перед Каготом, сам уселся напротив.

— А где Мэри? — спросил Кагот, принимаясь за еду.

— Она играет на льду, — сообщил Сундбек, с сочувствием глядя на него.

— Я собрал свои вещи, — сказал Кагот. — Только детские не успел.

— Но тебя пока еще никто не гонит с корабля, — сказал Сундбек.

— Однако я больше не могу оставаться здесь, — вздохнул Кагот. — Вы все были очень добры ко мне. . .

— Мне жалко, что Мэри, которая так привыкла к здешней жизни, снова вернется в ярангу, — сказал Сундбек.

— Что делать? Она родилась здесь и, видимо, не предназначена для другой жизни. . .

— Ну пусть она побудет с нами, пока мы не отплывем. — В голосе Сундбека слышалась неподдельная теплота. — Мы все так привыкли к ней. . .

Однако Каготу не сразу удалось покинуть корабль. Во время обеда между членами экспедиции произошел разговор, которого отсиживавшийся в своей каюте Кагот не слышал.

— Прежде чем объявить Каготу о том, что он уволен и должен, естественно, покинуть корабль, — начал Амундсен, — мне бы хотелось до вашего сведения это мое решение. У вас есть какие-нибудь соображения?

Все молчали. Всем было тягостно. Амундсен продолжил:

— Кагот за последнее время стал откровенно пренебрегать своими обязанностями и гигиеническими правилами, которых должен был неукоснительно придерживаться. Несколько раз я его предупреждал, говорил, что, если он не вернется к прежнему добросовестному исполнению работы, нам придется расстаться. Но, увы, он не внял моим предостережениям.

— А я слышал рассказы о Каготе как о человеке весьма способном, отличном поваре и слуге, — с удивлением заметил Свердруп.

— Да, он и был таким, — сказал Амундсен.

— Я думаю, — заговорил Сундбек, — что часть вины за изменение в поведении Кагота лежит на мне...

— Что вы имеете в виду? — спросил Свердруп.

— Это я начал учить его счету, — сказал Сундбек.

— Да, все началось с чисел, — подтвердил Олонкин.

— Прямо какое-то наваждение нашло на него, — добавил Ренне. — До этого он был спокойный, нормальный человек. А как начал считать, писать числа, резко переменялся!

— Может, просто отобрать у него тетрадь и запретить ему писать числа? — предложил Свердруп.

— Давайте спросим самого Кагота, — предложил Сундбек. — Поставим ему условие: бросишь писать числа, вернешься к нормальному исполнению своих обязанностей — останешься на корабле.

Амундсен почувствовал скрытое сопротивление экипажа и напомнил:

— Господа! Не забывайте, что перед нами стоят большие задачи. Наша экспедиция, если говорить прямо, еще и не приступала к выполнению главной задачи — достижению Северного полюса. Хочу вам напомнить, что наши цели далеки от благотворительных, и, как начальник экспедиции, считаю обязанным отметить с дороги все, что может нам помешать... Но я вижу, что вам не хочется расставаться с Каготом: Поверьте, господа, и мне очень жаль, что наше сотрудничество с ним кончается.

ся так нескладно. Присоединяюсь к мнению Сундбека, что часть вины лежит и на нас... Я согласен, давайте спросим Кагота.

Призванный Сундбеком Кагот предстал перед членами экспедиции в непривычном виде. Он успел достать свою кухлянку и малахай, переоделся, а одежду, выданную ему на корабле, аккуратно сложил.

— Садитесь, Кагот, — сдержанно пригласил его Амундсен.

Кагот послушно уселся на свое привычное место, ближе к двери на камбуз.

После небольшой паузы Амундсен заговорил:

— Вы понимаете, Кагот, что после всего случившегося мы должны расстаться с вами. Но нас связывает так много хорошего, что мы все сообща решили сначала спросить вас: как вы сами относитесь ко всему случившемуся?

Кагот ответил не сразу. Он обвел взглядом всех и сказал:

— Я решил уйти... Другого решения у меня нет...

— Но, Кагот, у вас есть выбор, — сказал Амундсен. — Если вы бесповоротно откажетесь от сумасбродной идеи найти не существующее на самом деле число и обещаете работать на камбузе так, как вы это делали в начале вашего пребывания на корабле, вы можете остаться... Но, повторяю, никаких чисел!

Какое-то подобие улыбки мелькнуло на лице Кагота.

— Нет, — сказал он твердо. — Я не могу отказаться от поисков магического числа. Я ухожу с корабля.

Амундсен обвел взглядом членов экспедиции и со вздохом произнес:

— Ну что ж... В таком случае мы не будем вас задерживать, господин Кагот.

Но Кагот ушел с корабля лишь к вечеру. Сначала его ознакомили с заработанной суммой денег, предложив отобрать товары по своему усмотрению. Этим он занимался почти целый день с Сундбеком и Ренне, обходя битком набитое чрево корабля. На палубу выносились мешки с мукой, сахаром, сухим молоком и крупами, сливочным маслом, патокой, чаем, табаком. Ко всему этому прилагался еще новый винчестер с запасом патронов. В довершение всего ему оставили всю одежду, в которой он ходил на корабле. Взглянув на кучу добра, Кагот удивился: неужели он столько заработал?

Пришлось сделать три ездки на нарте, чтобы перевезти все товары на берег. Дочку Кагот решил все-таки взять с собой.

— Ты насовсем возвращаешься на берег? — спросила Каляна, и в ее голосе Кагот уловил затаенную надежду.

— Да, — ответил Кагот.

— Это хорошо, — сказала Каляна.

Когда привезли последние свертки и большой кусок старого, уже ненужного брезента, который натягивали как тент над палубой, Кагот сказал Каляне:

— Я буду жить у тебя.

— Но у меня нет гостевого полога, — напомнила Каляна. — Его забрал Першин, когда переселился в ярангу Гаймисина.

— Ничего, я буду спать в твоём пологе, если ты не возражаешь.

— Как я могу возражать? — улыбнулась Каляна. — Мы ведь уже жили так. И для Айнаны найдется место.

— Ее теперь зовут Мэри, — напомнил Кагот.

— Хорошо, пусть будет Мэри.

Уложив девочку, Кагот и Каляна взялись разбирать и укладывать полученные в уплату за работу и в подарок товары.

— Ты стал как богатый тангитан, — заметила Каляна и вдруг испуганно сказала: — Все это надо побыстрее спрятать, пока учитель Алексей не увидел!

— Почему ты боишься учителя? — удивился Кагот.

— Он ведь большевик, — ответила Каляна.

— Мне казалось, что ты большевиков не боишься, — заметил Кагот.

— Я-то не боюсь, но ты должен его остерегаться.

— Почему? — никак не мог понять Кагот.

— Потому что ты богатый! А большевики богатых не любят и отнимают у них богатства. Вот придет он завтра утром к нам и скажет: давай-ка, Кагот, поделим все это твоё богатство по большевистскому обычаю.

— А я и без него собираюсь это сделать, — спокойно сказал Кагот. — Ты же прекрасно знаешь наш обычай: если к кому-то приходит удача, он делится этой удачей с другими. Таков закон настоящей жизни и настоящих людей. Если, как ты утверждаешь, такой обычай суще-

ствует и у большевиков, значит, они настоящие люди!

На следующий день Кагот разделил заработанное на равные доли и разнес все по ярангам. Першин попытался было вопреки предсказаниям Каляны отказаться от своей доли, но Умкэнеу объяснила ему:

— Таков наш обычай: удача делится на всех.

Молодая женщина расцветала с каждым днем. В ней исчезла девичья угловатость, резкость в движениях, появилась плавность и медлительность. Потчужа Кагота свежим чаем, она вдруг сказала:

— Переменил бы ты мне имя, Кагот...

— Разве тебе что-то угрожает?

— Пока ничего...

— Тогда какой смысл менять имя? От кого ты хочешь укрыть свой след?

— Мне кажется, что Алексею не нравится мое имя.

— Что ты! Умкэнеу — это очень хорошо! — возразил Першин.

— Он иногда зовет меня умкой, — жалобно произнесла Умкэнеу.

— Это я так сокращаю, — объяснил Першин.

— Умка — это медведь-самец, — растолковал Алексею Кагот, — а ее имя значит белая медведица, и его нельзя сокращать.

— Хорошо, не буду сокращать, — обещал Першин.

— Мне так хочется иметь настоящее тангитанское имя! — мечтательно проговорила Умкэнеу. — Как зовут твою сестру?

— Лена, Елена...

— Какое хорошее имя! — воскликнула Умкэнеу. — А если я его возьму?

— Как это можно вот так брать имена! — сердито сказал Гаймисин. — Это тебе не кэркэр — надел и снял!

И хотя Гаймисин говорил строго, в его словах чувствовалась радость оттого, что его дочь по-настоящему счастлива. Правда, Першин казался несколько растерянным от всего случившегося, но старался держаться солидно и серьезно. Он перенес учительские принадлежности в ярангу Гаймисина, и ребята теперь занимались здесь.

В яранге Амоса почти ничего не изменилось, если не считать какого-то подобия столика, на котором стоял таз, а на стене на гвозде висела чистая тряпочка.

— Учитель велит ребятам мыть руки, — как-то виновато произнес Амос. — Бумага-то белая, пачкается.

Приняв подарки сдержанно, как должное, потому что не полагалось по этому поводу ни выражать особой радости, ни благодарить, хозяин яранги сказал:

— Хорошо, что ты вернулся на берег. Скоро придет пора весенней моржовой охоты, и мне нужен товарищ на байдару.

— А учитель? — напомнил Кагот.

— В зимней нерпичьей охоте он достиг большого мастерства, — похвалил Амос, — однако на байдаре я его еще не пробовал. Ему еще многому надо учиться: как кидать гарпун, управляться с парусом.

Обходя яранги, разговаривая со своими земляками и соплеменниками, Кагот чувствовал, как затихает его встревоженное и опечаленное сердце, как возвращается к нему ощущение спокойствия и самоуважения. Как бы ни было хорошо на корабле, с каким бы дружелюбием ни относились к нему, все же он не чувствовал себя там совершенно своим. Да, его уважали, но в этом уважении была и доля любопытства, ожидания каких-то чудачеств с его стороны и особенно непрерывного удивления по поводу разных технических чудес. Но после истории с виктролой Кагот уже не проявлял большого интереса к техническим устройствам на корабле, чем несколько разочаровал тангитанов.

Здесь, на берегу, уважение к нему было неподдельным, прочным, таким, какое полагалось иметь мужчине, кто своими руками добывает пропитание и к кому приходит удача. А как известно, удача приходит к тем, кто деятелен и не лишен смекалки.

Возвратившись к яранге Каляны, Кагот осмотрел жилище, обойдя его вокруг, поправил ремни, которыми были обмотаны большие камни. Эти камни как бы держали легкое жилище на земле, не давая ветру унести его в море. Кое-где в крыше из моржовой кожи виднелись дыры, заткнутые плоскими дощечками. Когда сойдет снег, надо будет снять старые, прохудившиеся кожи и на их место натянуть полученный в подарок большой кусок брезента. А так яранга еще крепкая и простоят долго.

Каляна распаковала тангитанскую одежду Кагота и повесила на стену в чоттагине. При свете костра на суконной куртке тускло поблескивали металлические пуговицы, и Кагот подумал, как бы он нелепо выглядел, если б сейчас вздумал вырядиться в эту куртку.

На видном месте, на бревне-изголовье, лежала тол-

стая тетрадь. Кагот взял ее в руки и погладил. Теперь у него достаточно времени спокойно писать числа.

Кагот раскрыл тетрадь и посмотрел на последнее число. Сколько же это, если наполнить его какими-нибудь вещами, предметами? Например, сколько бы это было людей? Если их поставить в ряд, они пожалуй, встали бы от Чаунской губы до Уэлена и еще завернули к югу, к устью великой реки Анадырь. Нет, так не вообразить это число. Наверное, только звездное небо с его бесчисленными светилами может выразить это непостижимое количество.

Кагот писал при свете жирника и слышал мерное дыхание дочери на оленьей постели, вздохи Каляны, которая долго не могла уснуть. Наконец она шепотом спросила:

— Ты не спишь, Кагот?

— Нет.

— Все пишешь числа?

— Пишу...

— А можно мне на них взглянуть?

— Можно, конечно, но ты в них ничего не поймешь.

— А вдруг мне что-нибудь откроется? — громким шепотом произнесла Каляна. — У меня хорошие глаза, зоркие. Бывало, охотник еще далеко во льдах, еще никто его не видит, а я вижу. И стежок у меня маленький, оттого мои торбаса не пропускают воду.

— Никому ничего не откроется, пока не найдено большое магическое число, — сказал со вздохом Кагот.

Каляна придвинулась ближе. Она была совершенно раздета, и оленья шкура, которой она накрывалась, сползла с нее. В полутьме освещенного жирником мехового полога ее тело словно светилось изнутри, и от кожи исходил такой жар, будто внутри бушевал огонь. И дыхание у Каляны было жарким, оно напоминало летний горячий ветер, который неожиданно дохнет на тебя, когда медленно плывешь на байдаре вдоль берега мимо обрывающихся к открытому морю глубоких долин.

Кагот сделал движение, чтобы отодвинуться от женщины, но Каляна по-прежнему была близко и упругой, налитой грудью касалась его тела, туманя ему сознание и будоража кровь.

Огонек в жировом светильнике от прерывистого дыхания людей мигнул и погас, и теплый меховой полог погрузился в жаркую тьму. Каготу показалось, что он вдруг поплыл по длинной узкой реке с горячей, исходя-

щей паром водой. Такие речушки и ручейки в изобилии текли в окрестностях Инакуля, и в детские годы вместе с другими ребятами Кагот с замиранием сердца забирался в них голыми ногами.

Женщина была горячая и чуть влажная от пота...

Когда она отодвинулась в изнеможении, Кагот вдруг ощутил возникшую вокруг него пустоту и в испуге протянул руку. Дотронувшись до теплого тела Каляны, он тихо сказал:

— Не уходи...

— Теперь-то я никогда от тебя не уйду, — ответила Каляна, и по темному меховому пологу рассыпался тихий женский смех. — Я тебя долго ждала. Иногда теряла надежду, а потом снова надеялась.

Вдруг какой-то внутренний толчок заставил вздрогнуть Кагота.

— Что с тобой? — испуганно спросила Каляна.

— Ничего, — шепотом ответил Кагот и снял руку с ее тела.

До боли, до звона в ушах он прислушивался и всматривался во тьму полога, в тот угол... Но не было ни голоса, ни движения. Ничего. Только рядом слышалось взволнованное дыхание счастливой женщины.

31

Проснувшись, Кагот в испуге открыл глаза, но, увидев вместо иллюминатора внутренность мехового полога, освещенного неясным светом множества проплешин в шкурах, успокоился и снова почувствовал глубокое умиротворение. Из чоттагина слышались голосок Мэри и пение Каляны. Слов было не различить, но даже постороннему было ясно, что поет счастливая женщина.

Высунув голову из полога, он увидел Каляну, освещенную костром и верхним светом из окошка, вставленного в крышу учителем Першиным.

— А у нас в становище гости, — сообщила Каляна. — Приехал Нутэн из Инакуля. Тот, второй, молодой, который был еще зимой.

— Где он остановился? — встревоженно спросил Кагот.

— У Амоса.

Сон и блаженное настроение мгновенно улетучились, и Кагот быстро выскользнул из полога. Одеваясь, он сказал:

- Он приехал за Мэри!
— Как за Мэри? — испуганно спросила Каляна.
— Они хотели забрать девочку еще зимой, но я не дал, — ответил Кагот. — Амундсен тогда взял нас под свою защиту.
— Кто же теперь защитит ее?
— Я отведу девочку на корабль! — решительно заявил Кагот и, взяв на руки ничего не понимающую Мэри, бросился из яранги.

Как всегда, прежде чем подняться на палубу, Амундсен перечитывал сделанную накануне запись:

«9 июня. Великолепная ясная погода при слабом юго-восточном ветре. Мы продолжаем готовиться к плаванию. Все идет гладко и хорошо, весело и оживленно. И, несомненно, мы пятеро, оставшиеся сейчас на борту, приведем «Мод» в готовность так же легко и хорошо, как в прошлом году десять человек. . . Я уже снял половину навеса, а Ренне закрепил все доски на рубке. Свердруп все время пишет, торопится кончить, чтобы отписать отчет из Нома».

На палубе послышался шум. Захлопнув дневник и убрав его в ящик письменного стола, Амундсен вышел на палубу и увидел Кагота с ребенком.

- Что случилось, Кагот?
— Вы помните тех двоих, которые приезжали зимой?
— Они что, вернулись?
— Один из них вернулся и наверняка хочет похитить девочку, — заговорил, запинаясь от волнения, Кагот.
— Тогда оставьте девочку на борту, — решительно сказал Амундсен. — Здесь она будет в полной безопасности. . . Здравствуй, Мэри. Мы уже по тебе соскучились.

Мэри доверчиво пошла к Амундсену.

— Вы можете быть спокойны, Кагот, за свою дочку, — обещал Амундсен. — И можете навещать ее, когда вам угодно.

— Большое спасибо, господин начальник, — поблагодарил Кагот. — Вы ко мне так добры. . .

Каюта Кагота по-прежнему была свободна, и Мэри поместили туда. Прощаясь с Каготом, Амундсен сказал:

— Если и вам будет грозить опасность, мы готовы предоставить вам убежище.

— Нет, мне лично опасность не грозит, — ответил Кагот.

С корабля он направился прямо в ярангу Амоса, возле которой на длинной цепи лежали, греясь на солнце, собаки гостя.

Нутэн сидел в чоттагине и точил охотничий нож.

— Ты зачем приехал? — спросил его Кагот.

— Зачем спрашиваешь, если догадался? — ответил Нутэн.

— Все это напрасно, — сказал Кагот, — я переменял имя девочке. Ее зовут Мэри. . .

— Но она не стала от этого другой, — заметил Нутэн.

— Она прожила почти всю зиму на тангитанском корабле и переняла многие их обычаи. Она любит мыться, есть сладкое. . .

— Привычки быстро забываются.

— Ты знаешь, что я не отдам девочку. . .

— Придет время, и я сам ее возьму, — спокойно сказал Нутэн. — Меня послали сюда и сказали, чтобы я без Айнаны не возвращался.

— Айнаны нет, — снова напомнил Кагот, — есть Мэри.

— Для нас она осталась Айнаной, той, которую родила Вааль. . .

Напоминание о покойной жене ударило по сердцу Кагота. Неужели он ее забыл и ее место теперь заняла Каляна? Вааль больше не приходила к нему ни наяву, ни во сне, исчезла, растворилась в небытии.

Пришел Амос и сообщил:

— Большое ледовое поле оторвалось от припая, и его выносит в открытое море. А вокруг корабля лед еще крепок, и им придется подождать, пока он ослабнет. Дня через два спустим байдару на воду и пойдем на моржей. Еще один гребец будет на нашей лодке.

Все последующие дни Нутэн вел себя так, словно решил навсегда поселиться в становище Еппын. Собак он распустил на лето, а нарту убрал на высокие подставки из китовых костей, на которых зимой лежала кожаная байдара Амоса. Он ходил на охоту, приносил добычу в ярангу Амоса и даже начал посещать занятия, на которых Першин продолжал обучать взрослых — Каляну и Умкэнеу.

Иногда его видели недалеко от корабля, но вся небольшая команда «Мод» была начеку, и Нутэн даже не пытался проникнуть на корабль и видел девочку лишь издали.

Кагот пришел на свидание с ней и зашел к начальнику экспедиции.

— Помните, Кагот, — сказал Амундсен, — зимой мы говорили о том, чтобы взять Мэри в Норвегию и отдать там в школу или в пансион?

— Помню, — кивнул Кагот.

— На мысе Дежнева у торговца Карпенделя есть девочка такого же возраста, что и Мэри. Я ее отправлю в Норвегию. Было бы хорошо, если б с ней поехала и Мэри. Им будет не так скучно вдвоем. А когда они окончат школу, вернутся сюда. К тому времени, я думаю, ей уже не будет угрожать опасность, она будет взрослой...

— Не знаю, — с сомнением покачал головой Кагот, — хотя, в общем, это, наверное, было бы правильно...

С верхней палубы слышались голоса. В каюту ворвался Сундбек и объявил:

— Наши едут!

Это были Хансен и Вистинг, возвращавшиеся со стороны мыса Восточного.

Кагот ушел на берег поздним вечером, наигравшись с девочкой.

В тот вечер Амундсен записал в своем дневнике:

«Как мало мы можем судить о будущем! Только вчера я решительно отказался от надежды дожидаться Хансена и Вистинга, а сегодня они здесь. Оба загорели и здоровы, но собаки ужасающе худы... Хансен чрезвычайно доволен своим пребыванием в Анадыре. Несмотря на трудности, ему удалось восстановить прерванное сообщение с Америкой. Пришлось прибегнуть к сигналам бедствия. Когда американцы узнали, в чем дело, они приняли две первые телеграммы, а через 48 часов открыли путь для всех сообщений с «Мод». Теперь шлагбаум снят! Спасибо русским за настойчивость. И спасибо американским властям, разрешившим передачу телеграмм! Разумеется, среди участников экспедиции царил великая радость по поводу хороших вестей, полученных из дому. Мы все с нетерпением ждем теперь почты в Номе... У нас снова юго-восточный ветер и тепло. Вся пресная вода сошла со льда, так что оттуда теперь нельзя добыть воды. Придется, пожалуй, опять растаивать лед, чтобы шесть наших бочек остались полными ко времени нашего ухода отсюда».

Прежде чем улечься спать, Амундсен заглянул в каюту Кагота и, убедившись, что девочка крепко спит, вернулся к себе.

Лед настолько истончился, что на корабль уже опасно было ходить, и это несколько успокоило Кагота.

Можно сказать, что в Чаунской губе наступило настоящее полярное лето. Прилетели кайры, и в меню жителей становища, как и корабельных тангитанов, появились свежие яйца. Эта еда особенно нравилась Першину, и он учил Умкэнеу готовить омлет, взбивая свежие яйца с молочным порошком, разведенным в воде. Однако для чукчей эта еда годилась лишь как дополнение к мясу, и все только и мечтали о том, чтобы попробовать свежей моржатины.

Но выходить на кожаной байдаре в море еще опасались из-за сплоченных льдов. Кое-где уже видели моржей на льдинах и ждали только северного ветра, который подгонит ледовые поля со зверем. Охота эта опасная, потому что погода в такое время неустойчива, в одно мгновение ветер может перемениться и отогнать лед в открытое море.

Першин закончил учебный год и, не дожидаясь парохода, принялся таскать к яранге Гаймисина плавник, чтобы соорудить деревянную пристройку к яранге.

Нутэн удивлял жителей становища Еппын своей старательностью: он ни мгновения не сидел без дела и пользовался каждой благоприятной минутой, чтобы пойти на охоту. Иногда отправлялся в море вместе с Каготом. На расползающемся морском льду парень рассказывал о жизни в родном Инакуле, о родичах. Оказывается, когда в селении обнаружили исчезновение Кагота, Таап поначалу был спокоен и отговорил тех, кто собирался сразу пускаться на поиски. Только когда до него дошли слухи о том, что Кагот жив и при нем Айнана, он решил действовать.

— Таап дал слово, — рассказывал Нутэн, — что человек, проклявший богов, отрекшийся от предназначения, не будет жить. Внешние силы велели ему найти тебя и либо вернуть в селение, либо убить... А когда ты оказался среди тангитанов, да еще со своими магическими числами, Таап засомневался... Еще большие сомнения его охватили, когда его камлание здесь перед отъездом оказалось тщетным и не принесло никакого вреда ни тебе, ни Айнана...

Кагот спросил:

— Почему ты не возвратишься в Инакуль? Ты же видишь, что девочку тебе не заполучить.

— Я не могу вернуться без нее, — со вздохом ответил Нутэн. — Тогда и мне не жить.

В молодости, когда он еще не был шаманом, да и позже, Кагот и не представлял, сколько жестокости в деятельности шаманов, сколько пренебрежения простыми человеческими ценностями, в том числе и жизнью. Шаманы старались внушать страх — это было главной их целью. Страх рождал повиновение. А с повинующимся можно было делать что угодно. . . Вот как с Нутэном.

Иногда небо заволакивалось тучами и шел снег, переходящий в студеный дождь. Амос и Гаймисин утверждали, что это обычная летняя погода на берегу Чаунской губы, и успокаивали встревожившихся норвежцев: до зимы еще далеко.

После той памятной ночи, когда Кагот взял женщину, внутри него что-то переменялось. Поутру он почувствовал себя так, будто долго страдал странным недугом и вот наконец избавился от него, стал снова здоровым, обрел зоркость и проницательность. Он продолжал писать числа, но стал замечать, что порой ему приходится прилагать усилие, чтобы открыть тетрадь. Ощущение, что разгадка наибольшего магического числа совсем рядом, что цель близка и почти достигнута, исчезло. Порой сознание того, что, быть может, он так же далек от конечного результата, как и в самом начале, повергало его в уныние и растерянность.

В тот день Нутэн, несмотря на предостережение Амоса, взял легкий гарпун и, нацепив на ноги «вороньи лапки», вышел на лед. Несколько дней дул северный ветер, и разошедшийся лед снова сплотило, так что по нему можно было уйти далеко, к чернеющим вдали моржам.

Кагот с Амосом стояли на берегу и смотрели на парня в бинокль.

— Бедовый парень, — заметил Амос. — Он не знает коварства здешних ветров. Вот сейчас вроде бы дует устойчивый северный ветер, а ведь он может в любой миг повернуть, и Нутэн даже не почувствует. И еще — течение в эту пору часто меняется.

Но, похоже, опасаться было нечего: лед сплошным полем покрывал Чаунскую губу, уходя вдаль, к стыку моря и неба.

Амос и Кагот прекратили наблюдение и возвратились в ярангу, где возле срединного столба их ждали разло-

женные гарпуны и мотки лахтачьих ремней. Ремни за долгую зиму пересохли, а гарпунные наконечники надо было заново наточить на мягком камне, чтобы округлое лезвие легко прокалывало толстую моржовую кожу. Разговаривая, они не заметили перемены ветра и, когда выглянули наружу, увидели, как лед в губе пришел в движение. От «Мод», еще вчера, казалось, накрепко вмерзшей в прибрежный припай, пролегла трещина прямо по направлению к открытому морю. До слуха донеслось несколько взрывов, и корабль окутался ледяной и водяной пылью, поднятой взрывчаткой.

— Надо идти за Нутэном, — встревоженно сказал Амос, вглядываясь в море. — К вечеру уже будет поздно, льдины может унести в открытое море.

— Я пойду! — решительно заявил Кагот и, взяв в руки посох и легкий багорчик, нацепил на ноги «вороньи лапки».

Спустившись на лед, он бросил взгляд на «Мод» и увидел, как корабль двинулся вперед, к большой трещине, которая, в свою очередь, вела к расширяющейся полынье.

На льду ветер почти не ощущался, зато явственно чувствовалось внутреннее движение, словно там, в морской глубине, орудовали невидимые подводные великаны. Поначалу Кагот шел довольно легко, все дальше и дальше уходя от берега, оставляя по левую руку от себя норвежский корабль. Завтра можно будет на байдаре подойти к борту судна и снять Мэри. Думая о дочери, Кагот снова вспомнил о Вааль и ощутил укол в сердце.

Глубоко вздохнув, он обратил взор вперед, стараясь отыскать среди льдин фигуру Нутэна. Но парень ушел в белой камлейке, чтобы можно было незаметно подкрадываться к спящим моржам, и издали среди окрестной белизны его было мудрено заметить. И сам Кагот был в белой охотничьей камлейке, сшитой из двух простынь, принесенных с корабля.

Небо над морем было заполнено птицами. Они летели стаями и в одиночку — гуси, кайры, топорки, чайки, утки, бакланы, — оглашая открывшееся пространство свистом крыльев и криками. Кагот вспомнил, как в далеком детстве, вот в такую весеннюю пору охотясь на птиц, он залезал на высокие прибрежные скалы и воображал себя птицей, мысленно облетая побережье, проносясь над тундровыми озерами, взлетая выше облаков, к причуд-

ливим нагромождениям туч, туда, ближе к звездам и луне.

Взобравшись на торос, чтобы оглядеться, Кагот обнаружил, что ветер усилился и его несет вместе с несколькими ледяными полями прямо в открытое море. С южной стороны открылась вода, и даже отсюда было хорошо видно, что припай начисто отрезало от материкового берега и разломило на несколько маленьких кусков.

И тут до него дошло, какую глупость он совершил, двинувшись так решительно вперед и ни разу не оглянувшись. Случилось то, от чего предостерегал Амос: течение и ветер теперь соединили свои усилия. Значит, если ветер не утихнет, его вынесет в море и возвращение станет невозможным. Если, конечно, не случится такого чуда, что его снова прибьет к берегу. Это бывает. Придется, конечно, набраться терпения и высмотреть льдину покрепче. Такая нашлась недалеко, и Кагот перебрался на нее. Где-то невдалеке от него дрейфует на такой же льдине безрассудный Нутэн, заставивший его поступить не менее опрометчиво.

Солнце сияло в небе, летели птицы, а льдина неумолимо шла на север, в том самом направлении, где, по словам Амундсена, находилась вершина Земли — Северный полюс.

Подложив под себя нерпичьи рукавицы и малахай, Кагот сел и вдруг подумал, что сейчас, когда ему остается только ждать и надеяться на милость судьбы, у него, как никогда, вдоволь свободного времени, чтобы писать числа...

Что же это такое — магическое наибольшее число? Может быть, оно — вот эта беспредельность пространства? Или высота над головой, доступная только самым сильным птицам?

Кагот взглянул на небо, на расширяющийся горизонт и подумал: если ему не удастся возвратиться на берег, сможет ли он там, в другой жизни, встретить Вааль и повиниться перед ней за то, что разделил с другой только ей принадлежавшую нежность?.. И куда поместят его боги, которые распоряжаются ушедшими навсегда с Земли?.. Скорее всего он взлетит в окрестности Полярной звезды, где помещаются не совсем обычные люди, жившие на Земле.

И вдруг Кагот усмехнулся про себя: как легко, оказывается, смиряется человек с обстоятельствами! Еще

виден берег, еще нет и намека на трагический исход, а он уже подумал о месте около Полярной звезды...

Кагот решительно встал и обошел льдину. Если не столкнется с большим айсбергом, она еще много дней может служить ему убежищем, и он вернется на ней к берегу. Только вот еды нет. Таков уж обычай: идущий на охоту не берет с собой запаса, чтобы не ослаблять стремления поскорей возвратиться с добычей на берег. Правда, он шел не на охоту, но все равно — обычай есть обычай. Однако почему он не взял с собой новый винчестер? Тогда легко можно было бы настрелять себе птиц, пролетающих так близко, что иной раз кажется: протяни руку — и схватишь их. Кагот осмотрел одежду и нашел в торбасах свитый из оленьих жил шнурок, которым они стягиваются. Из него можно смастерить эплыкыт¹.

А тем временем «Мод» потихоньку выбиралась из своего ледового плена. Освобождение шло нелегко. Дождаясь Хансена и Свердрупа, отправившихся за оленьим мясом, упустили время. В густом тумане маневрировать стало труднее. Внезапно льдину вместе с вмерзшим в нее судном понесло к берегу. Пришлось взорвать несколько мин вокруг судна, чтобы освободить его и дать возможность с помощью машины отойти на большую глубину.

Амундсен почти все время находился на палубе, поднимался на смотровую площадку на мачте, чтобы оттуда руководить проводкой судна. Было бы нелепо на пороге освобождения от почти годового ледового плена с ходу напороться на крупную льдину, получить пробоину, повредить судно так, что станет невозможным исполнение замысла — дрейфа к Северному полюсу.

Проведя почти двое суток на мостике, Амундсен перед вечером спустился к себе в каюту.

Свердруп сказал, что он не видел на берегу Кагота и, следовательно, не смог поговорить с ним о судьбе девочки. Правда, существовала ранняя полудоговоренность о том, что в случае, если Нутэн останется в становище, Мэри поплывет на «Мод» в Уэлен и оттуда, если от Кагота не поступит никаких иных распоряжений, отправится вместе с дочерью Карпенделя в Норвегию.

¹ Эплыкыт — орудие для ловли птиц.

Напившись горячего кофе, Амундсен сделал в дневнике очередную запись:

«8 июля. Маленький канал, который вывел нас вчера вечером в большую полынью, был сильно забит торосистым льдом. Огромные торосы лезли вверх и вскоре обрушивались. Некоторые из них достигали шести метров высоты. Течение в этом месте было очень сильное. Мы все время наблюдали за происходившей в канале работой. Внезапно в 11.30 вечера льдины разлетелись в стороны со скоростью многих миль, и мы вскоре очутились в полынье. Она тянулась к северу. Мы шли ею до 3.30 утра, но тут она уклонилась слишком сильно к западу и перестала быть нам пригодной. Мы стали у кромки льда. Было мглисто, и видимость плохая. В 8 часов утра прояснилось, и, к нашему изумлению, мы увидели большую полынью в северо-восточном направлении. Дали ход и быстро двинулись вперед. Между тем показалось солнце, и мы увидели вдали Айон и горы на берегу. Продолжали идти прекрасным открытым морем до 4 часов дня. Тут нас снова затерло».

В этот день к мысу Якан вышел измученный, почти потерявший человеческий облик Нутэн. Когда он дошел до яранг становища Елпын, первыми словами, которые он услышал, были:

— Где Кагот?

— Я его не видел, — ответил пересохшими, потрескавшимися губами Нутэн.

Наевшись, он заснул и спал двое суток. Когда проснулся, его снова спросили о Каготе, и он снова ответил, что не видел его во льдах.

Как только позволила ледовая обстановка и разошелся туман, Амос спустил на воду байдару, и втроем, с Першиным и пришедшим в себя Нутэном, они отправились в море. Иногда, завидя темное пятно на одинокой льдине, они устремлялись к ней, но это был либо обломок старого пакового льда, либо морж... Кагота нигде не было.

Так продолжалось несколько дней.

Каждый раз байдару встречала Каляна, молчаливая и печальная. Ни о чем не спрашивая, она помогала вытаскивать суденышко на берег, разделявала добычу, уносила куски мяса и жира наверх, в хранилище.

Была смутная надежда, что Кагота подобрала «Мод». Однако оттуда не было никаких известий.

Согласно старому обычаю Кагот не считался погибшим до прихода нового льда. Поэтому надежда, которую хранила в себе Каляна вместе с нарождающейся новой жизнью, каждый раз приводила ее на берег.

Так было все лето.

Пришел пароход, на который так надеялся учитель Першин, приехали люди и начали строить новый, никогда не виданный на Чукотке поселок сплошь из деревянных домов. Ждали большого умелого тангитанского лекаря, который должен вернуть зрение Гаймисину.

А Кагота все не было...

В яранге Каляны в укромном месте лежала его тетрадь, заполненная аккуратными, все возрастающими цифрами.

А Кагота все не было...

Лето на ледовитом побережье Чукотки проходит быстро. Только вчера еще было тепло, но по ночам уже стало подмораживать. Нутэн снял с высоких подставок нарту и начал ладить ее к зиме. На дальней косе вылегли моржи, и охотники готовились к осеннему забою.

Но Кагота среди них не было...

Настал день, когда к берегу становища Еппын подошел плотный лед и закрыл прибрежную полыню, образовав крепкий припай.

С небольшой деревянной чашей в руке, пройдя под поднятой и укрепленной на зиму байдарой, на берег спустилась женщина в кэркэре из темных одноцветных оленьих шкур и молча разбросала по льду искрошенное оленьё мясо, табак и сахар. Так Каляна навсегда простилась еще с одним мужчиной, отнятым у нее безжалостным морем.

Но жизнь продолжалась. Она продолжалась в новых учениках Першина, привезенных с окрестной тундры и поселившихся в большом деревянном доме, в надежде на исцеление Гаймисина, в счастье Умкэнеу и, наконец, в ней самой, Каляне, в которой удивительный и необыкновенный человек Кагот зачал новую жизнь.

эпилог

Эта толстая тетрадь в коричневом переплете, с надписью на норвежском языке «Норвежская полярная экспедиция Руала Амундсена» попала ко мне летом 1960 года

и пролежала на полке среди других блокнотов и тетрадей почти четверть века. В первый раз, когда я увидел плотный ряд цифр во все возрастающем значении, я ничего не понял.

Как известно, достигнуть Северного полюса на дрейфующей во льдах «Мод» Амундсену так и не удалось, хотя он еще в течение двух лет после зимовки у Чаунских губы предпринимал попытки.

Северного полюса Амундсен достиг другим путем. На дирижабле «Норвегия» он пролетел над вершиной мира 12 мая 1926 года.

После этого он занялся обработкой своих дневников и наблюдений, читал лекции, выступал с рассказами о своих путешествиях, иногда упоминал и своего повара Кагота. Но в дальнюю дорогу больше не пускался. Он написал в своей книге «Моя жизнь»: «...я хочу сознаться читателю, что отныне свою карьеру исследователя считаю законченной. Мне было дано выполнить то, к чему я себя предназначал. Этой славы достаточно на одного человека... В дальнейшем я всегда с величайшим интересом буду следить за разрешением загадок далеких полярных стран, но не могу уже надеяться найти такое богатое поле деятельности, которое я оставил позади. Поэтому я ограничусь посильной помощью в разрешении этих вопросов, большую же часть своего времени буду посвящать чтению докладов, писанию книг и встречам с моими многочисленными друзьями...»

Но спокойная жизнь великого путешественника продолжалась лишь два года. В 1928 году итальянец Умберто Нобиле стартовал на дирижабле «Италия», чтобы повторить тот маршрут, который он проделал два года назад в компании с Амундсеном.

Но случилось несчастье, и дирижабль «Италия» из-за обледенения потерпел катастрофу и упал на лед. Амундсен арендовал французский самолет «Латам» и вместе с норвежским летчиком Дитрихсеном вылетел из Тромсё 18 июня. Никто не знал о предполагаемом маршруте полета, однако никто не сомневался в том, что участие такого авторитета в поисках оставшихся на льду участников итальянской экспедиции будет очень полезным.

Через два часа после старта самолета радиосвязь с ним прервалась. Наступили долгие дни предположений и надежд.

Надежда не исчезала все лето.

Поздней осенью рыбаки, промышлявшие треску у бе-

регов Северной Норвегии, на траверзе маяка Торсвог выловили из воды самолетный поплавок с надписью «Латам». . . Но только 14 декабря народ Норвегии почтил память своего великого сына двухминутным молчанием.

Недавно во время одной из поездок в Норвегию я еще раз побывал в полюбившемся мне Морском музее на окраине норвежской столицы. Здесь на открытом воздухе, на вечном покое отдыхают великие корабли отважных норвежцев, среди которых и «Фрам». Чуть поодаль в специальном павильоне — бальсовые плоты Тура Хейердала.

Однажды я пришел сюда в ранний час, когда музей был еще закрыт. Сидя на берегу, с которого открывался прекрасный вид на норвежскую столицу, я вспомнил тетрадь Кагота, его записи, вспомнил многочисленные рассказы о нем, граничащие с легендами, вспомнил встречу с его внучкой в Копенгагене. . . Вернувшись в Ленинград, я достал тетрадь.

Нет, я не нашел в ней магического числа, но передо мной вдруг предстала удивительная жизнь, о которой я не мог не рассказать.

ПРЯМО В ГЛАЗА





Сегоднешнее утро обещало настоящий летний день. Солнце вставало из моря яркое, горячее, словно там, в пучине, всю ночь его держали на раскаленных углях неведомого космического костра, чтобы в назначенный час выпустить в просторное, чистое небо.

Прищурившись, Инки смотрел на желтый, как переспевшая морошка, солнечный диск, на дрожащее марево между нижним краем светила и водной поверхностью моря и с удовлетворением думал, что уж сегодняшний-то день будет ясным, безветренным и жарким.

А казалось, что погода не наладится. Несколько дней пролив Сенявина походил на разбушевавшуюся горную реку: порывистый холодный ветер, то и дело менявший направление, рождал мелкие пенистые волны. Но за низкими рваными облаками угадывалось еще летнее, понастоящему теплое солнце. Конец июля даже здесь, на острове Камчечен, вынесенном на вольный морской простор и отделенном от материка пятнадцатикилометровым морским проливом, — это разгар чукотского лета. Иногда среди дня вдруг прорывался яркий, ослепительный солнечный луч, и тогда все вокруг в одну секунду преображалось, и даже хмурость бурного пролива озарялась солнечными бликами. Пятно солнечного света обрушивалось на две яранги, на стоящий чуть поодаль вездеход и мачту-антенну портативной радиостанции, бежало через тундровую, ярко-зеленую вершину острова к лежбищу, где в пенистом студеноем прибое купались моржи, и мчалось дальше, в оленье стадо, расположившееся в широкой долине.

Инки бригадирствовал в оленеводческой бригаде уже не один десяток лет, хотя по своему происхождению и не был потомственным оленним человеком. Родился он в тридцатом году на материковом берегу пролива. Сле-

дую семейной традиций, с юных лет охотился на морского зверя, пока его жизнь не повернулась так, что он ушел в тундру пасти оленей. Случилось это в ту пору, когда на Чукотке создавались так называемые комплексные хозяйства — объединялись оленеводческие и приморские колхозы. В свои немалые годы Инки был еще мужчина крепкий. Свежий воздух круглый год, физическая работа, натуральная еда, в которой преобладали оленина, мясо морских зверей, в изобилии свежая зелень летом, а зимой квашеная, удивительно сказались на его здоровье. Инки к тому же не курил и не брал в рот ни капли спиртного. Инки, как и большинство жителей Кыннота, был связан давними родственными узами с эскимосами, живущими в окрестных селениях. Да и в самом Кынноте жило несколько эскимосских семей. Старики утверждали, что и само селение когда-то было полностью эскимосским, но многие семьи эскимосских охотников еще до революции переселились на остров Сивукак, лежащий прямо на восток от острова Камчатен и хорошо видимый в ясную погоду. Остров принадлежал Соединенным Штатам Америки, и со временем родственные связи ослабли, оставшись лишь в глубинах памяти стариков.

Налюбовавшись на солнце, внимательно оглядев окрестности, Инки медленно побрел к вездеходу. Прошел небольшую свалку, подумав о том, что пора закопать эти старые батарейки, обломки честно отслужившей свой век «Спидолы», бумажные обертки от чая, несколько пустых жестяных и стеклянных консервных банок. Прежде чем взобраться на вездеход, Инки глянул на часы и убедился, что связываться с конторой совхоза еще рано. Надо бы напомнить, чтобы прислали батарейки для радиостанции, которая в яранге: совсем ослабла, еле слышно. Вот и приходится пользоваться той, что на вездеходе. Отсюда до оленей километров восемь. Инки включил рацию, взял телефонную трубку и несколько раз повторил вызов. Ответил сначала Гриша Кэвэв, молодой пастух. Кэвэв был сирота, выросший вдали от тундры и Чукотки, в каком-то колымском детском доме. Года два назад Инки вдруг получил письмо, в котором незнакомый юноша Гриша Кэвэв утверждал, что у него, кроме дяди Инки, никаких родственников нет на всей Чукотке. Парень оканчивал среднюю школу и собирался вернуться на родину. Он просился к дяде. Порывшись в своей

памяти и опросив родичей, Инки не нашел подтверждений родственным связям с незнакомым юношей, но приглашение все же послал. Гриша полетел прямо в тундру и сразу же признался, что узнал о своем «дяде» из газеты «Магаданская правда». Парень совсем не знал чукотского языка, хотя утверждал, что в далеком детстве говорил по-чукотски, но потом начисто забыл язык. Представления о родном крае у него были удивительно наивны и смешны, и он часто задавал вопросы, которые искренне забавляли Инки и других пастухов.

— Младший пастух Григорий Маркович Кэвэв на связи! — услышал Инки.

Улыбнувшись, бригадир сказал:

— Это Инки.

— Какомэй! — воскликнул по-чукотски Кэвэв и добавил: — Не узнал. Такая примета есть — богатым будете, много денег получите!

— Э-э! — возразил Инки. — Вот тут ты не угадал. Скорее предстоит большая трата.

— А премиальные? — напомнил Кэвэв. — Мы сохранили всех новорожденных телят, так что нам причитается... А что за траты? Снегоход «Буран» покупаете?

— Дочка прилетает... Да не одна...

— С мужем?

— Ну, пока официально не муж, а вроде бы жених, — неуверенно произнес Инки.

— О, свадьбу отпразднуем! — радостно воскликнул Кэвэв. — Повеселимся! Вы, дядя, только не разрешайте им справлять свадьбу в селе. У нас будет не хуже! Вертолетом закажем пиво!

— Ладно, — прервал парня Инки. — Об этом еще рано говорить. Позови Тнеру, если он недалеко.

Поговорив со старшим пастухом, выяснив обстановку в оленьем стаде, Инки выключил радиостанцию, оставив канал экстренного вызова.

Вылезая из нагретого утренним солнцем железного чрева вездехода, Инки почуял костер и глянул на островерхую вершину яранги: синий дымок вился над тундровым жильем, чуточку клонясь к морю.

Бабушка Тутына — теща Инки — не признавала ни примусов, ни керогазов и первый утренний чай всегда кипятила на костре. Удивительно ловко это получалось у нее: вроде бы совсем немного огня было под закопчен-

ным днищем чайника, но закипал он быстро, и, когда, нагнувшись на мгновение перед низким входом в ярангу, Инки шагнул в полутемный чоттагин, он услышал легкое треньканье крышки, подпрыгивающей под напором пара.

Бабушка сидела на корточках у костра, еще не причесанная, и тихо разговаривала с дочерью. Валентина Сергеевна посмотрела на мужа и спросила:

— Как там, на улице?

— Отличная погода, — ответил Инки, усаживаясь на бревно — изголовье полога. — Уж сегодня-то наверняка будет вертолет.

— Скорее бы уж! — с тоской произнесла Валентина Сергеевна. — А то заждались совсем.

Она покосилась на угол, где уже был приготовлен небольшой гостевой полог.

— Так поженились они или нет? — спросила бабушка.

— Вот приедут — узнаем, — ответила Валентина Сергеевна, берясь за чашку с чаем.

Она пила чай со вкусом, сосредоточенно, как это умеют делать в тундре. Отпив почти половину чашки, вдруг сказала:

— А если задумают справлять свадьбу здесь, в стойбище? У нас ведь ничего нет. . .

— У нас все есть: мясо, консервы, чай, сахар, хлеб, галеты, мука, масло, — перечислял Инки. И чтобы успокоить ее, сказал: — Если дойдет до свадьбы, попросим, чтобы привезли на вельботе.

— А в селе-то хоть что-нибудь осталось на складе? — встревоженно спросила Валентина Сергеевна. — Ведь парохода-снабжения еще не было.

— У Кондратьича всегда есть запас, — уверенно сказал Инки, имея в виду заведующего сельским магазином. — Всю зиму ходили вездеходы из бухты Преображения — возили.

Мирное течение беседы нарушил громкий звук зуммера, донесшийся из вездехода. Инки быстро поставил чашку на деревянный столик и заспешил к машине.

Это был командир вертолета.

— Вот что, Инки, — сказал он. — Тут твоя дочь летит с молодым человеком, но Нанок не разрешает посадку на острове.

Инки спросил:

— Разве он стал начальником аэропорта?

— Да нет! — В трубке послышался смех. — Началь-

ник аэропорта у нас прежний, Александр Иванович. Нанок говорит, что на лежбище начали вылегать моржи да на птичьем базаре вылупились птенцы...

Василий Иванович Нанок возглавлял районную охотинспекцию и обязан был следить за лежбищами, птичьими базарами и нерестилищами лососевых. По его рекомендации изменялись маршруты полетов местных самолетов и вертолетов. Распугать лежбище ничего не стоило: только раз пролетит мимо вертолет, и нужны годы, чтобы моржи снова вернулись на старое место. То же самое и с птичьими базарами.

— Пусть тогда летят в Кыннот, а оттуда вельботом добираются до стойбища.

— Так я и объяснил твоим ребятам, — сказал пилот. — Но, честно говоря, самому мне хочется к тебе на остров... Красотища, наверное, у вас...

Инки положил трубку и легко спрыгнул с вездехода на сухую моховую кочку. Прежде чем вернуться в ярангу, он снова огляделся вокруг. Удивительно... Раньше он в общем-то и не особенно задумывался о красотах родной земли. Ну что уж такого особенного вот в этой земле, галечных берегах, острове, кое-где покрытом тонким слоем почвы, скалистых выходах у вершины холма? Разве только вот это разноцветье, чистота, морской берег с отполированной галькой и огромный простор, воистину безграничная даль и чистый, напоенный морской солью и запахом теплой тундры воздух?..

Именно по этому простору и воздуху тосковал Инки, когда ему ненадолго приходилось отлучаться из тундры. Он ездил в Магадан на слет оленеводов, раз пропутешествовал до Москвы и Ленинграда, когда еще Светлана-Кэргына училась в школе. Путешествие оставило заметный след в памяти. И поныне возникали вдруг полузабытые подробности, странные и смешные случаи. До сих пор всплывал недоуменный вопрос: почему в больших городах в домах делают огромные двери, а люди ходят в одну маленькую, боковую? Это Инки никак не мог понять. Спрашивал, но никто толком не мог объяснить. Даже ученый-археолог, который обмерял и фотографировал старинное святилище — аллею Китовых костей — и спрашивал у Инки, что бы могли значить эти сооружения, выслушав вопрос, лишь недоуменно пожал плечами. Инки мог и не знать ничего о древней Китовой аллее, потому что она всегда тут была, с незапамятных вре-

мен, по ведь двери в городах делались в новейших домах!

Может быть, и вправду здесь красиво? Скорее всего, это так. Нынче много разговоров о том, что надо беречь тундру, природу. Да и без этих разговоров Инки свой вездеход водил летом только по гальке, чтобы не рушить кочкарники и моховой покров. Это ведь и дураку ясно, безо всякой борьбы за сохранение природы. Зимой можно ездить по мерзлой тундре: даже от тяжелого тягача не остается следа на окаменевшей поверхности. Но летом... Как-то довелось лететь над анадырской тундрой. На многие десятки километров окрест одного из приисков земля была перепахана тракторами и вездеходами, и здесь, конечно, много лет уже ничего не будет расти.

— Они полетят в Кыннот, а оттуда — вельботом, — объяснил Инки домочадцам, садясь за столик и берясь за остывшую чашку.

— Отчего так? — встревоженно спросила жена.

— Охрана окружающей среды, — по-русски ответил Инки, а для бабушки добавил по-чукотски: — Чтобы не тревожить моржей на лежбище.

После завтрака Инки прикинул время и решил, что Светлана-Кэргына со своим спутником раньше пяти вечера никак не смогут приехать: вельботы сегодня наверняка пойдут за моржом к старой Чаплинской косе. Есть время наведаться в стадо. Его дежурство по графику послезавтра, но, как бригадир, Инки иногда появлялся в стаде в неурочный час. Не затем, чтобы лишний раз проверить пастухов, нет, он доверял им, а просто не мог долго быть в безделье, и на душе спокойнее, когда рядом олени.

Переобувшись в легкие летние торбаса со свежими травяными стельками, Инки подержал в руках кухлянку и решил идти в одной клетчатой рубашке, — тепло.

Захватив газеты, прибывшие со вчерашним вечерним вельботом, Инки двинулся в путь к северной оконечности острова. От стойбища он сначала взял прямо на восток. Кочки пружинили под ногами, норовя вывернуть ступню, иной раз под ними чавкала вода. Морошка стояла еще красная, лишь изредка попадалась налившаяся до желтизны. Такие ягоды Инки брал на язык и долго держал во рту, с наслаждением ощущая приятную нежную прохладу. На отдаленных кочках, на каменистых россыпях

торчком стояли евражки¹ и посвистывали вслед идущему.

Китовая аллея осталась далеко на юге. Стало прохладнее. На самой вершине острова, рядом с нетающим снежником, Инки остановился передохнуть. Он с наслаждением напился студеной — до ломоты в зубах — воды, вытекающей из-под заледевшего дна снежника, и присел на нагретый серый замшелый камень. Отсюда по гребню путь лежал прямо на север. Внизу, на восточном берегу, виднелось коричневое пятно лежбища. Сквозь отдаленный гул морского прибоя доносился хрюкающий рык моржового стада. Здесь, на заповедном месте, никто не охотился на морских зверей. На памяти Инки, в середине пятидесятых годов, когда никто не контролировал охоту, лежбище чуть было не исчезло. После этого понадобилось почти четверть века, чтобы морские звери вернулись на старое место. А ведь, по рассказам стариков, в трудные времена камчатенское лежбище снабжало мясом и жиром население пяти окрестных селений. Здесь моржей всегда берегли, как бы оставляли про запас, и только если выпадал скудный год и грозила голодная зима, сюда, на лежбище, выходили снаряженные острыми копьями охотники.

Правда, нынче моржовое и тюленье мясо не в большом почете среди местного населения. Приедешь в тот же Кыннот, зайдешь к знакомому — чего только нет у него на столе! Болгарские консервы, тушенка, курица в желе, сгущенное молоко, разные там овощи и фрукты, совсем нередко апельсины! А свежего моржового и тюленьего мяса не допросишься! Но ведь своя исконная пища — самая здоровая для северянина.

Остров Камчатен летом часто навещали разные ученые люди. Побывала здесь и экспедиция Магаданского комплексного научно-исследовательского института. Руководитель экспедиции Роберт Мавичюс, выслушав рассуждения Инки о пользе исконной пищи, горячо поддерживал его и добавил, что в мясе морских зверей есть все, что нужно для человека, живущего на Севере. «Все микроэлементы и аминокислоты», — сказал ученый.

Но, как давно заметил Инки, мало кто в обыденной жизни выполняет ученые рекомендации. Вроде бы доказан вред курения, а курят всюю! То же самое с винопи-

¹ Ев р а ж к а — тундровый суслик.

тием. Не говоря уже о чревоугодии и других излишествах... Или вот оленеводство. Вроде бы и опыт есть многовековой, и научные институты впрямь кое-что открыли, но в самом оленеводческом стаде, если нет нажима со стороны ветврача и зоотехника, никто научных рекомендаций не исполняет. Уж на что простейшее дело: опрыскать оленей жидкостью от овода, чтобы шкура была цела, — и этого не делают...

Стадо паслось недалеко от второго большого снежника. Так оно и будет находиться там, постепенно отдаляясь от большого белого пятна к морскому берегу. Недели через три уже начнет чуть холодать, особенно по ночам. Но оленям будет хорошо в долине островной речки.

Среди тундрового разнотравья резко выделялась белая палатка пастухов.

Еще издали Инки услышал шум примуса и с удовольствием подумал о кружке крепкого тундрового чая.

Михаил Тнеру показался из-за палатки.

— Амын етти! — сказал он. — Чего пришел? Мы тут сами бы справились.

Очевидно, он слышал радиоразговор с летчиком.

— Оленя надо забить, — в оправдание сказал Инки. — Гости будут.

— Знаю, слышал, — подтвердил догадку Тнеру.

Попили чаю и отправились в стадо.

Личных оленей у Инки было около двух десятков. Их могло быть и больше. Но с того памятного вечера, когда он посетил школьный интернат в Кынноте, к каждому празднику стал посылать в подарок ребятишкам оленью тушу. Первое время директор школы-интерната пытался отказываться от дара, объясняя, что государство и так в достаточном количестве снабжает учащихся и питанием и одеждой. Но Инки твердо возразил, что сам он в некотором роде тоже часть государства и тоже обязан заботиться о детях, тем более о будущих оленеводах.

Григорий Кэвэв сидел на дальнем пригорке и зорко следил за стадом. В летнее время на острове просто благодать. И не страшно, если олени и разбегутся. Куда они уйдут — ведь кругом море! Зато зимой будет жарче, чем даже в сегодняшнюю погоду. Для бригады Инки остались худшие зимние пастбища, отдаленные, подверженные гололеду и открытым ураганам ветрам. Так что ни

у кого не поворачивался язык попрекнуть его теперешними благодатными условиями. Хотя, честно сказать, пастбища на острове не больно и богатые, скорее тощие. Тут надо много бегать, искать прогалины, склоны, откосы и гнать туда стадо, чтобы олени набирали вес, не теряли упитанности, чтобы телята росли здоровыми.

— Етти, товарищ командир! — Кэвэв вскочил и приложил правую ладонь к голове. — Во вверенном мне оленьем стаде потерь не имеется, происшествий и нарушений границы нет! Докладывает будущий солдат Советской Армии Григорий Кэвэв!

Собираясь поздней осенью в армию, Кэвэв в шутку перевел свои отношения с бригадиром и старшим пастухом на армейский лад. Михаила Тнеру он возвел в старшие сержанты, стойбище называл Ставкой Верховного командования, а бабушка Тутына именовалась у него Главным маршалом по тылу.

Инки с улыбкой выслушал рапорт парня, думая про себя, как еще много детского в нем. Поиграв в солдата, Кэвэв перешел на чукотский язык, на котором уже прилично изъяснялся. Вместе выбрали оленя на убой, зарканили, свалили, освежевали. Отрезав грудинки пастухам, Инки взвалил на себя тушу и отправился в обратный путь.

2

Он медленно и размеренно шагал по кочковатой тундре, думал о дочери, о ее предстоящем приезде, и сердце его наполнялось нежностью и теплом. Светлана-Кэргына родилась в тундре, когда Инки уже стал оленным человеком. Там, в Кынноте, осталась его первая жена, не пожелавшая вместе с ним переселиться в тундру, двое сыновей, нынче взрослых, уже женатых, с детьми. Валентину Сергеевну Инки встретил на третий год своего пастушества, когда девушка приехала в стойбище по направлению районного комитета комсомола чумработницей.

Переселению Инки в тундру предшествовали драматические события в его жизни.

Это случилось в конце пятидесятых годов.

Колхоз, носивший гордое название «Заря коммунизма», влачил жалкое существование и не разваливался только потому, что жители Кыннота не особенно полага-

лись на результаты общественного труда, охотились сами по себе, как повелось испокон веков, обеспечивали себя продуктами питания, шкурами, кожами на одежду. В конце лета, следуя старинной традиции, ездили в тундру и выменивали у оленеводов шкуры для кухлянок и постелей. Кое-что из продукции все же шло в общественный котел, и раз в год председатель колхоза Гэмауге ездил в райцентр и привозил на трудодни небольшие деньги. Никто на них и не рассчитывал, и эти деньги были вроде неожиданного подарка.

И вот однажды зимой Гэмауге в очередной раз собрался в бухту Преображения, в районный центр, а через три дня вернулся оттуда в сопровождении председателя райисполкома Никифора Яковлевича Ступина. Встречавшие упряжку подумали, что Гэмауге неожиданно заболел: такой у него был нехороший и несчастный вид. Собрали сход, и Никифор Яковлевич рассказал изумленным односельчанам, что Гэмауге потерял мешок с деньгами, пока пил с приятелями.

Гэмауге, высокий степенный человек, на этот раз выглядел жалко. Стоя на трибуне, он обливался потом, хотя в сельском клубе, как обычно, температура не поднималась выше нуля. Он только и мог промямлить, что мешок с деньгами лежал у него в номере гостиницы под подушкой. Кто его украл, он никак не мог взять в толк: много народу проживало в большой комнате — одни приезжали, другие уезжали...

Никифор Яковлевич в конце своей речи сказал, что Гэмауге заслуживает суда и заключения в тюрьму. Но прежде надо просить совета у земляков провинившегося.

В клубе долго царила тишина. Под потолком сгущался пар от дыхания, и кое-где уже начало капать. Потом встал старик Ельо. «За такую ерунду в тюрьму? — спросил он. — Деньги-то наши. Считайте, что мы их одолжили ему. А потом, он ведь не пропил их, а кто-то украл. Он-то тут при чем? Пусть не пускают воров на Чукотку, вот об этом надо заботиться райисполкому. А что касается Гэмауге, то с ним мы сами разберемся». — «И что же ты предлагаешь?» — сердито спросил Никифор Яковлевич. «Предлагаю, — задумчиво сказал Ельо, — Гэмауге с председателей снять, а долг простить... Под суд ни в коем случае не отдавать! Мы с ним создавали этот колхоз еще в двадцатые годы. Шаманы его хотели убить,

из винчестера в него стреляли, а вы его — под суд...» Похоже, что Никифор Яковлевич был сильно раздосадован и удивлен.

Гэмауге из партии исключили. Но самое удивительное было в том, что в председатели выдвинули Инки. Правда, в селе он был один из самых грамотных: окончил семь классов, много читал, хорошо говорил по-русски. Охотник он был удачливый, жил скромно, растил сыновей, но ничем таким особым не выделялся. Но когда тот же Ельо назвал его имя, все вдруг зашумели, загалдели, словно только этого и ждали. Тут, конечно, играло роль и чувство облегчения: Гэмауге останется в селе, не пойдет в тюрьму, на земле одним несчастным будет меньше. И еще одно: Инки не брал в рот спиртного.

Никифор Яковлевич знал Инки и согласился с мнением собравшихся рекомендовать на пост председателя Инки, охотника колхоза «Заря коммунизма».

Так Инки стал председателем.

И вот настала его очередь ехать за деньгами в районный центр. Это случилось на переломе зимы, почти в предвесеннее время. Солнце уже высоко стояло над горизонтом, и дорога до бухты Преображения заняла всего три часа — давно не было пурги, снег уплотнился и затвердел, и полозья легко катились по насту.

Уже на подходе к райцентру Инки заметил, что с разных направлений к поселку тянутся собачьи упряжки. Несколько нарт шли со стороны Чаплинской косы. Инки догнал их, и эскимосы сообщили о том, что сегодня в бухте Преображения состоится комсомольская свадьба: его старый знакомый, капитан портового буксира эскимос Алитку выдавал свою дочку, медсестру местной больницы, за крановщика Васю Чернухина. В те годы такого рода браки еще были редкостью. Но главное — по этому случаю в поселковом клубе после комсомольского обряда предполагалось эскимосское торжество с песнями и танцами под бубен, обтянутый кожей моржового желудка. Начало — в половине седьмого.

Прямо на нарте Инки подъехал к банку, но оказалось, что сегодня деньги получали многочисленные учреждения районного центра. Когда наконец подошла очередь Инки, время уже было на пределе. Инки быстро кинул тугие пачки денег в матерчатый мешок с завязкой и выскочил из банка. Холодный вечерний ветер остудил

его лицо, и тут он вспомнил бедного Гэмауге... Но что делать с мешком? Не идти же с ним в клуб! Где пристроить мешок до завтрашнего дня или хотя бы до окончания торжества? Лихорадочно соображая, он бежал к клубу. И едва не сбил с ног человека. Это был высокий, представительный мужчина. На его шапке-ушанке красовалась какая-то кокарда. «Полегче, земляк, полегче, — густым, мягким голосом произнес он. — Уж не на пожар ли?» — «В клуб! — воскликнул Инки. — На торжественное бракосочетание!» — «Тогда спешите!» — сказал встречный. И тут Инки озарило: почему бы не дать мешок на сохранение этому солидному, доброму на вид человеку? Он явно какой-то начальник. Простой человек не станет на зимнюю шапку цеплять кокарду. «Товарищ начальник! — запыхавшись, едва выговорил Инки. — Хочу вас попросить... Хочу вам отдать этот мешок с деньгами. На сохранение. А то вдруг потеряю... Возьмите, пожалуйста, прошу вас...» Начальник оторопело посмотрел на Инки, покосился на мешок. «На сохранение, говоришь?.. Гм... На время?..» — «Да, на время! — обрадованно воскликнул Инки. — Завтра я приду в семь вечера вон туда, к кинотеатру „Маяк“». Начальник посмотрел на место, куда показал Инки, взял мешок, подержал, словно взвешивая, и медленно спросил: «Доверяешь, значит?» — «Доверяю, доверяю!» — торопливо выкрикнул Инки, убегая по направлению к клубу.

Усаживаясь на стул в тесном зале поселкового клуба, Инки мысленно похвалил себя за сообразительность.

В этот вечер он с легким сердцем и хорошим настроением слушал древние напевы, разговаривал со своими знакомыми, толковал счастливому Алитку, какие большие планы у колхоза «Заря коммунизма», поздравлял молодоженов, звал их работать в село.

А потом вместе с другими гостями его пригласили за праздничный стол. Инки не пил спиртного, зато попробовал все закуски, даже мучно стало в животе.

Утром он крепким чаем прояснил не совсем свежую после вчерашнего голову и отправился на лед бухты посмотреть и покормить собак. До вечера еще было далеко. Инки прошелся по магазинам, купил гостинцев сыновьям, матери жене на новую камлейку. На дневном киносеансе посмотрел фильм «Кубанские казаки», позавидовав счастливой жизни казаков. Выходил он из кинотеатра с решимостью сделать жизнь в родном Кынноте

не хуже, чем в киношной станице. Надо только взяться за дело с умом, толково. Главное — честно и добросовестно работать!

Зимнее солнце скрылось за сопкой, когда Инки подошел к условленному месту и принялся ждать. Однако начальник запаздывал. Ну что же, большие начальники имеют обыкновение задерживаться на работе. Мало ли — какое-нибудь срочное дело или неотложное заседание. А то пришел человек с нуждой, надо помочь... Интересно, кем все же работает новый знакомец? Должно быть, в каком-нибудь строгом учреждении. Правда, на милицию не похоже. Милицейскую форму Инки хорошо знал. Может, в прокуратуре? Или еще где-нибудь. В конце концов, самое главное — мешок в надежных руках и в надежном месте. Небось когда новый знакомец пришел в свое учреждение, то положил деньги в большой железный ящик с хитроумным замком, который Инки видел у банковского кассира. Такой ящик сейфом называется, и, говорят, если забудешь шифр — комбинацию чисел на замке — его ничем не открыть. Может, такое случилось и человек не может открыть толстую железную дверцу сейфа? Но эта мысль мелькнула только на мгновение, сменившись неутраченным чувством благодарности, которое продолжал испытывать Инки к человеку с кокардой несмотря на то, что против назначенного часа прошло довольно много времени.

Вот кто-то показался... Сердце подпрыгнуло от радости: идет!

Но чем ближе становился прохожий, тем было яснее, что это не тот, явно не тот. Шел председатель райисполкома Никифор Яковлевич...

— А, Инки? Здравствуй! Как дела в Кынноте?

— Нормально, план выполнили... На трудовни кое-что начислили. Вот приехал деньги в банке получить.

— Это хорошо, — удовлетворенно произнес Никифор Яковлевич, улыбнулся и наказал: — Денежки-то береги! Помнишь Гэмауге?

— Что вы, Никифор Яковлевич! — Инки даже несколько обиделся. — Деньги у меня в надежном месте!

— Когда собираешься обратно?

— Завтра поутру, — ответил Инки, подумав, что, если бы тот человек принес деньги в пазначенное время, можно было бы пуститься в дорогу и сегодня вечером.

— Ну, счастливо! — сказал Никифор Яковлевич. —

На днях собираюсь к вам. Поговорить об объединении с оленеводами.

— Приезжайте, Никифор Яковлевич, — с искренним чувством произнес Инки, вспоминая, как председатель райисполкома говорил хорошие слова о нем, соглашаясь с сельским сходом, когда выбирали нового председателя колхоза.

Никифор Яковлевич удалился, скрылся за двухэтажными деревянными домами.

От долгого стояния на холоде застыли ноги. Инки несколько раз прошелся вокруг кинотеатра, потом с испугом подумал: а вдруг тот человек увидит издали, что никто его не ждет, и двинется обратно? Пришлось вернуться на место и стоять, притопывая ногами. Каждый раз, когда вдали показывался человек, Инки загорался надеждой. Но эта надежда улетучивалась с такой же скоростью, с какой Инки распознавал, что это не тот, кого он с таким нетерпением ожидает. Появились нехорошие мысли. Но Инки с негодованием отгонял их, будто кто-то злой, нехороший, подозрительный извне нашептывал их ему. Зря, конечно, не спросил, где работает или хотя бы где живет новый знакомец. В крайнем случае можно наведаться к нему на работу или домой. . .

Прохожих становилось все меньше.

Давно разошлись зрители последнего сеанса, среди которых Инки тщетно выискивал знакомое добродушное лицо. В домах один за другим гасли огни, и надежда сменялась досадой, злостью на себя: хоть бы имя, фамилию спросил. . .

Уже далеко за полночь Инки с трудом проник в гостиницу: дежурная, полагая, что это пьяный ломится, долго не открывала. Осторожно раздевшись в темном номере, стараясь не разбудить соседей, Инки улегся, но заснул не сразу.

Было и обидно и досадно на себя за глупую, ребячью доверчивость. Под утро, уверившись в мысли, что тот человек хочет немного наказать его, ненадолго уснул.

Рано утром Инки вышел на главную улицу районного центра — набережную Дежнева, встал на видном месте, провожая пристальным взглядом каждого идущего на работу в надежде увидеть среди них того, с кокардой. Несколько знакомых остановились поговорить, но Инки, не расположенный беседовать, все смотрел поверх и мимо, выискивая среди прохожих нужное ему лицо. Про-

шли все секретари райкома, председатель Никифор Яковлевич на ходу спросил:

— Ну что, собрался в дорогу?

— Собрался! — ответил Инки и почувствовал, что покраснел.

Почти весь день проторчал на улице Инки, до полуночи топтался у кинотеатра, все более прислушиваясь к словам, громче и громче звучащим у него в душе: обманули тебя как последнего дурака!

Через три дня Инки появился в приемной председателя райисполкома. Секретарша доложила о его приходе, и, когда Инки вошел в просторную комнату с большими окнами на створ бухты Преображения, Никифор Яковлевич с удивлением спросил:

— Ты что? Так и не уехал? Да на тебе лица нет! Заболел?

— Здоров я, — прохрипел Инки. — Деньги потерял.

Никифор Яковлевич несколько минут ошеломленно смотрел на него и потом произнес хорошо знакомые слова:

— Водка виновата!

— Я водки не пью! — уныло сказал Инки.

Председатель заставил в подробностях рассказать о том, как все случилось. Инки говорил словно во сне, потом смотрел и слушал, как Никифор Яковлевич куда-то звонил, с кем-то разговаривал. . .

— Ты сможешь узнать его в лицо?

Инки молча кивнул.

Вместе с Никифором Яковлевичем Инки побывал в милиции, съездил на другой берег бухты, где некоторые сотрудники полярной станции донашивали старую форму Главсевморпути с фуражками, заглянули на гидрографическую базу. . .

Но того человека нигде не было.

— Не мог же он уехать из райцентра! — несколько раз повторил Никифор Яковлевич. — Не мог!

Чем больше хлопотал и кипятился Никифор Яковлевич, тем спокойнее становился Инки. Он уже не чувствовал ни досады, ни жалости к себе, только безмерную горечь и недоумение: как мог тот человек так поступить?

— Нет, мы его найдем! — грозился Никифор Яковлевич. — Пусть посидит годков десять в тюрьме! Сволочь!

Последнее учреждение, которое они посетили, была

районная пожарная инспекция. Тот человек сидел за письменным столом светлого дерева и что-то писал. Сидел он, конечно, без шапки с кокардой, но это был он. Когда Инки с Никифором Яковлевичем переступили порог, человек за столом побледнел.

— Кожура, — обратился к нему Никифор Яковлевич, — созови-ка сюда всех твоих сотрудников.

Сначала Инки хотел было сказать, что нечего звать остальных, вот он, человек, которому он оставил деньги на хранение. Но Кожура так быстро выскочил из комнаты, что Инки не успел ничего сообразить.

Через минуту в комнате набилось полно народу. Никифор Яковлевич повернулся к Инки и попросил:

— Посмотри хорошенько... Нет ли его тут?

Но Инки смотрел только на Кожуру, а тот... Тот вроде бы даже как-то подмигнул. Или показалось? Может, отдаст потом? Чего подводить человека под тюрьму?.. Ну, слабость проявил. Не сам ли Инки виноват: отдал деньги первому встречному! Еще неизвестно, кто из них хуже поступил... Глаза Кожуры явно что-то пытались сказать Инки. Пожарный начальник буквально ловил взгляд, по его лицу пробегала судорога, губы кривились.

Инки повернулся к Никифору Яковлевичу и устало произнес:

— Нет... Здесь его нет...

Кожура вытер платком вспотевший лоб и с дрожью в голосе спросил:

— А что, собственно, случилось?

— Не ваше дело! — неожиданно грубо ответил председатель райисполкома и бросил Инки: — Пошли!

На улице Никифор Яковлевич каким-то уничижительным и даже презрительным тоном сказал:

— Ну как ты мог отдать деньги первому встречному? Что за ребячья доверчивость?

Инки молчал. На душе у него было и противно и неожиданно легко: Кожура явно сигнализировал ему глазами, пытаясь, видимо, сказать: приходи один, и я отдам твой мешок.

— Завтра вместе поедem в Кыннот! — с мрачной решимостью сказал Никифор Яковлевич, прощаясь с Инки у здания исполкома.

— Может, и не придется вам ехать, — тихо произнес Инки.

— Это почему?

— Я еще поищу сам, — неопределенно, несколько загадочно произнес Инки.

Найти дом, где жил Кожура, оказалось нетрудно. Это был так называемый балок, деревянный покосившийся домик, недалеко от порта. Из железной трубы валил густой черный угольный дым, и в нем то и дело поблескивали искры.

Кожура сам открыл дверь и от неожиданности, встретившись с улыбающимся взглядом Инки, отпрянул в тесные сени. Инки шагнул вслед.

— Вы зачем? — овладев собой, сердитым шепотом спросил Кожура.

— За деньгами, за мешком, — не переставая улыбаться, ответил Инки.

— За каким мешком? Вы с ума сошли! Уходите отсюда!

Кожура шептал, приблизив потное, искаженное от страха лицо к Инки, брызгал слюной.

— Никто не видел! Ни одного свидетеля нет! Попробуешь назвать меня — сам угодишь в тюрьму за клевету... Понял ты, чучмек несчастный?

Инки не знал, что такое чучмек. Но в эту минуту он почувствовал, что достоин этого, по всему видать, обидного прозвища.

Со скрипом отворилась обитая оленьими шкурами дверь, и на Инки с любопытством, смешанным со страхом, уставились три пары глаз. Две девчонки-погодки лет по пять-шесть и жена Кожуры.

— Что случилось, Мирон?

— Да тут пьяный чукча... Приедут в райцентр, налакаются, а потом бродят по домам, беспокоят граждан... Уходи, уходи! А то милицию позову!

И тут Инки понял, что нет на свете никакой такой силы, которая заставила бы этого человека отдать попавшие в его руки деньги.

Отступая назад, к входной двери, Инки неожиданно для себя пробормотал:

— Извините...

На колхозном собрании после сообщения Никифора Яковлевича земляки, выслушав объяснения Инки, вынесли такое решение: просить не отдавать Инки под суд; долг ему простить, но с председателей снять. Словом, повторилась такая же картина, что и с Гэмауге.

Вдобавок Инки исключили из партии.

После этого никто из земляков Инки не захотел занимать пост председателя колхоза. А когда прислали из района нового, русского, Инки ушел в тундру оленним пастухом. Сначала он просто хотел заработать денег, чтобы понемногу расплатиться с долгами. Копия ведомости у него сохранилась. Да и деньги сами по себе были не больно велики, и в три года Инки расквитался с долгом. Но возвращаться в Кыннот он не захотел, так и остался оленеводом.

Время от времени он бывал в районном центре, иногда сталкивался с Кожурой, который давно перебрался в хороший каменный дом, но тот смотрел всегда мимо Инки, словно вместо него было пустое место.

...Все реже вспоминал Инки происшествие, случившееся с ним много лет назад. Сам он с тех пор переменял отношение к деньгам. Особенно как стал зарабатывать больше. Старался подальше держаться от них. Всю зарплату Инки колхозная контора переводила на его сберегательную книжку, но тратил он совсем немного. Даже когда колхоз преобразовали в совхоз и пастухов посадили на твердый оклад, Инки это мало заинтересовало. Лишь в последние три года жена раз в месяц посылала денежный перевод Светлане-Кэргыне в Ольский сельскохозяйственный техникум. Както заведующая сберкассой уважительно заметила Инки:

— Вы у нас самый крупный вкладчик.

Однако Инки не то что презирал деньги, а, скорее, был к ним равнодушен. Он знал, что его работа оценивается в рублях, но у него самого были другие мерки.

Инки остановился передохнуть. Это был последний привал перед тем, как дорога пойдет вниз, к ярангам, белеющим вдаль, у полосы гальки, окаймляющей морской берег. Присев на теплую моховую кочку, Инки прислушался к своему сердцу: оно билось ровно и сильно. Он был доволен своим сердцем. Особенно после приезда передвижного медицинского отряда, когда молодой врач, сделав электрокардиограмму на портативном аппарате, с удивлением произнесла:

— Ого! Да у вас сердце как у восемнадцатилетнего! Приложив к глазам ладонь, Инки посмотрел на про-

лив, отделяющий остров от материка, и заметил белое пятнышко плывущего к стойбищу вельбота. Торопливо вскинув на спину тяжелую ношу, Инки зашагал в стойбище.

3

Молодые еще спали в своем пологе. Оба высунули головы в чоттагин, и волосы их смешались. Пока бабушка готовила чай и немудреный завтрак, Инки время от времени поглядывал на спящих и чувствовал в сердце растущую нежность.

Вчера, встречая их, Инки заметил, как переменялась дочка и явно преуспела в искусстве раскраски собственного лица. Не говоря о лакированных ногтях и крашенных губах, вокруг глаз еще что-то было наведено. Бабушка бесхитростно воскликнула:

— Что же ты, Кэргына, так закоптила глаза!

А уж если признаться откровенно, то своего будущего родича он представлял несколько иначе. Но что поделаешь, если Светлана-Кэргына вот уже несколько лет только гостя в родном стойбище. Бывает, что и год целый ее не видишь. Где же она могла там, в больших поселках и городах, найти настоящего тундрового человека?

Петр Купки — так звали парня, приехавшего вместе со Светланой-Кэргыной, — родился в районном центре, селе Лаврентия. Его родители работали всю жизнь на конторских должностях, и странно было, как это Петр Купки решил поступить в Ольский сельскохозяйственный техникум, если об оленеводстве, по собственному признанию, имел самое смутное представление.

— Живого оленя увидел только в подсобном хозяйстве под Магаданом, — признался он за ужином.

— А летом разве в тундру не ездил? — с удивлением спросил Инки, вспомнив, как в его бригаду не раз приезжали школьники из Кыннота.

— Летом меня отправляли в пионерский лагерь, — гордо ответил Купки. — В Артеке три раза был! — Оглядев стены яранги, парень вдруг спросил: — А где оркестр?

Видимо, дочка рассказала жениху о премии ВДНХ. В позапрошлом году прямо из Анадыря попутным вертолетом в стойбище доставили полный комплект духового

оркестра — премию за высокие достижения в оленеводстве. Многочисленные медные трубы и барабаны недолго обременяли кочевых людей. Сельскому клубу такой оркестр был ни к чему — там издавна играл струнный. Посоветовавшись с членами бригады, Инки подарил духовой оркестр новому районному клубу.

Узнав, что оркестр подарен, Купки с сожалением произнес:

— Чего же за так дарить? Можно было продать. Такие вещи дорого стоят.

Потом гость поинтересовался автомашиной «Москвич», удивив Инки осведомленностью об их материальном положении. Машину — премию той же выставки — привезли лет пять назад. Она так и стояла возле сельского дома Инки нераспакованной, в большом деревянном ящике. Все некогда ею заняться. Приедешь в село — столько дел наваливается, не до машины. Но самое главное — ездить в Кынноте некуда, нет дорог для колесного транспорта. Два трактора и три вездехода вполне справлялись с перевозками внутри центральной усадьбы.

Светлану-Кэргыну Купки ласково называл лапой, лапушкой. По-русски, разумеется. По-чукотски он хоть и говорил, но мало, все норовил перевести разговор на русский, хотя это было бестактно по отношению к бабушке, которая, кроме чукотского, не знала других языков.

Но вообще, если не придирааться, парень видный, знающий. Когда увлекался, его даже интересно было слушать. Особенно любил он мечтать о будущей жизни. О том, как они со Светой заживут в Анадыре, будут работать в окружном отделе управления сельским хозяйством.

«Сразу в начальство метит», — подумал про себя Инки.

Инки осторожно пил чай, стараясь не слишком шумно втягивать в себя горячий напиток, искоса поглядывал на спящих. Снаружи гремела железными кастрюлями Валентина Сергеевна. Инки вышел из яранги и попросил знаком жену, чтобы не шумела, но, возвратившись, увидел Купки у очага. Парень был в одних плавках и в майке с иностранной надписью. Выкопав из недр памяти остатки школьных уроков английского, Инки с удивлением прочитал: «Я тебя люблю»...

— В стадо собираетесь? — спросил Купки.

— Да.

— А можно мне с вами?

— Конечно! — искренне обрадовался Инки. Вот уж чего-чего, а этого он не ожидал. — Я тебя подожду... Валя! Иди принеси, что надеть Купки.

Главное — обувь. Нашлись почти новые летние торбаса. А поверх Купки натянул нейлоновую куртку с японскими иероглифами на левом нагрудном кармане, которые Инки, разумеется, при всем желании не мог расшифровать.

Шли привычной дорогой через вершину острова, мимо снежниц, питающих островные потоки. Утро медленно расцветало в прекрасный, ясный, теплый, по-настоящему летний день. Такая погода может продлиться недели полторы, как раз большую часть срока, на который приехала дочка. Остальную часть каникул молодые предполагали провести в селе Кыннот, а потом собирались в село Лаврентия, к родителям Петра Купки.

Инки рассказывал об истории острова, о моржовом лежбище. Чтобы увидеть его, сделали крюк, спустившись к восточному берегу. У галечного пляжа кипела вода, и от ревушего моржового стада отчетливо доносился тяжкий, нестерпимый дух.

— Ух, как воняет! — отворотил нос Купки от берега.

Инки усмехнулся. В давние времена это был самый желанный дух для морского охотника, знак и залог спокойной зимы, когда и людям и собакам было вдоволь еды и очаги в зимних полах из оленьих шкур не гасли. Давно ушли те времена, но Инки еще застал их отголоски. Времена неуверенности, постоянной тревоги: будет ли добыча? А нет добычи — и есть нечего, и в яранге холод, и даже нет жира, чтобы заправить каменную плошку... Сегодня Инки — рабочий, представитель правящего класса страны. У него гарантированная зарплата, которая, естественно, зависит от конечных результатов работы. А вот те, которые трудятся на центральной усадьбе, особенно на строительстве, на подсобных работах или в конторе, даже если ничего не производят, все равно получают и аванс и зарплату. Есть на что купить еду, в дом идет тепло от центральной котельной, и долгими темными зимними вечерами горит электричество.

— Вот сейчас побудешь в стаде и поймешь, какое это хорошее дело — быть оленеводом, — осторожно предположил Инки, отводя парня от моржового лежбища.

Он к Купки обращался подчеркнуто вежливо, особенно когда говорил по-русски, но, даже беседуя с ним на родном языке, Инки выбирал выражения, которые обычно употребляются в разговоре со старшими и уважаемыми людьми. Такой уж у Инки характер: всю жизнь он страдал от своей врожденной деликатности и стеснительности, боялся показаться смешным и назойливым. Хотя в кругу хорошо знакомых и близких становился веселым и общительным, щедрым на шутку, любил потолковать о жизни в тундре, иной раз даже отваживался обсуждать международные проблемы.

— Теоретически я представляю, что такое оленья стадо, — ответил Купки.

— Ну, одно дело — теория и совсем другое — практика, — отозвался Инки.

— Это я понял сразу, как только мы приплыли на остров, — усмехнулся парень. — В нашем техникуме на стенах кабинета оленеводства висят плакаты: «Типовое оленеводческое стойбище», «Структура стада» и так далее... Стойбище там — ну прямо антарктическая научная станция: сборные домики, баня, радиостанция... Красота!

— Нарисовать еще много чего можно, — уныло протянул Инки, хорошо знающий многочисленные проекты тундровых домов, бань, радиостанций. Проектов год от году становилось все больше, но до тундры эти новшества почему-то не доходили.

— А я видел такие домики, — сказал Купки.

— Где? — оживился Инки.

— Во дворе хозяйственного склада областного сельхозуправления. Они стоят уже несколько лет, — ответил Купки. — Мы там были на экскурсии, и инженер неофициально нам сказал, что никак не найдут предприятие, которое бы взялось делать эти домики...

— В яранге пока тоже неплохо, — робко произнес Инки.

— И мне понравилось! — сказал Купки. — Ведь настоящую ярангу я только здесь, на острове, увидел! А до этого — в букваре да в книжках, иногда в кино, где про старую жизнь... А оказывается — ничего страшного. И на оленьей шкуре спать приятнее, чем на поролоновом матрасе.

«Да нет, парень вроде неплохой», — думал про себя Инки, слушая его рассуждения. И шагал Купки по тунд-

ре уверенно, пружинисто, как и полагается истинному оленному человеку.

— А вот вы, товарищ Инки, — продолжал Купки, — настоящая знаменитость. Наши преподаватели часто упоминают вас как пример. Оленеводство ведете грамотно, и показатели ваши самые высокие по области. Можете, какие секреты у вас есть?

— Да никаких секретов у меня нет! — ответил Инки.

Уж этого-то вопроса он не ожидал от своего будущего родича.

В позапрошлом году Инки пригласили на Всероссийское совещание оленеводов в Магадан. Правду сказать, там было очень интересно: съехались пастухи с Кольского полуострова, с Таймыра, из Якутии и соседнего Корякского округа. Инки было предложено выступить и поделиться опытом. Сначала к Инки приставили журналиста, который должен был за него написать речь. Но Инки с негодованием отверг его помощь. «Что я — неграмотный?» — обиженно сказал он. И выступать Инки отказался, заявив, что особого опыта и секретов у него никаких нет. Вот послушать — интересно. И все же случилось так, что его вытащили на трибуну. Чуть ли не силой, по настоянию большого начальника из Москвы, который был наслышан о его успехах. Инки вышел, смущенно отворачиваясь от яркого света прожекторов: совещание щедро снимали для телевидения.

— Никаких секретов нет у меня! — заявил Инки.

Большой московский начальник с улыбкой смотрел на него и, когда Инки собрался покидать трибуну, жестом остановил оленевода и спросил:

— Ну, а почему, я слышал, у тебя выход телят почти сто процентов, а у твоего соседа Миргына только семьдесят три? В чем тут дело?

Инки замялся и неуверенно начал:

— Если хотите знать про секреты, то так и быть — скажу...

— Вот это деловой разговор! — оживился большой московский начальник.

Инки вернулся на трибуну, нагнулся к микрофону и громко произнес:

— Надо работать честно!

— Только и всего? — разочарованно спросил высокий гость.

— Да! — твердо ответил Инки. — Это — главное. Если каждый из нас будет делать свое дело честно, добросо-

вестно, как это водилось у трудового человека испокон веков, все будет хорошо... — И, как бы споря с москвичом, уже тише добавил: — Всего-то делов — работать честно.

Разумеется, на этом большом собрании, богатом многословными речами о достижениях и больших планах, речь Инки не больно и показалась, но простым пастухам она понравилась. Многие в перерыве подходили и благодарили. А оленивод с полярного Урала Чупров, светлицкий и светловолосый, прямо заявил:

— Ты сказал самое существенное, Инки. Главное — честно работать. Чтобы это каждый делал. И я и мой сосед. И чтобы в тундру не возили водку. Ведь тундра — это производство! На завод же водку не возят! А тут, бывает, прилетит вертолет с торговцами, спросишь, что привезли, отвечают: подарки олениводам. Дорогой коньяк, вино... Ну, а после этого стадо распушено, олени разбежались...

Инки не стал рассказывать про Миргына, у которого в стойбище всю весну из макарон варили брагу, пока не извели начисто пищевой продукт.

— И чтобы начальники тоже честно себя вели! — продолжал Чупров. — Сколько пустых обещаний дают олениводам! Уже больше четверти века так и не сделали домики для олениводо́в, хорошие радиостанции, машины, которые бы не рвали тундру... Все только требуют — поделись секретами. У меня тоже никаких секретов — лишь стараюсь, как и ты, делать все честно и добросовестно.

Сама речь Инки, видимо из-за краткости, так и не была напечатана в газете, но он и не больно огорчился. Зато в другом номере — большая фотография и статья о нем, по которой и нашел его названный племянник Гриша Кэвэв.

Оленьё стадо показалось вдали. По сравнению со вчерашним положением оно продвинулось на довольно значительное расстояние, растянувшись по долине островной речки. Такое растянутое стадо трудно пасти, потому что оба пастуха далеко друг от друга. Палатка теперь белела на высоком пригорке у самой воды.

Когда Инки с Купки подошли, чайник уже вскипел, и Михаил Тнеру расставлял на чистом фанерном полотне, служившем в бригаде походным столом, эмалированные кружки, галеты, чай. Над вспоротой острым охотничьим ножом банкой сгущенки гудел толстый тундровый шмель.

Инки представил молодого человека.

Тнеру долго испытующе смотрел на Купку, и этот долгий взгляд начал беспокоить Инки. У Тнеру, велико-лепного знатока оленей, пастбищ, чутьем угадывающего любую перемену погоды точнее метеорологических приборов, была еще одна черта: он все говорил прямо, не утруждая себя никакими дипломатическими тонкостями.

— Где учишься?

— В Ольском сельхозтехникуме, — учтиво ответил Купку, почувствовав холодок со стороны старшего пастуха.

— Зря теряешь время, — сказал Тнеру, принимаясь разливать чай.

— Это почему же? — с оттенком обиды спросил Купку.

— А потому что все те, кто оттуда выходит с дипломами, еще столько же времени должны учиться в тундре, если не дольше, чтобы стать настоящими оленеводами, — пояснил Тнеру.

— А Купку и не собирается задерживаться в тундре, — заметил Инки.

Лучше бы он этого не говорил! И кто его дернул за язык! Уже потом Инки внутренне оправдывал себя тем, что хотел поначалу разговор перевести на шутку. Но уж такое свойство было у Тнеру — о серьезных делах он предпочитал говорить всерьез.

— Куда же метишь? — спросил Тнеру.

— Думаю в Анадыре устроиться, в окружном сельхозуправлении, — с добродушной откровенностью ответил Купку.

— Ты это всерьез?

— Да! А что тут такого плохого? — уже с вызовом спросил Купку. — Если хотите знать, то еще в пионерах мне доверяли руководящие посты!

— Но как же ты собираешься руководить, если ничего не знаешь о нашей жизни, не был пастухом, бригадиром? — с нескрываемым изумлением спросил Тнеру.

— А вы думаете, те, которые сегодня руководят сельским хозяйством, досконально знают дело? — усмехнулся Купку. — Вот приезжал к нам один товарищ из Магадана. Между прочим, начальник. Так вот, он все возмущался, что оленей не доят. И — ничего! Его как раз недавно сделали заместителем председателя облисполко-

ма... А для чего же нас учат, ориентируют на передовое? Думаю, не для того, чтобы мы снова шли в тундру, в ярангу... Мы сделали прыжок из первобытности в социализм, и об этом надо постоянно помнить!.. Мне не надо лишнего, но я рожден жить в городе.

— Но сам-то родился не в городе, — заметил Инки, которому не нравилась вся эта перепалка.

— Ну и что? — пожал плечами Купки. — Уверяю вас: большинство тех, кто сегодня живет в Москве, родились довольно далеко от нее.

— Конечно, — задумчиво проговорил Тнеру, — и в Москве кому-то надо жить. Тем более что там, как я слышал, собираются делать образцовый коммунистический город. Но настоящий коммунизм только тогда коммунизм, когда все — от столицы до стойбищ — живут достойно и достойно работают.

— Вы меня своей агитацией и пропагандой не возьмете, — подняв ладонь, как бы защищаясь, сказал Купки. — Учебник политграмоты я знаю наизусть, у меня, скажу вам не хвалясь, нет ни одной четверки. В нашем техникуме тот, у кого диплом с отличием, может выбирать будущую работу. И я своим правом хочу воспользоваться полностью!

Тнеру вдруг замолк, даже вроде бы втянул голову в широкий воротник летней кухлянки, и принялся молча пить чай.

Он никак не мог взять в толк: взаправду так думает и говорит этот парень или только прикидывается? Уж очень дикими и страшными показались его слова... Ну, хоть бы втихую делал дела парень, а то ведь в открытую прет!

Перед тем как уйти в стойбище, Тнеру отвел в сторону Инки и сказал, глядя ему прямо в глаза:

— Послушай меня: не отдавай дочь за него! Не отдавай! Погубит он твою Светлану-Кэргыну!

— Да что ты! Успокойся! — Инки примиряюще усмехнулся. — Он еще молодой, не все ладно у него в голове, житейского опыта еще нет.

— Нет, опыт у него уже есть! — перебил Тнеру. — Слыхал? С пионерского возраста на руководящих постах! Я таких боюсь, Инки. Вспомни Иру Тэгрынэ.

Еще лет пять назад имя Иры Тэгрынэ гремело по всей Чукотке. И впрямь она прославилась чуть ли не с пионерского возраста. Училась Ира в одном интернате

с Инки и Тнеру в бухте Преображения. Потом ее выдвинули в инструкторы райкома комсомола, оттуда в секретари — и дальше. Через какое-то время Ира Тэгрынэ заняла один из самых видных постов в округе. Вроде бы все было хорошо у молодой женщины. И муж по виду достойный, организатор спортивного движения, сам отличный спортсмен, на горных лыжах катался. Однако стали примечать неладное у землячки. С каждой зимой — новая шуба, на пальцах — кольца с блестящими камнями. Дальше — больше: стали строить новый детсад, так сбоку для Иры Тэгрынэ двухэтажную квартиру пристроили, хотя и так она вдвоем с мужем жила довольно просторно. . . Потом, как стали раскручивать дела райбыткомбината да кожевенного завода, открылось, что темные дела творились не без покровительства начальства. Сняли бедную Иру со всех должностей, а мужа посадили. А она потом ходила по большим окружным и областным начальникам, говоря в свое оправдание: ведь я только и умею что руководить и ничему другому в жизни не обучена. . .

— Да нет, тут дело совсем другое, — произнес после раздумья Инки. — А потом, любовь у них. Перебесится парень и станет нормальным. Сейчас пошлю его сменить Гришу Кэвэва.

Однако прежде чем пуститься в стойбище, Тнеру еще раз предупредил товарища:

— Смотри, Инки, потом будет поздно!

4

— Здравствуй! Етти! — на двух языках приветствовал его Кэвэв. — Я о тебе знаю!

Кэвэв весело и с нескрываемым интересом смотрел на Купку, и в его глазах горело неутоленное любопытство.

— Ну и я тебя знаю, — снисходительно произнес Купку, сразу же по внешности оценив Кэвэва как типичного тундрового парня. — Ну, покажи, что мне тут надо делать.

— Да ничего особенного! — ответил Кэвэв. — Главное, надо следить за тем, чтобы олени не разбредались. Вон особенно та группа. Видишь пээчвака с обломанным рогом? Вредный! Он только и ждет, как отвести оленей в сторону. Смотри за ним. После полудня этот край стада разверни ниже по долине. Пусть часть оленей перей-

дет на другой берег ручья — это не страшно. Перегон на нижнюю террасу сделаешь завтра к вечеру...

— Завтра к вечеру? — с удивлением спросил Купкы. — Это что же — мне до завтрашнего вечера здесь придется торчать?

— Почему торчать? — Кэвэв продолжал улыбаться. — Торчать не придется — бегать надо. Посидишь минут пять — десять, с полчаса побсгаешь... Да ты не волнуйся! Против зимней пастьбы здесь настоящий курорт! Карловы Вары!

— Какие Вары? — с недоумением спросил Купкы.

— Карловы, — уверенно ответил Кэвэв.

Купкы лихорадочно рылся в своей памяти, пытаюсь вспомнить про эти самые Вары.

— Раньше этот курорт назывался Карлсбад, до освобождения Чехословакии, — пояснил Кэвэв.

— А ты что, — осторожно спросил Купкы, — бывал на этом курорте?

— Да ты что! — Кэвэв улыбнулся еще шире. — Я нигде, кроме как на колымском курорте Талая, не бывал. Нас, детдомовцев, возили туда на экскурсию. Дали поплескаться в бассейне с горячей водой, а потом главный врач прочитал нам лекцию о пользе термальных вод. Там я и услышал про Карловы Вары.

— Вон что! — протянул Купкы, обретая прежнюю уверенность. — Ты что, в детском доме рос?

— Да, — кивнул Кэвэв. — С младенчества. По-чукотски только здесь научился. От дяди Инки да от бабушки...

— Ну ладно, — снисходительно бросил Купкы. — Иди! Да подожди, скажи бригадиру, что я до завтрашнего вечера не могу.

— Хорошо, передам, — кивнул Кэвэв и побежал таким легким и пружинистым шагом, что в душе Купкы шевельнулось нечто вроде зависти, особенно когда вспомнилось: «Посидишь минут пять — десять, с полчаса побсгаешь».

Пока он разговаривал с Кэвэвом, тот самый олень, на которого указал пастух, исчез среди сотен своих собратьев. Теперь попробуй его отыщи!

Купкы пошел вдоль оленьего стада. Эти так называемые домашние животные шарахались от него, как дикие, а молодые телята пускались во всю прыть, словно он был для них страшнейший враг. Купкы даже стало не-

сколько обидно. Потом появилась утешительная мысль, что олени попросту еще не привыкли к нему.

Все стадо как-то странно выгнулось, и тут Купки увидел того оленя, который уже намеревался с группой пуститься вверх по долине. Довольный тем, что разгадал маневр хитроумного животного, Купки побежал вверх. Он бежал довольно легко, недаром считался неплохим спортсменом. Правда, ему не хватало той легкости, с которой побежал Кэвэв. Ноги задевали за кочки, на неверной почве того и гляди вывихнешь ступню. Пока Купки догнал оленей и вернул их в стадо, он здорово вымотался. Найдя согретый сухой пригорок, Купки сел отдыхать. Олени вроде успокоились. Некоторые животные даже легли. Вообще картина была полна такой умиротворенности, что Купки подумалось: не так уж плохо в этой самой тундре. Тишина, высокое небо, чистый воздух. Передохнув, Купки пошел дальше.

Пока обходил оленье стадо, успокоившееся и затихшее, вспоминал разговор с Тнеру. На душе был нехороший осадок, точь-в-точь как в тот раз, когда Купки поймали на экзамене по физиологии оленя со шпаргалкой. Тогда он был комсоргом группы, и происшествие грозило большими неприятностями. По дороге к директорскому кабинету он быстро придумал, что шпаргалку нашел и вообще-то не собирался ею пользоваться. Он сказал об этом с такой уверенностью и с чувством такого искреннего возмущения: его, комсомольского вожака, могли заподозрить в позорном поступке, — что директор, конечно, поверил, а экзаменатор извинился и поставил пятерку за путанные ответы, которые он приписал волнению и расстройству. Правда, после этого случая Купки хорошенько уяснил, что для поддержания своего авторитета и положения ему на самом деле надо учиться на «отлично». Это было не столь уж и трудно: память у Купки такая, что и, впрямь он почти слово в слово запоминал учебник.

С девушками Купки был аккуратен, ибо хорошо знал, что аморалка мешает достижению высоких целей. И когда на курсе появилась Светлана-Кэргына, дочка знаменитого оленевода Инки, Купки обратил на нее самое серьезное внимание. Завоевать чистое девичье сердце не составило большого труда. Да и Светлане-Кэргыне, судя по всему, лестно быть вместе с таким видным парнем.

Поначалу он как бы взял шефство над ней. Критически оглядев ее одежду, сообщил, что за хорошие деньги можно достать и джинсы, и французские сапоги, и итальянские туфли. Правда, все это стоило больших денег, но на имя Светланы-Кэргыны каждый месяц приходил довольно внушительный денежный перевод.

Купки и Светлана-Кэргына по выходным дням ездили в Магадан: посмотреть новые фильмы, сходить в театр. Иногда ужинали в ресторане при гостинице. Но в ресторане Светлане-Кэргыне не понравилось: шумно и дымно. Купки нашел на окраине города другое заведение, которое называлось «гриль-бар». Никакого гриля там не было. Правда, иногда подавали тощих, вскормленных на рыбной муке магаданских кур. Главное развлечение было в слушании музыки. Здесь было уютно, и можно разговаривать, не рискуя быть оглушенным оркестром, как это водилось в других ресторанах города.

Светлана-Кэргына вспоминала тундру, родное стойбище, остров Камчечен и летнее становище на нем. Она была с ног до головы тундровой девчонкой. Удивительно, как отцу удалось уберечь ее от внимания органов народного просвещения, которые обычно брали под свое крыло любого ребенка, родившегося в чукотской семье, с первых дней появления и до окончания средней школы.

По словам Светланы-Кэргыны, до самой школы она росла в тундре, а потом в каникулы на все лето ездила к отцу в стойбище. Ни разу не была в материковом пионерском лагере, не считая одного лета, которое провела на Горячих Ключах, возле бухты Преображения. Там все время ловили воображаемых нарушителей границы. Эти мальчишеские игры не понравились Светлане-Кэргыне, привыкшей в стойбище работать по-настоящему. Она раньше срока уехала в тундру. Милее всего для нее была родная тундра, яранга, запах разгорающегося костра, тишина светлой летней ночи, а в ветреные дни — неумолчный морской прибой и соленая пыль от волн.

Выросший в районном центре, Купки многого не понимал в Светлане-Кэргыне. Особенно ее восторженной любви к тундре. Сам Купки вырос в атмосфере постоянного восхищения собой: вот он, чукча, живет в хорошей квартире с настоящей городской мебелью, умеет орудовать вилкой и ножом, пользоваться салфеткой, играет на пианино, умеет завязывать галстук. Когда на ка-

ких-нибудь торжествах надо было привести убедительный пример человека, полностью оторвавшегося от первобытности и перешедшего в современность, в первую очередь называли семью Купки и особенно Петра — отличника, спортсмена. А сам Петр Купки давно свыкся с мыслью, что среди своего народа он в числе передовых людей. Он привык быть на виду, в почете, слышать вслед: вот чего может добиться сын простого чукотского охотника! Неважно, что отец давным-давно забыл, как добывается нерпа во льдах, но быть на виду, быть олицетворением успехов народа очень нравилось Петру Купки.

Он хорошо понимал, что в оленеводческом стойбище ему будет трудно и непривычно. Это хозяйство он знал только понаслышке и по лекциям в сельхозтехникуме. В свое время ему удалось отвертеться от производственной практики, отправившись в Хабаровск на зональные соревнования по борьбе самбо. И в то же время Купки хорошо понимал, что побывать в настоящей тундре, в оленьем стаде обязательно нужно, хотя бы для того, чтобы уверенно говорить об оленеводстве. Так что он не считал время, которое намеревался провести в тундре, попусту потерянным: оно еще поработает на него, на его будущее.

Купки снова дошел до теплого пригорка, прилег. В таких условиях оленным пастухом быть совсем нетрудно. Кругом тишина. Только издали едва доносились равномерные удары морского прибоя.

Купки и не заметил, как уснул. Ему снилась Светлана-Кэргына. Она почему-то сидела верхом на коварном олене и носилась кругами по долине островной речки. На пригорке духовой оркестр играл вальс. А сам Купки за рулем «Москвича» наблюдал за всей этой картиной и дивился, откуда вдруг на острове Камчечен появилась асфальтированная дорога. Потом почему-то оказалось, что духовой оркестр играет в «гриль-баре», а сам Купки едет в Магадане по улице Гагарина...

Проснувшись, Купки долго не мог сообразить, где находится. Солнце перешло на другую половину небосвода, заметно похолодало. В испуге Купки вскочил на ноги. Оленьего стада на прежнем месте не было. Совсем не было, словно оно испарилось или рогатые животные вдруг обрели крылья и улетели. От страха сначала кинуло в жар, потом в холод. Напрягая зрение, Купки пытался отыскать оленье стадо, пристально оглядывая хол-

мистую тундру, широкую долину, на дне которой блеснула тонкая пияточка ручья. Олени напавшие чуть выше, километрах в пяти от того места, где спал и видел чудные сны будущий зоотехник Петр Купки.

Он услышал хорканье оленей и горганные выкрики Инки.

Купки побежал, придумывая на ходу, что сказать бригадир.

Запыхавшись, он приблизился и виновато произнес:

— С непривычки... знаете... заснул...

— Ничего, — холодно ответил Инки. — Иди в стойбище. Здесь ты мне не нужен.

В голосе Инки слышалась такая непреклонность, что спорить и доказывать что-нибудь, как почувал Купки, не было никакой пользы.

Купки медленно удалялся от стада.

Инки, глядя ему вслед, думал, что уж из этого-то парня настоящего оленевода никогда не получится. Ну, можно устать, ошибиться, не туда повернуть стадо, не поспеть за убегающим оленем, но заснуть... Это было выше понимания Инки.

В тундре такой человек — просто помеха. Это хорошо, что он не намеревается оставаться здесь. Позору не оберешься... Да к тому же если он станет родственником. Хотя, строго говоря, он уже зять. Если мужчина спит с женщиной в одном пологе, по стародавнему чукотскому обычаю он считается мужем. А что до свидетельства о браке, о регистрации и свадьбе — это уже, как говорится, формальности. Главное уже свершилось.

Как-то не собрался спросить у дочери, когда они намереваются справить свадьбу. А регистрацию можно устроить в Кыннотском сельском Совете.

А может, Инки был слишком строг? Может, и вправду парень случайно заснул? Хорошо, хоть никто не видел. Если сам не проболтается, никто не узнает, что случилось в стаде. Отпустил его с дежурства — и все! Пусть парень отдыхает! В такую пору опытный пастух и один справится. А про это Инки не скажет. Уж кто-кто, а он умеет держать секрет. Не сказал же до сих пор, кто на самом деле присвоил его деньги, хотя прошло уже более четверти века. Кожура теперь немалый начальник в районе! И только один Инки знает, кто он на самом деле.

Поначалу Инки таил смутную надежду, что все-таки Кожура когда-нибудь одумается. Дойдет до его сердца, что поступил он низко и подло, так худо, что даже не возмутил Инки, а скорее удивил. Однако с годами эта надежда все слабела, сходила на нет, а вот удивление все больше росло. Особенно когда Инки по каким-нибудь делам приезжал в районный центр и встречал пожарного начальника то в райисполкоме, то на почте или же просто на улице. Несколько раз Инки и Кожура сталкивались, когда вокруг никого не было. И тогда Инки замирал в ожидании... Но Кожура проходил мимо с таким видом, будто вместо Инки было пустое место, один воздух. И это тоже удивляло. Тогда, вначале, думалось, что Кожура, должно быть, испытывал очень большую нужду в деньгах. Но Инки случаем узнал, что пожарный начальник получал достаточно большую зарплату, а жена его трудилась в парикмахерской, где платили тоже достаточно. Неужто он от жадности такой?

Насовсем распрощался с Чукоткой председатель райисполкома Никифор Яковлевич, построив дом в селе Кирилловском, под Ленинградом. Перед отъездом приехал он в тундру, в стойбище Инки. Долго толковали о жизни, вспоминали прошлое. Оба остерегались касаться того случая с деньгами. На прощание Инки преподнес бывшему председателю районного исполкома пыжиковую шапку, сшитую Валентиной Сергеевной.

— Спасибо тебе, Инки, — дрогнувшим голосом произнес Никифор Яковлевич. Помолчал, а потом сказал: — Зря тогда ты не признал того, кто у тебя украл деньги... Я догадывался, что ты узнал его... Но вот почему ты его решил пощадить, вот этого не понимаю...

Инки отвел взгляд в сторону и безучастно повторил:

— Не было его среди тех, кого вы мне показывали... Не было — и все! Не будем об этом больше говорить.

— Станный ты человек, Инки, — вздохнул Никифор Яковлевич. — Станный, но хороший.

Несколько лет Инки и Никифор Яковлевич обменивались поздравительными открытками к праздникам. А потом пришло известие о смерти бывшего председателя райисполкома, и Инки почувствовал искреннее сожаление о человеке, который, как ему показалось тогда, понял его.

Инки подогнал стадо на новое место. Животные по-немногу успокаивались. Олень не сразу привыкает к новому пастуху и первое время ведет себя беспокойно.

Еще раз обойдя стадо, Инки вернулся к палатке, взял походный закопченный чайник, зачерпнул воды в прозрачном ручье и поставил на примус.

Какая-то пасмурность на душе все еще оставалась, и Инки искал главную причину, отчего она: то ли от Купки, то ли от разговора с Тнеру или воспоминаний о давнем? Наверное, все одно к одному. А тут еще с востока потянул сырой ветер: не иначе как идет низовой морской туман, который может накрыть весь остров. И тогда не увидишь ни оленей, ни ближайшей кочки, только небесная синева будет просвечивать сквозь туман.

5

Купки не спешил. Он злился на себя за то, что так глупо и неожиданно заснул, злился на Инки, на его холодный, почти презрительный тон, с которым он произнес: «Иди в стойбище. Здесь ты не нужен».

Ну и пусть! Хотел как лучше. Он же не оленивод, не пастух и в будущем пастухом не собирается быть. По мере того как Купки удалялся от стада, раздраженность уступала место привычному, трезвому равновесию. Сейчас он вернется в стойбище, плотно пообедает и поспит в меховом пологе, в этом прекрасном помещении, созданном для отдыха и полнейшего расслабления. А потом чай, телевизор. Маленький аппарат отлично берет передачи с преображенского ретранслятора. Инки говорил, что в Кынноте не так хорошо видно, как на острове. А потом ночь со Светой...

Дня через три можно будет отправляться в Кыннот. Распаковать автомашину, опробовать ее. Права Купки получил в этом году. Он мог водить и трактор и вездеход, это входило в программу обучения.

С непривычки тундровая прогулка быстро утомляла. Все чаще приходилось усаживаться на сухую кочку передохнуть. Ноги ныли от щиколотки до бедер — это от усилий, чтобы удержаться на кочках. Иногда кажется, что шагаешь по головам огромной толпы тесно стоящих людей. Эти головы качаются на шеях, стараются сбросить наступившую на макушку ногу. Дорогу Купки хорошо помнил, и, когда дошел до края больших снежниц, из-под которых с громким журчанием вырывалась только

что рожденная талая вода, он с наслаждением напился до ломоты в зубах и с удовлетворением подумал, что до стойбища осталась как раз половина пути.

Теперь это крохотное стойбище с двумя ярангами казалось таким желанным.

Раздражали только евражки. Они торчком стояли на каменистых осыпях и свистели вслед. В этом посвисте Купки слышалось издевательское, насмешливое... Но ведь и он тоже по-своему любил тундру. Например, вот сейчас ему очень приятно здесь. И вправду красиво, чисто и тихо. Но всю жизнь провести здесь... Для этого есть другие люди. Такие, как Инки. Светлана-Кэргына как-то рассказывала, что отец не любит бывать в больших городах. Голова болит от шума, от множества людей...

Что-то светлое, легкое показалось над восточным берегом острова. Купки остановился и пригляделся. Похоже, что туман ползет. Мыском таким вылез на берег. Но этот туман не беспокоил Купки. И вообще его больше уже ничего не беспокоило: ну, проспал немного свое дежурство... Олени целы, никто не пострадал...

Когда Купки взобрался на вершину холма, он уже мог вдали разглядеть две светлые яранги и даже дым от костра.

Этот дымок прибавил ему сил: должно быть, обед варится в большом черном котле. Весь чоттагин уже полон ароматом оленьего бульона. На высокобленной фанере лежит буханка белого хлеба, желтый брусок сливочного масла и острый охотничий нож.

Купки сглотнул слюну и посмотрел под ноги. Как же он раньше не сообразил! Да тут полно ягод! Вон уже начинающая желтеть морошка, а шикши¹ столько, что подошвы потемнели, будто их намазали черным гутадином.

Несколько горстей морошки и шикши чуть притушили голод.

Сырость и прохлада становились все ощутимее. Казалось, кто-то заметно убавил мощность солнечного излучения. Туманная полоса уже закрыла весь восточный берег, и передний серовато-белый язык наползал на ровную тундру с пугающей быстротой. Невооруженным

¹ Шикша — тундровая ягода.

глазом можно было заметить движение серых клочьев. Вот они поглотили нижнюю террасу долины, перевалили через холм и подступили к нетающим снежникам.

И пяти минут не прошло, как туманная полоса настигла Купку и окутала его, приглушив все звуки, чувства и даже замедлив его движение. Еще некоторое время Купка шагал по инерции, не понимая всей сложности положения, в котором очутился. Лишь по прошествии какого-то времени он вдруг обнаружил, что не знает, как идти дальше, куда держать направление. Со всех сторон был серый, пропитанный морской влагой туман. Он с неприятной липкостью касался кожи лица, рук. Вспоминались детские игры, когда они, мальчишки, бегали между развешанными для просушки простынями и ненароком задевали их лицом: было гадко и неприятно.

Купка, в растерянности остановившись, вдруг с неведь откуда взявшейся злобой подумал, что ведь никто его силком не тянул в тундру, в оленье стадо и вообще на этот пустынный остров. В беспомощности Купка вертелся в разные стороны. Единственным ориентиром было солнце, да вот беда: выходя в путь, Купка не удосужился посмотреть на него и заметить его положение на небе. Да ведь и солнце не стоит на месте. Если поразмыслить, то путь от стада до стойбища должен пролегать приблизительно по меридиану — с севера на юг. Солнце, как известно, восходит на востоке. Сейчас вечер, шестой час. Значит, солнце уже на западной стороне, над проливом Сенявина, то есть по правую сторону. Рассуждения придали смелость Купке, и он двинулся вперед, радуясь еще одной мысли: остров есть остров, здесь заблудиться невозможно — во все стороны света эта земля имеет близкие пределы.

Довольно быстро намокла одежда, японская куртка с иероглифами оказалась водонепроницаемой. Холод заползал внутрь, втекал через ворот студеными каплями то ли пота, то ли сконденсировавшейся влаги. Был единственный выход — идти быстрее. На более или менее ровных местах Купка переходил на бег, и спасительное тепло охватывало усталое тело.

Однако бежать по тундре надо умеючи: Купка несколько раз со всего размаху падал, попадая то рукой, то локтем в невидимые бочажки, заполненные студеной темной водой. В довершение всего потерялось солнце.

Туман настолько уплотнился, что было уже невозможно угадать местоположение светила на небосклоне.

Купки остановился и, найдя сухой пригорок, уселся. Пока унялось дыхание, успокоилось сердце, он лихорадочно размышлял о том, что делать. Остаться на месте и ждать, пока разойдется туман? Но кто знает, сколько времени остров будет покрыт этой серой сырой пеленой? А вдруг несколько дней... Он тут ослабеет от голода и холода, может, даже умрет... Стало так горько, что Купки ощутил щекотание в глазах — вот-вот заплачется. В стойбище думают, что он в оленьем стаде, а Инки предполагает, что он добрался до яранги и уже рвет зубами нежное, исходящее сладким соком оленье мясо... Ох, как есть хочется!

Купки прислушался: ведь где-то должно быть море. Яранги стоят совсем недалеко от берега. Если выйти к морю и двигаться вдоль берега, рано или поздно подойдешь к тому месту, где раскинулось стойбище. Проклятый туман не только ограничил до предела видимость, но и приглушил все звуки. И все же, к неописуемой радости Купки, он сначала услышал крики чаек, а потом приглушенный гул морского прибоя. Медленно водя головой, он довольно точно определил направление и решительно двинулся навстречу размеренному шуму. Общая ширина острова не более пятнадцати километров. Это от берега до берега. Купки же шел примерно посередине острова. Так что даже в худшем случае идти до моря часа полтора-два. Настроение настолько улучшилось, что Купки даже начал насвистывать какой-то мотивчик, вспоминать приятные случаи из своей жизни. После окончания средней школы он, воспользовавшись правом на внеконкурсное поступление, подал документы в Дальневосточный университет на отделение журналистики. По дороге во Владивосток он уже видел себя журналистом, вооруженным портативной пишущей машинкой, маленьким магнитофоном. Точно так был экипирован корреспондент одной центральной газеты, приезжавший в районный центр и зашедший в школу на несколько минут. Его сопровождал сам секретарь райкома. Вообще приезжих журналистов хватало в Чукотском районе, особенно в летнее время. Все стремились обязательно попасть в Уэлен и на остров Ратманова. Ну, на худой конец на мыс Дежнева, чтобы сфотографироваться у памятника русскому землепроходцу. Осень и начало

зимы во Владивостоке были прекрасны. Родители щедро снабжали Купку деньгами, и, честно признаться, это обстоятельство было решающим в его неудаче во время зимней сессии. Ресторан и кинотеатр занимали у него куда больше времени, чем посещение лекций.

Возвратившись домой и передохнув месяца два, Купки стал помощником киномеханика в районном Доме культуры. Здесь его и застала повестка в армию... Два года прослужил Купки в пограничных войсках на Дальнем Востоке, а возвратившись на место киномеханика, вдруг увидел на доске объявлений сообщение о наборе студентов в Ольский сельскохозяйственный техникум...

Гул морского прибоя становился все явственнее, и в душе у Купки возникала и крепла уверенность. Ведь он не растерялся в непривычной обстановке, все решения, которые он принимал, были разумными. Как бы то ни было, он все же человек этой земли, и, видно, в нем заложено то, что позволяло северянину выживать в обстоятельствах куда более трудных, чем вот этот холодный туман, в котором отчетливо чувствовался морской соленый запах, и даже в той сырости, капельки которой иногда попадали в рот, ощущался соленый привкус.

Мысль о том, что он идет правильным путем, успокоила Купку, и он шагал уже не торопясь, надолго останавливаясь, чтобы заглушить нарастающее чувство голода горстью морошки и шикши. И той и другой ягоды росло здесь несметное количество, и при желании можно было наесться сладкой мякотью досыта.

По тому, как вдруг неожиданно оборвалась тундровая почва и под ногами захрустела галька, Купки понял, что он дошел до берега. Прибойный гул был совсем рядом. Через несколько шагов показалась закручивающаяся зеленая волна и сидящие на ее гребне маленькие, тревожно попискивающие кулички.

Купки остановился у самой воды, размышляя, куда идти. Собственно говоря, большого выбора не было: или направо, или налево. Но куда ведет дорога направо и куда — налево? Которая из них кратчайшая к стойбищу? Единственный ориентир — солнце — невозможно различить в ровной белесоватой полумгле, которая все ниже нависала над землей, рождая ощущение того, что голова как бы касается сырого неба.

Купки принялся размышлять, вычисляя, как он шел, куда поворачивал. Значит, поначалу его путь шел по меридиану, на юг. Когда прислушивался к прибою, он слышался слева, значит, когда повернул — то на восток, туда, где моржовое лежбище. Но на этом берегу нет и следа моржей, если не считать нескольких белеющих костей — ребер и китовых позвонков. Может быть, он вышел далеко южнее моржового лежбища? Купки еще раз прислушался, но, кроме куличьего писка и тяжелых ударов прибоя о берег, ничего не услышал. Идти наугад он не решался. Большинство доводов все-таки было за то, чтобы идти направо, снова на юг, обогнуть южную оконечность острова и уже проливом Сенявина подойти к ярангам. Там, кажется, валяется наполовину занесенный галькой ржавый якорь. Точно! Именно за него привязывали причальный конец вельбота, на котором они прибыли на остров. Итак, в путь!

Минут через десять Купки понял, что хотя по кочковатой тундре идти нелегко, но еще труднее — по мокрой податливой гальке. Ноги вязли в ней, замедляя движение, да и сам монотонный хруст и скрип действовали на нервы. Но выйти на тундровую почву было страшно — а вдруг снова заблудится?

И все же Купки выбрался на полосу прибрежной суши и веселее зашагал, стараясь все время слышать левым ухом размеренный прибойный гул.

Несколько раз ноги сами уводили его в глубь острова, гул затихал, но Купки тут же поворачивал к морю. Он понимал, что это только удлиняет путь, но на гальку возвращаться не хотелось. Несмотря на обилие ягод, голод все ощутимее давал себя знать. Вспоминалось оленье мясо. Никакие ресторанные яства не приходили на ум. Только черный, закопченный котел, висящий в яранге Инки налево от входа, над очагом, обложенным крупными камнями, отполированными морскими волнами. Над краем котла в пару различались торчащие концы ребер, большая мозговая кость... Слюна становилась все горше, вязче. Ее трудно было сплунуть, и она повисала противными нитями на губах и подбородке. Купки доставал носовой платок, такой же мокрый и холодный, как весь он сам, и пытался отереть горечь.

Часа через два, когда стало ясно, что наступает ночь, Купки решил упорядочить свое движение. Час ходьбы по тундре, потом спуск к морю и двадцатиминутный отдых. В первый же такой отдых Купки набрал морской

капусты и вдоволь наелся. Это сразу же прибавило сил. В длинных плетях ламинарии попало несколько выброшенных волнами рыбешек. Купки повертел их в руках и выбросил: он еще не настолько голоден, чтобы есть сырую рыбу. Вот вареная оленина — другое дело.

А мыса все нет. Еще повезло — ночи не так темны, как в зимнее время. Но уже пора включать маяки... Здесь где-то должен быть маяк. На южной оконечности острова наверняка.

Странное дело: морская капуста только разжигала голод, тоску по горячему мясу, от этой мысли Купки слабел больше, чем от ходьбы.

Уже и сил не было думать ни о чем другом, кроме горячей еды. Во Владивостоке во время короткого студенчества в общежитии приходилось иной раз и всухомятку питаться. Особенно ему нравилась толстая вареная колбаса. Бывало, разрежешь большой белый батон, густо намажешь сливочным маслом, проложишь ломтями этой чуть розоватой колбасы, закроешь второй половиной батона и ешь, запивая крепким сладким чаем. В большую чашку кладешь три-четыре ложки сгущенного молока. Правда, чтобы укусить такой батон, надо разевать рот до самых ушей, да так, что иногда даже больно становилось. Зато это была настоящая еда, и сытость не проходила даже на лекциях, навевая сладкую истому и тягучую, трудно одолеваемую сонливость.

А морской берег все уныло продолжался. Так же бил прибой в галечный берег, накрытый вязким туманом, на гребне волны сидели серовато-коричневые крохотные кулички, пронзающие тонким писком ровный гул накатывающейся на гальку воды. Иногда возникало впечатление, что никуда Купки не идет, а все топчется на месте, возле этих почему-то не мокнувших, с блестящими перьями куличков, у гудящего на одной и той же ноте прибоя. Даже невысокий обрыв тундры к морю, крепко вцепившиеся в скудную арктическую почву кустики радиолы розовой, называемой в просторечии золотым корнем, были одни и те же.

Вспомнилась давняя сказка, слышанная в детстве. Будто есть такое волшебное озеро между Уэленом и Инчоуном, в котором живет или жил злой дух Эле-Лылы, любитель живой человеческой крови. И если проезжавший на собачьей упряжке охотник не догадывался окропить берег озера собственной кровью, то нарта не шла дальше. Собаки могли перебирать лапами, под полозья-

ми скрипел высушенный синим морозом снег, а нарты на самом деле стояли на месте, у берегов волшебного озера. И тогда охваченный ужасом путник дрожащими руками вынимал нож, запрятанный в ножны из крепко сшитой лахтачьей кожи, делал глубокий надрез на руке и густая горячая кровь капала на белый снег, пробивая в нем маленькие ямочки, темные, загорающиеся красным, словно рассыпанные угольки. И только тогда путник, оглядевшись, видел, что наконец-то его упряжка и впрямь начинает отделяться от зловещих берегов волшебного озера. Иногда злой дух Эле-Лылы не довольствовался кровью. Тогда приходилось отрезать целый палец, а то и всю руку...

Купки внутренне усмехнулся этому, как ему показалось, весьма неуместному воспоминанию. Тревога, жальность к себе, досада — эти чувства все больше замещались поднимающейся изнутри, из таинственных глубин, острой горькой злостью. Поначалу эта злость была обращена к невесте откуда взявшемуся отвратительному, скользкому, гадкому туману, затем она захлестнула оставшегося в стаде Инки. Почему он погнался Купки в стойбище? Подумаешь — заснул! Не нанимался же Купки в пастухи... Мог оставить в палатке. Там хорошая белая палаточка, отличный примус «шмель», запасчаю, сгущенного молока и твердых, как фанера, галет. В такой туман хорошо сидеть в палатке — все равно оленей не видать... Купки с ненавистью смотрел на едва наступающую из тумана тундру и когда едва не упал, зацепившись за кочку, то громко выругался, а потом неожиданно для себя заплакал от злости, усталости, голода и холода.

6

Услышав вызов радиостанции, Тнеру вышел из яранги, буквально ткнувшись лицом во влажную пелену тумана. Вездеход и даже стоящая рядышком яранга Инки плотно окутались серым, мокрым, пахнущим морем туманом.

Тнеру по звуку зуммера нашел вездеход, взобрался на него и, с отвращением отерев полую замшевой кушачки запачканные о липкое железо руки, взялся за пластмассовую трубку телефона.

— Ну как, он пришел? — спросил Инки.

— Кто? — не понял Тнеру. Он не был расположен

к долгому разговору: через несколько минут по телевизору начиналась его любимая передача — информационная программа «Время».

— Купки, — сказал Инки. — Я его отправил обратно в стойбище.

— А что случилось? — встревожился Тнеру. — Заболел?

— Да нет, вроде здоров, — сказал Инки. — Просто я его отпустил. Что тут ему делать? Я и один справлюсь со стадом, а он человек молодой, каникулы к тому же. Пусть отдыхает... Значит, не приходил?

— Не приходил, — ответил Тнеру. — А давно вышел?

— По времени он часа три уже должен быть в стойбище, — ответил Инки.

— Значит, заблудился, — вздохнул Тнеру. — Сейчас пойдем искать... Не беспокойся: никуда он дальше нашего острова не уйдет.

— Он пошел по вершине острова, — сказал Инки.

— В такой туман немудрено сбиться с пути, — заметил Тнеру, вглядываясь в окно вездехода. — Сейчас пойдем. Найдем — сообщим.

Видимость по телевизору была отличной, не то что на воле. Заканчивался приключенческий фильм из жизни милицейских работников. Все стойбище затаив дыхание напряженно следило за тем, как то ускользал, то снова был близок к разоблачению солидный, похожий на представителя заготовительной конторы, матерый вор и преступник. Но уже все шло к тому, что он должен вот-вот попасться.

Тнеру дал досмотреть фильм и уже после того, как на экране появился циферблат часов — заставка программы «Время», — объявил о случившемся.

Светлана-Кэргына встревоженно посмотрела на Тнеру.

— В тумане заблудился. Ничего страшного, — утешил ее старший пастух.

Кэвэв взял ракетницу и фальшфейеры, а Тнеру вооружился дробовым ружьем.

Туман не смущал опытного оленевода: он и с закрытыми глазами мог определить любое направление на этом острове.

— Сначала пойдем на вершину, к снежницам. Если Купки пошел тем путем, то крутится где-нибудь рядом.

Яранги мигом скрылись, растворились в белесоватой мгле.

Тнеру взглянул наверх, покрутил носом и сказал:
— К утру туман разойдется.

Кэвэв с восхищением посмотрел на него и спросил:

— Как все-таки вам удается это?

Тнеру пожал плечами. Он не любил распространяться о своих метеорологических способностях. Когда особенно приставали, коротко отвечал: чую, и все.

— Жалко, что он заблудился, — сказал Кэвэв, едва поспевая за пружинисто и цепко шагающим Тнеру. — Он мне понравился. Я сразу понял, что он культурный парень.

Тнеру молча сопел. Ему не хотелось говорить о госте.

— Как вы думаете, у них любовь? — продолжал допытываться Кэвэв. — Они пожениятся?

— А ты знаешь, что такое настоящая любовь? — сердито спросил Тнеру.

— Ну, как в кино или в художественной литературе...

— Вот именно: кино и художественная литература! — усмехнулся Тнеру и добавил: — Ох, жалко мне Инки!

Кэвэв почувствовал в этом как бы невольно вырвавшимся возгласе настоящую тревогу и сочувствие.

— А что вас беспокоит?

— Ладно, не будем об этом говорить, — махнул рукой Тнеру. — В конце концов, это их личное дело.

Он вскинул ружье и дуплетом выстрелил из обоих стволов. Грохот ушел недалеко, он стих где-то совсем рядом, словно запутавшись в сырых полосах тумана.

Оба несколько минут прислушивались. Издалека доносился гул прибоя.

— Пусти пару красных ракет, — сказал Тнеру.

Ракеты, шипя, устремились к небу. Их было видно довольно долго.

Тнеру проследил за их полетом и уверенно сказал:

— Солнце взойдет уже без тумана.

Они обошли две большие снежницы, время от времени стреляя в воздух и пуская ракеты. Круги становились все шире. Порой они подавали голос, кричали, останавливались и прислушивались, но по-прежнему в ушах вместе со стуком потревоженного сердца слышался лишь морской прибой.

Так они прошагали несколько часов, спускаясь к морю и снова поднимаясь к снежницам.

Отчетливо потянуло ветром. Вместе с ветром двинулся туман, противно касаясь лица и открытых частей тела.

Туман уходил быстро, и в одно какое-то неуловимое мгновение его не стало, словно какой-то великан взял и дернул влажное покрывало с острова Камчечен.

И тотчас открылся привычный, захватывающий дух простор, видимый до бесконечности, уходящий на восток, вдаль. Солнце чувствовалось под самой линией пылающего горизонта. Проснулись птицы, заполнив разнообразным гомоном тундру и морское побережье. Лишь гул прибоя был по-прежнему размеренным, неизменным и поэтому слышимым лишь в промежутках тишины. Ключья тумана, цепляющиеся за край снежниц, таяли, уносились, исчезали на глазах.

Раскаленный диск вынырнул из морской пучины, брызнув на землю снопом ярких лучей. Где-то рядом свистнула евражка.

— Ты иди по восточному побережью к югу, а я пойду на запад, спущусь там и двинусь к тебе. Если он не спрятался где-нибудь между кочек, то мы найдем его на берегу, — уверенно сказал Тнеру.

Он был спокоен. По зрелом размышлении, ничего особенного не угрожало Купке. Ночь, хоть и была холодная, сырая, однако непосредственной угрозы для жизни не представляла. Проголодался, вероятно, основательно. Но и это не страшно. И суток не прошло, как парень последний раз поел. Может, только перепугался, заблудившись.

Тнеру оглянулся и увидел, как быстро отдалялся от него Кэвэв. Чистый, честный парень. Горько было слушать, когда он рассказывал о своем сиротском детстве, о тоске по никогда не виденной, но такой желанной родине.

Порой в палатке, в зимнюю пургу, когда носа не высунуть наружу, Кэвэв признавался, как воображал себя на улицах чукотских сел в окружении оленей и белых медведей. Все свои детские годы Кэвэв провел в сладкой мечте возвращения на родину. Честно говоря, Тнеру легче было представить вместе Кэвэва и Светлану-Кэргыну... Но умом Тнеру понимал, что сердцу не прикажешь. Сам Тнеру женился как-то второпях, но еще ни разу не пожалел, что соединил свою жизнь с Таней-Тынэной, человеком, которому он бесконечно доверял. Это была настоящая тундровая женщина, не только умею-

шая готовить пищу, чинить одежду и шить новую, вести дом, ставить ярангу, но и при необходимости заменяющая мужа у оленьего стада, хотя эта работа испокон веков почиталась чисто мужской. В бригаду Инки Тнеру перешел лет десять назад. Инки только предупредил: у меня такое правило — работать честно. В тундре — ни капли вина, никакой браги и другого баловства. Конечно, работать у Инки поначалу было трудно. Но Тнеру сегодня мог сказать, что со временем ему стало легче. Легче от сознания честного и добросовестного труда, чистой совести. Тнеру как-то раньше и не задумывался, какое это, оказывается, прекрасное чувство. Он мог открыто и смело смотреть не только в собственное будущее, в будущее семьи, но и совхоза, села Кыннот, где стоял его оседлый домик.

Тнеру закончил восьмилетку в Кынноте и сразу же после этого ушел в тундру, хотя и собирался раньше в Преображенское сельское профессионально-техническое училище. Но в тундре умирал отец, уходил сквозь облака и хотел видеть сына на своем месте. Еще школьником Тнеру как-то невольно подслушал разговор отца с приезжим. Тот удивлялся, почему личные олени оленеводов меньше болеют по сравнению с общественными, почему государственные олени чаще убегают и на них чаще нападают волки. «Я не говорю о вас лично... У вас тут вроде все в порядке. Но в других бригадах именно такая картина наблюдается...»

Отец ответил не сразу. «Наверное, потому, что человек не чувствует себя настоящим хозяином. Долгие годы его отучали от этой мысли. Твердили: олени не его, артельные, потом колхозные, а теперь — совхозные, то есть государственные. Получается, он вроде бы им чужой. Хотя по справедливости надо было твердить ему: это же твои олени, что же ты делаешь? И они не только твои, но и твоих детей, твоих внуков...» — «Но у вас же по-другому», — возразил приезжий. «Потому что это мои олени, — усмехнулся отец. — И те, которые числятся совхозными, и мои личные. Мой отец мне это твердил всю жизнь — наверное, с той поры, как я стал немного соображать. Дело в том, что стадо, которое я пасу, и вправду принадлежит нашему роду испокон веков. Мои родичи еще в самом начале коллективизации вошли сначала в артель по совместному выпасу, а потом и в колхоз. Долгие годы многое оставалось таким, как повелось исстари. Конечно, жизнь менялась по высшему закону

справедливости, но то, что олени — наши, никогда не уходило из сознания. Пока будет крепко чувство и сознание хозяина — будет порядок в тундре».

Своим было не только оленьё стадо, но и вся эта прекрасная, родная земля, как бы продолжение, часть твоей сущности.

При всем при этом отец Тнеру — знаменитый Тнаиргын — с радостью и любопытством перенимал все новое, облегчающее жизнь оленеводу. Всю жизнь мечтал, что когда-нибудь в тундру придет настоящий удобный передвижной домик с банькой, горячим душем, легкий, не вредящий тундровой почве и растительности транспорт... Но не дождался всего этого старый Тнаиргын, хотя при жизни наслушался досыта всяческих обещаний.

...Кэвэв спустился к заблестевшему от яркого солнечного света морю, навстречу нарастающему гулу прибоя, ликующим птичьим крикам, глубоко вдыхая бодрящий, солоноватый студёный воздух. Сонливость ушла вместе с туманом, развеялась, унесенная утренним ветром, и на душе Кэвэва стало светло и радостно, как и в самом этом огромном пространстве от высокого неба до морской дали, от зеленых холмов, увенчанных нетающими снежницами, до чистого галечного пляжа, протянувшегося вдоль всего острова туда, на юг, к еле обозначившемуся мысу, а потом снова на север, вдоль уже западного берега острова Камчечен. Кэвэв несколько раз останавливался, вставлял тугой картонный патрон в ствол ракетницы и пускал в небо красный цветок, блеклый и плохо заметный при таком ярком и ликующем освещении. Но ракета все же оставляла заметный и издали видимый след, и Кэвэв надеялся, что тот, кому предназначался этот знак, видит и радуется скорому облегчению своей участи.

Но на ракеты отзывался один Тнеру. Выстрелы доносились издали, как слабый сухой хлопóк.

По привычке Кэвэв зорко всматривался в линию береговых наносов: куча древесных обломков, так называемый плавник, щедро питающий костры в стойбище; разного рода пластмассовая посуда — бутылки всевозможных конфигураций и расцветок, пенопластовые поплавки. Да, морские дары в основном стали синтетическими. И все же еще довольно было и морской капусты, и коричнево-желтых морских звезд, разбитых крабовых панцирей, ракушек, высыхающих медуз, тускло отливающих грязноватым блеском студенистого тела. Иногда

попадались тела снулых мелких рыбешек, точно длинные осколки разбитого стекла.

Прошло еще часа два. Кэвэв обогнул мыс и брел берегом пролива Сенявина к месту причаливания вельботов, приплывающих из села Кыннот. Вот уже якорь, наполовину утонувший в гальке, обрывок каната. Вдали, берегом, навстречу шел Тнеру. И в этом пространстве, похоже, больше никого не было.

Кэвэв заторопился навстречу и, когда подошел на расстояние голоса, не утерпел, крикнул:

— Не нашел?

— Как видишь, — отозвался Тнеру. — Куда он мог потеряться на таком крохотном острове? Да и погода уже часа три как прояснилась... Ничего не понимаю.

— А может, он уже в стойбище? — высказал догадку Кэвэв. — Пьет чай, а мы его разыскиваем!

— А ну, пойдем!

Но в стойбище Купки не оказалось. Умоляющими и встревоженными глазами Светлана-Кэргына смотрела то на Тнеру, то на Кэвэва.

Тнеру связался по радиации с Инки, посоветовался:

— Мы еще обследуем северное побережье... Может, он вышел за моржовое лежбище.

Кэвэв попил воды прямо из носика закопченного чайника, подошел к девушке и, погладив ее по плечу, произнес:

— Да ты не беспокойся. Мы его найдем. Скорее всего, как настала ночь, он нашел укромное местечко и улегся спать. А сейчас проснулся, умылся в речке или в море и топает сюда...

— А вдруг с ним что-нибудь случилось?

Кэвэв усмехнулся:

— Да что может с ним случиться? Здесь, на нашем острове! Да это самое безопасное место на всем земном шаре!

На этот раз пошли так: Тнеру двинулся вдоль границы кочковатой тундры и галечного пляжа, а Кэвэв — тундрой, но не прямо, а зигзагами, или, как сказали бы летчики ледовой разведки, галсами.

Голос донесся из-за сухого холмика, поросшего шикшой. Она до того была спелая, что лопалась от малейшего прикосновения. Оглядывая окрестности, Кэвэв не забывал совать горсть ягод в рот, уже черный, как зев угольной топки,

Кэвэв побежал на голос и увидел лежащего на земле Купкы. Нагнувшись над ним, встревоженно спросил:

— Живой?

— Живой, — со стоном отозвался Купкы.

— Что с тобой? Заболел? Давай помогу...

Вроде бы никаких ран на теле не было, однако вид у парня был помятый и несчастный.

Кэвэв помог ему сесть, отошел на несколько шагов в сторону и дал условленную зеленую ракету. Зеленый огонек был виден далеко и долго. Рассыпался он над проливом Сенявина, отнесенный туда легким теплым ветерком.

— Что болит? — спросил Кэвэв.

— Ногу подвернул...

Кэвэв помог стянуть торбас и увидел опухшую щиколотку. Опухоль переходила на ступню.

— Ну, это не страшно, — с облегчением вздохнул Кэвэв и весело добавил: — До свадьбы заживет!

— Что это вы все заладили: свадьба, свадьба! — морщась от боли, заметил Купкы.

— А разве вы не собираетесь пожениться? — удивился Кэвэв.

— Можно и без свадьбы. Надо решительно отказываться от старых обычаев!

— Свадьба — хороший обычай, — задумчиво произнес Кэвэв. — Не отживший. Я был в прошлом году на комсомольской свадьбе в селе; механизатор Паат женился на медсестре Вале Кучумовой. Вот было весело! До утра гуляли.

— Ну, хватит болтать, — сказал Купкы. — Лучше помоги.

Кэвэва неприятно резанули и тон и голос, но он взял себя в руки, помог Купкы подняться. Сделав несколько шагов, они увидели торопящегося навстречу Тнеру.

— Что случилось? — еще издали встревоженно спросил Тнеру.

— Ничего страшного, — ответил Кэвэв. — Ногу подвернул.

— Ничего себе — ничего страшного, — проворчал Купкы. — Без ноги мог остаться. Околел бы вовсе, если бы ты на меня не наткнулся.

— Не наткнулся, — начиная сердиться, заметил Кэвэв. — Я нашел, потому что искал.

Купкы увидел яранги и удивленно воскликнул:

— Так я, оказывается, уже дошел до стойбища! А мне казалось...

А совсем недавно ему казалось, что он безнадежно заблудился. По времени он должен был бы не раз обойти остров по берегу, а приметного, выросшего в прибрежную гальку якоря так и не нашел, хотя всматривался в каждый предмет, хоть как-то похожий на этот якорь, обманывался не раз и не два, кидаясь то на причудливое, отполированное водами многих океанов корневище, то на петли морской травы.

Тогда решил снова перейти на другой берег по тундре, спрямив путь. Это случилось перед рассветом. Острая боль пронзила ногу. Сначала показалось, что ступня вовсе отвалилась от ноги. Но это был вывих. Ступня вроде снова стала на место, но болела так, что идти было невозможно. Отчаявшийся, голодный, намерзшийся и мокрый Купки не выдержал и заплакал горькими слезами, нисколько не опасаясь, что кто-то увидит. Проклинал день и час, когда согласился поехать на этот чертов остров, встретивший его так неприветливо. Вместе с туманом в нутро вползала тяжелая тоска, и он завывал, как голодный тундровый волк, теперь уже не таясь, в тайной надежде, что кто-то услышит. Но туман и влага так приглушили звуки, что, на мгновение затихнув, Купки не слышал даже морского прибоя.

Час за часом продолжались сон и явь, пока вдруг, открыв глаза, он больше не увидел серой пелены и ощутил, как все вокруг переменялось. Показалось, что где-то кто-то выстрелил, а гул морского прибоя был отчетлив и заманчив. Купки поднялся, попробовал ступить, но тут же, подкошенный дикой болью в ноге, снова рухнул на тундровый мох. Он даже не успел оглядеться вокруг, иначе увидел бы яранги и как-нибудь дополз до них.

Теперь, повиснув на руках Кэвэва и Тнеру, он тайно блаженствовал от чувства громадного облегчения, неизмеримого счастья, ощущая живое, в общем-то невредимое собственное тело.

Навстречу уже бежала Светлана-Кэргына.

Они обнялись, и Кэвэв с Тнеру деликатно отошли в сторону, но слышно было, как она говорила ему ласковые слова, а он в ответ успокаивающе гудел:

— Ну ладно, все обошлось, лапушка... Перестань, лапа моя...

Тнеру поглядел в сторону пролива Сенявина и как бы про себя произнес:

— Ишь ты, «лапа»...

Кэвэв вопросительно посмотрел на него, но Тнеру, словно бы ничего не произносивший, сказал:

— Ну, пойдем уж, поможем дойти до яранги.

7

Купки лежал на белой оленьей шкуре, заботливо постеленной у самого костра, перед телевизором и доканчивал вторую миску отборных оленьих ребрышек.

Остальные уже позавтракали, но изголодавшийся парень никак не мог остановиться. То и дело прикладываясь к кружке с густым оленьим бульоном, он что-то мычал в ответ на расспросы Светланы-Кэргыны и знаками показывал, что ему нужно: новый кусок хлеба, еще бульону...

Тнеру потянулся к телевизору и прибавил громкости.

Шла вчерашняя, недосмотренная программа «Время». Диктор рассказывал о новых километрах сваренных труб на трассе газопровода Уренгой—Помары—Ужгород, показали новую укладку рельсов на строительстве БАМа... Словом, шли обычные трудовые новости страны.

Глядя одним глазом на экран, жуя очередной кусок мяса, оживший Купки восстановившимся самоуверенным голосом заметил:

— И охота вам смотреть всю эту муру...

Тнеру даже вздрогнул от этих слов.

— Как ты сказал? Муру?

— Да все это... — Купки небрежно кивнул в сторону экрана. — Про эти километры труб, рельсы, выплавленный металл, убренные гектары...

Тнеру некоторое время молчал. Он вообще хотел поначалу промолчать, но Купки, очевидно окончательно насытившийся и пришедший в себя, продолжал:

— И как все это вам не надоест? Все одно и то же бубнят. Лучше бы показали что-нибудь интересное...

— А что ты считаешь интересным? — вызывающе спросил Тнеру.

— Ну, кино бы показали, хоть про жизнь животных...

— Значит, жизнью животных интересуешься?.. А про жизнь людей тебе неинтересно?

В голосе оленного пастуха появились новые нотки, и Кэвэв хорошо знал, что они предвещают. Он умоляюще посмотрел на Тнеру, но тот уже был воспламенен, как сухой тундровый мох попавшей в него искрой.

— Про жизнь людей тоже бы посмотрел, — продолжал Купки, не зная и не подозревавший о том огне, который он разжигал своими замечаниями и ухмылкой.

— А ты-то хоть знаешь, что самое главное в жизни человека? — чуть утончившимся голосом спросил Тнеру. — Ведь, скажу тебе, дорогой студент, что человек, между прочим, тем и отличается от животного, что сознательно и с удовольствием работает.

— Ну, некоторые животные, допустим, тоже работают, — продолжал свое Купки.

— Да будет тебе известно, — еще больше повысил голос Тнеру, — работает только человек!

— Ну хорошо, — снисходительно проронил Купки. — Пусть будет так. Но при чем тут телевидение?

— А при том, что телевидение это наше, советское.

— А разве здесь нельзя поймать американское или японское? Через спутник связи? — Купки обвел улыбающимся взглядом сидящих в яранге, как бы ища у них поддержки.

— Я не видел ни американского, ни японского телевидения, — продолжал все повышающимся голосом Тнеру. — Но наше советское телевидение — это телевидение советского народа, трудящегося народа. А у трудящегося народа самая главная новость какая? Как он работал, что сделал... Это наша главная, советская новость. И правильно делают наши радио и телевидение, когда рассказывают и показывают это главное...

— Ну, вы прямо какой-то лозунг, а не человек, — проронил с улыбкой Купки, принимаясь за чаепитие. Он долго размешивал в крепком настое сгущенное молоко.

— А что, разве этот лозунг неправильный? — спросил Тнеру.

— Дело не в том, правильный или неправильный, — тон у Купки продолжал оставаться прежним, снисходительным, слегка усталым, — а в том, что нельзя так жить: только по лозунгам да по призывам.

— А как же? — придав лицу нарочито глуповатое выражение, спросил Тнеру.

— Ну, и свою голову надо иметь, свои мысли.

— А если эти лозунги, эти призывы верны и они как бы от моих размышлений идут, почему бы не жить и по

ним? — очевидно, Тнеру все же удалось смирить свое раздражение, потому что голос его стал ровнее.

— Ну и живите по ним! — усмехнулся Купки. — Только вот что меня удивляет: сколько можно повторять эти призывы и лозунги? А? Сколько можно?

— Может быть, в этом ты и прав. — Голос у Тнеру даже стал каким-то рассудительным. — Но ведь сколько народу, сколько еще людей, до которых не доходят простые слова, эти простые и ясные вещи: не лодырничай, не воруй, будь честным на работе, не пей... Вот для них без конца и повторяют лозунги и призывы: может, в конце концов до кого-то и дойдет.

— Вы, может быть, и меня имеете в виду? — спросил Купки.

— И тебя в том числе, — спокойно ответил Тнеру. — Сейчас посмотрим, какая погода, потом продолжим беседу.

Кэвэв, начавший было беспокоиться за исход разговора, с готовностью прибавил громкости в телевизоре. Диктор читал прогноз от Урала до Чукотки. Тнеру внимательно слушал.

Кэвэв искоса поглядывал на Купки и Светлану-Кэргыну, и почему-то ему было очень жаль девушку. Противоречивые чувства испытывал он к ее жениху. С удивлением почувствовал в себе какое-то мстительное удовлетворение оттого, что Тнеру, похоже, одерживал верх в споре.

Насладившись созерцанием метеорологической обстановки в большей половине страны, Тнеру снова повернулся к Купки.

— Ты меня удивил еще там, в стаде, когда сказал, что после окончания техникума собираешься стать начальником.

— Вы меня неправильно поняли, — перебил Купки. — Я только сказал, что собираюсь работать в городе Анадыре, в окружном сельскохозяйственном управлении. Там не только начальники работают, есть и подчиненные.

— Нет, я правильно понял: полегче ищешь работу, — упрямо сказал Тнеру.

Светлана-Кэргына вскинул головку, встряхнула волосами:

— Дядя Тнеру! Как вам не стыдно обижать моего... моего жениха... моего мужа... Он так устал, так страдался, а вы на него напустились...

— Подожди, Света, лапушка моя, — проговорил Купки с кривой, словно застывшей на его лице усмешкой. — Пусть говорит. Для меня слова какого-то тундрового пастуха никакого значения не имеют. Я даже не обижаюсь на него: пусть мелет языком.

— Не беспокойся, больше не буду... это самое... молоть языком, — сказал Тнеру, вставая. — Мне надо отдыхать.

После ухода Тнеру в чоттагине некоторое время царила тишина. Телевизор был выключен, и в полнейшей тишине, нарушаемой лишь гулом морского прибоя, вдруг послышался всхлип Светланы-Кэргыны.

— Доченька, успокойся, — кинулась к ней мать. — Он ведь хороший человек.

— Тнеру — очень хороший человек! — добавила бабушка Тутына, которая и половины не поняла из происшедшего.

— Ну, а что ты скажешь? — обратился к Кэвэву с нарочитой бодростью в голосе Купки.

— По-моему, дядя Тнеру во многом прав, — тихо сказал Кэвэв.

— Вот как! — воскликнул Купки. — Выходит, я один тут в меньшинстве?

— Я с тобой, Петенька, — сквозь всхлип проговорила Светлана-Кэргына. — Да они просто завидуют тебе, что ты такой культурный и образованный!

— Ну хорошо, лапушка. — Купки потрепал девушку по волосам, и Кэвэв вдруг с удивительной отчетливостью вспомнил, как в недавнем кинофильме он видел точно такой жест.

— Ну раз мы с тобой, Светочка, в меньшинстве, то надо выбираться отсюда. Когда будет вельбот?

Валентина Сергеевна растерянно проговорила:

— Ну зачем же так? Поспорили немного... Что же тут такого особенного? Да живите тут сколько надо. Ведь надеялись мы, готовились...

— К чему готовились? — спросил Купки.

— Ну, к свадьбе или там что еще... — нерешительно, запинаясь проговорила Валентина Сергеевна.

— А мы не собирались справлять свадьбу, — объявил Купки. — Разве мало, что мы вместе? Верно, Света, лапушка моя?

Светлана-Кэргына молча кивнула.

— И все же... — как-то растерянно продолжала Валентина Сергеевна. — Все-таки обычай...

— Что вы все цепляетесь за старые обычаи? Лучше скажите, когда будет вельбот? — с раздражением сказал Купки.

— Вельбот может вызвать только бригадир, — ответила Валентина Сергеевна.

— Так пусть вызовет. С человеком несчастье. Ногу повредил. А лучше, если санрейс вертолета устронт... Верно — пусть попросит вертолет!

Видимо, эта идея ему очень понравилась, и он еще раз повторил вслед Валентине Сергеевне, уходящей из яранги к радиостанции на вездеходе:

— Попросите, чтобы прислали вертолет!

Валентина Сергеевна вернулась через несколько минут. Не успела она войти в чоттагин, как Купки спросил:

— Ну как?

— Обещал попросить вельбот.

— А вертолет?

— Он спросил, что случилось, я объяснила, и он сказал, чтобы вы дожидались вельбота.

Валентина Сергеевна говорила тихо, но спокойно.

Купки повернулся к Светлане-Кэргыне и многозначительно произнес:

— Вот видишь!

Кэвэв не мог больше оставаться в яранге.

Тнеру, вопреки собственным словам, не спал и не отдыхал. Он возился с летними нартами, рассматривал полозья. Кэвэв подошел, постоял рядом. Пастух молча пытался, отковыривая заскорузлым пальцем пятнышки нарождающейся ржавчины. Потом поднял глаза на Кэвэва и спросил:

— А вдруг и вправду мы дураки?

— Как это? — с недоумением отозвался Кэвэв.

— Может быть, он прав: зря это мы так живем, стараемся, чтобы все у нас было хорошо, честно работаем, бьемся за каждого оленя? А? И еще верим тому, что наш труд — это часть общего труда на благо обществу? И совсем не так, что если больше и лучше будем работать, то лучше будет жить весь наш народ, то есть каждый из нас?.. Может, и впрямь все это — только слова?

Кэвэв как-то поначалу не разобрался и лишь пожал плечами в ответ.

— Может, те, кто произносит лозунги и призывы, сами-то не так живут, как призывают? Ловчат, гребут под себя, что получше да пожирнее. Вон как наш дирек-

тор совхоза. Все видят, что он поворовывает, а делают вид, что ничего такого нет... В прошлый раз, когда забивали оленей, он мешками таскал языки. И то же с камусом. А женщины из пошивочной мастерской жалуются: не из чего шить торбаса. Дошло до того, что из искусственного меха делают опушку пастушьего малахая! А? Приедет к нам с призывами, а сам, может, сидит себе и посмеивается: все равно Инки, Тнеру да Кэвэв вывезут совхоз! А не получится — свалим на их несознательность и пережитки первобытнообщинного строя. Ведь уедет этот, — Тнеру кивнул в сторону яранги Инки, — будет нас вспоминать как последних дураков и смеяться над нами... И, может, он будет прав?

— Нет! — мотнул головой Кэвэв. — Не будет он прав.

Тнеру отставил ржавый полоз, проведя напоследок ладонью по его поверхности, поглядел на руку и вытер ее о подол камлейки.

— Ну, да ладно, — махнул он рукой, как бы вместе с этим взмахом отряхивая приставшую к нему неприязнь. — Только вот жаль Свету-Кэргыну. Не будет у них жизни.

— Да вроде бы они еще и не женаты...

— Формально не женаты, не зарегистрированы, — пояснил Тнеру, — а живут как муж и жена.

— Он мне говорил: свадьба — пережиток, — вспомнил Кэвэв.

— Для таких, как Купки, все, что их не устраивает, — пережиток. И труд скоро у них станет пережитком.

— Он просил вызвать санрейс...

— Еще чего выдумал! — снова закинул Тнеру. — Да будь моя воля, я его вплавь или на бревне заставил бы переправиться через пролив! Подумаешь, лодыжку вывихнул! Санрейс...

— Инки сказал: пусть едет на вельботе, — добавил Кэвэв.

— Правильно сказал! — Тнеру поставил нарту полозьями к яранге. — Недолго погостил женишок... А ты лучше пойди отдохни. Скоро сменять Инки. Надо же ему проводить свою дочку и этого самого... даже и не знаю, как назвать. Зять не зять, жених не жених — одним словом, свободный художник.

И Тнеру засмеялся своему неожиданному определению.

По внешнему виду Тнеру был самый что ни на есть тундровый человек. Даже стригся он так, что, конечно, ни в какой даже в самой худшей парикмахерской его не могли бы так обкорнать. Тнеру ухитрялся проделывать эту гигиеническую процедуру собственноручно, удивляя своих товарищей. Но жестоко ошибался тот, кто пытался судить о Тнеру по его наружности. Несмотря на то, что он окончил только восемь классов Кыннотской школы, он был по-своему широко образован и начитан. Его интересовало все: от строения Вселенной до жизненного цикла овода. Тундровая яранга Тнеру напоминала передвижную библиотеку, и в сельской почте стонали от его подписки. Порой значительную часть груза, отправляемого в стойбище, составляла почта для Тнеру.

Получив газеты и журналы, Тнеру раскладывал их по числам и принимался за чтение. Газеты он прочитывал довольно быстро, объясняя это тем, что две трети газетных материалов повторяют друг друга. Потом наступала очередь журналов. «Науку и жизнь», «Знание — сила», «Вокруг света» Тнеру иной раз даже брал на дежурство.

При всем при этом Тнеру никогда не кичился своими знаниями, для него составляло истинное удовольствие, чтобы кто-нибудь еще узнал то, что стало известным ему, а потом вместе порассуждать вслух на эту тему. Тнеру ревниво следил за тем, чтобы Кэвэв продолжал читать, и настаивал на том, чтобы после службы в армии парень поступил в сельскохозяйственный институт. «Человек с высшим образованием нужен не только в конторах, а вот тут, рядом с оленем, — возражал он на опасение Инки, что с дипломом парня вряд ли отпустят обратно в тундру. — Он тут увидит такое, что никогда не усмотрит, даже если станет старшим научным сотрудником в институте оленеводства. И почему оленный пастух не может быть с высшим образованием? — горячился Тнеру. — Ведь рано или поздно так будет. Пусть Кэвэв будет первым».

Тнеру потрогал нарту, крепко ли она стоит, поглядел в сторону пролива и сказал:

— А погода портится. К вечеру, боюсь, поднимется волна, а то и буря будет.

Кэвэв проследил за взглядом старшего пастуха, но ничего тревожного не усмотрел. По-прежнему ярко сияло солнце, было тепло, и над спокойной водой пролива Сенявина летели нескончаемой чередой птичьих стаи.

Когда Кэвэв в детском доме, а потом в интернате меч-

тал о никогда не виденной Чукотке, он и не представлял себе, что здесь летом такое изобилие водоплавающей и всяческой другой птицы. В материковой тундре журавли бродили совсем рядом с оленями и ярангами, а по берегам многочисленных озерков гнездились полчища уток. Скалистые берега по весне усеивались кайрами, топорками, чайками, бакланами, и шум и гомон разносились далеко по морскому побережью, заглушая прибой.

Хотя не было никаких внешних признаков, подтверждающих предсказание Тнеру, Кэвэв привык доверять старшему пастуху.

— На дежурство оденься потеплей, — напомнил Тнеру.

Когда Кэвэв вернулся в ярангу, там было тихо. Купки спал в отдельном пологе. Из-за меховой занавеси доносился его храп. Бабушка Тутына сучила нитки из оленьих жил, Валентина Сергеевна чистила морским песком большой семейный котел, а Светлана-Кэргына, устроившись на краешке китового позвонка у входа в ярангу, куда проникал свет, читала книгу.

Кэвэв разделся в чоттагине и нырнул в большой полог: надо все же поспать, тем более когда такой прогноз.

8

Инки вошел в ярангу вместе с ветром и мокрым снегом. Пламя костра метнулось, влага зашипела на поленьях.

— Где же обещанный вельбот?

Купки возлежал в отдельном гостевом пологе, высунув голову наружу.

— Вельботы с утра были на промысле, — спокойно ответил Инки, однако видно было, как нелегко ему давалось это спокойствие. — А к вечеру, когда возвратились, уже было получено штормовое предупреждение.

— С утра можно было вызвать санитарный вертолет, — проворчал Купки.

Инки молча стянул с себя отсыревшую камлейку, повесил на перекладину поближе к огню, уселся у костра и медленно сказал:

— По поводу вывиха лодыжки мы санитарный вертолет не вызываем.

— Вы же не врач, чтобы ставить диагноз, — усмехнулся Купки, и на его лице снова появилась эта усмешка, которая всегда возникала, когда он разговаривал.

— Покажи ногу, — попросил Инки.

— Я покажу ногу врачу, — ответил Купкы.

— Болит?

— Какое вам дело? Что вы можете сделать? — Купкы говорил раздраженно.

— Есть много народных способов облегчить боль, — стараясь быть спокойным, продолжал Инки. — Вон Валентина Сергеевна поможет, если что... Может, надо перевязать. Когда я вывихнул ногу, мне врач только и сделал что туго забинтовал, и все. Через несколько часов прошло.

— Извините, но в этих антисанитарных условиях я не могу рисковать своей ногой, — ответил Купкы.

Валентина Сергеевна молча подала мужу еду, налила чай в большую фаянсовую кружку.

— Вполне возможно, что может начаться внутреннее воспаление, — снова заговорил Купкы. — И тогда по вашей милости я могу остаться хромым на всю жизнь.

— Но ведь ты сам видишь: вертолет не может прилететь, а для вельботов в такую темень и бурю плыть по проливу опасно.

Теперь Инки уже не скрывал своих чувств и сказал эти слова резко и, как ему казалось, достаточно твердо.

На некоторое время Купкы замолчал и даже втянул голову в полог.

Инки встретился со страдальческим взглядом Светланы-Кэргыны и спросил:

— Что дальше собираешься делать?

— Я поеду с ним, — Светлана-Кэргына кивнула на полог.

Что мог сказать на это Инки? Потребовать зарегистрироваться в загсе, как предписывает закон? Но ведь это касается только их двоих. Как он может вмешиваться в их личную жизнь? Хотя, честно говоря, ему, отцу, было горько и обидно от этой неприкрытой демонстрации незаконного сожительства. Его чувства разделяла и Валентина Сергеевна, да и бабушка Тутына пребывала в полном недоумении и растерянности. Но, с другой стороны, молодые приехали из той жизни, куда самое передовое и прогрессивное приходит намного раньше, чем в тундру. Может, в чем-то Инки отстал? К тому же ведь было время, когда чукчи ни о какой регистрации брака не знали и не ведали. Долгое время старшее поколение тундровых жителей так и жило — без паспортов и штампов, — и, однако, тогдашние браки были куда как проч-

ны, не в пример нынешним. Кто-то рассказывал о курьезном случае, открывшемся при очередной переписи населения. В одном селе оказалось на удивление много одиноких матерей, получавших пособие. Причем эти матери имели не по одному ребенку, а иные из них вполне могли претендовать на медаль материнства. При ближайшем рассмотрении выявилось еще одно обстоятельство: почти все эти одинокие матери имели сожителей. Постоянных, уже многие годы деливших тяготы по воспитанию детей. Однако эти пары не торопились регистрировать браки, чтобы не потерять право на государственное пособие, вносящее ощутимую добавку в семейный бюджет.

Напившись чаю, Инки медленно разделся и вполз в семейный полог. Он долго не спал, прислушиваясь к возне и приглушенным голосам в чоттагине. Обычно летом Инки спал, высунув голову в чоттагин, на свежий воздух, но в этот раз почему-то не хотелось приподнимать меховую занавесь.

Он думал о том, что человек — удивительное существо. Ну зачем хорошему на вид парню Купке быть таким? Неужели он не понимает простой вещи, что прежде всего вредит самому себе, выставляя себя в смешном и неприглядном виде? Для того, чтобы понять это, не надо быть и особенно умным... Но Светлана-Кэргына... Неужели она ничего не видит? Вот уж верно кем-то сказано: любовь — это когда один человек чудовищно преувеличивает достоинства другого человека. Но тут, похоже, и достоинств-то нету. Кроме амбиции и высокомерия... Но, видно, человечество производит и подобных людей. Ведь живет пожарный деятель Кожура с такой совестью — и ничего! Дочек вырастил, воспитал. Недавно был концерт выпускников музыкальной школы, и они выступали. Хорошо играли. Наверное, отец был счастлив. А девочки, ничего не знающие, думают, что их отец — честный и хороший человек. Они, вероятно, гордятся своим отцом, любят его. И Кожура тоже думает, что человек он неплохой. Но не может же он начисто забыть, как ограбил его, Инки. Должно же где-то в глубине его нутра сидеть сознание, что он сделал недостойное. И это должно глотать его, точить изнутри, словно какой-нибудь червяк, забравшийся в человеческий организм. Или же он так устроен, что нет у него совести и, следовательно, этих самых угрызений и мучений? Просто сделал человек некое действие, способствующее его

благосостоянию, и доволен. Подвернись ему еще раз такой дурак, как Инки, не задумываясь, повторил бы все снова... Но как же так можно?

Инки перевернулся на другой бок, сердясь на себя: сколько раз давал себе зарок не вспоминать и не думать о давно прошедшем, забыть начисто! А то ведь получается: вроде бы Кожура должен мучиться и страдать, а не спит и мучительно размышляет Инки. Правда, в последние годы редко-редко всплывало в памяти случившееся. Очень редко. Например, когда Инки приезжал в районный центр и сталкивался с Кожурой или видел его издали. Прошедшее мелькало в мозгу и пропадало, исчезало, замеснясь другим, более важным сегодня.

Иногда Инки удавалось даже поздороваться с Кожурой безо всякой задней мысли, хотя тот по-прежнему не видел в упор его, словно не Инки то был, а пустое место, прозрачный воздух.

Но сегодня эти беспокойные мысли возникли с непонятной остротой. Конечно, причиной тому Купки, удивительный человек, вроде бы с виду нормальный, а все же какой-то странный...

Инки понимал, что не все люди идеальные. Есть те, что стремятся к личному благополучию, стараются жить только для себя. Но как-то не доводилось встречать такого, который бы откровенно и во всеуслышание заявлял об этом. Скорее, подобные люди всячески старались скрывать свои истинные намерения за показной активностью, радением за общественное дело, за громкими словами. Причем истинное лицо этих людей было хорошо известно, но почему-то принято делать вид, что все так и должно быть... Может быть, с годами, когда наберется житейского опыта, Купки тоже станет говорить правильные слова, а собственное, личное будет делать потихоньку, не напоказ.

Но ведь от этого он не станет другим! Он не станет как Тнеру, как Кэвзв.

Инки вздохнул так глубоко, так тяжело, что прилегающая рядом Валентина Сергеевна встревоженным шепотом спросила:

— Что с тобой?

— Ничего.

— Но ты так вздохнул, — настаивала жена.

Инки худыми мыслями никогда не делился. Он считал, что пока сам не разберется, не наведет порядок, не-

чего других обременять своими заботами. И жена это прекрасно знала. Она знала и то, что беспокоит мужа, и не удивилась, когда Инки сказал:

— Лучше пойду в стадо.

В чоттагине было тихо. Костер догорел. В гостевом пологе, где помещались молодые, слышалось мерное дыхание.

Снаружи на Инки накинудся черный, напоенный морской влагой ветер, заставив некоторое время постоять у стены яранги, чтобы наладить дыхание и определить направление. Равномерный гул морского прибоя сменился тревожным морским рокотанием. Свист ветра заполнял все островное пространство и уносился на восточное побережье.

Пожалуй, пешком будет трудно добраться до стада.

Инки обошел вездеход, взобрался на него и через несколько минут уже катил вдоль кромки разбушевавшегося моря, всматриваясь в светящуюся от волн темень, стараясь не забираться на тундровую почву, чтобы не повредить гусеницами моховой покров и не завернуть ненароком навстречу бушующим волнам. Время от времени он включал фары, и светлые лучи упирались в стену мокрой темноты, угасая где-то в двух-трех метрах впереди от идущего ощупью вездехода.

По мере продвижения вперед мысли у Инки прояснялись, сам он успокаивался. Теперь он думал о своих товарищах, вымокших до нитки, бредущих вокруг оленьего стада, чтобы собрать животных. Вообще-то здесь, на острове, стадо можно было бы распустить: ни волки, ни кто-то другой не угрожали оленям. Здесь даже не было геологов, которые иной раз и постреливали на материке домашних оленей, отговариваясь трудным продовольственным снабжением или тем, что не могут отличить дикое животное от домашнего. На поверку-то оказывалось, что продовольствия у них довольно, просто свежего мяса захотелось... Тогда Инки горько недоумевал: ведь можно просто прийти и попросить. Когда такое случилось, отказа никогда не было. Наоборот, с радостью забивали оленя в помощь. Но почему тайком, воровством? Вот этого Инки никак не мог понять.

Так вот: если на острове распустить стадо, ничего страшного не случится. Но это для оленей. Однако хрупкое, скудное равновесие островной природы может быть нарушено. И, чтобы сохранить ягельное покрытие тундры на возможно долгий срок, Инки с товарищами выпа-

сали оленей строго по намеченным маршрутам. Через несколько лет они возвратятся на то место, где были сегодня, и к тому времени выбитый и съеденный ягель восстановится. Эти маршруты Инки составил вместе с учеными и специалистами, присоединив к ним тот опыт, который сохранили старые пастухи, когда-то батрачившие у здешнего хозяина.

Шаман Ако вел свое хозяйство умно и расчетливо. Еще задолго до возникновения так называемого экологического сознания в мировом масштабе он понимал, что тот, кто будет бездумно хозяйствовать на Камчатке, рискует превратить этот благословенный отколовшийся от материка кусок тундры в пустыню. Поэтому свое немногочисленное оленье стадо Ако не увеличивал, понимая, что большое стадо в два счета выбьет скудные островные пастбища. Годовые маршруты по острову учитывали цикл восстановления ягельников. А моржовое лежбище на восточном берегу охранялось строго. Всякий, кто с умыслом или без приближался к нему, рисковал получить пулю.

При создании артели «Заря коммунизма» остров был отнесен к земельным угодьям этого хозяйства, но в пятидесятых годах, когда возникла нужда перевыполнить план по хоровине — так называлась моржовая кожа, снятая со слоя жира, — лежбище начисто выбили.

Сегодня восстановленное лежбище не трогают: моржей хватает. Вокруг старой Чаплинской косы вода так и кипит от клыкастых животных.

Вообще многое за последнее время стало налаживаться. Прежде всего, конечно, запретили бездумную весеннюю охоту на птиц. А ведь было — даже на парашютах спускались охотники в укромные тундровые уголки. И надо сказать, появлялось немало больших начальников, работников Аэрофлота, людей, распорядившихся вездеходами и другим транспортом.

Иной раз идешь летом мимо тундрового озера — ни утки, ни куличка, ни гусяного выводка: все перебито.

Теперь вместо канонады весной можно услышать и журавлиный клекот, и утиное кряканье, и птичий гомон над тундровым ручьем.

Природа снова заговорила своим голосом, и это радовало...

Возле устья островного ручья Инки развернул вездеход и повел его по каменистому берегу. Проехав с полкилометра, заглушил двигатель и дальше пошел пешком.

Оба пастуха стояли у палатки.

— Что-нибудь случилось? — встревоженно спросил Тнеру, обеспокоенный тем, что бригадир приехал на вездеходе. — Купки худо?

— Что ему сделается! — махнул рукой Инки. — С ним все в порядке, нечего о нем разговаривать. Как у вас тут, в стаде?

— Да все в порядке, товарищ командир, — принялся докладывать Кэвэв. — Вот перегнали оленей сюда. Сбились в кучу. Погода им не нравится.

— Кому такая погода понравится? — вздохнул Инки и спросил Тнеру: — Надолго?

— Два дня подует, никак не меньше, — ответил Тнеру. — Ветер-то нехороший, западный.

— Ну, два дня — это не страшно, — с облегчением произнес Инки. — Побуду пока с вами.

Прежде чем забраться в палатку, медленно обошли стадо.

Олени инстинктивно жались друг к другу, спасаясь от сырого соленого ветра, иные из них жалобно и умоляюще поглядывали на людей.

В палатке было тесно, не повернуться.

— Пошли в вездеход! — предложил Тнеру. — И чай там заварим.

Переселение в вездеход не заняло много времени. Устроившись под надежной защитой брезентового верха, пастухи напились чаю. Однако спать уже не хотелось — на воле посветлело, над морем приподнялись низкие тучи.

— Расскажи-ка, как ты произвел в старшиеержанты начальника Анадырского аэропорта! — поудобнее расположившись на лавке-сиденье вездехода, обратился Тнеру к Кэвэву.

— Да уж сколько рассказывал! — смущенно махнул рукой Кэвэв.

Ранней весной Кэвэв летал в Анадырь на медицинскую призывную комиссию. Страшно торопился обратно — начинался отел. А как раз в это время по чукотским воздушным дорогам начинается самое оживленное движение и людей и грузов. Геологи отправляются в свои партии, перебрасывают снаряжение, разного рода уполномоченные едут во все концы огромной территории руга, превышающей по площади несколько европейских государств. И у каждого самое важное и неотложное дело. В толчее возле касс Кэвэву поначалу почуди-

лось, что он безнадежно и надолго застрял в аэропорту окружного центра. Кто-то из очереди показал на солидного человека в аэрофлотской форме, степенно прохаживающегося по залу. К нему то и дело обращались пассажиры, и он внимательно их выслушивал. Внешность его была очень располагающая.

«Это начальник аэровокзала, — сказали Кэвэву. — От него все зависит».

По простоте души своей Кэвэв был убежден, что нет ничего более важного в весеннюю пору на Чукотке, чем отел. Это подтверждалось и газетными статьями и выступлениями руководителей по радио и телевидению. Перед рождением новых телят чаще приезжали в тундру представители разных учреждений. И все эти гости убеждали, доказывали оленеводам, что от их добросовестного труда зависит теперь многое. Пастухи радовались гостям, снисходительно выслушивали указания и делали свое дело так, как испокон веков велось. Проследив, куда скрылся начальник, Кэвэв вышел из очереди и двинулся за ним.

На обитой черным дерматином двери красовалась надпись из белых жестяных букв: «Начальник Анадырского аэровокзала».

Постучав и услышав: «Войдите!» — Кэвэв ступил в кабинет. Начальник сидел за письменным столом и разговаривал по телефону. Он сделал знак рукой, чтобы вошедший подождал. Кэвэв тем временем соображал, как обратиться к начальнику. Поглядев на погоны, мысленно сосчитал позолоченные полоски. Выходило как-то странно: всего-навсего старший сержант. Одна полоска — кажется, младший сержант, две — сержант, а три — соответственно старший сержант.

Не дав как следует поразмыслить на эту тему, начальник положил телефонную трубку и строго спросил: «Слушаю?»

«Товарищ старший сержант», — запинаясь, начал Кэвэв и по изменившемуся выражению лица начальника понял, что совершил большую оплошность. «Что вы сказали? Какой еще старший сержант?» — строго спросил начальник. «Извините, но мне показалось... Извините...» — Кэвэв попятился назад к двери.

Он выскочил из кабинета, чувствуя, что весь покрылся невесть откуда взявшимся потом. Вытерев платком лицо, шею, руки, он поплелся к своей очереди. Не прошло и десяти минут, как начальник аэровокзала снова

появился в зале. Отыскав глазами Кэвэва, он поманил его. «Что вам нужно?» — спросил начальник, опять устроившись за своим столом.

Запнясь и не глядя на его погоны, Кэвэв объяснил, что он торопится в свое стадо, потому что там идет отел, а пастухов только двое: Инки и Тнеру.

«Какой Инки? — спросил заинтересованно начальник. — Из «Зари коммунизма»?» Кэвэв молча кивнул. «Ну, хорошо. Идите и ждите в зале ожидания. Вас вызовут».

В тот же вечер Кэвэв улетел в бухту Преображения, откуда попутным вертолетом прибыл прямо в стадо. Рассказ его вызвал большое оживление и смех.

— Пусть лучше Тнеру рассказывает, — предложил Кэвэв. — Про свой последний отпуск.

— Тоже много раз было рассказано, — махнул рукой Тнеру. — И про городские двери, и про зоопарк.

Обычно в такую погоду рассказывали разные интересные случаи из своей жизни. Но постепенно эти случаи иссякли и от многократного повторения стали неинтересны.

— Может, что интересное вычитал? — Кэвэв обратился к Тнеру.

— Самому надо побольше читать, — нарочито строго проворчал Тнеру и хотел было начать беседу о братьях по разуму, как заговорил Инки.

— Я вот о чем подумал. Вчера прочитал про бригадный метод.

— Злобинский метод, — тут же продемонстрировал свою начитанность Тнеру.

— Вот этот самый, — кивнул Инки. — А подумать как следует: по сути, он у нас уже был...

— Это когда же? — заинтересовался Тнеру.

— А когда мы в колхозе числились...

— Что-то не припомню, — засомневался Тнеру.

— Тогда мы получали трудовни, — продолжал Инки. — Подводили итог работы и доход делили на всех колхозников. Колхозниками считались и мои родители, пусть старые, но отец ходил на охоту, мать выделывала шкуры, дом вела. Хотя немного, но на них тоже начислялись трудовни. А теперь, значит, у нас голая зарплата. Сколько в стойбище народу? Вот считай: наша семья да бабушка Тутына. Ведь она без дела не сидит. Я ведь к тому говорю, что в тундре ни один человек не бездельничает. А твои старики, Тнеру? Разве ничего не делают?

Твой отец небось наработал больше какого-нибудь конторщика в дирекции совхоза. Сколько он сплел арканов, все нарты держатся на нем! Да и мамаша твоя! И шкуры выделывает, обшивает пастухов. А какое качество! Никакая фабрика так не сделает. Зарплату же получаешь ты да твоя жена. И в моей семье работающих считается только двое. Разве это справедливо?

— Ты что, хочешь вернуться к трудовням? — спросил Тнеру.

— Да нет, не к трудовням, — спокойно ответил Инки. — Я хочу, чтобы все, кто работает в тундре, получали вознаграждение за труд. Мы как бы берем бригадный подряд на наше стадо. Чтобы нам платили по конечной продукции — сколько мы произвели мяса, шкур, камусов. И уже эту плату мы бы сами распределяли внутри нашей бригады, согласно доле труда каждого человека. Ты ведь без хорошей кухлянки и торбасов в тундру не выйдешь. Значит, доля твоего труда включает и труд твоей матери, твоего отца, которые нынче лишь пенсию получают... Да и настроение у них будет получше, если почувствуют себя людьми нужными...

— А знаешь, — серьезным тоном произнес Тнеру, — это интересно. В следующий раз поедешь на какое-нибудь совещание, скажи с трибуны.

— А еще лучше — в газету напиши! — подсказал Кэвэв. — В «Советскую Чукотку» или в «Магаданскую правду»!

— Ну, какой я писатель! — махнул рукой Инки.

— Чтобы в газету писать, не обязательно быть писателем, — сказал Кэвэв. — Там есть специальные люди, которые помогут написать. Литсотрудники называются. Я с одним таким познакомился в Анадырском аэропорту. Он даже за начальство пишет.

— Что же, начальство у нас такое неграмотное, что сами в газету не могут написать? — с недоверием спросил Инки.

— Некогда им, — пояснил Кэвэв. — Важными делами заняты.

— Нет, нет, — еще раз повторил Тнеру, — ты зря отказываешься. И мы подпишемся, верно, Кэвэв?

— А может, лучше анонимку написать? — прищурился Кэвэв.

— Ты что! — сердито заметил Тнеру. — Анонимка — это клевета. А тут серьезная статья должна быть.

— Да я просто так, — засмущался Кэвэв. — Слышал,

что обычно расследуют анонимки. Как начнут нашу расследовать, и докопаются до истины.

— Мы серьезный разговор ведем, — наставительно сказал Тнеру, — какие еще анонимки...

Послышался зуммер вызова на связь.

— Чего так рано? — Инки посмотрел на часы. — Еще только девятый час.

Предчувствие чего-то нехорошего охватило его, и он не спеша поднял трубку.

— Инки слушает.

— Это я. — Голос Валентины Сергеевны затухал. Видно, все же батарейки окончательно подсели. — Купки спрашивает, когда сможете переправить его на материк.

— Ну, он же не слепой, должен видеть, что погоды нет, — не скрывая раздражения, ответил Инки. — Пусть высунет нос из яранги и сам убедится.

— Да я ему то же самое толковала, а он не верит, — вздохнула жена.

— Скажи ему, — Инки понимал, в каком положении оставил и жену и всех обитателей стойбища, — что при первой же возможности вызовем вельбот. Пусть на этот счет не беспокоится... Ну, добавь, что свяжусь с дирекцией совхоза.

— Хорошо, — помедлив, ответила жена. Она явно чего-то недоговаривала.

— А как Светлана-Кэргына? — тихо спросил Инки.

— Плачет, — так же тихо ответила Валентина Сергеевна. — Жалко мне ее...

У Инки чуть не вырвалось: сама виновата! Но он сдержался и только сказал на прощание:

— Все будет хорошо. Пусть не беспокоится.

Он положил телефонную трубку и на вопрошающий взгляд Тнеру произнес:

— Требуется переправить на материк.

— Пусть сам идет! — сердито сказал Тнеру. — Своими ножками топает!

— Как же через пролив пешком? — с недоумением сказал Кэвэв. — Не зима ведь, льда нет.

— Вплавь! — Тнеру по-настоящему был сердит. — Должен же он был научиться плавать в Артеке. Столько раз ездил!

— Там море теплое, а здесь холодное, — продолжал Кэвэв. — Замерзнет, однако.

К вечеру погода не улучшилась, и поэтому Инки остался в стаде. И Кэвэв и Тнеру тоже отказались покинуть оленей. Удивительного тут ничего не было: в непогоду все пастухи старались быть на своем рабочем месте.

В последние годы бабушка Тутына вовсе перестала ездить в село: не хотелось покидать тундру в оставшиеся для жизни годы. Да и особой нужды не было в посещении прибрежного села: все, что нужно, привозили в тундру — и продукты, и снаряжение, моржовое и нерпичье мясо, жир, лахтачьи кожи для обуви, нерпичьи шкурки... Даже кино и то время от времени доставляли в железных коробках. В яранге бригадира, благо она была самой просторной, прямо на меховую переднюю занавесь полога натягивали экран, заводили подальше диванок, чтобы не мешал слушать музыку и разговор в кино, и устраивали киносеанс иногда до самого утра. Смотрели подряд все фильмы, что доставил последний вертолет, а потом уже из них выбирали самый понравившийся, который и крутили, пока не надоедал.

А нынче и телевидение появилось в яранге. Вовсе чудо! Словно голубое окошечко, через которое виден весь мир: от своей родной Чукотки до самых дальних стран. Тутына русского языка не знала, всю жизнь провела в тундре, но всегда рядом кто-то был, переводил новости со всего мира.

Удивительная жизнь настала в тундре! Удивительная и красивая, и старой женщине было непонятно, если находились люди, которые чем-то были недовольны, ворчали, брюзжали или — вовсе странно — отлынивали от работы. Правда, таких в стойбище Инки не было, но в селе, рассказывали, такие встречались.

Сама бабушка Тутына с того самого первого дня, как помнила себя, работала. Самое понятие жизни для нее было в труде, и не делать что-то означало для нее — не жить. Сама она об этом не задумывалась: просто жила, как привыкла жить, находя радость в содеянном — в хорошо сшитой кухлянке, торбасах, пологе, налаженном быте, вовремя приготовленной пище, высушенной одежде для пастухов, в вечном сознании нужности своего существования в оленеводческом стойбище.

Порой до нее доходили разговоры о будущем, когда в тундре из яранг люди переселятся в чудные жилища

из легких материалов, говаривали, лучших, чем оленья замша и деревянные, прокопченные многолетним дымом костра перекладыны. И бабушка Тутына втайне радовалась тому, что эти разговоры из года в год оставались разговорами и никто всерьез не посягал на ярангу, на устоявшийся тундровый быт. Правда, появились вездеходы, вытеснив оленью и собачью упряжку. Однако нынче вроде бы поняли, что железо вредно для тундровой почвы и вездеходный след безобразным шрамом остается на лице земли долгие годы.

Да, жизнь стала иной! Раньше занеможешь — когда дозовешься врача? Или помрешь, или сам выздоровеешь. А нынче! Вон в прошлом году Тнеру неосторожно полоснул ножом по ноге. Не успели сами перевязать — санитарный вертолет прилетел.

Ребятишек чуть ли не с пеленок в яслях и садиках держат якобы для здоровья. И уж такое здоровье дают, что выросший там человек в тундре не приживается. Вон Купки. Вроде бы здоровый, красивый, по глазам умный, а вот чувствуется — не тундровый человек! Даром что на Чукотке родился и вырос и с детства чукотский знает. Не то что Кэвэв. Тот, бедняга, до совершеннолетия только в мечтах да во сне видел родину, а по-чукотски и по-ныне, как чужак, с запинками говорит. Но человек-то он тундровый! По всей его наружности и внутреннему облику он человек, рожденный для здешней жизни!

Иногда, рассуждая таким образом про себя, бабушка Тутына забывалась и начинала высказываться вслух, удивляя своих домочадцев.

Но теперь, в такой ранний час, в чоттагине никого не было, кроме двух собачек, выродившихся оленегонных лаек. Все домочадцы скрылись в полог, и можно, не опасаясь быть переспрошенным, иные слова произносить и вслух. Потрескивал костер: в трещинах плавниковых дров застревала морская соль и стреляла громко, иной раз разбрасывая искры по всему чоттагину. Давно вскипел чайник, испеклись на нерпичьем жиру пресные лепешки-кавказпат, а люди в яранге не просыпались. Да и погода способствовала долгому сну.

Инки с пастухами уже третий день в стаде.

Старая Тутына вздохнула и посмотрела на меховую занавесь гостевого полога. Там тихо и покойно. Когда она была молода, она тоже могла спать вот так долго и безмятежно, не просыпаясь, не шевелясь. Правда, это чаще всего было после огромной, сладкой усталости.

Особенно в конце зимней дороги, когда кочевой караван начинает собираться задолго до утренней зари, трогается в путь при ясной луне, освещается коротким зимним солнцем, а потом бредет по бескрайней тундре при синем свете звезд, ближе к полуночи затмеваемых сполохами разноцветного полярного сияния.

Не удержавшись, бабушка Тутына так глубоко вздохнула, что в тесной груди заболело, и она с трудом выдохнула воздух.

Нехорошо нынче в яранге, нехорошо... Недоволен будущий зять. Видно по его разговорам, по его злому лицу. Уж как вчера старалась: напекла кавкапат да натолкла свежего костного мозга, а он только глянул и отворотил лицо. На завтрак попил пахнущего ружейным порохом растворимого кофе со сгущенкой да галеты погрыз — вот и вся еда.

Не нравится ему, видать, в тундре. Да и тундре он не подошел: вон как вывернул ногу и заблудился, бедняга. Пусть бы уезжал. И Кэргыне будет лучше. Бабушка называла внучку чукотским именем, что, впрочем, означало по-русски то же — Светлана... Девочка уже больше привыкла там жить, в больших селах да в городах. Кому судить, почему та жизнь правильная, а другая неправильная? Может, с того взгляда здешняя тундровая жизнь куда как хуже? Кинотеатра нет, бани нет, водопровода и теплой комнаты, где справляют нужду, тоже нет. Вон Тнеру рассказывал о московских нужниках в гостевом доме на выставке достижений. Сказывал, прямо комната. Чистенькая, как кабинет зубного врача Лутфуловича в районной поликлинике. Все белое, а бумага мягкая, как пыжик, только рвется... Откуда такому быть в тундре? Тундра есть тундра.

В душе бабушка была на стороне Купки, как бы на него ни косились и Инки и Валентина Сергеевна. Она прощала парию все не только потому, что признавала за ним бесспорное право быть другим, не подходящим для тундры человеком, а более за то, что Купки был очень ласков и нежен с Кэргыной. Обычно тундровые люди, да и прибрежные чукчи и эскимосы очень сдержанны в чувствах. Особенно когда это касается женщин. А здесь — смотришь на него и будто видишь кино наяву. А как называет: «лапочка», «лапушечка»... Спросить бы, что это значит. Уж так красиво, так нежно это слово звучит. Может быть, это что-нибудь звездное или глубоко сер-

дечное, самое сокровенно-любовное. Вот как научились то чукчи любить: «лапа»!

От мысленного одобрения бабушка Тутына даже громко хмыкнула и разбудила собаку.

Собачка лениво глянула на старуху и снова медленно закрыла глаза.

Подложив в огонь несколько отполированных волнами чурбачков, Тутына накинула на голову капюшон камлейки и вышла из яранги.

С морской стороны несло сырой, соленой влагой. Волны яростно набрасывались на берег, и шипение откачивающейся воды было хорошо слышно даже с порога яранги.

У прибойной черты ходил мокрый нахохлившийся баклан и что-то высматривал в куче выброшенного на берег мусора. Такая погода нередко дарила островитянам неожиданные подарки. Однажды выкинуло целый ящик баночного пива. Но больше всего было разнообразной пластмассовой посуды. Она появилась сравнительно недавно. В молодости Тутына выходила в штормовую погоду на берег за иными дарами моря. И теперь она зорко высматривала плети свежей морской травы, собирала и укладывала на сгиб руки. Морская трава, сдобренная топленным нерпичьим жиром, — хорошая добавка к мясным блюдам.

Когда бабушка вернулась в ярангу, в чоттагин уже высунулись все обитатели, а Валентина Сергеевна ставила столик впритык к изголовью гостевого полога. Купки мрачно вытянулся из полога в синем спортивном костюме с прилипшими к нему белыми оленьими шерстинками и хмуро оглядел полумрак чоттагина. Он молча почистил зубы, умылся из тазика, услужливо поданного Валентиной Сергеевной, и на секунду выглянул из яранги. Возвратившись к пологу, уселся на бревно-изголовье и включил телевизор. Утреннее повторение программы «Время» уже пропустили, шла детская передача «Будильник».

— Валентина Сергеевна, — обратился Купки к хозяйке, — вы не слышали прогноз погоды?

— По радио передавали, что на побережье Берингова моря ветер до тридцати метров в секунду, дождь, туман...

Купки пробормотал что-то нехорошее, но тихо, явно только для себя.

Встала Светлана-Кэргына, весело поздоровалась с матерью и бабушкой и побежала умываться к тундрово-

му ручью. Это она проделывала каждое утро, независимо от погоды. Возвратилась раздумывавшаяся, с капельками влаги на лице.

— Журавль ходит по берегу ручья, — сообщила она. — Посмотрел на меня и что-то сказал по-своему.

— «Доброе утро» сказал, — заметила бабушка, искаса бросив взгляд на мрачно насупившегося Купки. — Все живое поутру желает друг другу добра, каждый на своем языке.

— И моржи тоже? — задорно спросила Светлана-Кэргына.

— И моржи, и киты, и нерпы, и чайки, и кайры, и топорки, — перечислила бабушка. — Только одних мы слышим, как ты услышала сегодня журавля, а других — нет.

— Вот бы услышать, как морж говорит «доброе утро», — сказала Светлана-Кэргына.

— А чего гадать? Сходи на лежбище, — посоветовала бабушка. — Тут недалеко. Сейчас на восточном берегу хорошо — ветер от тундры дует, пригладил прибой, хорошо моржам.

— Давай сходим на лежбище после завтрака! — предложила Светлана-Кэргына.

От неожиданного предложения Купки даже передернуло. Он отставил кружку растворимого кофе, щедро сдобренного сгущенным молоком.

— Да ты что — в такую погоду!

— Наденем плащи из моржовых кишок, — продолжала Светлана-Кэргына. — В них хорошо — не промокают, легкие.

— Еще чего! Кишки надевать! Мне от этого запаха муторно уже который день. И голова болит.

— На ветру голова сразу перестанет болеть! — Видно, Светлана-Кэргына никак не хотела отказаться от мысли сходить на моржовое лежбище.

— И нога у меня еще не зажила, — со страдальческим выражением на лице вспомнил Купки. — Пока рентгеном не просветят, ничего определенного нельзя сказать. Вдруг трещина или перелом?

Когда Купки и Светлана-Кэргына разговаривали, Валентина Сергеевна и бабушка Тутына почему-то молчали. Словно их и не было в яранге. Только время от времени они обменивались взглядами и односложно и коротко отвечали, если Светлана-Кэргына обращалась к ним с каким-нибудь вопросом или замечанием. Это по-

лучалось как-то само собой, хотя обе чувствовали, что так нехорошо. И еще: обе старались из всех сил угодить гостю-женху, предугадать его малейшее желание.

— А пограничный катер в это время здесь не проходит? — опорожнив вторую кружку кофе, спросил Купкы.

— Граница от нас совсем в другой стороне, — сдержанно ответила Валентина Сергеевна. — Там и ходит сторожевой пограничный корабль.

— А гидрографы?

— Те иногда заходят. Они тут недалеко работают, в бухте Румилет. Однако в шторм они уходят под защиту берега.

— У них большой корабль?

— Нет, маленькая шхуна «Вега».

— Больше вельбота?

— Больше, конечно, в несколько раз.

— Вот к ним бы и обратиться за помощью, — заметно повеселев, сказал Купкы. — А вы не можете это сделать?

— Только через дирекцию совхоза, — ответила Валентина Сергеевна. — У них есть связь.

— Ну, так попросите дирекцию! — вскричал Купкы. — Большой шхуне ничего не стоит подойти сюда и переправить меня через пролив!

— С такой просьбой может обратиться только бригадир, — сказала Валентина Сергеевна.

— Так попросите его! — громко сказал Купкы. — Что это за беспомощность и ненужная деликатность?

— А может, не стоит? — вдруг подала голос Светлана-Кэргына.

Видимо, Купкы не ожидал вмешательства с ее стороны и поначалу с недоумением уставился на нее:

— Что ты сказала?

— Я сказала: может, не стоит вызывать шхуну? — повторила Светлана-Кэргына. — Ты ведь уже даже не хромаешь.

Купкы сначала вроде даже смутился, но быстро взял себя в руки. Выражение его лица резко изменилось, и, заметив это, Валентина Сергеевна не на шутку перепугалась.

— Вы что, сговорились меня погубить? — почти тихо начал Купкы. — Сначала твой отец высказывает свои блестящие познания в медицине, а теперь вот ты? Да может быть, только силой воли я не показываю всех сво-

их страданий! Может, у меня там внутреннее воспаление началось?

— Ну что ты сердишься, Петенька, — Светлана-Кэргына погладила парня по плечу. — Это я так сказала...

— Если хочешь, чтобы я не стал калекой на всю жизнь, пусть твой отец вызовет гидрографическое судно!

Светлана-Кэргына умоляюще посмотрела на мать.

— Хорошо, я еще раз попробую связаться с бригадой, — покорно сказала Валентина Сергеевна и подошла к рации.

Она сделала несколько попыток, но все безуспешно: Инки ее не слышал.

Бабушка Тутына подошла к дочери и по-чукотски сказала:

— Погляди антенну.

Антенна упала. Ветром ее вывернуло из каменного основания, и она лежала возле яранги, беспомощно раскинув провода оттяжек.

Вернувшись в ярангу, Валентина Сергеевна сказала:

— Антенна упала.

— А разве ее нельзя обратно поставить? — спросил Купкы.

Валентина Сергеевна почувствовала раздражение и неожиданно для себя довольно резко произнесла:

— Если вы поможете!

— Ну что же, помогу, — сказал со вздохом Купкы.

— Я тоже помогу! — сказала Светлана-Кэргына.

Втроем под ветром они все же кое-как поставили антенну, прикрепив ее к самой яранге. Вымокшие, усталые, вернулись в чоттагин, и Валентина Сергеевна снова взялась за телефонную трубку. Но Инки не отзывался. Потратив на бесплодные вызовы минут двадцать, Валентина Сергеевна объявила:

— Связи нет.

— Почему? — встрепнулся пристально наблюдавший за ней Купкы.

— Батарейки сели, а новых нет, — ответила Валентина Сергеевна. — Мы в основном пользовались рацией от вездехода. Она работает, как и телевизор, от аккумуляторов, а эта — от батареек...

— Вот! — горестно-торжествующе произнес Купкы. — Типично чукотская беспечность! Лишь бы как-нибудь. А если человеку будет грозить смерть? Так и станет сидеть сложа руки?

— Пока ведь никому не грозит смерть, — спокойно ответила Валентина Сергеевна.

Убедившись в том, что рация не работает, она вдруг успокоилась, а сам Купкы стал ей и жалок и смешон до такой степени, что она едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться ему прямо в глаза.

Купкы нырнул в полог, увлекая за собой Светлану-Кэргыну, и долго там ругался с ней. Через некоторое время Светлана-Кэргына появилась и сказала матери:

— Надо что-то делать. Нельзя же на самом деле сидеть вот так, сложа руки!

— А почему нет? — пожала плечами мать. — И будем сидеть вот так. Только не сложа руки. Вон бери шкуру и работай. И в ненастье в яранге всегда найдется работа. А только скажу тебе, дочка, вот что: терпение надо иметь и сдержанность, если человек настоящий мужчина!

— Ну, мама, — всхлипнула Светлана-Кэргына. — Мне и так тяжело, а тут еще ты...

— А кто виноват? — сердито отозвалась мать. — Ты же его привезла. Он твой мужчина!

Валентина Сергеевна говорила это, а на душе была такая жалость к дочери, такое сочувствие, словно та попала в непоправимую беду. А может, и вправду она в беде и больше нуждается в помощи и сочувствии, чем в порицании? И все же Валентина Сергеевна сдержала себя, только тяжело вздохнула и отвернулась.

10

По брезентовой поверхности кабины щелчками стучали крупные капли дождя. Прислушавшись, Инки понял, что ветер утихает — шум моря стал слышнее и размереннее.

Вчера вечером он отпустил Кэвэва и Тнеру, оставшись один у стада. Подогнал вездеход чуть повыше по речке, свернул палатку, чтобы она зря не мокла, и устроился с комфортом в вездеходе. Он догадывался, что батарейки рации в яранге окончательно сели, но даже был рад этому, чтобы не слышать глупые стенания и требования Купкы.

Стадо не разбегалось. Наоборот, испуганные и встревоженные непогодой олени жались друг к другу. Если бы не мысли о дочери, как было бы хорошо здесь, при шуме утихающего, умиротворяющегося моря.

Инки любил это состояние природы, когда она, слов:

но устав от деятельности, шума и ярости, начинала проясняться, как бы приходить в себя.

Почему-то перемены в погоде чаще всего происходили ночью, зимняя пурга, скажем, имела обыкновение кончаться внезапно, иногда даже в разгар бури, словно что-то обрывалось, неожиданно истощалось. Летняя испогода улучшалась медленно. Но, похоже, предсказание Тнеру сбывалось: шум дождя побеждал шум ветра, а это верный признак перемены погоды к лучшему.

Утренний завтрак Инки состоял из хорошей кружки густо заваренного чая и холодного вареного оленьего мяса. Насытившись, Инки вышел из вездехода и сразу же глянул в сторону моря, заметив, как высоко приподнялась нижняя кромка облаков, едва не касавшаяся вчера белых вершушек кипящих в проливе Сенявина волн. Там, вдали, в более темной полосе, угадывался материковый берег и стоящий на высоком берегу Кыннот. К обеду, если дело и дальше так пойдет, можно будет увидеть домики.

Инки посмотрел на часы и вернулся в вездеход, чтобы выйти на связь с дирекцией.

Обменявшись новостями и выслушав доклад бригадира, директор сказал:

— Сегодня вечером к острову подойдет гидрографическое судно «Вега». Забьете для них двух оленей. Сам сядешь на него и через бухту Румилет — в поселок, на районный слет оленеводов. Очень просили приехать.

— Это приказ? — на всякий случай спросил Инки.

— Приказ по совхозу уже оформлен, — засмеялся директор.

В этом году Инки мог быть доволен: с весны его не беспокоили. Так договаривались еще зимой — в горячее время оленеводов не трогать и не вызывать без нужды на разные совещания и слеты.

Сегодня после обеда его сменит Кэвэв, а Инки, забив оленей и погрузив их на вездеход, вернется в стойбище. Ну и, наконец, можно будет избавиться от гостя. Жалко только, что Светлана-Кэргына наверняка последует за ним.

До назначенного срока Инки обошел стадо, убедился в полном порядке и, не дожидаясь напарника, выбрал двух холостых быков и освежевал их на берегу ручья. Требуху, ноги и голову он положил в чистый холщовый мешок: все это пригодится в стойбище.

Фигурка спешащего в стадо Кэвэва показалась намного ранее намеченного времени, и, глядя на приближающегося парня, Инки почувствовал в душе тревогу.

— Ты чего так рано?

— Возвращайтесь в стойбище! -- выдохнул Кэвэв. — Тетя Валя просила.

— А что случилось? Скорее говори! Со Светой?

— Да ничего особенного! — махнул рукой Кэвэв. — Тнеру с Купки сцепились.

— Подрались? — сердце у Инки сжалось.

— Если бы подрались, — хмыкнул Кэвэв. — Идеологически поспорили, а потом боролись.

— Ты говори толком, — попросил Инки.

— Сначала вроде бы все шло нормально, — отдышавшись, принялся за рассказ Кэвэв. — Пришел Тнеру смотреть программу «Время». Купки тоже сначала смотрел телевизор и молчал. А потом под конец стал ворчать: вот все про успехи толкуют, про социалистическое соревнование, про всякие перевыполнения, а такого пустяка, как батарейки, не могут завезти в оленеводческую бригаду... И пошел, пошел критиковать, то есть очернять...

— Как очернять? — переспросил Инки.

— Стал говорить, что все это вранье. Что на самом деле все у нас плохо. Толкуют про новое жилье в тундре, а как были яранги сто лет назад, так в них и до сих пор живут оленеводы. Снабжение не могут наладить, мол. Снова упомянул батарейки: связи нет, если что случится — не дозовешься помощи... Ну, Тнеру поначалу сдерживался, видно было, что терпит, а потом как скажет: «Раньше я не представлял, как это выглядит пережиток капитализма в живом виде, а теперь ясно вижу — это ты!» Ну, думал я, кинется сейчас Купки на Тнеру, а тот как захочет: «Какой же я пережиток капитализма, если чукчи миновали не только капитализм, но и высшую стадию — империализм. Прямо в социализм пришли!» Ну, а Тнеру не унимается, говорит, что Купки вообще никогда и в социализме не был: заблудился где-то в пути, как недавно на острове в туман... Тогда Купки как вскочит, чуть не свалил в костер телевизор. И тогда вызвал Тнеру на поединок.

— Как на поединок? — с недоумением спросил Инки.

— Бороться, — уточнил Кэвэв. — Тнеру принял вызов. Светлана-Кэргына удерживала, упрашивала Купки, плакала, но тот как взбесился. Женщины остались в яранге,

а я вышел вроде бы зрителем и секундантом. Интересно было!

— Ну и кто победил? — с нетерпением спросил Инки.

— Молодость! — ответил Кэвэв. — Хотя мне хотелось, чтобы дядя Тнеру оказался победителем. Но Купки так ловко бросил его на землю, и минуты не боролись. Тнеру объявил, что поскользнулся, но во второй раз он еще быстрее оказался на земле. А Купки сказал: «Я был чемпионом по самбо!»

— А это что?

— Самбо — это такой вид борьбы, — объяснил Кэвэв. — Расшифровывается так: самозащита без оружия. В армии учат такой борьбе.

— Ну, а дальше что было?

— Дальше Тнеру ушел в свою ярангу. Когда утром встали, Купки стал требовать, чтобы его срочно отправили на материк, так как он тревожится за свою безопасность: мол, Тнеру грозился.

— А как нога у Купки?

— Про ногу больше никаких разговоров. Да он этой ногой как поддел бедного Тнеру!.. Вот и послала меня тетя Валя.

Инки выгрузил палатку, примус, чайник, походную рацию, кое-какие припасы и поехал в стойбище.

На половине пути в стойбище увидел бредущего по берегу Тнеру. Пастух подошел к остановившейся машине и сказал:

— Не вернись в стойбище, пока он не уберется оттуда!

Инки сказал, что сам едет в районный центр, но про случившееся не стал расспрашивать. Наказав перегнать стадо на восточный берег острова, Инки тронул рычаги вездехода и поехал дальше по береговой полосе, давя гусеницами выброшенные штормовым морем разноцветные пластмассовые бутылки, флаконы, поплавки, ракушки, морские звезды, мелких рыбешек.

На западе уже заметно прояснилось.

Открылись берега, и лишь мыс Кыннот вместе с селением еще скрывался в прибрежном утреннем тумане.

Дождь перестал.

Поверхность пролива Сенявина успокаивалась, исчезли белые барашки.

Вездеход тяжело поднимал гальку, оставляя за собой заметный след. Все же тяжела эта машина для тундры. Слишком громоздкая, шумная, попусту тратящая столь-

ко лошадиных сил. Хорошо бы вместо нее совсем небольшую, на толстых высокопроходимых шинах. Где-то на картинке Инки видел такую машину, но, верно, предназначенную для выставки. Много нужно современного оборудования для тундры, и вроде бы где-то оно и есть, да только не здесь... Так что кое в чем Купки прав. И от этого еще больше обидно и горестно не только Тнеру. Почему это так получается, что мы собственной нерасторопностью и неумелым хозяйствованием сами себя ставим на посмешище и позор? И еще — безудержное хвастовство... Чуть маленький успех — так стараемся его раздуть, растрезвонить. Нехорошо это, не по-мужски. Настоящий трудовой человек эдак поступать не станет. Ведь еще нередко и так бывает, что успех-то ерундовый или просто человек честно, добросовестно поработал. Как-то прочитал Инки в местной газете, что строители сдали дом в райцентре с оценкой «хорошо». Это было подано с такой помпой, будто построили не просто очередной дом в пять этажей, а по меньшей мере небоскреб. Как раз в том доме новую квартиру получил старый знакомый, работник районного исполкома. Зайдя к другу на новоселье, Инки придирчиво осмотрел всю квартиру, попробовал все краны и даже посидел в сверкающем белым кафелем санузле. «Ты мне покажи, что тут такого особенного сделали строители?» — попросил он земляка. «Сдали в срок, с оценкой „хорошо“», — радостно сообщил счастливый земляк, никак не находящий себе места в трех просторных комнатах. «Из-за чего же шум? — допытывался Инки. — Разве строители не должны были сделать дом в срок и хорошо?» — «Должны были и сделали свое дело хорошо и в срок! Вот от этого и радость!» — заявил земляк, пытаясь открыть бутылку шампанского. «Тут что-то не так, — покачал головой Инки. — Почему мы стали считать чем-то необычным, если человек или коллектив хорошо и добросовестно сделают свою работу? То, что они должны делать изо дня в день не ради похвал и шума, а ради собственного душевного спокойствия и совести». — «Ну, ты многого хочешь!» — засмеялся работник районного исполкома, который по своей должности должен был знать куда больше тундрового жителя. «Может, работали новички, неумелые люди, и для них строительство такого дома в новинку?» — настаивал Инки. «Да брось ты придираться, — земляк разлил шампанское по стаканам. — Нормальные люди работали. А то, что они сдали дом комиссии на «хорошо», это и вправду

достижение. Ведь раньше что было? То краны текут, то пол кривой, двери не закрываются... Вот такие дела... Давай лучше отметим новоселье!»

И все же тот разговор заставил Инки задуматься. Размышлял он и о появлении множества изделий со Знаком качества, хотя на поверку никакого особого качества в товаре не было — просто по сравнению с другими изделиями это было более или менее добросовестно сработано.

Однажды даже попалась на глаза водка со Знаком качества!

И сейчас, едучи на вездеходе в стойбище, Инки думал: а вдруг и вправду, как утверждает Купкы, они люди наивные и отсталые? И их старание жить честно, работать добросовестно — это признак отсталости?

Все-таки в глубине души Инки был уверен, что его жизнь и жизнь его товарищей по стойбищу если уж и не образец, то, во всяком случае, такая, что они могут открыто и честно смотреть в глаза людям, прямо в глаза.

Показались яранги. Они едва возвышались над тундрой, упрятанные в понижение речного берега. Сама речка, напитанная дождевой водой, замутилась, набухла и окрасила мутью морской прибой.

Инки подвел вездеход к прежней стоянке, выключил двигатель и некоторое время сидел за рычагами, мысленно готовя себя к тяжелому и неприятному разговору с Купкы.

Но, против ожидания, его встретили в яранге мир, спокойствие и даже несколько приподнятое настроение.

— Ну, вот и хозяин пришел! — весело, с улыбкой сказал Купкы.

И хотя слово «хозяин» несколько покорило Инки, он был рад такому мирному настроению.

— Какие новости?

— Вечером подойдет гидрографическая шхуна «Вега», — ответил Инки. — Я еду в районный центр.

— А мы собираемся несколько дней пожить в Кынноте, — сказала Светлана-Кэргына. — Петя хочет посмотреть машину, покататься.

«Осталось ли от нее что-нибудь?» — подумал про себя Инки.

Но вслух ничего не сказал. Он дивился изменениям в поведении Купкы: неужели на него так благотворно повлияла победа над бедным Тнеру?

Погода улучшалась с каждой минутой. Сначала за пеленой поднимающегося тумана обозначилось солнце, а потом прорвалось и залило ослепительным светом остров со всеми его берегами, моржовым лежбищем, оленями, евражками, ягодами и утиными выводками. Волны в проливе Сенявина не пенились грозно, а мирно катились под теплыми солнечными лучами.

Стойбище тоже словно бы принарядилось, повеселело, хотя во внешнем облике яранг ничего не изменилось; может быть, только дым из островерхих крыш уже не стлался низко над землей, а поднимался ввысь, уносимый веселым ветром в ягодную и цветочную тундру.

Валентина Сергеевна собрала небольшой дорожный чемодан мужа, положила чистые рубашки, галстук с постоянным узлом, черные ботинки, тонкие носки и несколько носовых платков.

Шхуна показалась после обеда. Она шла с северного створа пролива, подгоняемая ветром и катящимися по ее курсу волнами. Она стала на рейде, бросив якорь как раз напротив стойбища. Моряки-гидрологи спустили шлюпку и на веслах направились к берегу. Причаливать пришлось с большой осторожностью: накат еще был силен, на галечный островной берег катились высокие волны.

На шлюпке приплыл старый знакомый Инки, начальник Преображенской гидрографической базы, Матвей Юрьевич Абаев. По возрасту они были ровесниками и знали друг друга много лет, с той поры, когда Абаев начинал свою работу на полирице гидрографии простым инженером, выпускником Ленинградского высшего инженерного морского училища.

Теперь Абаев — кандидат географических наук и, хотя под его началом целый флот новейших научных судов, по-прежнему любит плавать на старой, испытанной «Веге».

Друзья сдержанно, но тепло поздоровались.

— Без обеда не отпущу, — с улыбкой предупредил Инки.

— Сдаюсь! — поднял обе руки Абаев. — Честно признаться, я не позавтракал, предвкушая угощение Валентины Сергеевны.

Валентина Сергеевна постаралась не обмануть ожиданий гостя. Сначала было подано сваренное по-тундровому оленьё мясо. Лакомые части, грудинка, варились в большом котле недолго, пока не закипела вода. После мяса хозяйка подала оленью колбасу, выложенные на

фарфоровую тарелку ломтики розового костного мозга. И, конечно, крепко заваренный тундровый чай с лепешками, жаренными на нерпичьем жире.

Знакомя Абаева с Купкы, Инки просто сказал:

— Товарищ моей дочери.

Но гидрограф зоркими кавказскими глазами узрел ситуацию и напрямик спросил:

— Когда свадьба?

Светлана-Кэргына посмотрела на Купкы. Тот пробормотал:

— Пока окончательно не решили... Да и разве это так важно?

— Это очень важно! — серьезным тоном произнес Абаев. — У нас на Кавказе так заведено: обещал жениться — держи слово, если не хочешь иметь серьезных неприятностей.

— Ну, во-первых, остров Камчатка не Кавказ, а во-вторых, мы люди современные, и нам не обязательно придерживаться устаревших обычаев, — ответил Купкы.

— Вот это сказал! — Абаев повернулся к бабушке: — Слышишь, что говорит этот молодой человек?

— Он ласковый, — по-чукотски ответила бабушка. — Ласково называет Светочку-Кэргыну... Он хороший.

— Он будет совсем хорошим, когда окончательно и законно женится на дочери моего друга и пригласит меня на свадьбу! Вот отпразднуем! Послушай, Инки! Нарядим нашу «Вегу». Свадебный корабль! Торжественно проплывем от бухты Румилет до сельского Совета в Кынноте, а потом сюда! Салют устроим из ракет и фальшфейеров!

— Извините, — солидно произнес Купкы, облизывая палец за пальцем, — но нам этого не нужно. Эти старые обычаи...

— Но как можно жить без обычаев?! — Абаев был по-настоящему взволнован. — Настоящий человек уважает старые обычаи, потому что в них опыт тысячелетий, народная мудрость!

Стараясь увести разговор от этой опасной и не очень приятной для него темы, Инки спросил:

— Как промеры у старой Чаплинской косы?

— При чем тут промеры? — продолжал волноваться Абаев. — Тут идет речь о твоей семейной чести! А ты — промеры...

— Пусть сами разбираются, — глядя прямо в глаза другу, произнес Инки.

Почувствовав в его голосе твердость, Абаев осекся, как-то сник и принялся за чаепитие, обратив свое красноречие на расхваливание жаренных в нерпичьем жиру лепешек.

— Моя Лидочка как ни старается, у нее такие лепешки не выходят.

— Зато она варит отличный борщ, — напомнил Инки.

Время от времени Абаев кидал пристальные взгляды на Купки, словно только увидел парня и пытается как следует его рассмотреть. Инки все отвлекал друга вопросами:

— Как моржи у старой Чаплинской косы?

— Прямо вода кипит от них, — ответил Абаев. — На подходе к полярной станции одного, пожалуй, мы задели винтом.

— А помнишь, как охотились на моржа? — начал вспоминать Инки. — Били его, беднягу, со страшной силой...

— Да-а, — задумчиво произнес Абаев. — Вовремя спохватились.

— Может быть, — после некоторого раздумья согласился Инки.

Пока они разговаривали, Валентина Сергеевна и Светлана-Кэргына о чем-то шептались, а Купки сосредоточенно пил чай, с вежливым и внимательным видом прислушиваясь к беседе.

Инки дивился перемене его настроения и тайно надеялся, что, быть может, на самом-то деле он парень неплохой и его недавние выходки, речи, требования происходили оттого, что ему и впрямь непривычно в тундре, в незнакомой обстановке, да и с ногой неладно получилось. А тут еще погода... Разве он сам, Инки, в возрасте Купки так уж был мудр и рассудителен? Скорее всего, нет. Дальше семилетки учиться не захотел. От одной только мысли, что для продолжения образования придется надолго покинуть родной Кыннот, а быть может, и Чукотку, становилось страшно. Да, в годы его молодости на тех, кто отваживался пускаться в далекий путь за знаниями, смотрели как на героев. Когда они возвращались в родные селения в чем-то изменившиеся — то ли от груза обретенных знаний, то ли от долгого вкушания непривычной пищи, от жизни в больших домах — или просто одетые во все матерчатое, — их готовы были слушать часами. Рассказы о больших городах, о многоэтажных домах,

даже о таких вещах, как водопровод и канализация, поезд, троллейбус, вызывали среди односельчан и земляков Инки огромный, завораживающий интерес. Ведь в те времена не было телевидения, радио едва-едва хрипело, а кино оставалось большой редкостью.

А теперь — хочешь, слушай радио хоть круглые сутки, смотри телевизор, читай газеты и журналы, а в отпуск, как человек рабочий, пользующийся северными льготами, отправляйся в любой санаторий страны: путевка и проезд будут оплачены профсоюзом...

Да, жизнь здорово переменялась даже за последние два десятилетия, и как-то странно, что над этим особенно и не задумываешься.

— Ну, пора и в дорогу, — сказал Абаев, и все засобирались, стали прощаться.

Инки долго не уходил с палубы, глядя на стоящих у яранги и удаляющихся жену и бабушку Тутыну.

11

Инки не слышал, как среди ночи в Кынноте на берег сошли ребята, а поутру, выйдя на палубу, увидел в дальнем конце бухты Румилет, на фоне зелено-желтой тундры райисполкомовский узик.

Шофер Роман, хорошо знавший Инки уже многие годы, поздоровался и подхватил чемоданчик.

По дороге в райцентр Роман сообщил местные новости:

— Вчера снесли еще один двухэтажный барак. А сегодня — торжественные проводы ветеранов Севера, отъезжающих на теплоходе «Серго Орджоникидзе».

— Это какой двухэтажный барак? — переспросил Инки.

— В котором раньше банк был.

— Вроде дом еще крепкий, — заметил Инки и вдруг вспомнил, что это тот самый дом, где он тогда получал деньги... Те злосчастные деньги.

— На этом месте хотят поставить пятиэтажный каменный дом типа «Арктика», — сказал Роман. — Уже приезжали проектанты. Финансировать будет УКС облисполкома, а возводить — наше строительно-монтажное управление Арктикстрой.

По своей осведомленности в делах района Роману в исполкоме не было равных. Он знал все, что делается в

тундре, в оленеводческих стойбищах, прибрежных селениях, в районных учреждениях. Память у шофера была такая, что он держал в уме цифры районного бюджета, и сам председатель, бывало, обращался к нему за справками.

Дорога пошла заметно глаже: выехали на магистраль дороги бухта Преображения — бухта Тасик. Далеко справа показались низкие строения подсобного хозяйства морского порта.

— Тут такой план выдвинули: попробовать в селах свиноводство завести...

Много разных проектов переустройства жизни в чукотском селе, в тундре пережил за свое время Инки. Последнее — концентрация и специализация. Надо сказать, что эти слова, трудные для произнесения, сначала захватили многих. В них чуялось что-то действительно новое, необычное, обещающее выход из многих трудных и запутанных хозяйственных положений. Уже в мечтах виделись этакие маленькие городки с многоэтажными домами на берегах красивых бухт, дома со всеми удобствами, с лифтами. Кое-где дела двинулись дальше слов. Уже нунымские эскимосы переехали в районный центр, где оказалось, для них не было никакой работы, кроме как возить уголь, перетаскивать ящики в магазине, убирать отхожие места. Гордые морские охотники заскучали, многие ударились в беспробудное пьянство, благо спиртное в районных центрах продавалось без ограничения. Потом с этой концентрацией и специализацией разобрались. Но уже сказывалось многолетнее пренебрежение к нуждам малых сел: там не строили жилья, школ, магазинов; медицинские учреждения пришли в упадок... Так и с переводом оленевода на оседлость. Сколько себя помнит Инки, об этом толкуют. Но как можно перевести на оседлость оленевода? Ведь его жизнь подчинена жизненному круговороту оленя, его движению по тундре! Чтобы переделать жизнь оленевода согласно мечтам и проектам людей, далеких от тундры, надо прежде всего переделать оленя, сделать его оседлым животным. Но это уже будет не олень... Да, жизнь оленного пастуха нелегка. Но разве такое неразрешимое дело — снабдить оленевода современным, хорошо оснащенным жильем? Космонавта могут черт знает на какой высоте над землей обеспечить вся-

ческими удобствами, а оленевода на поверхности планеты все только кормят обещаниями да время от времени на выставках показывают самое новейшее жилище для оленевода.

Ведь могут, если захотят! Вон как развернулись в бухте Преображения. Деревянные дома, которые в молодости Инки почитались чуть ли не небоскребами, сносятся как уже отжившие, а вместо них один за другим ставят отличные каменные дома. Квартиры в них ничем не хуже, чем в материковых благоустроенных городах, — с центральным отоплением, с горячей и холодной водой, с сушилками, кладовыми... Особенно хороши квартиры в домах типа «Арктика»... Может, и впрямь теперь очередь за тундрой и селом?

Бухта открылась сразу, во всей красе. Солнце стояло над створом, над мысом Столетия. На фоне ясного неба показались порталные краны, на рейде и у причалов суда, среди которых белоснежной громадой выделялся пассажирский теплоход «Серго Орджоникидзе».

Машина вышла на ровную дорогу, опоясывающую бухту Преображения от морского порта до аэропорта.

Мысли Инки переключились на другое: он подумал о том, сколько времени его продержат в райцентре, уже хотелось обратно, на остров, к своему стаду.

Возле продовольственного магазина «Снежный» машина резко повернула направо и полезла вверх, к подъезду районного Дома культуры.

— Куда меня везешь? — с недоумением спросил Инки.

— Велено сюда, — коротко ответил Роман, притормаживая у подъезда.

Райисполкомовский инструктор, встречавший машину, быстро поздоровался с Инки и повел его за собой, приговаривая:

— Провожаем ветеранов, покорителей Севера... Вас ждут...

— Но я же не ветеран и не покоритель, — слабо сопротивлялся Инки.

— Надо сказать напутственное слово...

Инструктор провел Инки какими-то полутемными коридорами прямо на сцену и, не обращая внимания на выступающего оратора, посадил в президиуме рядом с

председателем райисполкома, низеньким толстым мужчиной с приветливой улыбкой.

Председатель молча, под столом, пожал руку Инки и шепотом спросил:

— Скажешь слово?

Инки отрицательно мотнул головой.

— Ну, это ты зря. — слегка пожурил председатель, — народ ждет.

— Никто не ждет, — спокойно ответил Инки.

Оглядевшись, он узнал многих в президиуме. Вон бывший начальник полярной станции на мысе Столетия Александр Иванович Сидоркин. Инки еще был мальчишкой, а Александр Иванович уже работал здесь, на метеостанции. Впервые они встретились, когда Инки пришел на станцию со школьной экскурсией...

Учительница Анна Петровна Покровская. Приехала она в Кыннот преподавать еще в начальной школе, приютившейся в старом дощатом домике, бывшей лавке американского торговца. Потом уезжала в институт, а вернулась обратно уже в Преображенскую школу...

Строитель Худяков. Все почему-то называли его только по фамилии: Худяков да Худяков. Молоденьким солдатиком приехал он в бухту Преображения. Демобилизовавшись, женился на эскимосской девушке, которая тоже называла его только по фамилии...

Инки перевел взгляд направо и в конце ряда увидел знакомое, слишком хорошо знакомое лицо, чуточку оплывшее, но еще сравнительно молодое. Такие лица почему-то долго не стареют, остаются свежими. Только вот глаза... Но глаза, как всегда, смотрели мимо Инки.

— Кожура отдал все свои лучшие, молодые годы освоению Арктики. Еще совсем юношей он без колебаний выбрал судьбу покорителя Севера, — заливался оратор, — и я должен сказать, что он был на нелегком посту. Деятельность таких людей незаметна, она не бросается в глаза. Скажу больше: мы не часто читаем о них в газетах и книгах, но тем не менее именно благодаря их незаметной деятельности мы живем спокойно, в тепле... Товарищ Кожура!

Кожура поднялся. Пожарный деятель сохранил осанку и фигуру, не очень растолстел. Руки у него были большие, лопатообразные, сильные. Он принял ими продолговатое изделие местного сувенирного цеха — на куске нерпичьей шкуры вырезанную из кости собачью упряжку.

Седок на нарте в профиль был похож на другого ветерана — Саркисова. Саркисов заведовал местной пекарней, но больше прославился тем, что построил довольно большую теплицу из материалов, подобранных просто на улице, по дороге на склад стройматериалов. Инки слышал: приезжала какая-то комиссия разбираться, но наказали не Саркисова, а местных руководителей за небрежное хранение материалов. Весь урожай своей теплицы Саркисов бескорыстно отдавал в местную больницу и детский садик.

Ветераны, получив подарки и выслушав речи, громко хлопали носами, утирали платками глаза. Один Худяков не плакал, был весел. Он никуда не уезжал. Несколько лет назад он попробовал возвратиться на материк, в Тулу. Уговорил жену, детей. Но, не прожив и года, снова вернулся в бухту Преображения, заявив, что теперь он отсюда никуда не тронется до конца дней своих.

Инки смотрел на ветеранов и думал: вот оставляют они здесь главную часть своей жизни. Отныне для них это самые прекрасные воспоминания о прожитых годах, о трудной молодости, а она уже далеко-далеко...

От имени отъезжающих говорила Анна Петровна Покровская. Инки помнил ее совсем молоденькой девчонкой, почти ровесницей себе. Она жила в том же дощатом домике, где помещалась школа, а по выходным дням к ней на лыжах приходил пограничник с Чаплинской заставы. Инки со стыдом вспомнил, как, побуждаемый товарищами, взбирался на сугроб и пытался вместе с другими ребятами подсмотреть в замороженное окно свидание учительницы с пограничником. Любовь эта закончилась трагически: однажды после пурги кыннотские собаки откопали замерзшего человека с лыжами на ногах... Так и не вышла замуж Анна Петровна Покровская, сохранив на всю жизнь верность первой любви. А ведь она женщина и до сих пор видная...

Инки вздохнул, еще раз глянул направо, но Кожура как-то так переместился, что его не стало видно.

Анна Петровна говорила с волнением, часто запинаясь.

— Мы оставляем здесь свою молодость, все самое лучшее, что у нас было...

Инки вдруг захотелось встать, подойти к старой учительнице и сказать ей что-нибудь хорошее. Он даже пожалел, что отказался выступить.

В зрительном зале, чуть левее, блесст медными трубами духовой оркестр. Дирижер и руководитель, эскимос из Ново-Чаплина Андрей Акан, встретился взглядом с Инки и подмигнул. На самой большой трубе была видна вмятина — след ноги Тнеру: тот пнул инструмент, который никак не вмещался в перегруженный вездеход.

После речи Анны Петровны грянула музыка.

Это был марш «Прощание славянки». Много лет назад, когда в тундре появились первые портативные приемники, Инки с удовольствием и любопытством прослушивал цикл радиолекций на чукотском языке «Что такое музыка». После каждой лекции следовал концерт. Инки нравилась мелодия этого марша. В ней была настоящая, неподдельная печаль расставания, расставания почти без надежды, потому что провожали воинов...

Сходили со сцены, топоча ногами, но музыка звучала громко, заглушая топот, негромкий разговор, сдержанные восклицания.

От широких ступеней Дома культуры процессия направлялась к морскому порту.

Кожура шагал где-то впереди, среди самых почетных ветеранов. В общем-то прожил он здесь поболее других, и честь ему была по праву. Инки злился на себя: вроде бы все, успокоился навсегда, забыл о том далеком происшествии, загнал его в такие закоулки памяти, что иной сон вспоминался куда более отчетливо. Но теперь... Как нарочно, они шли мимо пустыря, где когда-то был двухэтажный дом, а в первом этаже — банк. Вот и кинотеатр «Маяк». Инки стоял вон на том углу, поджидая Кожуру. Стоял и надеялся. Надеялся еще потом несколько лет, думая: ведь должен человек образумиться, прийти в себя. Ну, ладно с деньгами, но сказать просто: плохо, брат, я тогда поступил, нужда была... Или затмение какое нашло. И, думал Инки, для него это было бы такой радостью, будто тот взял да и отдал несправедливо взятые деньги. Да, Инки замечал иногда за собой, чувство у него такое возникало, будто сам Инки взял и присвоил деньги. Но вот что его интересовало: чувствовал ли Кожура угрызения совести? Пусть не каждый день, а когда проходил мимо этого места, когда видел вот этот угол кинотеатра, где начинается наружная лестница на второй этаж, к кассам. Неужели ничего не вспоминал, никогда, ни единой мыслью?

Опередивший процессию духовой оркестр уже при-

строился под опорами большого portalного крана и перешел на бравурные мелодии.

Толпа сгрудилась возле спущенного на причал парадного трапа. Шло прощание, обнимались, обменивались адресами, целовались, плакали. Только почему-то Кожура сиротливо стоял в одиночестве: никто его не обнимал и не целовал, если не считать крепких рукопожатий, которыми его удостоили начальник милиции и председатель поселкового Совета.

Инки подошел к Анне Петровне.

Учительница увидела его, положила руки на плечи, посмотрела прямо в глаза.

— Ну вот, Инки, прощаюсь я навсегда с Чукоткой. — Она глотнула слезы.

Когда-то давно ученик Кыннотской школы Инки любил смотреть в эти ясные, чистые глаза, которые с годами чуточку выцвели, как выцветает на солнечном весеннем ветру верхушка морского тороса.

— Анна Петровна, если что надо — напишите. — Инки чувствовал, что говорит не то, но эти слова как-то сами произносились. А на душе было грустно от мысли, что уезжает навсегда и его детство, юность, часть и его собственной жизни. Он чувствовал, что в этом есть какая-то несправедливость, — зачем это так?

— Милый Инки, — улыбнулась Анна Петровна. — Ничего-то мне не надо, кроме памяти... Кроме того, чтобы вы всегда помнили обо мне...

«Что она так говорит, будто умирать собирается?» — подумал про себя Инки, но вслух сказал:

— Что вы, Анна Петровна! Мы вас никогда не забудем!

А сам вспоминал: люди, которые уезжали после долгих лет работы на Севере, потом скоро напоминали о себе, но уже порой извещениями в черных рамках на последней странице районной газеты.

Первым по трапу стал подниматься Кожура, за ним потянулись остальные.

— А где же его семья? — спросил Инки, кивнув в сторону Кожуры. — Жена, дочери?

— На самолете улетели, — ответил председатель исполкома. — А мы его задержали, упросили, чтобы присутствовал на торжественных проводах: он ведь дольше всех прожил, настоящий ветеран. А всю жизнь вроде человек был незаметный...

Но когда Кожура скрылся на палубе огромного белого теплохода, Инки вдруг почувствовал такое облегчение, словно наконец-то избавился от невидимого тяжкого груза, который долгие годы нес, или наконец-то излечился от внутренней, незаметно его точившей болезни.

Он как бы вдруг заново увидел прекрасный летний день, ощутил его тепло, яркое солнце, заметил красоту огромного белоснежного теплохода.

И когда шли обратно от порта по набережной Дежнева, Инки все казалось, будто он впервые сейчас сошел на этот берег, на эту улицу, выложенную серыми бетонными плитами; он радовался новым домам и даже тому пустырю, где еще угадывались очертания старого двухэтажного деревянного дома, на месте которого вырастет новый прекрасный дом.

И музыка, которая еще звучала на причале морского порта, рождала светлые мысли.

Вдруг так захотелось домой, на остров Камчатен, в стойбище, к Валентине Сергеевне, в оленье стадо к товарищам — Тнеру и Кэвэву. Захотелось вдруг увидеть дочку, Светлану-Кэргыну, откровенно и по душам поговорить с ней, потолковать и с Купки, напрямик спросить его о том, как он дальше думает поступать со Светой... Ведь, в самом деле, женится он на ней, как полагается, или же будет так жить?

Инки прошел по набережной Дежнева, добрался до гостиницы, получил место и, всласть намывшись под горячим душем, отправился спать.

Совещание было как совещание. Директора совхозов отчитывались за весенний отчет, оленеводы выступали по заранее подготовленным текстам, а Инки скучал в президиуме, оглядывая новый зал, устроенный так, что все сидящие не загораживали друг друга. Он вспоминал, как долго строили этот Дом культуры, часто писали о нем в газетах. Лет десять, однако, строили. За это время в срочном порядке возвели пивзавод и даже пивной бар. Первое время районное начальство использовало бар для всякого рода банкетов, пока об этом не написали в окружной печати. Теперь в этот самый бар ходить для местных жителей считалось постыдным. Всю зиму заведение влачило жалкое существование, оживляясь лишь

с началом навигации. Сейчас оттуда доносилась громкая музыка, хорошо слышная даже отсюда, из зрительного зала Дома культуры.

Поздним вечером Инки на машине отправился в Ново-Чаплино, чтобы оттуда вельботом уплыть в Кыннот.

Они ехали с бригадиром морских охотников Сергеем Матлю, и тот пространно расхваливал новые вельботы, полученные с местной судовой верфи.

— Настоящие морские суда! — говорил Матлю. — А моторы — японские, для соленой воды!

Иногда Инки чувствовал тоску по морю, хотя уже больше половины своей жизни провел в тундре. Хотелось сесть на вельбот и выйти навстречу крепкому ветру, вспомнить молодость...

Но в жизни нельзя поворачивать назад. У жизни направление только вперед.

Может, теперь, после отъезда Кожуры, он уже может вернуться?

Но эта мысль мелькнула только на мгновение, и Инки решил, что, наверное, он все реже и реже будет вспоминать об этом человеке, пока совсем не забудет его...

Ново-Чаплино показалось издали. Садилось солнце, и бухта Тасик с островами и мысами представляла во всей красе. Блестели сбегаящие к морской воде пресноводные потоки, обрамленные зелеными берегами. Дорога была знакомая, множество раз езженная во всякую погоду, во всякое время года, но все же каждый раз с каким-то особенным чувством ожидалось первое появление домов, прижавшихся к кромке морской воды. И такая радость появлялась в душе, словно селение возникло неожиданно, вместо пустого, безжизненного берега, заваленного белеющими еще издали китовыми костями.

Инки пошел на почту и по телефону поговорил с дирекцией совхоза. Под конец спросил:

— Как там мои устроились?

— Сегодня молодой человек улетел на вертолете в Анадырь, — бесстрастно сообщил помощник директора совхоза.

Предчувствие беды охватило Инки.

— А что с дочкой? Со Светланой-Кэргыной что? — прерывающимся от волнения голосом спросил он.

— Она с утренним вельботом уплыла обратно на остров.

Что же там опять случилось? Инки едва дождался вельбота.

Но до Кыннота добрались только к следующему вечеру. Поблагодарив новочаплинцев, Инки почти бегом поднялся на высокий берег и кинулся к своему домику. В дверях он увидел знакомую щепочку-замок, просунутую меж петель, сорвал ее и вошел в дом. Повернув выключатель, он увидел кухню, аккуратно застеленный яркой клеенкой стол, невключенный, с полуоткрытой дверцей холодильник, посудную полку и электрический самовар на столе. Всюду было чисто, прибрано.

В жилой комнате на аккуратно застеленной кровати высилась гора подушек. Почему-то Инки никак не мог привыкнуть спать на таких подушках. В прибрежной яранге его голова покоилась на бревне-изголовье, такое же бревно было и в тундровой яранге, твердое, чисто отполированное многими поколениями оленеводов. И в редкие приезды, когда они ночевали в своем оседлом доме или в гостинице, Инки обычно предпочитал спать вообще без подушки. В доме ничто не указывало на то, что здесь произошло что-то такое шумное, а тем более трагическое. Наоборот, такое впечатление, что, прежде чем покинуть домик, Светлана-Кэргына тщательно все убрала. Немного успокоившись, Инки вышел на улицу и обогнул домик. Ящик был распакован, и рядом с ним виднелось чудище-машина со спущенными колесами, с облупившейся краской, заметно переходящей в яркую ржавчину, с побитыми стеклами. Почему-то подумалось, что останки человека выглядят куда приличнее, чем труп машины. А то, что предстало перед ним, было не чем иным, как полуразложившимся трупом когда-то красивой автомашины «Москвич». Инки машинально дернул за дверцу и оторвал ее всю, чуть не свалившись вместе с ней на землю.

— Сгнила окончательно! — услышал он голос.

Это был директор совхоза. Чернявый худощавый человек смотрел на Инки пытливо и внимательно, едва скрывая насмешку. Еще в то лето, когда сюда на теплоходе «Василий Докучаев» доставили приз Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, директор намекал, чтобы Инки уступил машину.

Инки приставил дверцу к бездыханному телу автомобиля и вздохнул:

- Нету машины...
- Большие деньги пропали, — с оттенком упрека и сожаления произнес директор.
- Может быть, — согласился Инки. Помолчал и спросил: — Когда будет вельбот на остров?
- К шести утра будь готов, — ответил директор и зашагал прочь.

Инки смотрел ему вслед и думал, что вот и этот директор скоро уедет из Кыннота и совхоз уж который раз останется без руководителя. Не держались здесь директора: хозяйство расшатанное, малоперспективное. И директора почему-то подбирались под стать укореившейся репутации хозяйства — неперспективные.

А между тем среди тех, кто искони жил здесь, настроения были крепкие, уверенные. Оленеводы пасли стада, морские зверобой охотились в море. Детишки ходили в школу, выучивались, кто-то оставался в больших поселениях и городах, а кто и возвращался... В районе тем временем решали судьбу Кыннота, то планируя его соединение с Ново-Чаплином, то откладывая это решение...

Инки вошел в домик, включил электрический самовар и разделся. Разбирая постель, он вздрогнул от неожиданности: на этажерке зазвонил телефон.

— Это ты, Инки?

Инки с удивлением узнал голос жены и спросил:

— Откуда ты говоришь?

— С острова, из яранги. Попросила девочек с почты соединить. Они сказали, что ты приехал.

— А откуда батарейки?

— Светлана-Кэргына привезла.

Инки немного помолчал и осторожно спросил:

— А как она?

— Она хорошо себя чувствует. Здоровая и веселая. Намного веселее, чем раньше. Приезжай скорее, мы тебя ждем.

Инки прислушивался к голосу жены и чувствовал, что в яранге действительно спокойно, нормально.

— Завтра утром приеду, — сказал Инки. — А сейчас что-то сильно захотелось спать.

Он выключил электрический самовар, лег на кровать и, забыв про подушки, провалился в мягкий, освежающий сон.

Утренний чай он пил уже в собственной яранге на острове Камчечен, рассказывал о проводах ветеранов, о совещании оленеводов. Никто словом не обмолвился об уехавшем Купке.

И только, улучив момент, когда они с Инки остались вдвоем, бабушка Тутына спросила:

— А куда он делся?

— О ком ты, бабушка?

— Жених-то куда делся?

— Уехал.

— Насовсем?

— Похоже, насовсем.

Бабушка подумала и продолжила:

— Жалко... А ведь ласковый был... Послушай, Инки, а что это?

— О чем ты, бабушка?

— Да вот: «лапа, лапушка»... Что это значит?

— Собачья нога...

Бабушка Тутына удивленно посмотрела на Инки.

— Собачья нога?

И тут Инки тоже неожиданно сам удивился: надо же — собачья нога!

ЗОВ ЛЮБВИ





олодой пес по кличке Гок бежал вдоль берега, ловко увертываясь от набегающего прибоя, и с наслаждением вдыхал запах морской воды, приближающихся ледовых полей, дальнего моржового лежбища. Иногда чуткий нос ловил резкий, возбуждающий дух гниющих остатков моржового и китового мяса, доносящийся от примыкающей к жиротопному цеху разделочной площадки. Здесь всегда можно подкрепиться летней вольной порой, когда Гока, как, впрочем, и всех остальных собак, отпускали на подножный корм. Под отяжелевшей от сала и звериной крови галькой легко отыскивались покрытые мясом кости, куски сала. Правда, Гок прибегал сюда редко: любимую собаку в хозяйском доме подкармливали разными лакомствами. Иногда даже угощали конфетой, невообразимо вкусной штучкой, завернутой в красивую бумажку. Разумеется, конфетой невозможно утолить голод, но в пасти и на языке надолго оставался странный, экзотический вкус, рождавший непонятные желания, будивший воспоминания о дальних зимних дорогах, летних светлых днях, когда с морской стороны на огромных железных кораблях вместе с лязгающим металлическим звуком обрушивалась масса незнакомых запахов, вызывающих головную боль и болезненное слюнотечение.

Гоку исполнилось три года, и в памяти его были только две настоящие трудовые зимы, когда он бежал в упряжке своего хозяина, морского охотника Тэина, отвозя его на морской припай или же в открытую тундру, где с осени ставились капканы на белых песцов.

Зимы врзались в память удивительной новизной жизни, зарождением чувства собственной значительности. К вечеру, когда упряжка возвращалась в селение и медленно проходила морской стороной к отведенному месту, где между двух глубоко и прочно вбитых в землю

кольев была натянута длинная прочная цепь, в ногах возникала сладкая усталость. Гока, по причине его молодости, отпускали на волю, и он убегал к своим сверстникам или же отправлялся играть с хозяйскими детьми — Ваней и Галей. Людские клички Гок хорошо запомнил и легко различал, когда звали хозяина, его жену, детей и даже директора школы — Макара Тимофеевича. Гок подозревал, что детей в школе в большом двухэтажном доме, держали на цепи: иначе трудно было объяснить их резвость, когда они выбегали из огромного здания с громкими криками, размахивая сумками, шапками, валились в снежные сугробы, толкали друг друга. Так бывало, когда хозяин распускал упряжку, отцепляя собак от длинной железной цепи! Эту цепь Гок возненавидел после первой же зимы, когда его посадили за невинную шалость: он сжевал ухо нерпичьей шапки, принадлежащей гостю, давнему другу хозяина, биологу по кличке Екимов. Гок попытался лизнуть заиндевевшее железо, чтобы отбить вкус кисловатой нерпичьей шкуры, и вдруг, к ужасу своему, почувствовал, как нежный язык ожгло огнем. Но самое страшное — он не смог сразу оторвать язык от железа. На цепи остались белесоватые лохмотья, а на снегу — красные, как выпавшие из костра угольки, капельки крови.

И вот приближалась третья зима. Куда поведут молодого Гока его снежные голубые дороги? Вон нарта лежит на высокой подставке. Она так и провела все лето под солнцем и теплыми летними дождями, неожиданными снегопадами и теперь, наверное, тоже думает о будущих нескончаемых зимних дорогах под лунным светом, мерцанием полярного сияния, алыми лучами низкого зимнего солнца, украдкой выглядывающего из-за зубчатого края дальнего хребта.

Послышалось знакомое гудение вертолета. Издали эта машина еще ничего, пока летит над лагуной и примеривается к посадочной площадке, огороженной красными флажками. Но вблизи это что-то ужасное, хуже самого страшного зверя! Гок как-то неосторожно оказался недалеко от идущего на посадку вертолета. Снач его больно ударило поднятой галькой, будто кто-то мальчишков выстрелил из пращи, а потом он почувствовал, как тугим порывом страшного ветра его рван сторону и швырнуло к лагуне. Теперь, едва засл.

знакомый гул, Гок со всех ног бежал подальше от гудящего чудовища и прятался за домами.

Гок услышал голос хозяина:

— Гок! Го-ок!

Голос был добрый. Пес уже хорошо разбирался в людских голосах и, почуяв в тоне хозяйского оклика обещание, подбежал к двери.

— Заходи, Гок!

Обычно собаку в дом приглашали ребята. Но они еще были в школе и вернутся домой только к вечерней кормежке.

На кухне за накрытым столом сидел биолог Матвей Андреевич Екимов, напротив него — хозяин, Тэин. Глянув снизу, Гок различил на столе бутылку и помрачнел: он не любил выпивших, а пьяных вовсе не терпел. Он уже хотел было вывернуться из-под ног хозяина и улизнуть на волю, но Тэин крепко прикрыл дверь и строго приказал:

— Сиди!

Гок покорно уселся возле плиты, откуда тянуло теплом и запахом горящего каменного угля.

Он слушал беседу, понимая каждое людское слово. Некоторые люди об этом догадывались, но большинство отказывало собакам в способности понимать человеческую речь, а уж в то, что четвероногие друзья могут общаться между собой, в это, похоже, ни один человек не верил.

— Гляди, какой пес! — с оттенком хвастовства произнес хозяин. — Чистокровная чукотская лайка! Таких собак на Чукотке теперь немного.

Время от времени в селении появлялась собака неведомой породы, привезенная кем-нибудь из приезжих. Она вызывала большое любопытство как у собак, так и у людей. Собаки встречали ее часто враждебно, но хозяева были настороже и не давали приезжую в обиду. Через какое-то время появлялись непривычные обличьем щенята. Так было, когда русский пекарь привез боксера, вечно мерзшего, дрожащего пса, пускающего слюни из морщинистой, сплюсненной спереди, странно обвисающей пасти. От него пошло потомство, которое, однако, так и не прижилось, а сам боксер околел. Были тут отпрыски от шотландских овчарок, спаниелей, но настоящие знатоки по-прежнему ценили чистоту породы и считали Гока представителем семейства настоящих чукотских ездовых лаек.

— Я и сам вижу, что Гок — чистокровная лайка, — заметил гость. — Отличный пес!

— Посмотри, какие у него лапы!

Тэин схватил Гока и поднял к себе на колени, заставив взвизгнуть от боли.

— Ну-ну! — притворно строго прикрикнул хозяин и повернул Гока животом к гостю: — Видишь лапы?

— Вижу, вижу! Отличные лапы! — быстро согласился Екимов.

Гоку было неудобно, и он тихонько заскулил.

Хозяин опустил собаку на пол и весело сказал:

— Приезжай на следующее лето!

— Приеду! О чем разговор? — Гость вдруг спросил: — А что значит Гок по-русски?

— Ха! — усмехнулся хозяин. — Будто не знаешь! Это же русское слово!

— Гок... Гок... — несколько раз произнес Екимов и заявил: — Нет, такого слова в русском языке нет...

— Гок, — медленно и веско произнес хозяин, — означает — Горнообогатительный комбинат! Вот!

— Ах вон оно что! — воскликнул гость и почему-то засмеялся. — Горнообогатительный комбинат, говоришь?

— Точно! — сказал Тэин. — Тот самый, который вон за теми сопками.

Хозяин показал в окно на другой берег лагуны.

Распахнулась дверь, и в кухню вбежал смотритель посадочной площадки.

— Товарищ Екимов! Вертолет пришел! Ждут только вас!

— Ну что же, — с явным сожалением произнес гость, — надо ехать!

— Послушай! — вдруг воскликнул Тэин. — Возьми Гока! На память. Дарю тебе!

Гость остановился, задумался и вдруг улыбнулся:

— Вот это да! Да это же моя сокровенная мечта — иметь такую собаку! Я могу и заплатить...

— Какая плата? — обиженно произнес Тэин. — Я делаю тебе подарок! От всего сердца и души! Бери Гока!

Хозяин выскочил в тамбур, схватил алык со стены и торопливо надел на пса. Гок пока ничего не понимал, но беспокойство, возникшее поначалу где-то в кончиках лап, сменилось испугом.

Тэин передал конец алыка гостю, присел и взял обеими руками морду Гока.

— Гок, дарю тебя моему лучшему другу, доктору биологических наук Матвею Андреевичу Екимову. Будь ему другом! Служи ему верно!

В голосе хозяина послышались слезы, и Гок, совершенно растерянный, покорно побрел вслед за гостем к вертолетной площадке. Повинуясь инстинкту, он следовал за человеком, держащим конец алыка.

Страшная машина — вертолет — безмолвно стояла на бетонированной площадке с бессильно поникшими крыльями-лопастями. Вокруг сустились люди. Летчики в форменной одежде стояли у носа машины, как бы отделяя себя от остальных.

Пока грузили багаж, Гок стоял между гостем и хозяином в ожидании благоприятного момента, чтобы удрать. Но биолог крепко держал алык и все благодарил и благодарил хозяина.

— Ну, дорогой, удружил ты мне. Проси чего хочешь — привезу на следующий год! А за Гока будь спокоен: ему будет хорошо у меня. Поживем в городе, а потом поедem на дачу... Ну, Гок, пора на посадку!

И, не дав опомниться псу, биолог подхватил его на руки и шагнул вместе с ним в темное чрево страшной машины. Гок рванулся, пытаясь освободиться, но Екимов крепко прижимал его к себе и ласково приговаривал:

— Ну успокойся, Гок, не волнуйся... Все будет хорошо... Все будет хорошо...

Гок догадался: его собираются увезти куда-то далеко-далеко, в чужую сторону, где, возможно, никогда и не бывает снега. Гок слышал о той стороне от приезжих собак.

Он заскулил, но в этот момент вертолет как-то странно взвыл, а потом затрясся всем своим железным телом, загremел. Гок почувствовал, как от страха по его задним лапам потекло теплое...

Екимов трепал собаку по шее и шептал прямо в ухо успокаивающие слова:

— Не волнуйся, Гок, все будет хорошо... Все будет хорошо...

Железный пол дернулся и поплыл сначала в сторону, а потом выше и выше, поднимая вместе с собой набившихся в железное чрево людей, деревянные ящики, большой багаж биолога Екимова, выкрашенную в яркий желтый цвет бочку, от которой несло нестерпимым запахом теплого бензина.

Гок, понимая, что его голос все равно не будет слышен в этом грохоте, тихонько поскуливал и старался унять дрожь. Он успел заметить, как Екимов пытается ногой закрыть лужицу, натекающую на железный пол.

2

Поселок по внешнему виду сильно отличался от села, в котором родился и вырос Гок. Здесь располагался большой аэропорт. Многоэтажные дома подступали к самому берегу бухты. Но больше всего Гока поразили собаки, которых он увидел на вечерней прогулке: вдоль спины у них была аккуратно выстрижена шерсть.

— Что уставился? — спросил Гока один из таких псов, стоя у наметенного снегоуборочной машиной сугроба.

— А что это у вас на спине? — робко поинтересовался Гок.

— Поживешь у нас и узнаешь, — сердито ответил стриженный и добавил: — Если тебя не убьют на шапку.

— А это что — убить на шапку? — с любопытством спросил Гок.

Он еще был молод и не стеснялся задавать вопросы.

— Есть такие злые люди, которые убивают собак и делают из них шапки, — пояснил пес. — Чтобы с нами такого не случилось, наши хозяева выстригают у нас шерсть.

— А не холодно? — сочувственно спросил Гок.

— Да нет, привыкли, — ответил пес. — Главное — живые и можно безбоязненно ходить по поселку.

Сообщение здешнего пса об охотниках на собачьи шапки напугало Гока. Умей он говорить по-человечески, попросил бы тоже выстричь полосу на своей великолепной густой шкуре.

К величайшему удивлению Гока, Екимов взял его с собой в гостиницу. Войдя в теплую светлую комнату, Гок впервые ласково и благодарно посмотрел в глаза новому хозяину.

Только одно было плохо: уходя, Екимов запирает Гока одного в комнате, оставляя ему еду и воду. В комнате было жарко и душно от множества неприятных и незнакомых запахов.

По вечерам Екимов выводил Гока погулять неподалеку от посадочной полосы. Пес видел, как садились и взлетали огромные самолеты, куда более шумные и страшные, нежели вертолет. Тот уже казался Гоку доб-

рым и старым знакомым, на котором можно улететь в родное селение, к своим друзьям, знакомым, на родную лежку на высоком морском берегу.

Вечером, перед сном, Екимов раздевался и ложился на кровать с книгой. Он долго держал ее перед своими глазами, время от времени переворачивая листы. Иногда даже разговаривал с бумажными листами, спорил с ними, соглашался и порой смеялся.

В отсутствие хозяина Гок тщательно исследовал этот предмет, но не нашел в нем ничего примечательного. Книга пахла точно так же, как пахли учебники Вани и Гали, которые ребята держали в специальных мешках, испытывая к ним непонятное отвращение. Гок не раз был свидетелем, когда отец или мать сердито ругали детей, клали перед ними книги и выгоняли из дома Гока, считая его почему-то помехой в общении с этими загадочными предметами. Книга, которую при свете небольшой лампы держал перед собой Екимов, видимо, была, наоборот, приятна ему.

Однажды утром Екимов весело сказал Гоку:

— Нам надо навеститься к ветеринару. Таков уж порядок: без справки тебе билета не дадут.

Ветеринарный пункт находился довольно далеко от аэропортовской гостиницы, и туда пришлось ехать автобусом. Гок на этот раз покорно последовал за новым хозяином. Он понимал, что его собственная безопасность сейчас зависит только от Екимова, который хоть и оторвал его от родных мест, но здесь оставался самым близким и знакомым.

Ветеринарная лечебница напомнила Гоку сельский медпункт, самое неинтересное с собачьей точки зрения место в родном селении: там совершенно нечем было поживиться, да и запахи такие противные, что удивительно, как их выносят люди.

Ветеринар внешне напоминал врача: в белом халате, такой же пахучий и неприятный. Он приветливо поздоровался с новым хозяином Гока и одобрительно заметил:

— Вот это пес! Чистокровная лайка! Давно не видал такого прекрасного экземпляра. Как вам удалось его заполучить?

— Подарок моего друга, охотника Тэина, — ответил Екимов.

Ветеринар осмотрел Гока, раскрыл ему пасть какой-то блестящей холодной железной вещью и уселся писать к столу.

— Выдержит ли он городскую жизнь? — с сомнением спросил ветеринар, оторвавшись на миг от бумаги.

— Думаю, что выдержит, — ответил Екимов. — Сначала поживем за городом, на даче.

— Ну если так, то это хорошо. Желаю удачи!

Ветеринар подал Екимову бумагу, нагнулся и потрепал Гока по густой шерсти на шее.

— Ну вот! — выйдя на улицу, весело сказал Гоку Екимов. — Теперь ты собака с документом!

Он поднес к носу Гока клочок исписанной сероватой бумаги. Не в силах скрыть отвращения, пес отвернулся.

— Ну ладно, не сердись... Хочешь, пойдем пешком?

Уже выпал снег, но почему-то за всю дорогу от поселка до аэропорта не встретилось ни одной упряжки. Зато было множество самых разнообразных машин. Одна даже расчищала дорогу, выплевывая на обочину из высоко поднятой пасти измельченный снег. Мимо проехал знакомый гусеничный вездеход, грузовая машина и большой автобус, на котором Гок приехал из аэропорта в ветеринарный пункт.

Гок не то чтобы примирился со своей участью, нет, но он понял, что с ним случилась непоправимая перемена в жизни. Но, будучи настоящей терпеливой чукотской лайкой, он встретил ее с присущей породе стойкостью. Раз уж так случилось, что другой человек стал его хозяином, то, согласно своему внутреннему убеждению и собачьему воспитанию, Гок обязан верой и правдой служить Матвею Андреевичу Екимову. Кличка нового хозяина представляла некоторую трудность, так же как и разговор, который велся в основном по-русски. Но Гок с детства рос в пестром языковом окружении — в доме Тэина изъяснялись и по-чукотски и по-русски.

Настал день отъезда. Гок почувствовал это еще накануне, задолго до того, как Екимов принес в гостиничный номер голубоватые бумажки и помахал перед его носом:

— Вот билеты! И твой и мой. Летишь законным пассажиром рейса двадцать два двенадцать. Сначала в Москву, а оттуда — в Ленинград.

Про города Гок немного знал. Это большое селение, но там на собаках не ездят, и вполне возможно, что там нет вовсе собак, точно так же, как слышал об этом от людей Гок, существовали места и селения на земле, в которых не было людей чукотской породы.

Предстоящий отлет сказался бессонной ночью, внутренним беспокойством. С этим натура Гока была хорошо знакома, потому что он был потомственным ездовым псом, для которого дальняя дорога — это настоящая жизнь и движение по бесконечной снежной поверхности — естественная потребность.

Не без робости он шел за хозяином к огромному самолету с высокой лестницей. Загодя Гок вдоволь нагулялся за посадочной полосой. Он встретил стриженного пса и сказал ему на своем собачьем языке:

— Вот улетаю...

— Далеко?

— В Москву.

— Далековато, — проронил стриженный. — У нас тут был один москвич, но очень мелкой породы: карликовый пудель. Все время его в доме держали. Если и выпускали, то нас от него отгоняли подальше. Не собака, а черт знает что...

— Значит, и там собаки есть? — обрадованно спросил Гок.

— Выходит, есть.

Сообщение стриженного немного успокоило Гока.

В самолете было тесновато, как в оленеводческой яранге. Хозяин кое-как протиснулся на свое место и пристроил Гока под ногами.

— Сиди здесь тихо! — строго сказал Екимов.

Гок положил морду на лапы и устало прикрыл глаза.

3

Он вздрогнул, заслышав сначала свист, потом грохот. Самолет дрожал крупно, словно до смерти напуганный зверь. Но это, как оказалось, была дрожь нетерпения. Как тогда, когда упряжка готова пуститься вскачь, но каюр еще держит нарту, воткнув в плотный снег между копыльев толстую палку-остол с железным наконечником.

Некоторое время самолет медленно катился, о чем Гок легко догадывался, ощущая телом вибрацию пола.

Наконец самолет на некоторое время остановился и вдруг рванул вперед, словно кто-то невидимый вырвал остол. Скорость была такая, что тело Гока привалилось к ногам хозяина. Рука Екимова погрузилась в густую шерсть на собачьей шее, и Гок услышал знакомые слова:

— Спокойно, Гок! Все будет хорошо... Спокойно...

Наращивание скорости продолжалось довольно долго, вызывая в животе нехорошее ощущение.

Понемногу Гок привыкал к ускорению. Может быть, потому, что самолет набрал положенную ему скорость. За железными стенками слышался лишь ровный гул, но больше никакой вибрации, дрожи. Не то что при полете на страшном звере — вертолете.

Гок поднял голову и просунул ее между хозяйских коленей.

— Да тут собачка! — удивленно воскликнула женщина, занявшая кресло рядом с Екимовым. — Как она сюда попала?

— Она летит вместе со мной, — сказал Екимов.

— И у нее есть билет? — продолжала удивляться женщина.

— А как же! — Екимов порылся в кармане, достал голубой листочек и показал.

— Надо же! — промолвила женщина. — Собаки на самолетах стали летать!

Гоку почему-то стало обидно от этих слов, но Екимов ответил женщине словами, которые он произнес бы сам, если бы обладал способностью человеческой речи:

— Собаки даже в космос нынче летают!

Молодая женщина в форме подошла к Екимову и предложила:

— Пройдите в первый салон. Там есть свободный ряд: и вам и собаке будет удобнее.

Пока шли по узкому проходу, пассажиры, остававшиеся в креслах, говорили вслед разные хорошие слова, больше всего удивляясь тому, что собака летит в самолете. От этого Гоку стало даже как-то неловко, потому что в жизни своей ему не приходилось слышать столько лестного.

На новом месте Гок устроился в кресле. Екимов подстелил под него свою куртку. Справа было круглое окошечко, в котором, кроме небесной синевы, ничего не было видно. Впереди колыхалась занавеска, и оттуда отчетливо несло запахами человеческой еды. Гок не успел задремать, как хозяин разбудил его и покормил. Это были кости домашней птицы, намазанный мармеладом хлеб и сладкие вафли. Гоку не особенно и хотелось есть, потому что последние дни он вел почти неподвижный образ жизни, если не считать прогулок вдоль посадочной полосы. Не то что у него не было аппетита, но, во всяком

случае, не настолько, чтобы наброситься на яблоко, которое Екимов совал ему в пасть, приговаривая:

— Ешь, Гок! Это витамины!

Путешествие в огромном самолете было удивительно однообразным, если не считать того, что к Гоку проявил интерес сам командир. Гок сразу догадался, что он здесь самый главный, потому что в его поведении чувствовалась гордость настоящего каюра.

Летчик-каюр присел на соседнее свободное кресло и завел разговор с Екимовым.

— Хороший пес...

— Моя мечта, — отозвался Екимов. — Настоящая чукотская лайка.

— А у меня — шотландская овчарка. Колли... Интересно, а колли потянет упряжку?

— Почему нет? Потянет, — уверенно ответил Екимов. — Только ее ненадолго хватит.

— Это почему? — с некоторой обидой спросил каюр-летчик.

— Потому что главное качество чукотской лайки — выносливость.

— Но колли — собака сильная...

— Это верно, я с вами согласен. Но представьте себе, что вам предстоит преодолеть на собаках, скажем, полтысячи километров. На холоде, при скудной кормежке. Вот вы доехали до другого селения, покормили упряжку и оставили ее снаружи, на морозе...

— А что, разве собакам нельзя погреться? — спросил каюр-летчик.

— Ни в коем случае! — ответил Екимов. — Дело в том, что у собак между шерстинок набивается снег. И если собака войдет в теплое помещение, то этот снег начинает таять. Мокрая шерсть может не успеть к утру высохнуть. И если такая собака выходит в путь, она через несколько часов замерзает насмерть.

— Да что вы говорите! — с удивлением произнес каюр-летчик и уважительно посмотрел на Гока.

Вдруг в поведении пассажиров что-то неуловимо изменилось, и хозяин шепнул Гоку:

— Через полчаса посадка в Норильске. Погуляем там, да?

Внутренне Гок не был готов к прогулке, но на всякий случай вышел вслед за хозяином. Норильский воздух был стылый и знакомо пахнул. Где-то за высокими зданиями простиралась покрытая только что выпавшим сне-

гом тундра. Она звала Гока, обещая долгий изнурительный путь меж невысоких холмов, мимо замерзающих рек и озер, под оголившимися кустами, мимо вражеских нор, волчьих лежек, покинутых птичьих гнезд.

Вблизи чувствовалась то ли река, то ли большое озеро. Гок не успел ничего разглядеть, потому как Екимов позвал его, взял за конец алыка и повел к стоящему у аэровокзала самолету.

— Прилетим в Ленинград, — обещал Екимов, — куплю тебе красивый ошейник в лучшем охотничьем магазине на Невском проспекте.

Проходили часы, а конца полету не предвиделось. Хотелось встать, потянуться, расправить застывшие и затекшие суставы, пробежаться хотя бы вдоль прохода, тянувшегося через весь длинный самолет, но, похоже, надо было оставаться на своем месте, ибо даже люди без особой нужды не покидали предназначенных им мест.

Норильск был последним достойным приятного воспоминания отрезком в этой бесконечной унылой дремоте. Единственным утешением были сны, легкие, отрывочные, но беспокойные. То казалось, что Гок бежит в упряжке мимо тундрового, еще не замерзшего озера, видит зайца, но старается его не замечать, понимая, что погоня за быстроногим ничего, кроме хозяйского недовольства, не сулит. То вдруг слышались голоса Вани и Гали, они звали Гока, и он мчался за ними на высокий, нависший над селением холм, на котором стоял навигационный световой маяк, пускавший острый луч в темные осенние ночи. Снились собаки-земляки, с которыми Гок даже не успел попрощаться. Они, наверное, сейчас лежат на высоком берегу и дышат соленым воздухом, слушают крики отлетающих птиц, моржовый рев и гул прибоя.

Несколько раз Екимов будил Гока и пытался его кормить. Но есть не хотелось. Даже сладкие вафли больше не привлекали Гока. Новый хозяин обеспокоенно спросил:

— Не заболел ли?

И пощупал черный кончик носа. Гок не любил, когда его трогали за это чувствительное место, и он, неожиданно для себя, оскалил зубы.

— Ну, ну, не сердись! — ласково произнес Екимов. — Через полтора часа прилетим.

Наконец по изменившемуся звуку и по шевелению пассажиров Гок понял, что длинному путешествию близится конец.

Екимов выпростал из-под себя матерчатую упряжь с большой металлической пряжкой и опоясал себе живот. То же самое проделали и все пассажиры, как бы впряглись в одну большую упряжку.

Гок ощущал, как самолет кренится, меняя направление. Екимов не отрывал взгляда от иллюминатора и тяжело дышал над ухом.

И вот самолет легко ударился о землю, покатился, и Екимов громко, удовлетворенно произнес:

— Ну вот и прилетели...

4

Такое количество народу не могло присниться и в кошмарном сне. Ноги, ноги, ноги! В самой разнообразной обуви, лавина незнакомых запахов, и самое удивительное — теплынь, словно возвратилось лето.

Екимов потащил Гока сквозь стеклянное здание аэровокзала и выпустил на траву:

— Гуляй, Гок!

Ну как тут погуляешь? От растерянности ничего не хотелось делать, но Гок понимал, что новый хозяин не успокоится, пока не убедится в том, что все сделано, как надо. Гок понюхал мягкую, пожелтевшую траву и чуть не завыл от тоски: вспомнилась оставленная где-то вдали осенняя тундра. Он поднял морду и огляделся: в поле его зрения не было ни одной собаки. Это была странная, теплая, бессобачная земля!

Екимов получил багаж, нанял носильщика и повез груз на большой тележке на стоянку такси.

Носильщик покосился на Гока и спросил:

— Откуда?

— С Чукотки.

— Издалека, — уважительно произнес носильщик. — Ездовая?

— Настоящая ездовая лайка.

— Хороша!

В такси Гок сидел на заднем сиденье и смотрел на проносящиеся за окошком незнакомые земли. Сначала шла густая стена зеленого с яркой желтизной осеннего леса. Таких высоких растений Гоку никогда не доводилось видеть, и он вдруг почувствовал желание сделать

свои отметки именно на этих стройных, увенчанных желтой листвой или зеленой хвоей деревьях. Он тихонько заскулил, и Екимов, поняв его, попросил каюра-таксиста остановиться.

Гок рванулся из машины так резво, что Екимов испуганно закричал вслед:

— Гок! Гок! Гок!

Но Гок вдруг почувствовал вкус свободы и, не разбирая дороги, помчался в глубину зелено-желтого леса, навстречу тишине и спокойствию, чувствуя, как за спиной понемногу затихает, удаляясь, шумное шоссе с нескончаемым потоком машин.

Затих и голос Екимова.

Гок остановился и отдышался.

Обойдя несколько деревьев и оставив на них метки, он вдруг почувствовал незнакомый, ностораживающий запах.

Осторожно пробравшись сквозь оголившиеся кусты, он увидел на небольшой залитой солнцем поляне огромного рогатого зверя. На первый взгляд, он напоминал оленя, но это явно был не олень. Зверь повел мордой и, почуяв Гока, легко вскочил на свои длинные суставчатые ноги и кинулся в чащу, ломая все на своем пути. Изумленный Гок смотрел ему вслед, пока не услышал вдали голос Екимова:

— Го-ок! Го-ок!

Гок пошел на голос и довольно скоро наткнулся на растерянного и рассерженного хозяина.

— Гок! — сердито произнес хозяин. — Так делать нельзя! Так можно заблудиться! Это тебе не тундра, а подмосковный лес. Пошли!

Довольно грубо подхватив волочащийся следом конец алыка, он повел виноватую собаку к стоящей у обочины шоссе машине.

Кончился лес, и машина нырнула в улицу, обрамленную по краям высоченными домами, вершины которых терялись где-то уже под облаками. Справа и слева двигались другие, самые разнообразные машины — большие, маленькие, высокие и низкие. Кое-где движущиеся железные нарты шли по рельсам, а иные несли рога, цепляющиеся за натянутые над землей провода. Все это чудовищное разнородное железно-моторное стадо испускало такой тяжелый дух, что нос у Гока заложил, и он отказался различать что-нибудь вразумительное.

Машина переехала через мост, перекинутый над рекой, и покатилась дальше, все еще меж высоких каменных зданий, нескончаемыми рядами возвышающихся над землей.

И повсюду, куда только мог достичь взгляд Гока, он видел людей. Они шли по улицам между стенами домов и мчащимися машинами, в отведенном для них узком пространстве, сидели в машинах, просто стояли, наблюдая за бесконечным движением.

Екимов изредка перебрасывался словами с каюром-таксистом. Разговор шел о погоде, о том, что осень в этом году теплая и впереди еще какое-то бабье лето — очевидно, особое для этих мест дополнительное время года.

Проехали еще один мост, и, к непонятной радости Гока, наконец кончился ряд домов и снова показался лес. Ему даже почудилось, что они незаметным образом повернули обратно, тем более что запахло уже знакомым аэродромом, нагретым самолетным металлом.

— Аэропорт Шереметьево-один, — сказал каюр-таксист и затормозил у приземистого стеклянного здания, куда с большими чемоданами и сумками входили люди.

Пока Екимов бежал за носильщиком, Гок смирно сидел в машине под присмотром каюра-таксиста, который пытался с ним разговаривать.

— Ну, как Москва после Чукотки? Нравится? Небось там у себя, кроме яранг, ты ничего и не видел?

Гок смотрел на человека, на его большое лицо, глаза, слушал его голос и думал, что он, в сущности, ничем не отличается от тех людей, которые встречались на Чукотке. Пока все встреченные люди не имели больших различий.

Сдав багаж и зарегистрировавшись, Екимов повел Гока в буфет. Хозяин взял пластмассовый поднос и встал в хвост очереди, медленнодвигающейся вдоль длинной кормушки, уставленной разнообразными кушаньями.

Поставив на стол заполненный едой поднос, Екимов уселся и, нагнувшись, весело сказал:

— Попробуй сосиски... Только чуточку подожди, пусть остынут.

Сосиски имели подозрительный вкус, но пахли вполне прилично, вареным мясом. Гок не без удовольствия проглотил несколько штук и съел бы еще, но, видно, хозяин посчитал, что этого достаточно.

Екимов внимательно прислушивался к женскому голосу, разносящемуся по всему залу ожидания, а когда услышал: «Пронзводится посадка на рейс, вылетающий по маршруту Москва — Ленинград», взялся за конец алыка и сказал Гоку:

— Пошли. Наш рейс объявили.

Гок с нарастающим чувством тоски двинулся вслед за хозяином. Пассажиров было множество. Они медленно и покорно шли толпой, почти не разговаривая друг с другом, шаркая по грязному полу многочисленными подошвами. Сначала всех пропустили через какие-то приспособления, напоминающие ворота на звероферму в родном селении, подержали в отдельном помещении, а потом еще заставили постоять у трапа самолета.

— Билет у собаки есть? — сердито спросила девушка, стоящая у начала металлической лестницы.

— Есть! Есть! — быстро ответил Екимов, показывая голубые листки сердитой девушке. — С самой Чукотки летим...

Не обратив никакого внимания на эти слова, девушка пропустила Екимова с Гоком на трап. В знакомом чреве самолета их места оказались в самом хвосте. Пристраивая Гока под сиденье, хозяин сказал:

— На этот раз тебе придется потерпеть: видишь, сколько народу летит. Сиди тихо.

Гок вздохнул и кое-как пристроился в тесном пространстве под ногами Екимова.

Однако полет до Ленинграда занял совсем немного времени. Едва только пассажиры заняли места и запряглись в матерчатые алыки, застегнув на своих животах металлические пряжки, как самолет, пролетев совсем немного, пошел на снижение, и это Гок сразу же почувствовал как опытный пассажир.

Екимов будто прилип к стеклу иллюминатора, совсем позабыв про собаку.

Он вспомнил о Гоке, когда колеса самолета коснулись земли и покатались по твердому бетону.

— Ленинград! — прокричал над ухом Екимов. — Наш любимый и прекрасный Ленинград! Вот мы и по-настоящему приехали!

Но самолет еще долго рулил по аэродрому, потом ждали трап, не так-то скоро удалось выбраться наружу.

Бесконечно длинная самодвижущаяся дорожка, остро пахнущая грязной резиной, потащила Гока вместе с хо-

зянном куда-то вдаль, по долгому крытому переходу. В конце его Гок почувствовал нарастающее волнение.

— Матюша! Папа! Папочка!

Екимов рванулся вперед, едва не выпустив из рук потяг, и оказался в толпе встречающих. Хозяин сначала крепко поцеловался с высокой женщиной, сильно пахнувшей ароматными духами, а потом с двумя детьми примерно такого же возраста, что и оставшиеся на Чукотке Ваня и Галя.

Мальчик нагнулся и с радостным удивлением спросил:

— А это кто?

— Это Гок, — ответил Екимов, — чукотская лайка.

— Какая красивая! — произнесла девочка и присела рядом с братом. — Ну-ка дай лапу!

Но Гок не дал лапу. Вместо этого он тщательно обнюхал мальчика и девочку, удивляясь про себя, как сквозь множество разных незнакомых запахов пробивался хорошо знакомый, неистребимый школьный дух.

Дети Екимова понравились Гоку. Они явно любили хозяина и ластились к нему, показывая, как они по нему соскучились. У Гока не было никакого сомнения в том, что в этой семье чувство привязанности друг к другу сильно и постоянно.

— Папа, а что это за странный ошейник у Гока? — спросил мальчик.

— Это не ошейник, а упряжь, и называется он алык, — пояснил Екимов. — Завтра сходим на Невский и купим настоящий красивый ошейник.

Повторилась та же самая процедура ожидания багажа, погрузка на такси и поездка по длинному шоссе со множеством разнокалиберных машин сначала мимо пустыря, потом мимо низких, крытых стеклом домов неизвестного для Гока назначения, и уже после вонзенного в небо каменного столба пошли бесконечные стены многоэтажных домов.

Гок сидел между мальчиком и девочкой, клички которых он установил из обращений отца: мальчика звали Сергей, а девочку — Марина. На слух эти клички ему были знакомы, обыкновенные человеческие имена, которые встречались и на Чукотке.

Дом, возле которого остановилось такси, был высокий, большой. Гок с некоторой опаской вошел в подъезд, где было полутемно. За железной сеткой, похожей на ту, которой была огорожена звероферма в покинутом

селении, сверху опустилась кабина-конура. Дети втащили туда Гока, дверцы захлопнулись, и, к удивлению собаки, конура поплыла вверх, как бы полетела, подобно самолету, только очень медленно. Потом она резко остановилась и дверцы сами отворились, и Гок вместе с детьми, Екимовым и его женой вышли из этой чудной конуры.

Открылась еще одна дверь, и перед Гокком предстала довольно полная немолодая женщина, за которой угадывался запах человеческого жилища. Женщина всплеснула руками и воскликнула:

— Боже, а это что такое?

— Это — Гок, чукотская лайка! — с гордостью сказал Сергей. — Папа привез.

— Ну, входи, входи, Гок, — ласково сказала женщина.

Похоже, что Гоку пока попадались только собаколюбивые люди. Во всяком случае, на всем протяжении путешествия он еще не встретил ни одного человека, который проявил бы к нему недружелюбие. Куда больше таких людей было в родном селении. Гок, как и другие собаки, хорошо научился отличать их среди людей. Обычно это были сами по себе не лучшие люди, хотя и скрывающие свои человеческие недостатки.

Екимов внес объемистый багаж, убрал его и забрался мыться в ванную.

— А где будем держать Гока? — спросил Сергей.

— А вот здесь, в прихожей, — сказала бабушка.

— А нельзя ли у меня?

— Да ты что! — укоризненно произнесла бабушка. — Кто держит собак в жилой комнате?

— Пусть она живет здесь, в столовой, — предложила Марина. — Здесь она и телевизор может смотреть.

— Собаки телевизор не любят, — заметил Сергей.

Телевизор Гок и вправду не любил. Потому что экран был маленький и, на собачий взгляд, на нем ничего нельзя было разобрать.

Екимов вышел из ванной распаренный, будто варился в горячей воде. Гок знал, что это такое, потому что в родном селении видел, как люди моются в бане. Среди них находились и такие смельчаки, которые нагишом выбегали из парной и кидались в студёные воды океана. Очень хотелось броситься за таким человеком и куснуть его в голые мелькающие икры...

— Гок будет жить на балконе! — решительно сказал Екимов и отворил застекленную дверь. — Иди сюда, Гок.

Балкон шел от кухни до крайнего окна квартиры — длинный, вполне просторный. Сквозь ограждение просматривался покрытый кустами и деревьями двор, а чуть поодаль — пустырь.

— Нравится, Гок? — спросил Екимов.

Гоку и впрямь понравилось, и он в ответ согласно вильнул хвостом.

5

В тот вечер Гок чувствовал себя усталым и ему очень хотелось спать, хотя в самолете он только и делал что спал. Может быть, новая обстановка так действовала на него? На балконный пол Екимов кинул старое, подбитое ватой пальто, крепко и сильно пропахшее хозяином. Здесь же была поставлена и миска с водой.

На вечерней прогулке Гок быстро сделал свои дела и сам, не дожидаясь хозяина, побрел к парадной двери, чтобы на подъемной конуре вознестись на свой этаж.

Чуть позже в квартире собрались гости, и время от времени Гока звали в комнату, демонстрировали и снова отпускали на балкон, на остро пахнущее хозяином ложе. Едва только Гок засыпал, как его снова окликали, показывали со всех сторон и даже заставляли раскрывать пасть и демонстрировать зубы. Честно говоря, все это Гоку страшно надоело и, не будь он здесь новичком, зарычал бы, давая знать, что такая жизнь ему не нравится.

И все же настал час, когда все уgomонились, улеглись спать в этом просторном, вознесенном высоко над землей жилище.

Гок проснулся среди ночи. Сначала он не понял, где находится, потому что снилось ему родное селение, высокий берег над студеным морем, освежающий ветер, который ласкал его со всех сторон, даже почему-то снизу, словно под ним ничего не было. Потом приснился бесконечный полет на самолете, вой реактивных самолетных двигателей и людское море, поразительное и даже несколько пугающее своим обилием.

Еще было далеко до рассвета, и Гок долго лежал с открытыми глазами, медленно осозная свое действительное положение. Далек ли он оказался от покинутых мест, которые только что приснились? Судя по скорости, с какой поднимался самолет, он далеко от Чукотки.

Доносящийся до него воздух был свеж, прохладен и густо напоен растительными запахами, смешанными

с острым запахом горячего. Ухо ловило дальние отзвуки проезжающих машин, но их было еще мало. Однако темнота казалась далеко не такой сплошной, как на берегу студеного океана. Где-то светились огоньки. Они были вокруг — прямо под ним, во дворе, на высоком столбе горело несколько ярких электрических ламп. Свет отражался темным небом, а вдали зарево поднималось над темной землей, темными спящими домами.

Интересно, есть ли тут другие собаки? По тому, как к нему ласково относились все, думалось, что он большая редкость в Ленинграде. Может быть, это только из-за породы?

Гок тихонько поднялся и осторожно прошел по балкону.

Понемногу в домах загорались огни. Иногда они вспыхивали высоко от земли, словно звезды, одна над другой, но если внимательно присмотреться — они оказывались окнами многоэтажных домов. Вчерашнее хозяйское застолье, шумные разговоры и многократные демонстрации Гок вспомнил с отвращением. Некоторые гости еще и курили. Запах табачного дыма для чувствительного нюха Гока был убийственным. Курильщики вызывали крайнее собачье удивление бессмысленностью этого занятия. Какое удовольствие могло заключаться в том, чтобы сушеную траву, закатанную в бумажную трубочку, зажигать с одного конца, а с другого втягивать в себя дым? Гок встречал и курильщиков трубок, но это было одно и то же. Сначала, когда Гок впервые увидел курильщика, он решил, что человек пытается согреться. Но это оказалось не так. Многие люди, куря, мучительно кашляли, их глаза наливались кровью, а что касается запаха изо рта, то, честное слово, от потухшего костра пахло куда приятнее.

Екимов не курил. Похоже, что в семье вообще курильщиков не было.

Все больше загоралось огоньков в домах: к уличному освещению добавился свет многочисленных окон — наступило городское утро. Внутри квартиры послышался шум, и на балконе показался полуодетый Екимов.

— Не спишь? — спросил он Гока. — Я тоже давно проснулся. Что поделаешь — разница во времени! Шутка ли — десять часовых поясов. С неделю придется привыкать. Но вот что меня интересует: как реагирует на разницу часовых поясов собачий организм?

Гок, конечно, почувствовал эту разницу, но уж коли он не обладал человеческой речью, то Екимов мог об этом только гадать.

— Ну что, хочется тебе погулять?

Екимов ушел в глубину квартиры и вскоре появился с алымком, в легкой куртке.

— Пошли, Гок!

Екимов повел Гока на пустырь, который виднелся с высоты балкона. Здесь Гок впервые почувствовал себя по-настоящему свободным. Это было не то ощущение, когда он побегал в лес на полпути из московского аэропорта в город, а нечто другое. Земля пахла густо, мощно, и Гок ринулся по ней, перепрыгивая через небольшие лужицы, путаясь лапами в сплетениях ветвей, в пожелтевшей траве.

— Гок! Гок! Гок! — слышалось иногда издали.

Гок останавливался и смотрел в ту сторону, где оставался встревоженный Екимов, и негромким лаем давал ему знать, что он слышит и видит его, чтобы хозяин не беспокоился и дал возможность как следует набегаться. Порой попадались запахи животных, небольших птичек, но больше всего было знакомых собачьих запахов.

Один запах оказался очень отчетливым и свежим.

Гок пошел по нему, словно ведомый невидимой нитью. Он снова преодолел небольшой овражек со следами летнего потока на дне, поднялся на небольшой взгорок и увидел перед собой удивительное животное. В общем-то, конечно, это была собака. Четыре лапы, удлиненная голова, торчащие, словно чем-то острым обрезанные уши. Но тело! Оно было покрыто коротенькой и пятнистой, как у нерпы, шерстью, сквозь которую просвечивала розоватая кожа. Собака была ростом с трех нормальных ездовых!

— Нерон! — услышал Гок предостерегающий голос.

Рядом с удивительной собакой стоял молодой человек в резиновых сапогах.

Нерон с нескрываемым презрением поглядел куда-то мимо Гока, словно это была не чукотская ездовая лайка, а пустое место.

Гок проследил за его взглядом и увидел чуть поодаль небольшую короткошерстную суку с необыкновенной квадратной мордой.

Ее хозяйка подошла к Екимову и сказала:

— Здравствуйте, Матвей Андреевич! Вы уже вернулись из экспедиции?

— Только вчера, Вера Сергеевна...

Клички у людей, когда они обращались друг к другу, иногда бывали очень длинными и трудно различимыми.

— Это ваша собака? — спросила женщина.

— Моя, — с оттенком знакомой гордости ответил Екимов. — Чукотская ездовая лайка.

— Что вы говорите! — удивилась женщина и внимательно поглядела на Гока. — По виду такого не скажешь.

— Тем не менее это так! — с прежней гордостью произнес Екимов. — Это прекрасная и редкая теперь порода!

— Через неделю городская выставка, — подобрешшим голосом сказала Вера Сергеевна, — почему бы вам не записать на нее вашу собаку?

— Нет, мы с Гокком в выставках не участвуем, — ответил Екимов.

— А зря, — назидательно произнесла Вера Сергеевна. — Я бы могла поговорить с руководством.

— Весьма благодарен вам, Вера Сергеевна, — учтиво сказал Екимов, — на выставку мы, может быть, и придем, но участвовать пока воздержимся. Правда, Гок?

Гок в ответ вильнул хвостом. То, что он услышал от Екимова, наполнило его собачье сердце гордостью, и он даже чуточку задиристо поглядел на высокомерного Нерона, по-прежнему не сводившего своих огромных, чуть навывкате глаз с квадратномордой суки. Она, в сопровождении хозяйки, приблизилась вплотную, и Нерон принял-ся суетливо обнюхивать ее.

— Зета! — крикнула хозяйка. — Рядом!

Так Гок узнал, как зовут эту собаку. Зета встрепенулась и покорно прижалась к ноге хозяйки, хотя явно проявляла больший интерес к Гоку, нежели к высокомерному Нерону.

Обнюхав ее, Гок спросил:

— А кто этот великан?

— Дог, — ответила Зета. — Самая рослая и знаменитая собака в нашей округе. Она чемпион!

— Чемпион чего? — спросил Гок.

— Своей породы, — ответила Зета.

Гок ничего не понял, но дальше расспрашивать не стал, потому что стали подходить другие собаки. Здесь была и восточно-европейская овчарка, и очень красивая, с шоколадной шерстью шотландская, несколько мелких собачек, среди которых были вовсе чудные и непонятные с маленькими кривыми ножками и выпученными слезящимися глазками. Они почему-то особенно злобно тав-

кали своими слабыми, хриплыми голосками на людей и других собак. Никто не обращал на них внимания, но Гок очень заинтересовался.

Судя по тому, как с ними обращались хозяева, эти жалкие существа пользовались особой, нежной любовью.

Собак становилось все больше, и Гок недоумевал, почему на рассвете, когда в его родном селении мощный собачий хор встречал наступление нового дня, здесь, в городе, было тихо. Может быть, это объяснялось тем, что здешние собаки не умели выть? Или же, запертые каждая в своей квартире, они не ощущали великой общности, присущей ездовым собакам? Чукотские лайки с самого рождения растут в собачьем коллективе, приучаясь друг к другу, потому что в упряжке без взаимной выручки не обойтись.

Гок попрощался с Зетой, а Нерон даже и не взглянул на него, когда он уходил с хозяином к высокому дому с подъемной конурой.

Утренние встречи подняли настроение Гока: он здесь далеко не в одиночестве, пустырь за рядом высоких домов обещал в будущем множество интересных встреч и знакомств. Правда, его несколько озадачило высокомерие Нерона, но, может быть, это и впрямь уникальный пес, вожак особо мощной упряжки? Упряжные вожаки и на Чукотке почитались, и хозяева отличали их и берегли. Даже, случалось, кормили отдельно. Вожак бежал впереди упряжки, и смотрели за порядком. На остановке такой пес вполне мог подойти к какой-нибудь нерадивой собаке и куснуть ее в наказание. Бежать впереди упряжки, должно быть, хорошо, хотя для этого надо знать дорогу и уметь правильно исполнять команды. Хуже всего находиться в последнем ряду: и тяжесть вся приходится на коренных, и удары бича достаются, если каюр недоволен. Гок начинал именно с заднего ряда и, благодаря своей сообразительности, уже выдвинулся далеко вперед. Но впереди еще находились старые псы, которые не пускали молодых вперед.

Может быть, Нерон как раз из первой пары?

Ошейник пахнул незнакомой кожей и был жестковат. Но все в один голос закричали, что он очень идет Гоку и пес в нем выглядит совсем по-другому, нежели в алыке.

Гок думал о том, что люди придают особое значение

одежде и всяческим украшениям. Взять, к примеру, старого хозяина Тэина. Дома он ходил в хорошо пропахшей тюленьим жиром давно не стиранной камлейке, в нерпичьих штапах и в торбасах. И был человек человеком. Но, собираясь в клуб или на какое-нибудь торжество, он напяливал на себя смешное одеяние, вешал на шею что-то вроде ошейника, словно собирался пристегнуться к общему потягу, кряхтя и чертыхаясь втискивал ноги в черную, едва прикрывающую ступни обувь, в которой невозможно перейти даже самую малую лужу, не замочившись, да еще напяливал на голову шляпу. В довершение всего он опрыскивался одеколоном, от режущего запаха которого хотелось бежать далеко в тундру или на морской лед, в торосы.

— Ну, теперь ты настоящий городской пес, — сказала бабушка и дала Гоку большую кость, на которой уже почти не оставалось мяса.

Гок с удивлением поглядел на бабушку: смеется она, что ли? Да на такую кость в его родном селении и не смотрят настоящие собаки. Но, не желая обижать старую женщину, Гок сделал вид, что доволен подарком: взяв кость в зубы, отнес ее на свое место, на балкон.

Люди в этой большой квартире были очень заняты. Сам хозяин Екимов на следующий день, погуляв с Гокком, исчез до вечера. Второй раз пес вышел на волю в сопровождении вернувшегося из школы Сергея. На пустыре собралась почти та же компания, но все торопились, и дневная прогулка была недолгая.

Вечером Зета сама подошла к Гоку, и Сергей удивленно проронил:

— Да ты, оказывается, уже успел здесь кое с кем познакомиться!

— Вот только так мы и видимся, — сказала Зета Гоку, улучив минуту.

Если человеческая речь отчетливо улавливается собачьим ухом, то собачья для людей совершенно не слышна, так как ведется на звуковых частотах, недоступных человеческому уху. Ни Сергей, ни молоденькая хозяйка Зеты не подозревали, что рядом идет оживленный разговор.

— А что же, в другое время нельзя разве встретиться? — спросил Гок.

— Наши хозяева знакомы только здесь, на пустыре, а в другое время не встречаются, — ответила Зета. — Мы и живем-то в другом доме, вон в той пятиэтажке.

Гок посмотрел по направлению, указанному Зетой, и увидел дом, хорошо видимый ему с балкона.

— А я вот в этом, — сказал Гок, указав на высотный дом. — Меня поместили на балконе, на двенадцатом этаже.

— А не страшно? — спросила Зета.

— Ночью боязно, когда темно.

— Холодно, должно быть, — шкурка на Зете подернулась, и хозяйка заторопилась:

— Пошли, Зета, домой, а то простудишься!

Она дернула ее за ошейник. И Зета, едва успев кивнуть мордой на прощанье, покорно последовала за хозяйкой.

С Сергеем было интересно. Он явно не торопился домой, и ему, похоже, доставляло удовольствие бродить по пустырю, встречаться со знакомыми. В этот час с собаками гуляла большею частью сверстники мальчика.

Вот показался странный пес в каком-то сооружении, надетом прямо на морду.

— Здорово, Владик! — окликнул хозяина Сергей. — Ты чего не был на уроках?

— Проспал, — ухмыльнулся Владик и поглядел на Гока. — Откуда?

— Чукотская ездовая лайка! — произнес Сергей. — Папа из экспедиции привез.

Гок подошел к странному псу, обнюхал его и спросил:

— Ты чего так вырядился?

— Это не я, — ответил пес. — Так полагается, потому что я сторожевая и люди думают, что я могу укусить.

— А ты кусал кого-нибудь?

— Да никогда! — ответил пес. — Но поскольку я служу в универмаге, и числюсь сторожем, и даже получаю жалованье, мне полагается носить намордник.

Гок понюхал оплетку. Она пахла кожей.

— А что значит служить? — спросил он.

— Мы охраняем универсальный магазин от воров, — ответил пес по кличке Дик.

— Ты меня прости, — учтиво произнес Гок, — я с Чуковки, многого не знаю, объясни, пожалуйста, что такое универмаг и вор.

— Универмаг — это огромный дом, набитый разными товарами, — охотно принялся объяснять Дик. — Там одежда, посуда, разные ткани, радиотовары, часы, много разных, нужных людям, вещей. Вот мы по ночам охраняем эти товары от воров.

— А кто это — воры? — Гок по-настоящему заинтересовался.

— Люди.

— Люди? — с удивлением переспросил Дика Гок.

— Да, люди, — подтвердил Дик.

— Они что, голые? — удивился Гок. — Им нечего носить?

— Не знаю, — ответил Дик. — Честно признаться, я еще ни одного ночного вора не видел, хотя работаю в универмаге уже четвертый год.

— А эти воры чем-нибудь отличаются от обыкновенных людей? — продолжал допытываться Гок. — Может быть, у них какое-нибудь внешнее отличие?

— Никакого отличия, — со знанием дела ответил Дик.

— Но ведь ты сам сказал, что за четыре года ни одного вора не поймал, — напомнил Гок, удивляясь невероятности услышанного. Потом робко предположил: — Может быть, таких людей и нет вовсе?

— Ну да! — усмехнулся Дик. — Есть! Иногда даже и не подозреваешь. Ходит рядом, разговаривает, улыбается, а на самом деле — вор!

— Да ну! — недоверчиво воскликнул Гок.

— В нашем универмаге секцией мужской одежды заведовал некий человек по кличке Тиханов. Так недавно поймали его. Воровал.

— Собаки поймали?

— Нет, почему? Люди, — ответил Дик.

— Раз люди сами могут ловить воров, — произнес Гок, — какой смысл держать для этого собак? Пусть сами друг друга и ловят.

— А как же нам тогда? — усмехнулся Дик. — Кормежка знаешь какая! Нам иногда такое мясо дают, какое люди сами не едят!

— Да что ты говоришь! — искренне удивился Гок.

Он с восхищением и даже с некоторой завистью посмотрел на овчарку, хотя по натуре был совсем не завистливым, убежденным в том, что у каждого своя доля, свое предназначение в жизни, которое и надо исполнять без оглядки на чужие судьбы.

Однако Дик уловил это и несколько свысока заметил:

— Тебе не служить сторожем в универмаге...

— Почему? — несколько обиженно спросил Гок.

— Мелковат, — еще раз оглядев лайку, проронил Дик. — Да и в морде твоей нет никакого устрашения. В сторожевом деле устрашение — это главное. Вот в на-

шей группе есть боксер Ган. Даже мне, ко всему привычному, в первое время было страшно: не морда, а черт знает что! Честно сказать, его одного достаточно, чтобы охранять наш универмаг: как глянет — шерсть дыбом от страха встает. Голос — электричка!

— А что такое электричка? — перебил внимательно слушающий Гок.

— Потом объясню, — махнул хвостом Дик. — Слушай дальше. Как рывкнет Ган — потолок дрожит в универмаге, свет мигает... А на самом деле — добродушнейший и ленивейший на свете пес! Муха у него будет по морде ползать, он и глазом не моргнет! Как только приходит на работу, тут же ищет поукромнее уголок и укладывается до утра. И не добудишься его! Но встает в точно назначенный час, съедает до последней косточки положенный ему кусок мяса и отправляется домой с хозяином... Думаю, — сказал после некоторой паузы Дик, — он и дома дрыхнет без задних ног...

— А что такое — без задних ног? — не удержавшись, снова перебил рассказчика Гок.

— Есть такое выражение у людей, — терпеливо разъяснил Дик. — Что оно означает, я сам толком не знаю. Скорее всего, выражение раньше принадлежало только нам, собакам, поскольку у людей только две ноги и они у них не разделяются на передние и задние...

— Ты еще хотел объяснить, что такое электричка, — напомнил Гок.

— Это поезд, — сказал Дик. — Как бы длинный ряд из нескольких домов, которые движутся по двум железным полосам. Человек, ведущий поезд, дает сигнал — звук такой неприятный, голова потом долго болит.

— А кто дает звук — человек или электричка-поезд? — спросил Гок.

— Человек не может издать такой звук, — с оттенком раздражения пояснил Дик. — Конечно, гудит сама электричка.

Гок заметил, что многие новые знакомые собаки, встреченные на этом пустыре, несмотря на несомненную собачью преданность, не очень-то жаловали хозяев, а к иным даже относились свысока. Люди, конечно, этого не замечали и некоторые странности своих подопечных относили к особенностям собачьего характера.

И разумеется, хозяин не заметил, с какой неохотой и пренебрежением отозвался Дик, услышав:

— Дик! Ко мне!

Он только ушами показал, что слышит.

На человеческий взгляд, ничего примечательного не было в общении двух собак: они стояли друг против друга, иногда обнюхивались, переминались с ноги на ногу, даже порой садились на землю, только хвосты их энергично двигались точно так же, как жестикулируют руками два оживленно беседующих друг с другом человека.

Хозяин Дика, прицепляя поводок к ошейнику, сказал Сергею:

— Гляди-ка, вроде бы подружились наши собаки.

7

Гок уже начал привыкать к городской жизни. Лишь оставаясь один на балконе и укладываясь на старое пальто Екимова, он вдруг с удивительной отчетливостью вспоминал покинутую родину. Она возникала сначала в запахах, уже наполовину выветрившихся из памяти, а потом уже приходили зрительные образы. Чаще всего из глубин собачьей памяти поднимался запах воровани, густой, цепкий, пронзительный, имевший способность распространяться далеко. Его можно почуять на таком расстоянии, что потом надо долго бежать и бежать, чтобы добраться до красного, полуободранного остова морского зверя. Правда, такое в жизни Гока случалось только раза два, но разве можно позабыть это удивительное ощущение необыкновенного возбуждения и странного, даже беспомощного состояния перед таким невероятным количеством еды! Не надо никуда спешить, огрызаться на соседа, давиться от жадности. Перед таким обилием еды начисто исчезало вечное ощущение голода, вечное желание что-нибудь грызть, глотать, жевать. Да, это воспоминание на всю жизнь, и оно могло сравниться только с воспоминанием о первой любви, испытанной Гокком к ровеснице-сучке, разрешившейся потом шестью великолепными щенками, к которым отец никакого иного чувства, кроме любопытства, не испытал.

На пустыре Гок уже завел много знакомств и кое с кем, можно сказать, даже подружился. Во время собачьих бесед у него порой возникало желание рассказать о чем-нибудь этаким выдающемся, чтобы хоть немного сбить спесь с громадного дога, вечно хвастающего

своими победами на выставках, но почему-то о звериной туше, как и о первой любви, он не говорил.

Наконец Екимов закончил свои городские дела и объявил, что в субботу состоится переезд на дачу. Обычно в это время бабушка и дети жили на даче, они приехали в город лишь для того, чтобы встретить Екимова.

Гок удивлялся теплу и был несколько обескуражен тем, что зимы все не было. Наоборот, все эти дни стояла удивительно теплая погода, какой не бывает на студеном побережье даже в самое жаркое лето.

Возбуждение и веселость детей передались Гоку, и на последней перед отъездом прогулке он с гордостью сообщил Диду, что уезжает на дачу.

— Счастливый, — с завистью проронила овчарка. — Когда-то мне удастся побегать на вольной воле и без намордника? Все работа и работа! У людей есть отпуск, а у меня их нет!

Гок с жалостью посмотрел на Дика. Хотя ездовой чукотской лайке хватало зимней работы, зато лето — точнее, время от снега до снега — полностью принадлежало ей, и не было лучшего и вольного времени! В самые тяжкие зимние дни, когда, казалось, весь мир застывал от стужи и холод проникал внутрь сквозь густой мех, когда ноги немели от усталости, стоило лишь вообразить себе будущее лето, ничем не ограниченную вольницу, бездумное лежание на берегу плещущегося, пахнущего моржовым жиром и китовой ворванью моря, рысканье по тундре в поисках евражечьих нор, сразу становилось теплей и легче, невесте откуда брались силы тащить по снегу тяжелую нарту.

Но сейчас Гоку ничего другого не осталось, как только сочувственно посмотреть на Дика и с горечью подумать о том, как нелегко быть городской собакой, вечно жить на одном и том же месте, вечно быть привязанной в самом настоящем смысле этого слова, потому что даже на пустыре лишь немногих спускали с поводка.

В небольшом автомобиле поместились все. Жена заняла место рядом с каютившим Екимовым, а на заднее сиденье уселись ребята и бабушка. Гок пристроился на коленях у Сергея. Мальчик держал собаку так, чтобы ей было удобно смотреть в боковое окошко.

Некоторое время ехали по городу, и мальчик рассказывал Гоку о городских достопримечательностях, пока девочка не произнесла с усмешкой:

— Да что ты, Серега, толкуешь собаке, будто она человек?

— Ну и что! — возразил Сергей. — Гок очень умный пес и все понимает!

— И все же он не настолько умен, чтобы понимать архитектуру, — продолжала Марина.

Гоку показалось несколько обидным это замечание. Но нельзя было с ним и не согласиться. Круг интересов у собаки все-таки другой, нежели у человека, и то, что нравилось людям, часто совсем не интересовало собаку.

Глядя по сторонам, Гок занимался тем, что представлял, как все здесь будет выглядеть после того, как выпадет снег. Но похоже, что тут на нартах не ездили. Да и какая здесь в них нужда, когда вот от этой, видимо, главной дороги в разные стороны идут ответвления, пересекающая пожелтевшие поля, перелески, невысокие холмы, — раздолье для машин!

И вдруг пронзительная мысль заставила вздрогнуть Гока: у него не будет больше зимней долгой дороги, ночевки под дрожащими звездами и сполохами полярного сияния, сладкой усталости в натруженных ногах, утренних хоровых песен с друзьями, когда от многоголосого собачьего воя дрожит полная луна!

Как же будет протекать его дальнейшая жизнь? Неужели вот в таком размеренном, ни к чему не обязывающем существовании, в обильной кормежке, ничем не тревожимом сне?

От этих мыслей Гок незаметно для себя заскулил.

— Сергей! — строго сказала Марина. — Ты так зажал бедного Гока, что ему не вздохнуть. Дай его сюда!

— Нет, — возразил мальчик. — Здесь ему хорошо. Он смотрит в окно.

— А почему тогда пищит?

— Ну мало ли отчего... Может, чего вспомнил...

Гок с благодарностью посмотрел на мальчика. Ни люди, ни тем более собаки не могли объяснить странного взаимопонимания между собаками и человеческими детьми, да особенно и не задумывались об этом. А все дело заключалось в том, что они понимали друг друга без слов, и это понимание происходило на уровне чувств. Гок лизнул мальчику лицо.

— Вот видишь! — победно произнес Сергей, глянув на сестру.

Но и девочку Гок не оставил без внимания. Он и ее лизнул, но уже не лицо, а протянутую руку.

— Ах ты Гок, мой хороший! — ласково произнесла Марина и погладила собаку по голове. — Пап, а что значит Гок по-русски?

— Горнообогатительный комбинат, — быстро ответил Екимов, поглощенный управлением автомобиля.

— Пап, я тебя всерьез спрашиваю. . .

— А я тебе всерьез отвечаю, — сказал Екимов, не отводя взгляда от дороги. — Гок так назван хозяином в честь Горнообогатительного комбината, расположенного недалеко от студеного побережья.

— Не очень-то звучит, — задумчиво произнесла Марина. — Разве можно называть комбинатом живое существо?

— А почему нет? — подала голос бабушка. — В годы моей молодости я знавала девушку, которую звали Баррикадой. Была еще Энергия, Тракторина. . .

— Гок тоже звучит неплохо, — вступился Сергей. — Мне это слово кажется совсем чукотским и несколько не подходит на Горнообогатительный комбинат. . .

Он ласково погладил собаку по голове, словно подбадривал, хотя Гок и не очень понимал, почему его кличка вызывает такое оживленное обсуждение.

Дача Екимовых представляла собой домик чуть поменьше жилища бывшего хозяина Гока на Чукотке. Он был деревянный, одноэтажный и пахнул настоящим человеческим жильем. И что самое удивительное, Гок уловил в нем совершенно определенный мышиный запах. Значит, и здесь водились эти хитрые и удивительные мелкие твари, которые так досаждали Гоку и его родичам на Чукотке.

Хозяева сразу же принялись топить печку, занялись хозяйством, предоставив Гоку полную свободу на небольшом дачном участке, тесно засаженном ягодными кустами и плодовыми деревьями. Густота здешних земельных и растительных запахов не шла ни в какое сравнение с тундровыми. Там цветочные и растительные ароматы почти не смешивались и всегда преобладал какой-то один запах, морощечный или шикшовый, грибной или еще какой-нибудь, который Гок по своей молодости не знал. Он довольно быстро обследовал небольшой, огороженный решетчатым штакетником участок и выяснил, что из четвероногих он здесь единственный. Однако, судя по звукам, а более всего по запахам, на соседних участках было достаточно собак, и Гок с нетерпением ожидал свидания со своими сородичами.

А вообще здесь ему понравилось. Может быть, потому, что дачный поселок отдаленно напоминал ему родное селение отсутствием многоэтажных каменных зданий. Здесь также не было многомашинного уличного движения, от которого у Гока голова шла кругом: страшно было смотреть на проносящееся по улице чадающее, дымящее, воняющее железное многоколесное стадо. Здесь было тихо, если не считать медленно проезжающей изредка одинокой машины и гудящего вдали поезда.

После полуденной кормежки Сергей и Марина позвали Гока гулять.

Сначала пошли по тропинке, пересекающей небольшую поляну. Дальше тропинка ныряла в густой, погруженный в зеленоватый полумрак лес. Это был новый, незнакомый Гоку лес, совсем непохожий на тот, в который он убежал по дороге из аэропорта в Москву. Здесь почти не было лиственных деревьев, а больше хвойные, и земля была покрыта толстой подстилкой из зеленых и уже пожелтевших иголок. Гок бежал впереди ребят, стараясь не очень опережать их, пока не остановился в изумлении перед странным сооружением из хвои, довольно высоким, по которому в самых различных направлениях бежали неисчислимые быстроногие, бескрылые насекомые. Разглядывая их, Гок почувствовал, как некоторые из них побежали у него по ноге, слегка щекоча кожу. Хотелось выкусать их, как иногда он это делал с блохами, но что-то удерживало его.

— Это муравейник, Гок, — сказал Сергей. — Будь осторожен, не подходи близко!

Услышав предостерегающий возглас, Гок попятился назад, стараясь стряхнуть со своих лап удивительных проворных насекомых. Но, даже отойдя от муравейника, Гок то и дело замечал среди опавшей хвои, трав, сухих веток вездесущих, куда-то спешащих муравьев с какой-то неразличимой ношей.

Кроме незнакомых запахов и муравьев хвойный лес был полон птичьими голосами. Сами птицы были недоступны зрению Гока: они обитали на вершинах высоких сосен и елей, ближе к солнечным лучам и вольному ветру.

Вдруг лес кончился, и впереди открылась водная гладь, от вида которой у Гока даже перехватило дыхание: показалось, что он чудом оказался на берегу родного студеного моря. Но это было не море, а всего-навсего небольшое лесное озерцо с теплой, пахнущей чем-то несвежей водой.

— Как ты думаешь, — обратился Сергей к сестре, — умеет Гок плавать?

— Не знаю, — неуверенно ответила Марина, — может быть, попробуем?

— А как?

— Ну, брось в воду палку, — предложила Марина. — Вдруг достанет?

Сергей подобрал на берегу озерка какую-то корягу и, размахнувшись, кинул ее довольно далеко, выкрикнув при этом:

— Апорт!

Проследив взглядом за полетом палки, Гок выразительно посмотрел на Сергея и вильнул хвостом. Он, конечно, понял, чего хотел от него мальчик, и плавать Гок умел не хуже любой другой нормальной собаки. Но он не любил этого. Прежде всего потому, что вода на его родине всегда холодна и никакого удовольствия пловцу, будь это человек или собака, она не доставляла.

— Не хочет или не умеет, — разочарованно протянул Сергей.

— Апорт! — повторила Марина и показала рукой на плавающую посередине озера корягу.

Гок и на нее посмотрел внимательно и выразительно и так же, как и ее брату, махнул хвостом.

— Наверное, чукотские ездовые лайки не умеют плавать, — серьезным голосом произнес Сергей.

— Надо спросить у отца, — сказала рассудительная Марина.

Гок, конечно, легко мог бы доказать свою способность плавать, но ему этого делать не хотелось, да и сама эта подозрительная вода не внушала доверия. И чтобы показать, что ему не нравится вода, он сделал несколько шагов назад и снова завилял хвостом, поглядывая на Сергея.

— Он зовет нас! — понял его мальчик. — И купаться ему совсем не хочется. Давай на этот раз не будем настаивать, пойдем отсюда.

Обратно снова шли через лес. Почувяв издали муравьиную кучу, Гок обошел ее стороной, чтобы избежать встречи с этими мелкими, проворными, но непонятными существами.

У дома горел костер, и от него пахло знакомым до слез дымом. Возле огня хлопотали жена Екимова и бабушка, а сам хозяин чуть поодаль рубил дрова.

— Шашлык будем жарить! Шашлык! — закричали ребята и кинулись помогать взрослым.

Когда напизанные на железные шампуры куски мяса с помидорами и луком поместили над огнем, приятный дразнящий запах донесся до Гока, и он сглотнул слюну.

Бабушка покрыла клеенкой врытый в землю столик, расставила на нем посуду. Время от времени Гоку бросали кусок и он с удовольствием глотал чуть подгорелое, удивительно вкусное мясо.

За едой ребята сообщили отцу о том, как Гок не желал лезть в воду за палкой.

— Оп, конечно, умеет плавать, — глянув в сторону Гока, сказал Екимов. — А не захотел он потому, что чукотские лайки не приучены по всякому поводу лезть в воду, а тем более за палкой. Скорее это могла бы сделать охотничья собака, для которой брошенная в воду палка как бы дичь, подстреленная птица.

— Значит, Гок, кроме как тянуть нарту, ничего больше не умеет? — с выражением некоторого разочарования протянул Сергей.

— Это не так уж мало! — возразил Екимов, с видимым удовольствием прожевывая паленый кусок мяса. — Дорогие мои ребята! Именно самые близкие сородичи Гока привезли на Северный полюс Роберта Пири, а на Южный — Руала Амундсена. А сколько пользы принесли они исследователям Севера! Не говоря уже о том, что для местного населения, для чукчей и эскимосов, лайка была не просто ездовой собакой, а первым другом, помощником. Кстати, многие лайки умеют не только тянуть нарту, но и помогают охотиться на белого медведя, пушных зверей, пасти оленей. Есть даже такая специальная порода собак — оленегонная лайка...

Гок слушал рассказ Екимова, и гордость наполняла его собачье сердце: как ни говори, а родичам Гока есть чем похвалиться!

Целые дни Сергей и Марина бродили с собакой по лесу в поисках грибов. Эти растения попадались ему в тундре в огромном количестве. На вкус не нравились, хотя олени их любили. Здешним людям грибы, видать, тоже были по вкусу, и поиски возбуждали их до настоящего азарта. Лес был полон грибников, и от утренней зари до захода солнца они прочесывали все простран-

ство, покрытое деревьями, вороша палками пожелтевшие листья, хвою и кусты. Гок шел за ребятами и лакомился черникой. Иногда попадалась и морошка.

Но больше всего ягод оказалось на маленьком садовом участке. Кусты были густо усыпаны красной и черной смородиной. Женщины собирали ягоды, перебирали их и варили варенье.

Екимов сидел в доме за дощатым самодельным столом и сосредоточенно писал. Гок знал, что хозяин пишет отчет и это настолько важная работа, что даже дети, приближаясь к дому, затихали, умеряя живость. Если кто-то забывался, мать или бабушка делали строгое лицо и прикладывали палец ко рту: тс-с-с, папа пишет отчет!

В понедельник утром зашел спор: брать ли Гока в город или оставить его здесь на даче на несколько часов, пока Екимов отвезет домочадцев. Окончательное решение принял хозяин. Он сказал:

— Может быть, собаке надо побыть одной: чукотские ездовые лайки далеко не комнатные животные и общаются с людьми только по необходимости...

Гок с некоторым беспокойством прислушивался к тому, как снаружи запирали дверь: кроме всего прочего, он был вольным псом и не терпел заточения. Но так надо. И в данном случае приходилось безропотно подчиняться обстоятельствам. Сквозь стекло он смотрел, как люди садились в машину, как Марина с Сергеем спорили, кому где сидеть...

Машина скрылась за поворотом. Гок еще некоторое время постоял у застекленной стены, вздохнул и отошел в глубину веранды, под большой, с толстыми, крепкими ножками обеденный стол. Чутье привело его в угол, где для него была приготовлена еда — вчерашний грибной суп с кусками мяса и в большой миске налитая до краев чистая колодезная вода. Но ни есть, ни пить не хотелось. Гока снова охватило какое-то странное чувство отрешенности, словно в какие-то неуловимые мгновения он глядел на себя со стороны, видел лохматую, тяжело дышавшую от непривычного тепла собаку, растерянно топчущуюся по тесному пространству запертой веранды. Такие ощущения появились у него совсем недавно, и Гок впервые обнаружил их у себя на балконе, высоко вознесенном над городской, залитой асфальтом и покрытой бетоном землей. На Чукотке для таких мыслей не было ни времени, ни места. Тамошняя жизнь не требовала глубоких размышлений, ибо она была предопределена со дня

рождения и дальше, до той неизвестности, когда живая, бегаящая, лающая собака вдруг превращалась в бездыханный и зловонный меховой мешок с костями. Это не имело уже ничего общего с живым существом и поэтому не возбуждало никакого любопытства, не рождало никаких раздумий. В деятельной, заранее размеченной жизни не было места праздному состоянию, которое теперь испытывал Гок.

Может быть, он должен смириться с этим, как смирился, покорно согласившись с тем, что Тэнн подарил его Екимову, пустился с новым хозяином в далекое путешествие, и все родное, близкое осталось в невообразимой и недостижимой дали?

Здесь все внешне было прекрасно. Что еще нужно собаке для настоящего счастья? Вдоволь прекрасной еды, ласковое обхождение, теплая мягкая постель и — никакой работы! Вот уже сколько дней Гок не видел алыка, в котором он приехал с Чукотки, а это была единственная вещь, которая связывала его с дорогим прошлым.

Надежда-воспоминание рождало тоску, и серая пелена застилала пестроту окружающего мира, отцветающих осенних цветов, чистых, светлых тонов последних бесснежных дней.

Найдя себе ложе в теплом, нагретом солнцем углу, Гок свернулся калачиком и задремал, возвращаясь в полудреме к надеждам-воспоминаниям.

Не заметив, как прошел день, Гок проснулся от шума подъехавшей машины, вскочил на ноги и встретил Екимова ласковым повизгиванием и помахиванием хвоста.

— Ну как ты тут? Не скучал?

Екимов глянул на миски с едой и водой и воскликнул:

— Да ты ничего не ел и не пил! Что с тобой? Не заболел ли?

Он потрогал черный кончик носа у собаки.

— Вроде холодный, — рассуждал вслух Екимов, и, чтобы успокоить его, Гок подошел к миске и принялся лакать подернутый белой жировой пеленой суп.

— Значит, скучал, — с удовлетворением произнес Екимов. — Ну хорошо, постараюсь больше не оставлять тебя одного. Послезавтра мы с тобой поедем в институт. А пока погуляй, а то мне надо работать.

Остаток дня Гок провел на участке, окончательно обследовав его от ворот до дощатого нужника и сарая, Кое-

где пахло мышами, но здешние мыши отличались от тундровых мелкотой и пугливостью.

Темнело здесь медленно, как на Чукотке. Косые лучи солнца зажгли медь на сосновых стволах, и все вокруг осветилось тревожно и странно. Гок поспешил в дом, где перед телевизором сидел Екимов и смотрел новости.

После новостей хозяин перешел за стол, освещенный рабочей лампой, и погрузился в бумаги.

Гок наблюдал за ним в приоткрытую дверь. Человек то писал, то откладывал ручку, то принимался листать толстые тетради-дневники. Иногда он сам с собой разговаривал, спорил, возражал, соглашался, кивая, улыбаясь, даже сердился и ругался. Для Гока при всей его любознательности общение человека с бумагой оставалось непостижимым. Для людей общение с книгой часто заменяло общение с другими людьми.

Тишина окутала дачный поселок. Откуда-то издали донесся мощный вибрирующий звук, от которого Гок вздрогнул. Екимов, оторвав голову от бумаг, посмотрел на Гока и сказал:

— Это электричка...

Значит, электричка, о которой упоминал Дик, проходила где-то недалеко отсюда и звук, исторгаемый ею, нарушал спокойствие этого удивительного тихого места.

Гок не засыпал до тех пор, пока Екимов, потянувшись, не сказал:

— Ну, на сегодня хватит...

Но перед тем как лечь в постель, он вышел из домика и позвал за собой Гока.

Над зелеными вершинами сосен светили звезды. Еще раз прогудела электричка, и Екимов, громко зевая, произнес:

— Вот и последний поезд...

Екимов сел на свое каюрское место, а Гока устроил рядом, откуда был прекрасный обзор. Быстрая езда доставляла настоящее удовольствие. Если чуточку отвлечься, могло даже показаться, что сам мчишься по этой гладкой, прорезающей лес и невысокие холмы дороге, порой обгоняя большие, воняющие черным дымом машины. На самом деле Гоку никогда не доводилось бегать с такой скоростью. Даже тогда, когда он гонялся за убе-

гающей по тундре евражкой или вместе с упряжкой, за-
видя зайца, белого медведя или вылезшую на лед весен-
нюю нерпу, сворачивал с пути и, несмотря на тормозную
палку, воткнутую между копыльев и истошные крики
каюра, неся, охваченный возбуждением и подстегивае-
мый громким лаем всей упряжки.

Институт оказался совсем недалеко от того места, где
находилась екимовская дача. Несколько каменных домов
стояли чуть в стороне от главной дороги, по которой не-
прерывно шли разнородные машины.

Екимов поставил свой автомобиль на стоянку.

— Гляди! — сказал он и протянул руку.

Сначала Гок подумал, что какая-то озорная собака
запрыгнула на высокий пьедестал и уселась там в само-
довольной и неестественно значительной позе. Это была
самая натуральная собака и, судя по внешнему виду, не
самая породистая.

— Этот памятник, — значительно произнес Екимов,
словно он на самом деле верил, что Гок понимает его
(хотя, как и все остальные люди, несмотря на то, что он
был биологом, Екимов был глубоко убежден, что собаки,
как и все другие животные, не понимают человеческой
речи), — сооружен в честь Собаки, Собаки с большой
буквы, в знак признания ее заслуг перед наукой и чело-
вечеством!

Гок вильнул хвостом. Подошел служитель в халате и
сказал Екимову:

— Товарищ! Подопытных собак у нас принимают в
другом корпусе.

— Да нет, — усмехнулся Екимов. — Я не сдавать со-
баку... Мне тут надо повидаться с Егоровым, Владими-
ром Алексеевичем.

— Лаборатория профессора Егорова вон в том, даль-
нем корпусе.

Служитель внимательно посмотрел на Гока и спро-
сил:

— Лайка?

— Чукотская ездовая, — со знакомым оттенком гор-
дости в голосе ответил Екимов. — Прямо оттуда!

— Редкая теперь порода, — заметил служитель и со
странным выражением посмотрел на Гока.

— Ну пошли!

Екимов потянул Гока за поводок.

Через несколько шагов Гок вдруг отчетливо почув-
ствовал знакомый собачий дух, словно где-то рядом располагал-

ся целый табор упряжек. Вскоре до слуха донеслись и лай, и повизгивание, и даже вой. Подняв уши, Гок приостановился.

— Ага! — заулыбался Екимов. — Родичей своих учуял?

Егоров, несмотря на профессорское звание, оказался человеком довольно молодым и живым. Он громко вскрикнул, завидя Екимова, бросился навстречу, обнял, стиснул руками, приговаривая:

— Ну вот, наконец-то объявился чукотский бродяга! Не съели еще тебя твои морские млекопитающие? Ну, здорово, здорово! Садись, рассказывай! Любаша, свари-ка нам кофе!

— Мне, если можно, чаю, — попросил Екимов молодую женщину в таком же, как и у Егорова, белом халате.

— Ах да! — хлопнул себя по боку Егоров. — Я и забыл, что ты предпочитаешь чай. Тогда ему, Любаша, крепкого, тундрового...

— Каюрского, — с улыбкой добавил Екимов.

— Вот именно — каюрского! — подхватил Егоров и тут только обратил внимание на Гока. — Это твой?

— Мой! — с видимым удовольствием ответил Екимов. — Чистопородная чукотская лайка.

— Какая прелесть! — с нескрываемым восхищением проговорил Егоров. — Прекрасный экземпляр! Как тебе удалось заполучить его?

— Подарок друга, — ответил Екимов. — Должен тебе сказать, что порода чукотских ездовых собак сейчас находится под угрозой вырождения. Ничего не поделаешь: привозят черт знает кого, и даже болонок и шпицев. Ну и, понятно, бесконтрольное смешение, иной раз встретишь какую-нибудь уродину и думаешь: неужели наяву? Или померещилось? Только в отдаленных селениях еще можно встретить чистую породу. Вот его хозяин рассказывал мне, что раньше у них было такое правило: немедленно убивать чужепородную собаку, если только она появлялась на чукотском берегу.

— Жестоко, но необходимо, — кивнул Егоров. — А знаешь, давай-ка мы твою собаку пока отправим на прогулочный двор.

Любаша взяла за поводок Гока и повела его за собой, сначала длинным коридором со множеством дверей, а потом по лестнице вниз. Толкнула дверь, и она откры-

лась прямо в просторный двор, покрытый пожелтевшей осенней травой.

— Гуляй, собачка, — сказала Любаша и, отстегнув поводок, ушла.

Во дворе Гок не встретил ни одной собаки, но голоса, доносившиеся из окон здания, тревожили, пугали, наводили тоску и смятение. Несколько дней после этого Гок жил мыслями о посещении института, о загадочных стенах, за которыми прятались в неволе его собратья.

Однако поделиться с кем-нибудь своими наблюдениями и сомнениями Гоку не представлялось никакой возможности, потому что поблизости не было ни одной собаки: дачный поселок в эту пору был пуст. Все эти маленькие, похожие на игрушечные домики оставались их обитателями на холодное время года.

С каждым днем все явственнее ощущалось приближение зимы, и по утрам, выбегая из теплого дома, Гок чувял надвигающийся снегопад. Правда, приближение стужи здесь ощущалось совсем не так, как на родине. Там зима надвигалась с моря вместе с ледовыми полями, которые на всю долгую зиму примерзали к материковому берегу.

Но и здесь, на границе земли и воды небольшого лесного озерка, по утрам начинал поблескивать новый ледок, который уже к полудню стаявал. Такая нерешительность здешней природы озадачивала Гока, и он, подняв морду к небу, выл, как бы вопрошая: где ты, пора метелей, густых снегопадов, покрывающих землю белой бескрайней дорогой?

Одиночество и тишина заставляли Гока далеко уходить от дома, но он легко находил обратную дорогу и молча выслушивал укоризненные замечания хозяина:

— Смотри, Гок, будь осторожен! Поймает тебя кто-нибудь и уведет... А то заблудишься... Тут ведь не тундра, а лес!

Раза два на дачу приезжали родичи Екимова и тесный деревянный дом заполнялся шумом, звонкими молодыми голосами и разнообразными запахами вкусной еды, так как бабушка считала самым главным делом жизни именно кормежку. Разные вкусные вещи перепа-

дали и Гоку, хотя Екимов кормил его сытно. Правда, екимовская еда состояла из тех же невкусных вещей, которые ел сам хозяин: яичницы с колбасой, творога, сосисок и пельменей из бумажных коробок.

Уезжали гости — и снова над домиком нависала тишина предчувствия зимы, лишь изредка нарушаемая отдаленным ревом проходящей электрички.

Глядя на склоненную над бумагами голову Екимова, Гок начинал догадываться о том, что через эту непрочную материю, испещренную значками, проходит значительная доля человеческого общения.

Было бы неправдой утверждать, что Гок не завидовал людям. Мечты о том, что было бы неплохо обладать тем или иным человеческим умением, нередко появлялись у Гока, но не настолько его захватывали, чтобы чувствовать при этом какую-то ущербность или неполноценность своего собачьего существования. Гок целиком и полностью признавал непреложность закона природы: каждому существу своя судьба. Поэтому мысли о том, как было бы хорошо уметь говорить по-человечески, только забавляли Гока. Но вот уж о чем никогда не думалось и не мечталось, так это о том, чтобы научиться обращению с испещренной значками белой бумагой. Хотя Гок понимал, что в этом кроется одна из загадок могущества двуногого, наделенного речью и многими другими достоинствами существа, резко отделившегося от остального животного мира.

Однажды утром Гок никак не хотел просыпаться, стараясь продлить приснившийся сон. Этот сон довольно часто снился ему, но на этот раз он был удивительно яркий, словно все происходило наяву. Будто он на самом деле бежал впереди упряжки настоящим, признанным вожаком. Снег летел из-под лап, полозья нарты с визгом неслись по целине, гортанные крики каюра смешивались с веселым лаем мчащейся упряжки. Куда и зачем они ехали? В конце концов, это неважно, главной была сама дорога, движение, запах свежеевыпавшего снега, студеного воздуха, широко и вольно вливающегося в разгоряченное, ликующее, молодое и сильное тело.

Гок уже открыл глаза, а сон продолжался; он, казалось, стоял рядом, не растворяясь, не исчезая, как всегда, бесследно. Он только чуточку отошел, встал за стенами маленького деревянного домика, как бы ожидая и призывая собаку.

Гок встал. Хозяин еще спал. Вчера он долго сидел за письменным столом, и, просыпаясь среди ночи, Гок видел его голову, склоненную над освещенным одинокой лампой столом. Он сказал Гоку, что уже пора заканчивать отчет и выходить на работу. Слушая это, Гок смотрел прямо в глаза хозяину и понимающе махал хвостом.

— Надо сделать отчет, возвращаться на работу и готовиться к следующей экспедиции на твою родину, Чукотку...

Значит, Екимов снова собирается на Чукотку...

Мысль о том, что его жизнь окончательно определилась и его ждет участь комнатной собаки, приводила Гока в такой ужас, что он изо всех сил старался не думать об этом. Гок не мог каким-то образом дать понять Екимову, что и он бы с удовольствием поехал на Чукотку, вернулся на свою родину, к тому образу жизни, к которому был предназначен с момента своего рождения. А может быть, Екимов сам догадается? Он, похоже, был умным и добрым человеком. А вдруг и вправду случится такое чудо, что Екимов возьмет его с собой на Чукотку?

Прислушавшись к спокойному сонному дыханию хозяина, Гок подошел к застекленной стене веранды: снаружи светилось что-то знакомое, до боли родное, то, что сейчас приснилось. Подумалось даже: а вдруг каким-то чудом за ночь этот деревянный домик с зеленого берега лесного озера перенесся на Чукотку? А почему бы нет? Людская жизнь полна таких невероятных чудес! Гок поднялся на задние лапы, а передними оперся о край застекленной рамы. Это был свежевывавший снег. Это он отбрасывал особый, синеватый свет, отражая светлеющее небо.

Забилось от волнения сердце, перехватило дыхание, и неожиданно для себя Гок вдруг поднял вверх морду и призывно завыл, вкладывая в испускаемый протяжный звук всю свою тоску по покинутой родине, по новой заснеженной дороге, по которой уже не побегут его лапы.

В открытой двери, ведущей в комнату, показался Екимов и удивленно спросил:

— Что с тобой?

Глянув в необычно посветлевшие стекла веранды, он радостно воскликнул:

— Снег выпал! Вот хорошо! Значит, пришла зима!

Хозяин тоже радовался снегу, только его радость не была понятна Гоку, который отлично знал, что у Екимова не было нарты, не было собачьей упряжки. У него был только старенький автомобиль «Москвич».

И все-таки первый снегопад решительно изменил жизнь Екимова и Гока. Буквально на следующий же день они погрузились в автомобиль и поехали в город.

Гок с грустью смотрел на покрытые белым снегом ровные поля, невысокие холмы, зеленую хвою деревьев, словно бы ставшую ярче от снега. Только лепта автомобильной дороги по-прежнему оставалась темной и по ней с прежней неодолимой невозмутимостью катились разнопородные автомобили.

Подъехали к знакомому высокому дому, вошли в подъемную конуру, и в ней еще Гок почуял запах знакомого жилища, высоко вознесенного над землей, и ему стало еще горше. К тому же в городе снег был лишь на редких островках зелени и его дух начисто заглушался бензиновой гарью и другими сильными, прилипчивыми, оглушающими запахами, от которых сразу же заныла голова и заломило ноздри.

Гока встретили с прежним радушием и лаской, но место ему определили не на балконе, а в прихожей, куда перенесли знакомую остро пахнущую Екимовым подстилку. Его переселение было произведено по двум причинам: во-первых, на зиму балконная дверь утеплялась и могла быть открыта только в исключительном случае, если что-то надо достать из тех запасов, которые были привезены с дачи. Гоку удалось заглянуть на свое старое место и убедиться, что все тесное пространство заставлено деревянными кадками и крепко закрытыми эмалированными ведрами. Вторая причина заключалась в том, что новые хозяева Гока боялись, как бы собаке не было холодно на балконе. Услышав это, пес только усмехнулся про себя, вспомнив свое зимнее ложе на родине — небольшое углубление в снежном сугробе, где он лежал, свернувшись в клубок, спрятав чувствительный нос в теплую шерсть на собственном брюхе.

В первый же вечер, выведенный на прогулку на знакомый пустырь, Гок встретил почти всех своих старых знакомых, и это несколько успокоило его встревоженную свежесвыпавшим снегом душу.

Потекли размеренные городские дни. Рано утром с Гоком гулял сам Екимов. Возвратившись в дом, они заставляли только бабушку, которая кормила их завтраком. Дети вместе с матерью уходили в школу: они — учиться, а мать — учить, она была учительницей.

В середине дня с Гоком гуляла Марина, а вечером — Сергей.

Вечерняя прогулка была самой продолжительной и интересной, потому что, как правило, в это же время со своими собаками гуляли сверстники и знакомые мальчишка. Они занимались собственными делами и разговорами и отпускали своих подопечных резвиться на пустыре. Дик с болтающимся под носом намордником некоторое время бешено носился по пустырю, сшибая сильными ногами торчащие из-под серого снега сухие травинки, кустики, хрипло и коротко лая отнюдь не для устрашения, а чтобы прочистить горло.

— Целый день в тесной квартире, а потом всю ночь на дежурстве, — жаловался он Гоку. — Суставы ноют от бездействия. Только одна радость и остается — побегать здесь, на пустыре.

Подошла Зета.

Она повернула морду к краю пустыря, туда, вдаль, где находился заросший колючими кустами овраг, заваленный разным железным и прочим хламом. Теперь Гок понял причину своего непонятного беспокойства, когда он вдруг чуял и слышал оттуда какие-то волнующие запахи и звуки.

Если присмотреться, то на фоне светлого неба можно заметить тощий силуэт незнакомой собаки. Она некоторое время стояла совершенно неподвижно, как нарисованная, а потом незаметно исчезала, словно растворялась в призрачном свете над самой поверхностью земли.

После этого случая, выходя на прогулку, Гок стал замечать за собой странное желание, влечение к оврагу, куда, похоже, остерегались приближаться не только собаки, но и люди, потому что и Екимов, и Сергей, и Марина — все, кто гулял с ним, особенно тревожились, если Гок направлялся в ту сторону. Они тотчас догоняли собаку, пристегивали поводок и уводили ее в то место, где, по их мнению, надлежало быть хорошей домашней собаке.

Но с Гоком что-то явно случилось. Правда, он и сам пока не мог как следует разобраться в новых ощущениях и неясных позывах, но все чаще и больше думал об отверженных, неясными силуэтами мелькающих на краю страшного оврага.

Никто из тех, с кем познакомился Гок во время прогулок, не жаловался всерьез на свою судьбу. Наоборот, все собаки имели привычку хвастать друг перед другом хозяевами, кормушками, кормежкой, подстилками... И еще одно заметил Гок: их странную похожесть на своих хозяев. И не только в поведении, но и во внешности, хотя что может быть общего в облике прямоходящего двуногого человека и четвероногой, как порой выражались люди, твари? Но тем не менее такое сходство существовало.

К примеру, Зета и ее хозяйка. Они были так похожи, что Гок не переставал удивляться, как могут походить друг на друга такие разнovidные существа! И сука, и женщина выделялись особой хрупкостью, легкостью и, трудно в это поверить, даже общностью питания!

— Мы с хозяйкой худеем! — как-то озабоченно сообщила Зета. — Питаемся в основном овощами и молочным.

— А мясо? — спросил Дик.

— Мясо вредно, — заявила Зета и облизнулась.

— Ну как это можно без хорошей сахарной косточки со сладким хрящом? — с недоумением заметил Нерон. — Если я, к примеру, не погрызу власть мослов, я и спать не смогу. Да и откуда силы возьмутся, если не есть мяса?

— Зато будет здоровье и хороший внешний вид, — наставляла на своем Зета.

— Постой, постой, Зета, — Дик взволновался. — Вот мы с Нероном в основном только мясом и питаемся, да и Гок — мясоед...

— Даже — сыроед! — добавил со знанием дела Нерон. — У них на Чукотке ездовых собак только сырым мясом и кормят.

Конечно, это было не совсем так, но Гок промолчал, внимательно следя за беседой.

— Но я бы не сказал, что и я, и Нерон, и Гок страдаем какими-нибудь изъятиями во внешнем облике, — продолжал Дик.

— К тому же я получил все золотые и серебряные медали именно за экстерьер, то есть за внешний вид! — с гордостью заявил Нерон.

— Наверное, это все же зависит от породы, — примирительно предположил Гок. — Ваша хозяйка, Зета, беленькая, хрупкая и по внешнему виду сильно отличается, скажем, от породы моих хозяев, Екимовых. У нас, к примеру, мясо едят все: и бабушка, и жена Екимова, и дети. И у всех экстерьер, на мой взгляд, достаточно хороший...

В таких беседах проходили встречи на пустыре, где все больше чувствовалась прерываемая холодным дождем ленинградская зима.

Снег то выпадал, то начисто съедался сыростью, но в конце концов зима взяла свое. Затвердела земля, и даже кое-где на собачьем выгоне метели уложили настоящие снежные сугробы, от одного вида которых у Гока сжималось сердце и в кончиках лап появлялось странное покалывание и зуд. Но никто, похоже, здесь не только не запрягал упряжек, но не имел даже представления, что такое езда на собаках.

Нерон даже как-то признался: «Когда я впервые услышал, что где-то ездят на собаках, я подумал, что люди на них скачут верхом, как на лошадях...»

Страшное дело! У себя, на Чукотке, когда приходила пора нартовой снежной дороги, Гок, как, впрочем, все его ездовые сородичи, был не прочь при случае увильнуть от запряжки. Но здесь...

Слушая его, можно было поверить, что на свете нет большего собачьего счастья, как бежать в упряжке, тянуть по снежной дороге тяжело нагруженную нарту и сидящего на ней человека, повиноваться гортанным выкрикам-командам каюра, мерзнуть на морозе, страдать от голода и валиться с ног от смертельной усталости в конце длинного изнурительного перехода.

Собаки на пустыре слушали его вежливо, но Гок не чувствовал, что он зажег в их сердцах огонь. Только одна Зета, будучи тайно увлечена этим необыкновенным псом, возбужденно восклицала:

— Как это должно быть романтично!

Гок, прекрасно понимая, что оставленная на далекой родине жизнь на самом деле несколько другая, тем не менее готов был на все, чтобы вернуться на Чукотку.

Наступили зимние капикулы, и вся семья Екимовых на полторы недели отправилась на дачу. Сначала туда уехали Гок с хозяином и два дня топили печку, пока не нагрели насквозь промерзший дом.

Все эти дни Гок вольно носился по окрестностям, с наслаждением брел по брюхо в глубоком снегу и воображал себя вблизи родного селения, на снежной тропе, в упряжке из сыромятного лахтачьего ремня. Некоторые дома дачного поселка наполнились человеческим духом, в чистом лесном воздухе повеяло дымом. В двух домах неподалеку даже появились Гоковы сородичи: одна овчарка и длинношерстный пестрый спаниель, немедленно завязавший знакомство с Гоком. Это была охотничья собака, начисто забывшая дело своих предков. Она только смутно помнила отрывочные рассказы о былых подвигах своей породы, но даже ее деды и прадеды всю жизнь только тем и занимались, что служили своим хозяевам забавой, изредка исполняя обязанности сторожей.

Однажды у Гока и спаниеля по кличке Джой зашла речь об одичалых собаках.

— Да, я слышал о них, — со сдерживаемым выражением ужаса проговорил Джой. — Это страшные, обездоленные существа!

— А мне жалко их, — со вздохом произнес Гок. — И любопытно...

Однако чувства, которые Гок испытывал к этим несчастным, трудно было бы назвать любопытством и жалостью. Это было нечто большее, странное, доселе неизведанное им. Какое-то глубокое чувство сострадания, а не просто сочувствия, пронзало его сердце, ощущение того, что они очень близкие и родственные души, жестокой несправедливостью отторгнутые на край жизни.

Сравнение с краем жизни пришло на ум Гоку, видимо, потому, что загадочные тени бродячих псов проходили по краю видимого им пространства, на другой стороне оврага. Он все чаще и чаще задумывался о них, испытывая к ним все растущий, какой-то болезненный интерес.

Но вот что любопытно: никто из ближайших знакомых собак не мог сказать ничего определенного об этих отверженных, изгоях четвероногого племени. Это был другой, неизведанный мир.

Зимние каникулы прошли так же неожиданно быстро, как и наступили, Гок погрузился в уже ставшую хорошо знакомой старую машину и отправился в город.

И снова потекли похожие друг на друга дни, встречи на пустыре, разговоры, обсуждение хозяев, их привычек, сравнение одних с другими.

Зима вошла в свои права, и даже иной раз случались дни, когда ветер поднимал снег, и Гоку казалось, что дует настоящая пурга, по которой он так соскучился. В такую погоду он мог бежать, не разбирая дороги, делая большие круги, вдыхая полными легкими студеной, перемешанный с мельчайшими снежинками воздух, от которого начинался трудный, затяжной кашель.

За такие свои вольности он раза два даже получил поводком от Екимова.

В пуржистый вечер, когда ветер гнал снежную пыль по пожухлым кустам и буграм пустыря, Сергей прогуливал Гока.

Едва освободившись от поводка, Гок рванулся навстречу ветру, стараясь разобраться в хитросплетении множества незнакомых запахов, ворвавшихся в его широко раскрытые чувствительные ноздри. В то же время эти запахи были какими-то невидимыми нитями, ведущими и зовущими его. Он выделял среди них загадочные, незнакомые и мчался навстречу, теряя их, снова ловя, получая от этой игры огромное удовольствие.

Сначала он изредка слышал позади знакомые людские голоса, потом они завесились гулом ветра, шелестом летящего снега. Вскоре в настороженных ушах остался только знакомый с далекого детства шум непогоды, в студеном запахе снега пробилось что-то полужанкомое, похожее на слабый намек... Что это?

От неожиданности Гок приостановил бег и поднял морду. Зов стал явственнее, сильнее. Повинуясь ему, пес поднял еще выше морду и испустил чуть глуховатый, еще нерешительный, но исходящий из самого собачьего нутра, короткий вой. Прислушавшись, услышал ответ. Конечно, Гоку могло это просто померещиться в метели, тем более что все его знакомые здешние собаки, похоже, не умели выть.

Но к ответному вою еще более определенно доба-

вился запах, заставивший вдруг сладко занять сердце, словно в этом живом мешочке вдруг что-то прорвалось и разлилось горячим потоком по всей грудной клетке.

Это был зов любви!

Гок еще некоторое время стоял в неподвижности, не веря тому, чему уже подчинилось все его тело, его чувства. Вот уж чего-чего, а этого он никак не ожидал здесь, на другой, чужой земле, среди собак другой породы. Но это определенно был зов любви, и его невозможно спутать ни с чем другим, несмотря на то, что Гоку в своей жизни довелось испытывать это чувство только однажды.

Гок ринулся вперед, не разбирая дороги, уже не думая о том, что его ждет человек. Пес несколько раз перевернулся через голову, одолевая глубокий, полный серого городского снега овраг, потом карабкался наверх, по склону, поросшему страшно колючими, цепляющимися за шерсть кустами.

Зов любви становился все сильнее, оглушительнее, заполняя всего Гока.

Поднявшись на край оврага, Гок остановился.

Увидев ее, он сначала подумал, что ошибся, и поэтому осматрелся вокруг, ища ту, которая должна была полнее отвечать его представлению о предмете страсти. А эта была совсем маленькая, тщедушная собачка. Ее острая морда почти вся залеплена снегом, и только две блестящие пуговицы глаз да мокрый дрожащий кончик носа выделялись на белесовато-сером фоне. В шерсть набился снег, и вся она являла собой довольно жалкое зрелище. Но в следующее же мгновение Гок почувствовал, как все возрастающее жаркое чувство захлестнуло его, и мысль о том, что в это мгновение для него нет ничего более дорогого, близкого, нежного, чем это дрожащее, мерзнувшее существо, полностью овладела им, заглушив все остальные.

Гок подбежал к дрожащей собачке, обнюхал ее со всех сторон и встал рядом. Из летящего снега до него донеслось грозное рычание, и он ответил тем же, провозглашая свои права на покровительство этому маленькому существу, в котором для него сосредоточились нежность и любовь мира.

И чем больше он вглядывался в нее, тем она становилась прекраснее, затмевая все, что до этого момента любил и считал красивым и привлекательным Гок. Словно бы вспыхнул в тусклых сумерках невесть откуда взяв-

шийся ослепительный свет, в сыром и холодном воздухе вдруг повеяло теплом и тончайшими ароматами летнего тундрового дня.

— Я тебя ждала, — еле слышно произнесла собачка. Но этот лепет для чуткого уха Гока прозвучал как самая нежная музыка.

— И я тебя искал, — ответил Гок.

— Где же ты был так долго и почему не отзывался на зов моей любви?

— Я прибыл сюда из далекого далека... Ты даже и представить не можешь... Я летел...

— Но я не вижу у тебя крыльев, — с усмешкой заметила собачка.

— Я летел на самолете, — серьезно ответил Гок. — Только теперь я понял, что летел к тебе...

— Но ты даже не знаешь моего имени.

— Я тебя нашел, и это самое главное, — сказал Гок. — Я тебя буду звать Снежинкой. Потому что я встретил тебя зимой и ты такая легкая и прекрасная, как снежинка. Но... может быть, у тебя есть своя кличка?

— У бродячих собак кличек не бывает, — ответила Снежинка. — А те, у которых она была, здесь ее забывают... А меня ты сам назвал Снежинкой, пусть будет так... А тебя как кличут?

— Гок.

— Гок? — повторила Снежинка. — Это звучит неплохо. Я тебя звала, Гок.

— Вот я и пришел...

— Прилетел, — поправила Снежинка. — Потому что те, кто любит, те не ездят, и не ходят, и даже не плавают, а летят на крыльях любви.

Эти слова показались Гоку верхом мудрости, самыми прекрасными словами, которые когда-либо доводилось ему слышать. Может быть, в другое время и в другой обстановке он нашел бы их банальными и далеко не свежими, но сейчас они поразили его точностью и глубиной. В самом деле: то, что до этого казалось ему просто заурядным путешествием с Чукотки до Ленинграда на самолете, теперь выглядело как волшебный полет на крыльях самого прекрасного чувства, которое испытывают все, кто дышит на этой земле.

Глядя на Снежинку, Гок и представить себе не мог, что было время, когда он не знал этой прекрасной собачки, не слышал ее тоненького, журчащего, как разбу-

женный весенним солнцем тундровый ручеек, голоса, не видел этих маленьких, черненьких, таких пронзительных глазок, в глубине которых горел жаркий, прожигающий насквозь огонек.

Он ни разу не вспомнил о Сергее, о семье Екимовых, вообще о человеческой породе.

Теперь для него весь мир сосредоточился на этой маленькой, дрожащей от холода, облепленной серым городским снегом собачке.

— Ты замерзла, — с бережливой нежностью произнес Гок.

— Не только замерзла, но и проголодалась, — ответила Снежинка.

— Разве тебя сегодня не кормили? — удивился Гок.

— Кто меня будет кормить, бродячую? — усмехнулась Снежинка.

— А как же вы питаетесь? — любопытствовал Гок.

— Сами добываем, — ответила Снежинка.

— А как? — не понял Гок.

— Пойдем покажу, — предложила Снежинка.

Стая бродячих собак, издали наблюдала за ними, и, когда они направились в сторону, большими размашистыми шагами их догнал рыжий высокий пес с выпирающими из-под свалывшейся грязной шерсти ребрами.

— А ну, отваливай отсюда! — зарычал он на Гока.

— И не подумаю! — ответил Гок и оскалил свои белые, крупные клыки. — Я ее люблю!

— Но ты — чужой! — угрожающе настаивал рыжий.

— Это не имеет значения! — ответил Гок. — Я ее люблю!

Он оглянулся на Снежинку, но та отошла в сторону и всем своим видом показывала, что ее мало интересует мужской спор.

— У меня на нее есть виды, — сказал рыжий, — и я хочу, чтобы она стала моей.

— Но она позвала меня, — возразил Гок, — и я летел на ее зов на крыльях любви!

Рыжий усмехнулся и еще раз повторил:

— Отваливай отсюда!

— Я уже сказал: и не подумаю! — Гок принял боевую стойку, и, когда рыжий накинулся на него, он уже был готов вступить в драку за право на свою любовь.

Он довольно легко отбил первую атаку и отбросил

рыжего на снег. Тот встал, отряхнулся и со всей яростью, на которую только был способен, накинулся на соперника, пытаясь схватить его за шею. Но ездовой пес в свое время получил хорошую выучку в стае. На этот раз он не просто стал обороняться, а сам бросился вперед и вцепился зубами в тощий загривок рыжего. Пес взвизгнул от боли и повалился на серый снег, подняв лапы. Это было поражением. Гок не ожидал такой легкой победы, потому что рыжий был намного крупнее и выше его. Но, видимо, вольная жизнь доставалась нелегко — он был худ и слаб от недоедания.

Гок отошел и, подняв кверху морду, победно завыл, возвещая о своей победе и приглашая каждого, кто еще мог претендовать на Снежинку, сразиться с ним.

Но из молчаливо наблюдавшей стаи никто не отошел, и, немного подождав, Гок и Снежинка медленно удалились в серую пургу, растворившись в сумерках.

13

Быть может, если бы не было всепоглощающего жаркого чувства и постоянно сладко ноющей нежности, Гок сразу бы обратил внимание на голод и холод свободного существования. Свободному племени одичалых собак было куда труднее, чем даже самым заброшенным чукотским ездовым лайкам самого нерадивого хозяина. Там хоть время от времени кормили, а тут надо самому добывать пропитание круглый год. И это в условиях большого города, где никто не убивал китов и морских животных, где пищевые отбросы складывались в железные, наглухо закрывающиеся контейнеры и где не было никакой живности, если не считать голубей.

В первый же вечер Снежинка привела Гока в большой старый дом, где не было даже подъемной конуры, и, дождавшись наступления глубокой ночи, повела на лестничную площадку, на которой стоял бак. Из него тянуло кисловатым запахом.

Пока ели, чутко и тревожно прислушивались к затихшему огромному дому. Тускло светившая лампочка слабо освещала обшарпанную лестницу, выходящие на площадку двери и лестничное окно с давно немытыми стеклами.

От невесть откуда взявшегося страха Гок дрожал всем телом, и, заметив это, Снежинка произнесла с усмешкой:

— Успокойся! В это время здесь тихо, если не забредет какая-нибудь парочка влюбленных.

Он принялся выбирать из кислотовато пахнущей массы пищевых отходов съедобные куски. Снежинка со знанием дела выбрала себе еду и, быстро проглотив ее, следила за тем, как ест Гок. Он чувствовал ее любопытствующий, полный нежности и сострадания взгляд и думал, как это случилось, что такая маленькая, на вид очень слабая собачка взяла над ним верх? Но, наверное, это один из тех загадочных и необъяснимых законов любви — подчинение нежности и ласке.

Подкрепившись, Гок и Снежинка, осторожно ступая по лестнице, поднялись на самый верх.

— Здесь тихо и тепло, — сказала Снежинка. — Если нам повезет и дверь на чердак будет открыта, можем там устроиться. Чердаки больших домов — самые безопасные и теплые места, если, конечно, их не заняли одичалые коты.

— А разве они и здесь водятся, эти коты? — с безразличностью спросил Гок.

Лично ему эти животные не причинили никакого вреда, но почему-то с самого своего рождения он чувствовал к ним врожденное отвращение.

Но дверь на чердак оказалась запертой на большой висячий замок, и пришлось устраиваться на ночлег прямо на выщербленном бетонном полу. Поначалу было холодно, Гок удивлялся про себя, как это он, выросший, можно сказать, в снежных сугробах, чувствует стужу здесь, в теплом, защищенном от ветров и серой городской пурги месте. Но когда прижались друг к другу, зарывшись носами в пушистую шерсть, стало сразу тепло и уютно, и оба впали в глубокий, счастливый сон влюбленных.

Гоку в эту ночь ничего не снилось: он часто просыпался и, убеждаясь, что Снежинка рядом и тоже спит, привалившись к нему своим теплым тощим телом, снова погружался в нежность и сон. Это продолжалось до рассвета, когда, вздрогнув, Снежинка сказала:

— Пошли, Гок! Нам здесь нельзя больше оставаться. Проснутся люди, и нам будет плохо.

Гок послушно последовал за подругой, и, наскоро порывшись в металлических пищевых баках, они выбежали из подъезда и направились на пустырь.

Но это был другой пустырь, не тот, в котором Гока выгуливали хозяева. Жилые дома отстояли отсюда до-

статочно далеко и, кроме холодного ветра да редких одиночных силуэтов бродячих псов, здесь ничего не было.

Однако для Снежинки все эти места были хорошо знакомы. Она нашла какую-то нору, похожую на звериную, и позвала за собой Гока.

— А ты вообще одна живешь? — спросил Гок, пригостившись в тесной земляной яме.

— До любви я жила в стае, — ответила Снежинка. — А теперь мне хорошо только с тобой, и я никого больше не хочу видеть.

— И я тоже, — тут же следом ответил Гок. Немного подумав, он поинтересовался: — Откуда происходят бродячие собаки? Вот, к примеру, ты?

Крупная дрожь пробежала по ее телу, и Снежинка горестно вздохнула:

— О себе я потом расскажу... Бродячие собаки бывают разного происхождения. Многие так и рождаются в укромных местах: на чердаках, в подвалах, на пустырях, вот в таких земляных ямах. Но много и таких, которых предали хозяева...

— Как это предали? — удивился Гок.

— Предали — и все, — жестко ответила Снежинка. — Сначала завели, вроде бы любили, ласкали, лелеяли, а потом разочаровались и бросили...

— Бросили?

— Бросили — и все! Некоторые так делают: отвозят собаку подальше от своего дома, куда-нибудь за город, на пустырь, — и бросают. Чаще всего увозят на машине, чтобы можно было подальше отъехать и побыстрее умчаться. Многие заводят собак только на лето, пока живут на даче. Самое большое число брошенных наших родичей — это бывшие щенки. Щенок-то хорош любой, забавный, такой маленький. Он особенно нравится детям, и родители довольны — нашли живую игрушку. Но потом игрушка вырастает, и родители начинают беспокоиться за своего ребенка и выбрасывают собаку...

— А есть такие, которые сами уходят от людей? — спросил Гок.

— Таких, как ты, которые ушли по зову любви, совсем мало, — ответила Снежинка. — Многие ушли от злых людей. Они такое творили с собаками, чего даже самый жестокий зверь не позволит.

— Зато, наверное, все те, которые на воле, счастливы, — заметил Гок, чувствуя в себе неутраченную нежность.

— Жизнь на воле трудная, — вздохнула Снежинка. — И голодно, и холодно, да и ловят нас, убивают и куда-то отправляют...

— Кто ловит? — не понял Гок. — Кто убивает?

— Люди, — ответила Снежинка.

— Люди? — удивился Гок. — Зачем ловят? Зачем убивают?

— Люди считают, что мы загрязняем город, разводим антисанитарию, угрожаем здоровью людей, — терпеливо разъясняла Снежинка. — А сами-то! Поглядели бы лучше на себя! Вот уж кто загрязняет и антисанитарию разводит! Начнем с машин, на которых они посятся. Когда автомобиль просто стоит на траве, знаешь сколько от него вреда? И ничто живое уже не может близко подойти к этому месту из-за бензиновой и масляной вони. А видел эту неубранную еду на лестничных площадках? Считается, что собирают пищевые отходы, которыми потом кормят свиней...

— А кто такие свиньи? — с любопытством спросил Гок.

— Грязнущие и вонючие звери, — объяснила Снежинка. — Но люди их едят... От этих баков — вонь, мухи летом, и ничего! А сколько грязи возле магазинов, ресторанов, пивных и других заведений! А уж возле ихних туалетов! К ним невозможно приблизиться! А почитают себя аккуратнейшими существами, ревнителями чистоты. И будто мы — источники грязи и всяческих болезней. Сами же заполняют больницы, огромные дома, сверху до низу, лечатся и лечатся, болеют и болеют, и будто собаки виноваты, хотя сами же неумеренно жрут что попало, пьют водку, и вино, и еще это самое воняющее мочой пиво, курят, травят себя, а виноваты — мы!

— Но это же несправедливо! — с возмущением заметил Гок.

— Есть люди, у которых свое понятие о справедливости, — горестно отозвалась Снежинка. — Справедливо то, что для них хорошо. Если им хорошо изводить леса, травы, уничтожать зверей — значит, это справедливо, пусть даже потом ничего не будет расти на земле и ничего живого бегать по ней...

— Нет, наверное, не все люди такие! — горячо возразил Гок. — Тебе просто не попадались настоящие хорошие люди, такие, как те, с которыми я общался на Чукотке, и здесь, в Ленинграде.

Только теперь Гок подумал о Екимове, о мальчике, от которого он убежал на зов любви.

— Я согласна: есть и такие, — неожиданно легко согласилась Снежинка. — Некоторые собаки в нашей стае иногда предаются приятным воспоминаниям о хороших людях. Но в том положении, в котором мы находимся, нам, к сожалению, приходится встречаться с далеко не лучшими представителями человеческой породы...

Однако на фоне всепоглощающей любви, огромного облака теплого, ласкового, нежного чувства, все настоящие и будущие неприятности казались им мелкими и несущественными. Отлежавшись и согревшись в земляной норе, они выбирались на волю и играли на большом пустом поле, покрытом тонким слоем снега, сквозь который чувствовалась мерзлая земля.

Завидя прохожего или машину, собаки прятались, старались не попадаться на глаза человеку. Снежинка всегда была начеку и часто подавала предостерегающий знак намного раньше, чем Гок замечал или чуял опасность. Судя по окрестностям, они давно покинули район дома Екимовых и теперь обитали в месте, совершенно незнакомом для Гока. Иногда он приюхивался, пытаясь поймать хоть слабый намек на прежний, покинутый дом, но ничего не мог уловить в смешении разноречивых городских запахов, остуженных пронзительным, сырым морозом.

И все-таки самым сильным чувством было чувство любви: все в нем терялось, все поглощалось, все выглядело не таким страшным и безысходным. Гоку все больше казалась естественной и необходимой скрытая от людей, полуголодная, бесприютная жизнь, освещенная ярким пламенем прекрасного чувства, горящего постоянно и вспыхивающего особой, пронзительной, сладкой болью нежности, когда Гок смотрел на свою подругу, касался ее и полной грудью вдыхал аромат ее маленького, щедушного, но такого прекрасного тела.

Постепенно Гок обретал черты настоящей бродячей собаки. Он сильно похудел, бока его ввалились, и если бы не густая шерсть северной ездовой лайки, то можно было бы заметить резко обозначившиеся ребра. Морда заострилась, а чутье постепенно привыкло к резким запахам пежилых помещений, заброшенных складов, чердаков и подвалов.

В вольной стае бродячих псов не все обстояло гладко: здесь шла жестокая борьба за существование, случались кровопролитные драки за теплые места, сытные помойки, и, разумеется, любовь тоже надо было защищать.

И все-таки это была свобода!

Никому не надо подчиняться, не надо исполнять чью-то волю, терпеть неуместные ласки и непонятную жестокость, ходить только по отведенным местам, на поводке да еще с намордником! Об этом приспособлении, ставшем настоящим знаком унижения собачьего достоинства, вольные бродячие собаки вспоминали не иначе как с выражением ужаса. Худшее, что можно пожелать в этой жизни, — намордник. Причем не кожаный, а металлический, о котором Гок услышал только здесь.

Да, свобода обходилась дорого, и только тот, кто по-настоящему любил ее, ценил и понимал, мог выдержать все испытания вольной бродячей жизни. При этом путей обратно отсюда не было, потому что бродячих собак отлавливали и уничтожали. Ходили смутные слухи о том, что редким счастливым удавалось бежать, а еще меньшее число попадало в какие-то научные учреждения, видимо, вроде того, в каком в свое время побывал Гок. Но не было ни одной собаки в вольной бродячей стае, которая добровольно хотела бы отдаться в руки ловцам.

Довольно долгое время Гоку удавалось избегать встречи с этими людьми. Но много раз он слышал о них от Снежинки и других бродячих собак. Создавалось впечатление, что эти существа, похожие на людей, на самом деле ничего общего с людьми не имели.

Однажды на рассвете, когда Гок с подругой в поисках еды бежали вдоль пустынного загородного шоссе, Снежинка вдруг метнулась в кусты, росшие за канавой, тревожно предостерегая Гока:

— Иди сюда! Берегись!

Гок, уже привыкший во всем слушаться своей многоопытной подруги, кинулся за ней и притаился, зорко поглядывая на дорогу.

В этот ранний час на серой асфальтовой ленте почти не было никакого движения, если не считать медленно едущего фургона.

— Слышишь?

Но прежде чем услышать, Гок сквозь резкий запах

горелого моторного масла учуял собачий дух, и тут же до его слуха донесся приглушенный вой и визг из глубины крепко запертого фургона.

— Слышишь? — повторила Снежинка, прижимаясь всем своим тощим телом к Гоку. — Это они!

— Кто они? — спросил Гок, но в следующую же секунду он догадался — это ловцы бродячих собак. А в фургоне — их добыча!

Машина шла медленно, почти со скоростью пешехода. Из кабины высунулась краснолицая физиономия и донеслась человеческая речь.

— Петруха вчера говорил, что видел здесь двух псов...

— Они тут осторожны, — ответил другой человек. — Чистые волки, не поймать.

— Не поймает, так подстрелим, один черт, — сказал первый. — А ну притормози, я соскочу. Чую, что они тут...

К ужасу Гока и его подруги, машина-фургон остановилась почти напротив того места, где они притаившись залегли. Липкий страх обволол Гока, и он не мог удержаться противной дрожи.

— Лежи тихо, — успокаивала его Снежинка. — Они не заметят нас... А если побегим, будет хуже, могут подстрелить.

И верно: в руках у вышедшего из машины человека был карабин, точно такой, как у оставшегося на Чукотке хозяина. Но тот стрелял нерпу, белого медведя, а не собак...

— Степан! — послышался голос оставшегося в машине. — Иди сюда! Ничего тут нет!

— Да нет, чую — они туточки!

Человек по кличке Степан шагнул в канаву и провалился в глубокий снег. Он чертыхнулся и долго ругался, выбираясь обратно, на асфальт дороги.

Он отряхнулся, еще раз внимательно осмотрелся и медленно пошел к машине. Однако сел не сразу. Приставив карабин к кабине, достал сигарету и закурил.

— Смотрю я на тебя, Степа, — заговорил человек в машине, — и дивлюсь: откуда у тебя такая жестокость и ненависть к собакам? Что, они тебя кусали?

— А сам не знаю, — простодушно ответил Степан, сплунув в канаву, откуда только что выбрался. — Ни разу меня не кусали... И клоуны не били...

— А при чем тут клоуны?

— А при том, — обстоятельно ответил Степан, — одинаково не люблю ни клоунов, ни собак!

— Странно, — пробормотал шофер.

— Сам удивляюсь, но это так, — сказал Степан, погасил сигарету и полез в машину.

Шофер поднял стекла, и машина тихо двинулась вперед, а вой и визг внутри фургона стали слышнее.

Но еще некоторое время Гок и Снежинка лежали, вжавшись в холодную землю, пока не убедились, что машина отъехала достаточно далеко, чтобы они могли безбоязненно подняться и продолжать свой путь.

Отряхнувшись, Гок спросил Снежинку:

— А они не вернутся?

— Нет, — со знанием дела ответила подруга. — Они работают только глубокой ночью и на рассвете. В остальное время их почему-то не бывает.

— А кто такие клоуны? — Гок вспомнил слова Степана.

— Люди, — ответила Снежинка, и вдруг Гок увидел, как по ее морде, покрытой короткой шерстью, покати-лась слеза.

— Что с тобой, Снежинка? — забеспокоился Гок. — Я тебе причинил боль?

— Ты меня заставил вспомнить прошлое, — ответила Снежинка и, тщательно отряхнувшись, сказала: — Ведь я была цирковой собакой до того, как стала бродячей, и работала с клоуном.

Она долго объясняла, что такое цирк, кто такие клоуны. И Гок, слушая, еще и еще раз дивился богатству жизни.

— Моим хозяином был старый одинокий человек, — продолжала грустный рассказ Снежинка. — Всю свою жизнь он отдал искусству, объездил всю страну от моря до моря. Мне казалось, что я родилась прямо в цирке, и маленьким щенком я всерьез считала старого клоуна своим отцом. Да и сам он обращался со мной как со своим ребенком. Когда я чуточку подросла, он стал меня учить разным цирковым фокусам, научил считать и даже читать. Разумеется, я не читала человеческими словами то, что клоун писал на грифельной доске, а показывала смысл своими движениями и лаем. Зрители страшно удивлялись, что я такая умная и способная. Это были самые счастливые годы моей жизни. Один нескончаемый праздник. А вечерами что было! Музыка, цветные огни,

переполняющая всего тебя радость! Все кругом такие красивые, молодые! Даже мой старый клоун в это время молодец, будто сбрасывал груз прожитых лет. И усталость после представления была такой сладкой, что хотелось только спать, спать и спать...

— И у меня такое было! — вздохнул Гок, но тут же замолк, поняв, что то, о чем с таким чувством рассказывала Снежинка, не шло ни в какое сравнение с долгими переходами по снежным дорогам Чукотки.

— Мой старый хозяин умер неожиданно, — грустно произнесла Снежинка. — Он просто не проснулся. Я почувствовала неладное еще в темноте, подошла к нему, а он уже закоченел, будто на кровать ночью положили что-то холодное и чужое. В суматохе похорон меня совсем забыли. Иногда кто-то вдруг обращал на меня внимание, но совсем ненадолго, и я бы сдохла с голоду, если бы не мальчик, клички которого я, к сожалению, не помню: он меня и кормил и поил.

Моего хозяина увезли в крематорий и сожгли. Куда потом девали его прах — ума не приложу. У него ведь совсем не было никого, кроме товарищей по цирку. Ну, а у тех и своих забот хватало. Про меня вспомнили только на второй или третий день после похорон. Другие клоуны пытались работать со мной на манеже, но, убитая горем и тоской по хозяину, я не хотела ничего делать... Меня даже начали бить, чтобы я вспомнила то, что делала с прежним своим хозяином. Дело кончилось тем, что я убежала из цирка. Сначала я хотела найти могилу своего хозяина, но это оказалось совершенно невозможным. Я побывала на нескольких кладбищах и, хотя я, как уже тебе говорила, умела читать, я ничего не могла разобрать в надписях. А по запаху... Только живые люди пахнут по-разному, у каждого свой неповторимый отличительный дух, а умершие — они одинаковые, даром что над ними стоят разные памятники... Так началась моя бродячая жизнь. Два раза меня ловили, но мне везло, каждый раз удавалось бежать. А то бы я уже красовалась на чьей-нибудь голове как шапка, — с грустной усмешкой закончила свой рассказ Снежинка.

Потрясенный услышанным, Гок молчал, не зная, что и сказать. Он только спросил:

— А какова была твоя кличка там, в цирке?

— Белка, — ответила Снежинка.

— А ты не хочешь, чтобы я тебя называл так?

— Нет, не надо, — ответила Снежинка. — В каждой жизни своя кличка. Ты меня назвал Снежинкой, и пусть в нашей с тобой жизни у меня будет эта кличка — Снежинка. . . А потом, милый Гок, мне очень нравится, как ты меня называешь. . .

После той встречи с фургоном Гок и Снежинка стали вдвое осторожнее, тем более что Снежинка призналась: у нее будут щенки. Услышав об этом, Гок не мог сдержаться:

— Хорошо, если бы ты родила целую упряжку!

— Какая упряжка! — укоризненно заметила Снежинка. — Хорошо, если бы хоть кто-нибудь из них остался жив!

Снежинка хорошо знала город и места, где ловцы собак долго не появляются.

— Главное — не попадаться на глаза людям, особенно дворникам, — учила уму-разуму подруга. — Они и вызывают машину-фургон.

Так было или не так, но жизнь Гока и Снежинки шла сравнительно спокойно.

Раз им даже удалось заночевать в одном из теплых подъездов большого дома недалеко от цирка. На большой красочной афише была изображена полуголая женщина в блестках и в окружении маленьких собачек.

— Я их знала, — со вздохом произнесла Снежинка, пристально взглядевшись в афишу. — В жизни они, конечно, куда лучше и красивее. Но хозяйка злая. . . Очень злая. . .

Эта часть города Гоку понравилась спокойствием и запутанностью переходов, коротких улиц, необычным видом зданий. Там, где Гок прежде жил, дома походили друг на друга как цирковые собачки, нарисованные на афише.

Все чаще Гок уходил на поиски съестного один, потому что отяжелевшая Снежинка не могла одолевать большие расстояния.

И все-таки, несмотря на трудности, жизнь была прекрасной и счастливой, и, как всякое счастье, это, собачье, казалось бесконечным.

Екимовы почти не вспоминались Гоку, если не считать того, что они иногда снились. Но они были так же далеки от теперешней жизни Гока, как и чукотские хо-

зьева, затерявшиеся в далеком прошлом, в причудливом нагромождении впечатлений, встреч, услышанных историй, попыток найти укрытие, найти пропитание. Не так далеко от цирка находился довольно обширный участок леса, в разных направлениях пересеченный широкими дорожками. Меж деревьев кое-где рос густой кустарник — хорошее укрытие не только в ночное, но порой даже в дневное время. Вскоре Гок убедился в том, что подавляющее большинство людей совсем неплохо относились даже к бродячим собакам. Впрочем, домашние собаки, каких бы высоких пород они ни были, похоже, в сады и парки не допускались. А если кто-то из прохожих замечал Гока и Снежинку, то старались всячески обласкать или угостить каким-нибудь лакомством.

И все-таки места лежки часто приходилось менять. Иногда убегали от дворников. Во время одного такого бегства Снежинка попала ногой в металлическую решетку ливневой канализации и захромала.

Устроились в первом попавшемся месте: в школьном подвале недалеко от Невского проспекта. Искать другое, более безопасное пристанище не было никакой возможности, надо было тихо перетерпеть.

Гок и Снежинка лежали, тесно прижавшись друг к другу, стараясь ничем себя не выдать. Но, на их беду, как раз это место было выбрано тайными курильщиками-школьниками. Их нашествие начиналось сразу же после того, как раздавался оглушительный, на все этажи огромного здания, звон, который моментально перекрывался шумом множества ног, бегущих по длинным коридорам, по лестничным маршам, звонкими голосами малышей и басовитыми, отрывистыми выкриками старшеклассников. Правда, в подвал тайные курильщики спускались тихо, с опаской. Дымили нещадно, жадно и торопливо, часто вырывая друг у друга сигареты. Выдерживать такое было трудно, и однажды, не сдержавшись, Гок все-таки чихнул, неожиданно для себя смертельно напугав курильщиков, опрометью бросившихся вверх по лестнице. Собаки уже думали, что после этого ребята больше сюда не возвратятся, но не тут-то было. За звонком, возвестившим перерыв, в подвал начали спускаться несколько человек, приглушенно переговариваясь. Гок встал, готовый защищать свою больную подругу. Но это оказались те же самые курильщики, которых он напугал своим чиханием.

— Ого! Гляди — собаки! — воскликнул один из них и засмеялся. — А я думал — Бечик.

Кому принадлежала эта кличка, Гок не знал.

— Ну и сказанул! Будет тебе Бечик по подвалам лаять! — возразил другой курильщик.

— Но чих был Бечика, — стал уверять первый. — Он точно так же чихает.

— Ну, значит, Бечик чихает как собака, — со злобным удовлетворением заметил второй парень и предложил: — Ну, давай прикуривай.

Ребята закурили. Потом к ним присоединились еще двое, проявив интерес к собакам.

— Надо чего-нибудь принести им пожрать, — сказал один из них. — Может, они голодные.

— А верно! — поддержал другой. — В большую перемену возьмем чего-нибудь в буфете.

— Зачем в буфете? — возразил вошедший последним. — У меня в портфеле во какие бутерброды!

— Бутербродов будет мало, — веско заявил первый. — Надо разнообразное питание, побольше мясного. Так что, ребята, тащите все!

Примерно через час перед Гоком и Снежинкой лежало столько еды, сколько они, пожалуй, за свою жизнь и не видели. Здесь были и домашние пироги с самой разнообразной начинкой, бутерброды, проложенные колбасой, сыром, намазанные маслом, джемом, вареньем, яйца, пирожные и даже сосиски и котлеты. Кто-то притащил глубокую тарелку и налил в нее воды. К вечеру у Гока и Снежинки появилась даже подстилка, старое, но еще прочное байковое одеяло.

Поздно вечером, когда огромное здание погрузилось в тишину, пораженный всем этим Гок сказал Снежинке:

— Что это такое? Ничего не могу понять... Одни люди нас гонят, пытаются поймать и даже умертвить, а эти готовы сделать для нас все...

— Люди — они разные, — глубокомысленно заметила Снежинка. — Есть и добрые, и злые, точно так же как и собаки.

— Мы никого не ловим и не уничтожаем, — сказал Гок.

— Никогда не сравнивай себя и свою собачью жизнь с человеческой, — наставительно произнесла Снежинка.

Ночь прошла в сытой истоме. Утром, когда школа снова наполнилась шумом и гамом, в подвал заглянули

ребята и с явной радостью обнаружили живыми и невредимыми своих подопечных.

— Что-то маловато вы съели, — ласково и озабоченно заметил один из парней и принялся выкладывать из портфеля принесенную свежую еду. — Ешьте, поправляйтесь, а то смотрите какие худые!

— А я принес сырого мяса, — заявил второй парень. — Нашел в морозилке и отрубил. Вот!

Перед носом Гока лег довольно увесистый кусок мороженой говядины.

Не зная как выразить свою благодарность, Гок и Снежинка махали хвостами и повизгивали от избытка чувств.

Когда в следующий перерыв кто-то попытался закурить, один из ребят вдруг сказал:

— Может быть, им табачный дым вреден? Давайте не будем здесь курить.

Удивительно, но ни один не стал возражать, наоборот, закуривший быстро и виновато погасил сигарету.

Как ни старались ребята держать в секрете появление в курительном подвале собак, весть о них понемногу распространилась по всей школе. Любопытные пытались проникнуть в тайное пристанище Гока и Снежинки, тащили разного рода продукты, но еды уже было столько, что негде было ее складывать. Ребята даже устроили дежурство, и один из них всегда находился рядом до позднего вечера.

Так прошло несколько дней. В разговорах ребят часто упоминался Бечик, и они выражали опасение, что этот страшный человек когда-нибудь разузнает о существовании собак и вышвырнет их отсюда без всякой жалости. Ребята поминали Бечика не иначе как со страхом перед его могуществом. В воображении Гока вставал огромный волосатый человек с большим ножом в руке, с громогласным, как у электрички, голосом.

Очевидно, ребячья тайна все же стала известна грозному Бечику, потому что однажды днем в огромном школьном здании наступила неожиданная тишина и один из дежуривших у подвала ребята с ужасом произнес:

— Бечик идет!

Гок насторожился и принял боевую стойку, готовый отдать жизнь за подругу и потомство.

— Пожалуйста, не выгоняйте собак! — слышались ребячьи голоса, сопровождаемые каким-то другим, низковатым, бубнящим, неразборчивым говором.

Бечик оказался плотным, не очень высокого роста человеком в темном костюме, в белой рубашке и темном галстуке. Его круглое, чисто выбритое, с небольшим, утолщенным к концу носом лицо старалось казаться строгим. Волос на голове оставалось не так много. Небольшие, широко расставленные глаза смотрели пытливо и решительно.

— Ребята! — отбивался он от наседавших учеников. — Вы, конечно, убеждены, что я изверг, что я злой и жестокий человек...

— Нет, что вы! — возражал многоголосый хор. — Вы у нас самый добрый, самый отзывчивый, самый замечательный человек! Мы знаем, как вы любите животных! Мухи не обидите!

— Ну, насчет мухи вы малость перебрали, — усмехнулся Бечик, вглядываясь в Гока, укрывающего своим телом лежащую на подстилке Снежинку. — Вот они какие... Ну, ну... Хорошая собачка, хорошая...

Голос был вроде ласковый, но, увидев протянутую руку, Гок на всякий случай негромко зарычал.

— Ну-ну! Не надо, не надо! — заговорил Бечик. — Вон ребята говорят, что меня не надо бояться...

— Правда, правда, собачка! — закричали хором ребята. — Не бойся его, он очень хороший, он добрый!

— Пусть собаки останутся у нас! Ну разрешите! — настаивали ребята.

Бечик вздохнул, пригладил свои и так плотно прижатые к черепу волосы и произнес:

— Ребята! Давайте говорить серьезно: я не против того, чтобы в школе были собаки, кошки, птицы и разные другие звери...

— Ур-ра! — раздались крики.

Директор предостерегающе поднял руку.

— Но, ребята, это против всяческих правил. Как только районная санитарная инспекция узнает, что у нас в подвале бродячие собаки, они тут же оштрафуют меня и заставят сдать собак!

— И их убьют! — уверенно сказал первый парень.

— Ну, не обязательно убьют, — устало проговорил Бечик. Ребята продолжали кричать, шумели. — Давайте сделаем так: пусть пока собаки побудут здесь. А там видно будет. Может быть, кто-нибудь из вас возьмет их домой, а может быть, найдутся хозяева.

— Ура! — снова раздался всеобщий возглас одобрения.

— Но! — Бечик снова поднял руку. — Чтобы было тихо и чисто!

Он нагнулся и ковырнул носком ботинка несколько окурков.

— И чтобы этого безобразия здесь не было!

— Не будет! Честное слово, не будет! — враз закричали ребята, следуя за поднимающимся по лестнице директором.

16

Если есть понятие о собачьем рае, то вроде того стало для Гока и Снежинки. Их не только кормили, водили гулять, даже когда собакам этого не хотелось, с ними играли, их ласкали. Нога у Снежинки совсем зажила, и она уже бегала не хуже Гока, играя с ребятами.

Но во всем этом чувствовалось что-то непрочное, временное, и это впечатление создавалось прежде всего неправдоподобностью происходящего: уж очень сытой была жизнь, мягкой постель (ребята наташили из дому старые одеяла, матрасы), ласковым обхождением и неусыпное внимание, от которого иногда даже хотелось куда-нибудь спрятаться, скрыться. Оставались только ночи, и как раз в это время у Гока и Снежинки созрело решение покинуть этот рай и вернуться к независимой жизни бродячих собак, тем более что приближалось время появления щенков.

— Когда будут щенки, отношение к нам изменится, — предполагал Гок. — Пока нас двое — это одно, а когда нас будет целая упряжка, то еще неизвестно, как на это посмотрит Бечик.

Снежинка соглашалась уйти, но сделать это сразу было трудно: не хотелось обижать и огорчать искренне расположенных к ним ребят, которые, к удивлению собак, и на самом деле бросили курить. Во всяком случае, они больше не дымили в подвале.

Больше всего жаль было оставлять обильную кормежку, всякие вкусные вещи, о которых ни Гок, ни Снежинка раньше и понятия не имели. Но слаще всякой еды оставалась свобода, и тот, кто вкусил ее хоть раз, уже не мог променять ее ни на какие лакомства!

Ушли поздней ночью, выйдя проходными дворами к каналу, а оттуда на набережную Невы.

Это было опасное место и, чтобы проскользнуть незамеченными, надо было двигаться на фоне серой гранитной набережной, не производя никакого шума, даже порой затаивая дыхание, если где-то впереди маячила человеческая фигура. .

Было еще по-зимнему темно, но по каким-то неуловимым приметам чувствовалось приближение весны. Прежде всего по тому, что ощутимо прибавилось светлое время. Рассвет наступал раньше, и сумеречный период продолжался долго, растягиваясь и дополняясь светом фонарей, окутанным предутренним сырым, промозглым туманом. На какой-то из окраин, за большим густым парком, нашлось безопасное место, и Снежинка решила обитать здесь до родов.

Нашли какое-то заброшенное сооружение, вросшее в землю, полное затхлости и грязного льда. Но иного места не было, а новорожденные будут больше нуждаться в безопасности, нежели в комфорте, хотя и это им тоже не помешало бы.

Снежинка так отяжелела, что Гоку приходилось теперь одному добывать пропитание. Он отправлялся на добычу перед самым рассветом, еще в полной темноте, пробегая по большому пустынному парку, по берегам замерзших прудов, по заснеженным аллеям, через широкую улицу. На перекрестке зловеще помигивал желтый фонарь, похожий на кошачий глаз, и предостерегающе светил вослед, пока собака бесшумно кралась вдоль темных громад погруженных в сон каменных домов.

Улов был небогат, и, отдавая добытое Снежинке, Гок отворачивался и уверял подругу, что успел наесться.

— Ну какой мне смысл тащить двойную ношу? — доказывал он Снежинке. — Я сыт и больше ничего не хочу.

Но в памяти возникало школьное изобилие, и, если бы Гок знал дорогу и мог ориентироваться в городе, пустился бы туда и приволок Снежинке оставленные в подвале котлеты, пироги, бутерброды, пирожные и даже конфеты!

Однажды ранним утром Гок вдруг почуял совершенно определенный мясной дух и, ведомый им, пустился в дорогу. Расстояние оказалось довольно значительным. Еще в сумерках Гок понял, что не один он оказался таким чутким: возле длинного и высокого забора бродили такие же тощие, как и он, собачьи тени. А сам запах исходил из-за забора, который перепрыгнуть не было никакой возможности.

— Это мясокомбинат, — объяснила Гоку старая изможденная сука, вождественно глянув на гребень ограды. — Там горы самого разнообразного мяса!

— Неужели туда нет никакого доступа? — спросил Гок.

— Вот ищем, — ответила собака. — Где-то достают...

Они вместе пошли вдоль забора, надеясь, что где-то прервется эта длинная преграда и перед ними предстанут груды вождественного мяса. По пути к ним присоединились еще несколько голодных собак. Однако забору не было ни конца ни краю.

Вдруг где-то впереди послышались людские голоса и несколько выстрелов.

— Волки! Гляди — волки!

— Стреляй! Чего смотришь?

— Да вроде бы не волки... Как будто собаки...

— Все равно — стреляй! Это бешеные, дикие собаки!

Вся свора повернула обратно, разбегаясь в разные стороны. Вслед раздавались выстрелы, но, кажется, никто не пострадал, не было ни стонов, ни визга.

Гок неся со всех ног, сердце стучало у самого горла, словно хотело вырваться из широко раскрытой пасти.

Когда он появился в логове, Снежинка с беспокойством взглянула на него и спросила:

— Что случилось?

Гок рассказал, и Снежинка озабоченно заметила:

— Теперь могут устроить облаву. Тот, кто стрелял, это сторожа.

— А разве люди тоже бывают сторожами? — с удивлением спросил Гок, помнивший единственного сторожа, которого он видел, овчарку по кличке Дик.

— Человек может быть всем! — веско сказала Снежинка и несколько раз лизнула свои набухшие соски на отяжелевшем животе.

Порой выпадали дни, которые на родине Гока вполне могли сойти за весение. Солнце ощутимо согревало землю, особенно места, обращенные на южную сторону и свободные от снега. Иногда, хорошенько оглядевшись, Гок и Снежинка выползали на шершавую бетонную поверхность полуподземного сооружения и грелись на солнце. И все было бы прекрасно, если бы не постоянный голод.

— Неужели свобода всегда связана с голодом? — с тоской вопрошал Гок, вспоминая, что и он, когда его

отпрягали на лето из упряжки и предоставляли волю, должен был сам добывать пропитание.

— Наверное, так и есть, — задумчиво отвечала Снежинка, поглощенная собственными мыслями и заботами о своих будущих детях. Иногда она была так отрешена от окружающей действительности, что Гоку надо было несколько раз повторять свое обращение к ней, чтобы пробудить ее, вернуть к реальности.

Но о том, что их ждет в будущем, когда родятся щенки, об этом так страшно было думать, что Гок всячески старался избегать этих мыслей, полагаясь на то, что как-нибудь все образуется. Местоположение нового убежища Гока и Снежинки вроде было удачным и сравнительно безопасным: главная дорога проходила далеко, и шум машин почти не проникал внутрь вросшей в землю бетонной коробки. И Гок и Снежинка были в полной уверенности, что людям и в голову не придет искать бродячих собак в этом пустынном и заброшенном конце города, в болотистой низине, где, кроме странной красноватой, похожей на железную, травы, ничего больше не росло. Дальше уже был аэропорт, взлетно-посадочная полоса; садящиеся и взлетающие самолеты напоминали Гоку его путешествие с Чукотки в Ленинград, и он рассказывал подруге о долгом полете.

Снежинка вздыхала и вспоминала:

— Я летала только под куполом цирка, и это было так страшно! А тут так высоко и с такой умопомрачительной скоростью! Как только ты выдержал такое?

И она с уважением и гордостью смотрела на Гока.

Через некоторое время Гок и Снежинка обнаружили, что не одни они облюбовали это место. Время от времени ночные дороги Гока пересекались с путями других собак. Это обстоятельство несколько тревожило: неосторожные могли выдать местоположение убежища.

Но одного, самого главного, не знал Гок: люди, занимающиеся отловом и уничтожением бродячих собак, прекрасно изучили их повадки. Эти люди знали, где могут искать своего пристанища бродячие собаки. Кроме того, у них был сильнейший стимул для поиска добычи — план. Как раз план этого месяца был под угрозой срыва, и ловцы собак готовили ночную операцию именно на том месте, где нашли убежище Гок и Снежинка.

Они нагрянули сразу на двух машинах с ярко светя-

щимися, ослепляющими фарами, оружием и огромными сачками, с помощью которых они легко накрывали собаку и кидали ее в фургон, в кучу истошно и отчаянно визжащих и стонущих несчастных собак.

Гок сразу же догадался о случившемся.

Притаившись, они со Снежинкой забились в угол своего бетонного убежища, надеясь, что ловцы не заглянут сюда.

Но Гок и его подруга жестоко ошиблись. Поймать их не стоило никакого труда. Войдя в убежище, люди направили на них лучи ослепляющих электрических фонарей и один из них крикнул другому:

— Будь осторожен, Степан! Сука беременна! Бери ее, а я — кобеля.

Гок вскочил на ноги и оскалил зубы. Рычание его было негромким, но угрожающим.

— Ну-ну! — прикрикнул на него Степан. — Спрячь свои клыки, они тебе все равно не помогут... Давай на-кидывай сачок!

И тут Гок почувствовал, как на него навалилась сеть, опутав с ног до головы, пригнув к земле. Первая мысль была о Снежинке. Он услышал ее визг, рычание и успел заметить, как она заметалась, забарахталась и вознеслась по воздуху, поднятая мощной рукой ловца: она ведь была совсем небольшой собачкой. Почему-то в это мгновение Гок вспомнил ее рассказ о том, как она летала под куполом цирка и боялась высоты...

Гок рвался, рычал, пытаясь освободиться от лезущей повсюду крепкой капроновой сети, от которой остро пахло невероятной грязью, унижением и неволей.

— Ну-ну! — еще раз прикрикнул на него Степан и замахнулся.

В руке он держал карабин. Встретив полный ненависти взгляд собаки, он вдруг опустил карабин и усмехнулся.

— Да ты, видать, породистый и здоровый... Не бойся... Мы тебя в науку отдадим. Они давно просили лайку... Интересно, как ты сюда попал?

С этими словами Степан потащил Гока на улицу, где почти у самого входа в бетонное убежище стояли два фургона, из недр которых далеко разносились визг, собачьи стоны и плач. Натренированным движением Степан ловко швырнул Гока в барахтающуюся кучу и захлопнул дверцу. Освобожденный от сети Гок попытался встать, но все время наступал на собачьи тела, на го-

ловы, лапы, хвосты, вызывая новые волны визга и стонов. Он попытался обонянием определить место, где должна была находиться Снежинка. Да если бы в этом крошечном аду собак было во много раз больше, он определил бы ее по знакомому, такому дорогому и только ей присущему запаху... Но ее, похоже, здесь не было.

Тогда Гок начал прислушиваться, время от времени посылая в темное пространство свой голос.

И Снежинка отозвалась! Но она была в другом фургоне, и ее приглушенный и измученный голос едва был слышен. Она не жаловалась, не стонала, а только твердила одно:

— Прощай, Гок! Прощай, мой хороший и добрый Гок! Что бы ни случилось, я всегда буду помнить тебя с благодарностью... Спасибо, что ты отозвался на мой зов любви... Прощай, прощай, Гок...

Голос Снежинки затих.

17

Степан исполнил свое обещание: привез Гока в институт. Когда пса выпустили на двор вивария, он, не обращая внимания на остальных собак, кинулся искать свою потерянную подругу: а вдруг случилось чудо и ее тоже послали, как выразился ловец собак, в науку.

Но Снежинки нигде не было.

Во дворе появился человек в халате. Собаки расступились. Человек подошел к Гоку, внимательно всмотрелся в него и вдруг воскликнул:

— Да это екимовская лайка! Гок!

Сквозь темную плотную тучу прорвалось что-то светлое, и собака вздрогнула: Гок уже почти забыл, как люди окликали его.

— Ну точно — это Гок! Иди сюда, Гок!

Гок посмотрел на человека и вспомнил: это был друг его последнего хозяина, профессор Егоров.

— Любаша! — крикнул Егоров. — Посадите этого пса в отдельный бокс и накормите. А я пойду и позвоню Екимову. Это его собака.

— Неужели нашлась? — удивленно спросила девушка и ласково, с сочувствием поглядела на пса. — Пойдем со мной, хороший!

Гок покорно двинулся за ней и дал запереть себя

в небольшом помещении с дверцей из крупной металлической сетки.

Через некоторое время Любаша принесла еду и воду. Но, хотя у Гока более суток во рту ничего не было, он только чуточку полакал воды и, не дотронувшись до каши, в бессилии улегся в дальнем конце бокса.

Хотелось уснуть. Но едва он закрывал глаза, как перед ним снова возникала картина отлова собак, бедная Снежинка, взлетевшая в сачке, слышался ее голос: «Прощай, прощай, Гок!..» Это было так больно!

Прошло несколько часов. Еще раз пришел Егоров и несколько раз окликнул Гока, пытаясь пробудить у него интерес к еде.

— Настрадался, видать, бедняга, — заметил профессор.

— Совсем одичал, — сочувственно произнесла Любаша.

Гок находился в полудреме, почти в бессознательном состоянии, когда до его слуха донесся знакомый голос:

— Гок! Гок!

Это был Екимов. Он распахнул дверцу из металлической сетки, бросился к лежащей собаке и подхватил ее на руки.

— Гок! — приговаривал Екимов. — Милый ты мой Гок! Как хорошо, что ты нашелся! А мы-то думали, что ты совсем пропал... Милый мой Гокуша, хороший... Сейчас поедем домой.

Екимов так и понес Гока на руках, словно он был маленьким щенком или совсем больной собакой. Вот и знакомая машина. Екимов на этот раз поместил Гока не на заднее сиденье, а рядом с собой, куда он обычно сажал свою жену.

Гок безучастно смотрел на пронсящийся пейзаж: сначала шел лес, потом пошли окраинные кварталы, и вот он, знакомый дом, знакомый подъезд и подъемная конура, куда Екимов внес Гока.

Гока встретили в квартире такими бурными проявлениями радости, что в большом темном облаке печали мелькнул маленький просвет, и Гок слабо вильнул хвостом в знак признательности. В углу большой комнаты для него уже были приготовлены кормушка, заполненная вареной бараниной, и плошка со свежей, только что палящей из-под крана холодной водопроводной водой. Все ахали, охали, хлопотали вокруг безучаст-

но лежащего на подстилке Гока, и Екимов строго говорил:

— Оставьте его! Пусть отдохнет... Видимо, досталось ему. Как ему удалось выжить? Видимо, его спасла выносливость настоящей чукотской лайки...

Когда наступил вечер, Екимов сам пошел гулять с Гоком, выбрав для прогулки другое место. А когда вернулись домой, уложил собаку и наказал всем домочадцам не шуметь, не беспокоить Гока.

Но Гок так и не заснул всю ночь. Несмотря на теплый и ласковый прием, он не чувствовал себя счастливым, думая о Снежинке. Он не мог себе представить, что с ней случилось, потому что толком не знал, что делают с пойманными собаками, если их не отдают в научные учреждения. Он еще был полон воспоминаниями о ней, о любимой маленькой собачке, появившейся из серой городской пурги в вое ветра и исчезнувшей в страшном нутре собаководной машины. Неужели они расстались навсегда? Неужели нет на свете такой доброй и справедливой силы, которая взяла бы и вернула никому не мешающее, только им двоим такое дорогое, собачье счастье?

Гок вздыхал, ворочался, и иногда сквозь полуоткрытые глаза видел в дверях спальни бледную фигуру не одетого Екимова в черных трусах.

Уже под самое утро Екимов подошел и со вздохом сказал:

— Вижу, не городской ты житель, Гок. Погибнешь ты тут или снова сбежишь... Отправлю-ка я тебя обратно на Чукотку.

Когда за завтраком Екимов объявил о своем решении, сначала за столом воцарилась тишина. Первым подал голос Сергей:

— Ты правильно решил, папа. Пусть Гок едет домой...

Даже после этого решения отношение к Гоку осталось самым сердечным и внимательным. Екимов куда-то звонил, ездил, хлопотал, пока в один из вечеров не сказал:

— Ну, все в порядке. Нашел тут одного гидрографа. Возвращается после отпуска. С ним и полетит Гок.

Люди и не подозревали о том, что творилось в душе Гока, и думали, что он то ли совсем непонятливый, то ли

неблагодарный, потому что ко всем сообщениям он относился с совершенным равнодушием. Они не знали, что в его мыслях и в его сердце была одна только Снежинка и тоска по ней.

С полным безразличием Гок прошел ветеринарный осмотр. Когда ветеринар заметил, что собака невеселая, Екимов сказал:

— Тоскует по родине. Она даже сбегала от меня, думала, видно, добраться до дому... Зря я ее сюда взял...

Гока провожали все домочадцы Екимова, дав в дорогу целый мешок всяческой еды.

Попутчиком Гока был очень волосатый и спокойный человек. Он только и делал, что спал. Спал в аэропорту, пока ждали вылета. Как только вошли в самолет, он засунул собаку под свое сиденье, пристегнулся ремнем и, задолго до того как самолет поднялся, захрапел и спал до следующей посадки. Однако с Гоком он был терпелив, выводил собаку на стоянках, клал с собой спать в залах ожидания, щедро кормил. Так, без особых приключений, добрались до Чукотки, откуда до родного селения Гока надо было лететь вертолетом.

Попутчик подвел Гока к машине и сказал летчику:

— Это собака Тэина! Вот ее билет. Хозяину послана телеграмма.

Гок вошел в вертолет без опаски: после всего пережитого он уже ничего не боялся.

Но когда после короткого полета замолк гремевший двигатель и открылась дверца в сверкающий чистый простор, Гок вдруг понял, что он на родине, в родном селении. Первого, кого он увидел, прыгнув на снег, был Тэин.

— Ваша собака? — спросил летчик.

— Моя, — ответил Тэин и крикнул: — Гок! Иди ко мне!

Но и без этого зова Гок уже приближался к своему хозяину, виновато прижимая к отощавшему задку когда-то пышный, теперь сильно поредевший хвост. И пока он делал эти несколько шагов, все пережитое, путешествие с берегов студеного моря в Ленинград, Екимов, его семья, приключения в стае вольных бродячих собак, перенесенные голод и лишения, поимка, расставание со Снежинкой — все это отодвигалось куда-то далеко, в сокровенные глубины памяти.

Вместо этого перед ним вставал утонувший в глубоком, только что начинающем таять снегу маленький северный поселок, вытянувшийся на длинной галечной косе. К ней с одной стороны вплотную подступало покрытое льдом и сверкающее обломками айсбергов студёное море, а с другой простиралась, тоже скованная льдом, пресноводная лагуна, уходящая вдаль. Там, у горизонта, она сливалась с такой же белой тундрой.

Это была родина, то, что жило в душе Гока все время, пока он пребывал в другом, удивительном и поначалу так поразившем его мире.

Она и пахла совсем по-другому, и, возможно, именно запахи и были причиной того, что они затмили воспоминания о только что пережитом, оставшемся за многочасовым грохотом реактивного двигателя мчащегося выше облаков самолета.

В сознании Гока тотчас вспыхнуло воспоминание о китовой ворвани, которую он ел, казалось, давным-давно, о мороженом моржовом мясе-копальхене, который рубили острым топором, о тюленьем сале и о многих других вкуснейших вещах, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что он ел в городе.

Пахло также и весенней дорогой, когда поутру каюр пристегивает всю упряжку к длинному моржовому ремню, который хочется грызть и грызть, но за что следует всегда жестокое наказание кнутом, когда полозья нарты скрипят по подмерзшему за ночь насту и скользят по снегу, по синему следу вдаль, в торосы, сверкающие в ярких лучах весеннего солнца.

И у весеннего льда тоже особый, совсем не похожий на зимний запах. Он не студит ноздри, а наполняет их ласкающей свежестью, бодрит, как бы вливает новые силы.

Когда с моря дует ветер, он приносит дух открытого соленого моря, где на плывущих льдинах лежат жирные, неповоротливые моржи, а над ними уже летят весенние стаи всяческой водоплавающей птицы.

Но самым возбуждающим и волнующим был запах, пробивающийся сквозь толщу еще не растаявшего снега: это запах земли, запах будущей травы. Но все-таки, наверное, это был запах прошлогодней травы, воспоминание о прошедшем лете, когда он бегал, свободный, веселый, беспечный, молодой, не ведая, что ожидало его впереди.

Многие его друзья и просто знакомые собаки накнулись на него с расспросами: где так долго пропадал, что с ним было...

И когда Гок попытался рассказать о том, что увидел, что пережил, он с удивлением заметил, что многие собаки слушают его с большим недоверием. Его рассказы о поднимающейся будке-конуре, о разнородности собачьего населения городов, о полете на самолете, о том, что он ездил на автомашине, о памятнике собаке — все это было встречено с недоверчивыми ухмылками. А когда он еще сказал о том, что в городах никто не ездит на собаках, слушатели отвернулись и, презрительно махая хвостами, удалились от него.

Гок смотрел им вслед и думал, что ведь и ему пережитое кажется неправдоподобным, приснившимся во сне.

Так всегда бывает весной, после долгих зимних дорог, в предвкушении вольной летней жизни.

Такие сны видятся, когда в плотно закрытые глаза бьют яркие лучи утреннего солнца, когда не стужа, а тепло обволакивает покрытое густой шерстью тело.

Но было одно воспоминание, которое не хотел трогать Гок, — это воспоминание о Снежинке.

Даже если это приснилось, то это был самый прекрасный сон, который бывает ярче, памятнее обыденной действительности, сон-мечта, сон-греза.

Ради такого переживания стоило появиться на свет и жить, трудиться в упряжке, переносить строгость хозяйки и недоверчивость своих же сородичей-собак.

Потому что это был настоящий зов любви.

На следующий день Тэин запряг Гока в первый ряд вместе с вожакom и поехал на припайный лед охотиться на весеннюю нерпу.

СОДЕРЖАНИЕ

МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА. <i>Роман</i>	3
ПРЯМО В ГЛАЗА. <i>Повесть</i>	257
ЗОВ ЛЮБВИ. <i>Повесть</i>	353

- Рытхэу Ю.**
Р 95 Магические числа: Роман и повести. — Л.: Сов. писатель, 1986. — 432 с.

В романе лауреата Государственной премии РСФСР Юрия Рытхэу «Магические числа» рассказывается о становлении Советской власти на Чукотке, о влиянии исторических событий на судьбы отдельных людей. Среди главных героев — шаман Кагот, большевик Алексей Першин и выдающийся полярный исследователь Руал Амундсен. Повести «Прямо в глаза» и «Зов любви» посвящены проблемам сегодняшней жизни Чукотки, природе этого сурового края.

Р $\frac{4702010200-246}{083(02)-86}$ 131-86

ББК 84.Р7